



---

---

# СОГЛАСИЕ

---

---

**ОЛЕГ ХАНДУСЬ**  
**СЕМЕНОВ И ТРОЕ УСТАЛЫХ СОЛДАТ. Повесть**

---

**ЕВГЕНИЙ РЕЙН**  
**СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ**

---

**НОВОЕ ИМЯ: ОЛЬГА СЛАВНИКОВА**  
**МЕХАНИКА ЗЕМНАЯ И НЕБЕСНАЯ**

---

**ЗАРУБЕЖНАЯ ПРОЗА: МИЛОРАД ПАВИЧ**  
**ПЕЙЗАЖ, НАРИСОВАННЫЙ ЧАЕМ. Роман для любителей кроссвордов**

---

**ХОРХЕ ЛУИС БОРХЕС**  
**ИСТОРИЯ ВЕЧНОСТИ**

---

**Кн. СЕРГЕЙ ЩЕРБАТОВ**  
**ХУДОЖНИК В УШЕДШЕЙ РОССИИ**

---

**СЕРГЕЙ ДОВЛАТОВ**  
**ЛИТЕРАТУРА ПРОДОЛЖАЕТСЯ**

---

**ПРОЧИТЕ ДЕТЯМ: АННИ ШМИДТ**  
**ВЕДЬМЫ И ВСЕ ПРОЧИЕ**

---

---

---

**7 '1991**

---

---

---

---



---

# СОГЛАСИЕ

---

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЖУРНАЛ

---

**№7. ИЮЛЬ 1991 ГОДА.**

**МОСКВА. РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ КОМПЛЕКС «МИЛОСЕРДИЕ»**

---

**В НОМЕРЕ:**

---

**ПУБЛИЦИСТИКА**

*Александр Агеев*

**ЗИМНИЕ СТАНСЫ В ПРОЗЕ**

**3**

---

**ПРОЗА И ПОЭЗИЯ**

*Олег Хандусь*

**СЕМЕНОВ И ТРОЕ УСТАЛЫХ СОЛДАТ. Повесть**

**9**

---

*Евгений Рейн*

**СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ**

**49**

---

*Новое имя: Ольга Славникова*

**МЕХАНИКА ЗЕМНАЯ И НЕБЕСНАЯ. Повесть**

**53**

---

*Ольга Постникова*

**ЭТА ТЯГА РОДСТВА. Стихи**

**81**

---

*Юрий Виноградов*

**ПРИЕЗЖИЙ. Стихи**

**87**

---

## **ЗАРУБЕЖНАЯ ПРОЗА**

*Милорад Павич*

**ПЕЙЗАЖ, НАРИСОВАННЫЙ ЧАЕМ.** Роман для любителей  
кроссвордов (окончание).

Перевод с сербскохорватского Н. Вагаповой и Р. Грецкой

**88**

---

*Хорхе Луис Борхес*

**ИСТОРИЯ ВЕЧНОСТИ**

**149**

---

## **СЛОВО И ВРЕМЯ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ.**

*Кн. Сергей Щербатов*

**ХУДОЖНИК В УШЕДШЕЙ РОССИИ**

**160**

---

## **ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА**

*Михаил Золотоносов*

**ПОСТМОДЕРНИЗМ И ОКРЕСТНОСТИ**

**190**

---

*Сергей Довлатов*

**ЛИТЕРАТУРА ПРОДОЛЖАЕТСЯ**

**198**

---

## **У КНИЖНОЙ ПОЛКИ**

*Алла Марченко*

**ЧАРОВЩИНА МИЛОРАДА ПАВИЧА**

**206**

---

## **ПРОЧТИТЕ ДЕТЯМ**

*Анни Шмидт*

**ВЕДЬМЫ И ВСЕ ПРОЧИЕ**

**209**

---

Александр АГЕЕВ

## ЗИМНИЕ СТАНСЫ В ПРОЗЕ

Зима. Что делать...  
Пушкин

### 1. ХАНДРА

Жизнь в России никогда не была особенно уютна. Сейчас, помимо всего прочего и несмотря на непредсказуемость, она стала еще и скучновата. Все правильные слова сказаны и не услышаны, все разумные проекты внесены и отвергнуты. Авторы слов и проектов, гордые и печальные, вышли вон. Кто-то молча, кто-то — хлопнув дверью.

На поверхности продолжается судорожная, эпилептическая суета. Беспорядочная стрельба и нелепые указы изредка взбадривают общественный азарт, но темперамент игроков и болельщиков уже не тот, что прежде.

Главным делом огромной страны стало ожидание. И это не привычное ожидание чуда о пяти хлебах. Это, без сомнения, ожидание развязки. Любой.

Очень похоже на очередь к онкологу — очередь длинная, и потому скучно, хотя и страшно. И чем дольше страшно — тем больше скучно.

Где вы, гости с Запада, утешавшие нас так трогательно и осторожно: дескать, жить у вас трудно, но весело? Впрочем, бог с ними, с гостями, потому что не только ведь страшно и скучно — еще и стыдно.

Либеральная интеллигенция хандрит. Это вот что означает: идет, например, серьезный духовно-практический разговор. Тонус высокий, проблемы важные, перспективы обнадеживающие. И вдруг, посреди разговора, в какой-нибудь случайной паузе вспухает тусклое облако как бы нервно-паралитического газа и — пропади все пропадом! О чем это мы? О новом журнале? О Солженицыне? О проекте новой российской конституции? Но ничего этого нет, клубится какой-то грязный пар, и под ногами кислая слякоть. Хандра.

Хандрить в столь великие времена как-то неприлично. Хочется скрыть это малопочтенное состояние духа. Впрочем, для самооправдания можно и хандру подвергнуть анализу, разложить на составляющие и назвать их вполне приемлемыми с точки зрения важности переживаемого момента именами. Можно, например, поговорить о тревоге за судьбу непоследовательного и противоречивого процесса, идущего в России, о том, как мало отпущено ему времени. Тревога — штука неизъяснимо благородная. Можно даже сказать о страхе — нет, не за себя, конечно же, — о страхе перед неизбежными муками, которые суждено претерпеть многострадальному народу на избранном пути. Можно, наконец, сорваться гневом на негодяев, сующих палки в колеса прогресса, выразить презрительную жалость к дуракам, ложащимся на рельсы. И т.д. и т.п.

Все это хорошо звучит на площади, пристойно смотрится на газетной или журнальной полосе, — словом, там и тогда, где и когда человек пребывает в



спецодежде (бронезилете?) такой еще пока новой у нас, такой волнующей кровью публичности.

А лично, сокровенно, наедине с самим собой испытываешь — что же врать! — вот это самое: унижительную апатию, малодушную («пропади-оно-все-пропадом!») хандру. Причем она, бывает, ничуть не мешает самой что ни на есть лихорадочной деятельности. Настолько не мешает, что думаешь: уж не стимулирует ли ее? То есть пишутся статьи, говорятя речи, принимаются законы, рождаются партии и декларации, а внутри, в полости, все быстрее расширяющейся, — тихоноко ноет: «Неужели опять все зря?» Впрочем, уже и вслух, все громче, а особо темпераментные непатриотично добавляют: «Проклятая страна! Гиблое место!»

В самом деле. Где твердь среди этой хляби? На что опереться, с какого утеса продекламировать любимое из Лютера и Мандельштама: «Я здесь стою...»?

На парламенты всех уровней больно смотреть. Стоило менять диссидентские свитера с кокетливо запатанными локтями на полосатые думские визитки, чтобы служить доказательством сугубой демократичности происходящего и слышать удовлетворенный голос какого-нибудь Лукьянова: «Решение не принято!» Еще хуже, когда решение — замечательное решение! — принято. Идешь тогда по улице и читаешь в угрюмых глазах соотечественников: «Ну и что?»

Стыдно смотреть на Президента. Бог его знает, что он там думает про себя и чего на самом деле хочет. Вполне возможно, что он — очередной «кремлевский мечтатель». Но ведь этот Манилов даже не помещик, а крепостной, он пленник, данник и вассал собственного народа, малость растерявшегося в голодных просторах свободы и требующего от апоплексического начальства: «Пооди туда, не знаю куда...»

Смешно слышать из уст либеральных лидеров о консолидации. Какая консолидация? Упаси бог! Как только мы консолидируемся, сразу станет видно, как нас мало, сразу вспомнится Сенатская площадь и нерешительные бунтовщики, консолидировавшиеся по романтическому чертежу в обреченное каре. От этой дворянской геометрии так и веет политическим салоном Анны Павловны.

Решительно не на что опереться. И поэтому все ждут развязки, все торопят счетную комиссию. Прогрессивные тележурналисты, зеленватые от бессонницы, смотрят в казенную камеру с тихой укоризной и нетерпением. На экранах случившееся в Вильнюсе и Риге подается как повсеместно ожидаемое — вот «они» давят «нас» танками и бьют прикладами, а «мы» ответствуем ангельским пением. В кулуарах всяких шумных собраний появились люди с радостными, просветленными лицами. О чем они тихо и доверительно беседуют? О том, как их всех скоро посадят. Новая возможность открывается в карьере среднего интеллигента, сказавшего за шесть лет «перестройки и гласности» несколько неосторожных слов — «пострадать» ни за что, оседлать почтенную традицию.

Апокалипсис разобран на цитаты. Поучительно помахивая перстами перед носом друг у друга, его вдохновенно перевирают идейные противники, ходившие в один детский сад. Увидим ли митинги под лозунгом «Пусти серп свой и пожни!»?

Но вот ведь в чем главный фокус — ожидая развязки и цитируя Апокалипсис, больше иного прочего все боятся догадки о том, что ничего по-настоящему серьезного и переломного так и не случится, о том, что огромное и сырое тело этой страны будет гнить безобразно и долго, потому что сил только и осталось на бездарные танковые маневры, парализуемые ангельским демократическим хором. О том, что в обозримом историческом будущем — ни «мы их», ни «они нас»...

Догадка, в самом деле, ужасная, обесмысливающая жизнь нескольких поколений, превращающая недавнюю эйфорию в трагический фарс. Тоже мне, «минуты роковые», растянутые на сто лет... Знали бы, начиная, — харчей припасли бы...

Отсюда коварный соблазн — подтолкнуть историю. Бросить какой-нибудь необыкновенный лозунг, за которым пойдут все. Создать какую-нибудь супер-экстра-демократическую партию на десять миллионов персон, чтобы она сказа-

ла, наконец, веское, последнее слово могучим партийным басом. Чтобы она трудовой, мозолистой рукой... ну, и так далее. Многоточие.

Как тяжело, с другой стороны, уходить с карнавала в боковые тихие улицы, с вершин творящейся на глазах истории — в скучные долины «частной жизни», тем более, что в долинах темно, мусорно и неудобно. За шесть лет карнавала все отвыкли ходить прямо, говорить тихо и читать толстые книги. Последнее смешнее всего, потому что и сыр-бор разгорелся едва ли не из-за толстых книг. Все шесть лет эти самые толстые книги прилежно издавались, и вот они стоят на полках — красивые, дорогие, нечитанные, а в зубах у алчущего интеллигента тощей еженедельник с очередной порцией общеобязательного нынче — *что делать...*

## 2. ЖАНРЫ

«Что делать» я не зря пишу курсивом, со строчной буквы и без вопросительного знака. «Что делать» — это не название. Это жанр, по законам которого создаются две трети публицистических произведений, появляющихся в последнее время на шестой части суши.

Как литературовед по основной специальности (то есть той, за приблизительное владение и профанацию которой мне платит государство), я могу засвидетельствовать, что жанры рождаются гораздо реже, чем умирают, что исчезновение и размывание того или иного привычного жанра — процесс совершенно нормальный и достойный лишь индифферентной констатации. Но вот рождение и активная экспансия в литературу нового жанра — это ЧП, требующее нетривиальных размышлений, некоторой литературно-политической рефлексии, поскольку сигнализирует о появлении в массовом сознании каких-то новых (пусть относительно) напряжений.

Всякий литературовед — классификатор и систематизатор, и нет для него ничего сладостнее этой работы — распределить хаотическое многообразие возникающего явления по тем или иным рубрикам. В самом деле — между архаически-императивным «Как нам обустроить Россию» вермонтского отшельника и аскетически-прагматичным «Что делать?» нынешнего московского мэра — бездна вариантов и редакций, да и за ними — пристойными — целая непристойная бесконечность в характерном спектре от экзотического нежно-коричневого до родного кроваво-красного. Это ежели «отслеживать» только непосредственно-содержательный аспект. А если в качестве рубрикатора принять характер эмоциональной окраски, то, кстати окажутся замечательные русские части речи — всякие указательные слова, частицы, неопределенные местоимения и прочие маргинальные штучки, несущие такую важную нагрузку при деле создания неповторимой интонации. Вслушайтесь: от уравновешенного толстовского «Так что же нам делать?» (вечность в запасе у гения) через растерянность нынешнего «Что же делать?» к требовательному отчаянию уже близкого «Что делать-то?»

Но отдаться полностью сладостному литературоведческому зуду мешает одно чувство, приступы которого звал автор другого знаменитого русского вопроса — Александр Иванович Герцен. Чувство это он выразил однажды по-английски — *very dangerous!!!* — найдя, очевидно, русский эквивалент («очень опасно») не слишком выразительным. Действительно — в России всевозможные «очень опасно» нарисованы на всех заборах и на каждом втором столбе. Если обращать внимание на всякий казенный трафарет этого смысла, то жизнь российского гражданина чрезвычайно усложнится, ибо зиждется она как раз на нелегальном преодолении заборов и обходе столбов по известной пословице: «закон — что столб: перепрыгнуть нельзя, а обойти можно». Надпись же иностранная имеет шанс вызвать почтительное недоумение, даже паузу для заглядывания в словарь, чего вполне достаточно для простейшей сублимации криминальной энергии и уяснения смысла предостережения.

Но что за опасность гнездится в неокрепшем ядре новорожденного жанра?

Дети за родителей, конечно, не ответчики, но не снятся ли вам иногда сны Веры Павловны — наяву? Не случалось ли вам темной российской ночью по-

встречаться с «особенными людьми» — лихими ребятами из «партии нового типа»?

Да-да, именно это я и имею в виду — у жанра, к сожалению, скверная наследственность, и я убежден, что она себя рано или поздно проявит, какое бы воспитание ни дали младенцу — северо-восточное (военно-православное) или нашенско-плюралистическое (гуманно-либеральное). Рано или поздно сакральное словосочетание услышится с тем универсальным акцентом, на который волюно или неволюно провоцирует. «Шьто делать? — удивится поздний продукт вполне предсказуемого процесса. — «Как шьто? Выпалнять указания Па-литбюро...»

Упаси бог — у меня и в мыслях нет усомниться в благородстве намерений Александра Исаевича или Гавриила Харитоновича, а также изрядного количества других публицистов, озабоченных настоящим и будущим страны. Многие пункты и параграфы их предложений мне даже очень нравятся, и я готов, как некогда выражались, «споспешествовать» их воплощению в жизнь. Но если бы эти пункты и параграфы, выстроенные в железной последовательности и собранные в великолепные гипотезы, так и оставались произведениями деловой прозы! Увы, они очень скоро, упав на хорошо мелиорированные поля нашей политической антикультуры, превращаются в элементарные партийные программы. А программа любой партии, имеющей неосторжность родиться на нашей почве, еще долго будет представлять собой богослужебную книгу.

Конечно, есть «что делать?» и «что делать». Я лично с тем большей симпатией отношусь к произведениям данного жанра, чем более жирным знаком вопроса венчается их заглавие. Я верю — часто наивно — что этот знак свидетельствует о склонности автора к благодетельному, творческому сомнению. Но, к сожалению, штатный знак гораздо чаще осеняет вполне ленинскую энергичную уверенность, нежели трудную работу ищущей и спотыкающейся мысли. Впрочем, зачем лукавить? Ведь и этот мой выбор — не более чем рефлексия исследователя. Огромная бронированная сороконожка массового сознания, столкнувшись с любым «что делать», пожирает и переваривает все, кроме знака вопроса, и вряд ли нужно объяснять, почему.

Страна, где столько разных, но одинаково энергичных людей знает, что делать — опасная страна. Никто из тех, кто хоть немного знаком с ее недавней историей, не поверит, что энергия, переполняющая ее сегодня — энергия созидательная. Всякое, даже самое благородное «что делать» в силовом поле этой энергии будет соответствующим образом отсепарировано, и на выходе останутся только те детали программы, из которых можно собрать пулемет. И, если вам не очень по душе пулемет как способ ответа на сакральный вопрос, подождите немного с вашим проектом машины времени — неровен час, именно он, наскоро подогнанный лихими умельцами под наличные материалы, может превратиться в чертеж пулемета.

В русской философской публицистике была некогда целая традиция отвода знаменитого вопроса. Проще всех расправился с ним, как известно, блестящий нигилист Василий Розанов. «Что делать?» — спросил нетерпеливый петербургский юноша. — «Как что делать: если это лето — чистить ягоды и варить варенье; если зима — пить с вареньем этим чай». Но Розанов, похоже, немножко опоздал к нашему столу — нет уже на нем ни варенья, ни чая, и гораздо ближе к нам оказывается философ, не так тесно связанный с иссякающей органикой быта — Владимир Соловьев. Он размышлял обо всем этом под свежим впечатлением деяний ближайших потомков «особенного человека» и ближайших предшественников «партийцев нового типа» — в самом начале 80-х годов прошлого века. «Вопрос этот, — писал он тогда, — является сначала в ложном смысле. Есть нечто ложное уже в самой постановке такого вопроса со стороны людей, только что оторванных от известных внешних основ жизни и еще не заменивших их никакими высшими, еще не овладевших собою. Спрашивать прямо: что делать? — значит предполагать, что есть какое-то готовое дело, к которому нужно только приложить руки, значит пропускать другой вопрос: готовы ли сами делатели?»

Между тем, во всяком человеческом деле, большом и малом, физическом и духовном, одинаково важны оба вопроса: что делать и кто делает; плохой или неприготовленный работник может только испортить самое лучшее дело. Предмет дела и качества делателя неразрывно связаны между собой во всяком настоящем деле, а там, где эти две стороны разделяются, там настоящего дела и не выходит».

О том, что «делателя» в масштабах, потребных для такой страны, нигде нет, знает каждый, прикосновенный хоть к какому-нибудь «настоящему» делу. Сказки о неисчерпаемых запасах народной талантливости, ожидающих лишь свободы, чтобы развернуться — сказки, столь популярные в первые годы «перестройки и гласности», что-то поутихли. Стали яснее размеры «антропологической катастрофы», случившейся у нас, вскрылась подлинная глубина одной красивой неправды, в которую так тепло было верить. Я имею в виду убеждение многих и многих в том, что опыт катастрофы — чуть ли не золотой запас нашей нынешней и нашей грядущей духовности, что к нам в очередь за этим бесценным опытом еще выстроятся благополучные народы, не имевшие счастья почти погибнуть. Насчет народов не знаю, вполне возможно, а вот мы — уж такая тут диалектика — обнищали именно на сумму нашего катастрофического «золотого запаса». «Ни один человек не становится ни лучше, ни сильнее после лагеря», — писал Варлам Шаламов, заплативший за эту простую истину талантом и разумом, не говоря уж о жизни.

Словом, «делатель» не готов, и неизвестно, родились ли уже его родители. Но, порассуждав отвлеченно об антропологической катастрофе, об истощении генофонда и прочем, о чем принято рассуждать, мы все-таки садимся за письменный стол и пишем какое-нибудь роскошное «что делать»!

А может быть, думаю я иногда, «что делать» — это жанр-наркотик для тех, кому повезло при катастрофе? Подумайте, как тяжело — просыпаться каждое утро все в той же толпе лукавых рабов, видеть все ту же моисееву пустыню, и так — библейские сорок лет... Кто же с радостью и без сопротивления способен бросить себя — уже все-все понимающего! — навозом на каменистую почву для проблематичного и через сорок лет возрождения?.. Нет, пожалуй, никуда нам не деться от новых и новых «что делать», ибо не может живой человек не тосковать в пустыне, не окликать подобных себе, не мучиться верой, надеждой и любовью.

Одно можно предложить в качестве трезвой, холодной альтернативы в печати и в жизни — жанр «чего не делать». Организующим принципом для него хорошо послужит модификация известной лагерной заповеди: «не верь, не бойся, не проси». Не верь тому, что цель близка и для ее достижения нужно лишь устранить кое-какие препятствия, кое-что «сделать»; не бойся времени — ты все равно не успеешь; не проси прав, которые не на что употребить в пустыне.

### 3. НЕДЕЛЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Сосед по лестничной площадке, пенсионер-вольнодумец, шепотом пересказывает мне на ухо содержание «секретного» доклада Хрущева. Мои студенты-пятикурсники с легким азартом хоронят «социалистический реализм» и не одобряют Горького, неудачно пошутившего насчет врага, который не сдается. Мои коллеги — доценты и профессора, собравшись в курилке, увлеченно сбрасывают Ленина со всех пьедесталов и ядовито прохаживаются по адресу «преступной партии», из рядов которой только что с облегчением вышли. Рядом, не знавшие лиха, аспиранты сурово судят Бердяева за непреодоленную «розовость», а также цитируют Хайека и Фукуяму из последних номеров философского журнала.

Прошумела «неделя просвещения» — шесть лет непрерывной эскалации «гласности».

Итог, подведенный накануне неизбежного «дня седьмого»: каждый поднялся на ступеньку, и первые последним так же далеки и враждебны, как и шесть лет назад. Понятно, что я не о тех немногих, кому некуда было подниматься. Впрочем, и они имели возможность обогатиться неким новым знанием, — оце-



нить, например, степень действительного влияния свободного слова на умы, сердца и поведение своих соотечественников.

И что же? Можно, пожалуй, сказать, что влияние это было столь же огромно, сколь и ничтожно.

С одной стороны, образовался довольно приличный рынок информации, потенциально доступной всем, с другой — цена правды на этом рынке по-прежнему выше цены свободы. Миф о единственной, ослепительной, достающейся герою целым рядом великих подвигов правде не поколеблен, имя ее — на всех знаменах и на всех устах. Она — огромное, румяное яблоко раздора, вокруг которого крутится перманентная резня, грызня и потасовка. Понятно, что это яблоко, даром что оно из папье-маше, не достанется никому. Разве что придет, как бывало, милиционер и отнимет. Тогда будет опять не драка на рынке, а газета «Правда» в каждом доме. А в сущности, правда — это то, что похоже на меня и мои мысли, и борьба за правду — это борьба за монополию. Значит, разоряются мелкие фирмы, становятся банкротами психи-одиночки, торгующие экзотическим товаром, и на месте живописных лавочек воздвигается супермаркет со знакомым шрифтом на фронтоне: «Правда». А напротив — точно такой же убедительный с надписью: «Вся правда», а несколько поодаль третий, и на нем неотразимое: «Ничего кроме правды».

А зачем мне монополия? Как это зачем? Вы только гляньте на эти рожи напротив. Вы думаете, им нужна правда? Им нужна власть, и милиционер у них на содержании.

Свобода — это совсем другое. Она не имеет к правде ни малейшего отношения. Свобода — это когда меня не раздражает замшелое вольнодумство соседа-пенсионера и мне не хочется доказать ему, что один генсек стоит другого. Свобода — это когда студент, сдавая мне экзамен, не старается угадать, на чьей я стороне в нынешней драке за правду. Свобода — это когда полное равнодушие к правде не наказуемо ни морально, ни материально. Свобода — это единственно возможная форма нормального общения между теми, кто сражен, как громом, откровениями Никиты Сергеевича, и теми, кто наслаждается своим полным согласием с Хайеком и Фукуямой.

Чтобы отхватить свой кусок правды и быстро обожраться ею, тревожно озираясь, вполне достаточно недели просвещения.

Чтобы обрести свободу, придется, вслед за всем миром, пережить долгий, скучный, пресный век просвещения. Только представьте: мелкий шрифт энциклопедий; сводящие с ума таблицы спряжений и склонений; казарменная тоска бесконечной гимназии; ненавистный мещанин, листающий толстую газету в поисках колонки биржевых новостей.

И чтобы воистину возжелать всего этого, нужно до предела изнеможеть в пыльной, грязной, кровавой, героической драке за правду...

*Иваново*

---

---

## ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

---

---

Олег ХАНДУСЬ

### СЕМЕНОВ И ТРОЕ УСТАЛЫХ СОЛДАТ

*До Горбачева Армия была государством в государстве, огромным, но безъязыким. Соловьи Генштаба, от случая к случаю залетающие в Земли Незнаемые, были, разумеется, сладкозвучны, им мало кто верил, но как там и что, страна, в общем, не знала; догадывалась, конечно: ведь вернувшиеся оттуда, а тем паче не вернувшиеся — не молчали. Не молчали, но и СКАЗАТЬ не умели, немо корчились, лица были выразительнее слов, и матери порченных Срочной Службой сыновей читали, как могли, погубленные, потухшие эти лица, но кому расскажешь немое лицо?*

*Что до интеллигенции, то она просто-напросто отодвинула от себя «все эти проблемы» как чужие и чуждые и сосредоточилась на том, чтобы правдами-неправдами определять детей мужского пола в студенты; студенческий билет был охранной грамотой, вузы, в которых не было военных кафедр, стали сплошь женскими.*

*Но вот, по высочайшему Указу, — вряд ли тогда еще не-Президент ведал, что творит, — в солдаты стали сдавать студентов, в том числе и потенциальных. Длилось это недолго, под нажимом общественности Указ пришлось изменить, но и трех-четырёх лет оказалось достаточно, чтобы безъязыкий Архипелаг — родной брат и наследник ГУЛАГа — заговорил. И как заговорил! Как власть имеющий.*

*Олег Ермаков — «Афганские рассказы».*

*Александр Терехов — «Мемуары срочной службы».*

*Олег Павлов — «Караульная элегия» и «Записки из-под сапога».*

*А теперь еще и Олег Хандусь — с афганской повестью.*

*На белый взгляд, авторы новой солдатской прозы похожи друг на друга, как остриженные «под ноль» новобранцы. Но приглядевшись, видишь, что даже «яблони», от которых катятся эти «яблочки», — разные.*

*Олег Ермаков явно выбрал себе в «путеводители» молодого, поры «Севастопольских рассказов» и «Казачков», Толстого. Александр Терехов обходится, кажется, без литнаставников: пишет, как слышит и дышит.*

*Олег Павлов весь в Платонове, не вязнет, однако, и не теряется — тянет.*

*А вот Олег Хандусь, похоже, хорошо и с толком читал Хэмингуэя (а мы-то думали, что властитель дум нашей юности нынешним двадцатидвулетним — без надобности).*

*Страшно ошибиться, но полагаю, что в этих мальчишках подрастает нашу Грядущее, что в их полудокументальных рассказах и повестушках вызревает будущая «Война и Мир».*

*А.М.*

*Кому не умирать, тот жив будет.*

Далеко на севере, грустной и тихой зимою, в одну из московских клиник привезли тяжело больного молодого мужчину; и то была не клиника, а стран-

ный закрытый стационар, и не привезли его вовсе, побитого ознобом молодого мужчину; привел его брат, привел на рассвете.

Шел первый месяц той страшной зимы, когда с неба сыпал песок и покрывал все вокруг всепоглощающим слоем, и происходило еще много странных вещей, не подвластных разуму человеческому; девушки перестали носить одежду, дети смеяться, а парни говорить о любви...К началу той страшной зимы рабочих давно отучили честно работать, а у крестьян отняли и опоганили крест их, — и все пошли воровать, потому как иного способа накормить детей и одеться у людей не было; и вот двое мужчин, похожие лицами, топтались у запертой двери стационара и ждали, когда им откроют.

Та дверь была обита оцинкованной жстью и густо окрашена масляной красной; имелся глазок — о, это был всем глазкам глазок! Дыра целая! наподобие тех черных дыр, что порой возникают в космосе. Так вот, старший брат все стучал кулаком в эту дверь, то и дело оглядываясь.

Он видел стертое от беспробудного пьянства лицо молодого мужчины, своего младшего брата, молча стоявшего позади, и словно умолял его: «Потерпи еще, потерпи...» — хотя сам точно знал, что терпеть дальше некуда; и он снова принимался стучать, пока ему не открыли.

Потом его терпеливо выслушивали обыкновенные люди в белых халатах и смотрели мимо него: на обтертые стены узкого коридора, на заросший паутиной по углам потолок, — и все же наконец согласились помочь, увели переодевать молодого мужчину; но они ему не помогут, ибо это нормальные люди, ибо!.. а брат вошел в соседнюю дверь курилки и сказал мужикам хмурым, запахнутым в байковые халаты с исстиранными отворотами, он сказал им: «Ну все, тепер я спокоен. Здесь-то ему не дадут умереть...» А мужики посмотрели на него глазами усталыми, полными скорби и понимания, и спросили его: «Что, плохо дело, братишка?» И он, глядя на их тощие, волосатые ноги, негромко ответил: «Больше месяца не просыхал...» Потом добавил устало: «Сам-то я с Севра...»

Они стояли и молча курили, а молодому мужчине тем временем указали кровать; он подошел к ней на ощупь, словно слепой, и прилег осторожно с самого края. Но тут же его перебросило на спину: он затрясся и выгнулся, ни дать ни взять отпущенная рессора, задыхаясь и хрипло моля о помощи. Брат увидел все это сквозь приоткрытую дверь палаты, потихоньку вошел и присел на стул в изголовье. Следом явились одетые в белое люди и, выстроившись в ряд вдоль кровати, начали обстоятельно рассуждать: «Нет, капельницу нельзя, посмотри, как трясет — сломает иглу, что тогда?.. — Да он, наверное, притворяется! Впервые такое вижу... — Так что же с ним делать? — Понятия не имею. Александр Михайлович будет только после двенадцати... — Значит, пусть так и лежит, без начальства ничего мы не можем», — а брат молодого мужчины, сидя на стуле и жадно следя за врачами, за этими всемогущими женщинами, робко лишь вымолвил: «А может быть, что-нибудь можно?...» И тут заметили его наконец, и самая главная среди остальных громко спросила: «А это еще кто здесь в палате?» И растерянного мужчину вывели в коридор, он вернулся в курилку, где были все те же хмурые мужики; они спросили его: «Ну как?...» Но он не услышал, достал из пачки мятую папиросу и ответил совсем невпопад: «В последнее время он за чем-то прятал все от меня... То за ширму, то под диван... Я ж ему говорю, ты не бойся, не прячь — выпей немного, опохмелись, я ведь не запрещаю, но как-то ведь жить дальше надо...»

И дальше мужчина поведал о том, как сегодня под утро недоглядел он; зашел только в ванную, чтобы умыться. А он, братишка, тем временем нашел дезодорант этот, вроде, немецкий: густая и зеленая жидкость... шарик выковорил на кухне ножом... — И мужчина вздохнул, а хмурые мужики оживились. «Так там ведь и спирта-то нет! Одни эфирные масла, всякая гадость... Врачам-то этим сказал?» — «Сказал, — ответил мужчина, — а толку-то что?...» И тогда мужики со знанием дела заметили: «Тебе надо было его в Склифосовского сразу везти, не сюда, там знают, что в таких случаях делать, там-то специалисты!.. Вот у нас был такой случай...» — И мужики стали долго рассказывать случай, закон-

чив который, устало махнули рукой: — А, здесь не врачи, живодееры! Иначе не назовешь».

Но вот в курилку вошла главная среди всех в мире женщин, тех, что в белых халатах. Она широко распахнула дверь — аж ходуном заходили помутнелые стекла, — стала властно говорить о порядке, разогнав по палатам безропотных мужиков, важно затем развернулась и процокала к себе в кабинет; а у той из женщин, что осталась в палате, неожиданно появился в руках и брызнул тонкою струйкою шприц, она брезгливо согнулась возле молодого мужчины, взяла его висящую беспокойную руку, заставил перелечь на живот и, — «Ну-ка тише, тише!» — ввела в его напряженное тело несколько кубиков совершенно прозрачной жидкости, хранимой до этого за десятью печатями и замками; мужчина еще немного повздрагивал и скоро уснул, успокоился, и о нем все забыли... Даже старший брат его, увидев такое дело, вспомнил про автомагазин «Москвич», как будто поблизости, и решил все-таки пойти посмотреть, что же там есть? Здесь оставаться смысла уже не было, да и перекусить не мешало, поскольку день лишь начался и до ночи было еще далеко, гораздо дальше даже самого конца света.

\* \* \*

Они поднимались по склону. Их было четверо, они шли один за другим. Склон был крутой и сыпучий, их запыленные ботинки уходили в песок, тела устало покачивались. На них были каски, обтянутые мешковиной, кое-где поистертой, порой изодранной в клочья; на них была вытертая добела солдатская роба, но и она уже местами потемнела от пота: на груди и на спинах солдат, между лопаток, проступили ядовитые грязные пятна. Вот так они шли, друг за другом, все четверо. Позади них — от хрупких голубоватых вершин — только-только оторвался диск солнца. Он был угрожающе красным — и все сильнее распалялся, сверкая утренним светом; он набирал силу.

Впереди шел сержант, худой и высокий парень. Он нес на плечах пулемет: длинную металлическую корягу. Это был довольно тяжелый, семимиллиметровый, станковый пулемет, штатное вооружение БРДМа\*. Его-то и нес на себе длиннолицый сержант. Он поднимался в гору, словно распятый, ухватившись руками за одну из рукояток пулемета и ствол, — склон был крутой и сыпучий, сержант то и дело сбивался, терял равновесие, но упорно вел за собой остальных; он шел, ни на секунду не упуская из виду вершину, все смотрел на нее исподлобья, рискуя острием подбородка проломить себе грудь. Следом шел невысокий и коренастый солдат, лицо его было гораздо темнее; черные брови сходились на переносице, выделялись особенно скулы; были даже усы, скорее их признаки: жесткие ростки обнесли верхний край растянутого от напряжения рта; глаза были карие, злые. Коренастый солдат шел упругой походкой, свесив к коленям свои сильные руки, иногда останавливался и окриками подгонял остальных. Те двое все отставали. Шедший третьим, нескладный и щуплый солдатик, правда, то и дело порывался нагнать, припускаясь короткими перебежками. Но две тяжелые коробки с патронами к пулемету связывали его по рукам: он бился об коробки коленками, спотыкался, едва не падая в рыхлый песок; изо всех сил он старался поспеть за сержантом. Самый последний солдат не пытался прибавить шагу. Ничего он не нес, кроме своей амуниции, и отстал уже метров на десять. Он был худ страшно, высок, с лицом темным и желтым, таким узким, что рот глубокой размашистой прорезью напрочь отчеркивал нижнюю часть; подбородок, казалось, вот-вот отвалится и упадет к ногам, когда солдат тащился с опущенной головой, и со стороны фигура его походила на переломанную попалам доску... Вот так они шли, поднимались по склону, все четверо; солнце медленно тянулось к зениту, они уходили от солнца.

— Стой, Семен, давай тормози! — громко сказал коренастый солдат и блеснул металлическим зубом. — Таракан, падла, опять отстал.

\* Боевая разведывательная дозорная машина.



Сержант остановился. Медленно и осторожно сгибаясь, сбросил с плеч пулемет, оглянулся. Коренастый с двумя автоматами за плечами и руками, свисающими почти до колен, стоял чуть ниже на склоне, покачиваясь, и смотрел на отставших: те приближались.

— Чо? Умираете? — презрительно крикнул он.

— Садись, Расул; мал-мал отдохнем, — сержант сбросил ремень с распертым подсумком, флягой и штык-ножом, сверху опустил пулемет — так, чтобы песок не попал в механизм; сам присел рядом.

Расул сплюнул. Он стоял и смотрел на отставших солдат. Маленький совсем взмок: в двух шагах от Расула поставил на землю коробки, дернул плечом, скидывая ремень автомата, и принялся сосредоточенно рукавом утираться; засаленным манжетом он тер смуглое от рождения лицо, серое от загара и грязи, да еще какое-то сморщенное, будто от долгих прожитых лет и непосильной работы.

— Садись, сын узбекского народа, кури, — брезгливо усмехнулся Расул, снимая с себя автоматы, свой и сержанта. — Твой дембель не скоро, а нам скоро домой, — Расул вдруг изменился в лице: — Сколько старому осталось?

Молодой солдат замер, насупилась.

— Садись пока, отдыхай, Бабаев, — сказал сержант.

Маленький ростом и телом солдат Бабаев опустил на корточки, поджав под себя автомат; снял каску с торчачими во все стороны ключьями мешковины. Бритая голова Бабаева оказалась не больше кулака; глаза усталые и спокойные.

Рядом остановился последний, худой и высокий солдат. По фамилии он был Каракулиев, Иса Тачбердиевич, но звали его все Тараканом. Бабаев повернулся и сказал ему что-то на своем языке; тот ничего не ответил, лишь опустил на корточки и свесил к коленям голову.

— Как дела, Таракан? — крикнул Расул, сидевший уже прямо на склоне разутым. — Чо, живот болит, да?

Таракан ничего не ответил, даже не шевельнулся.

— Тащишься, что ли? — не унимался Расул.

— Тебя трогает... — вдруг ответил Иса.

Расул как будто не слышал: кося одним глазом на небо, он шоркал снятый носок, время от времени встряхивая. Каска лежала у него между ног.

— У? Не понял? — словно вдруг опомнился он. Взял в руки второй носок, поднося его ближе и как бы приносиваясь. — Борзеешь, да?

Таракан не выдавил больше ни звука, замкнулся. Так и сидел на корточках, будто сложенный вчетверо; лицом уткнулся в колени.

Сержант сидел всех выше на склоне и смотрел вниз на распахнувшуюся перед ним лощину. Теперь, словно в полузабытой детской игре на разноцветных картонках, он мог видеть всю свою батарею: все шесть крохотных фишек-машин выстроились дугой, рассекавшей крупную вязь бахчевых полей; и еще один ряд машин, транспортно-заряжающих, которые стояли ближе к склону, полускрытые зеленью фруктового сада.

Еще утром, еще только светало, он шел сонный в липком тумане к призрачно белевшему подножию склона, осторожно перешагивая канавы, но то и дело натываясь на что-то округлое, плотное, твердое. И оно при этом откатывалось. И голова была тяжелой и твердой, как эти арбузы и дыни. И слышался отчаянный хруст — позади их давили колесами; позади — из тумана и мрака — слышались крики, мелькали фары, взлетали осветительные ракеты — батарея делала третий заход, чтобы наконец-то занять огневую позицию; и эти хриплые вздохи под ребристыми скатами едва различались из-за рева моторов. И звучал в ушах голос Скворца, изуверский голос прапорщика Скворцова: «У, Семенов, сучья порода! Ну я с тобой опосля разберусь... Бери три человека из номеров расчетов, бери пулемет. На западную вершину, активная оборона, ты — старший, понял? Да не спать — вырежут, как поросят, не успеете пикнуть! Да не забудь объяснительную...» И шли они по полям вслепую, зная, что скоро поднимется солнце, миновали последний канал и насыпь, потерялись в мокрой зелени сада: вокруг извивались и корчились ветви, стволы, и было мерзко и сыро, туман выливался ро-

сой; намокшие ботинки и роба, назойливый запах металла и жесткое ребро пулемета выше шейного позвонка; покорное, злое дыхание в спину, все те же шаги... И вот все внизу прояснилось и стихло, солнце осветило лощину, пригрело, выпарило росу; настал день — все на своих местах.

Сидел теперь Семенов на склоне и отдыхал. Отдыхали, наверное, и внизу — на огневой, там не было видно никакого движения. Фронт батареи протянулся дугой от ленты шоссе, с которого съехали перед рассветом, по бахчевым полям; их разделяла сложная сеть орошения — темно-серые пластиы гнибли каналы, узкие, но глубокие, а по краю полей поднимались округлые песчаные склоны, походившие на горячие спины курортников, — на одном из склонов сидели четверо усталых солдат... А еще выше, над ними, под самое небо высились голубоватые снежные пики, вечно безмолвные и холодные лики вершин.

— Ну что, Расул, может, пойдём? Тут осталось-то всего ничего, — сержант неторопливо поднялся.

Бабаев уже поднялся и затягивал из-под уха ремешок каски, но Таракан все сидел, свесив к коленям голову.

— Э! Кому сидим, бибайский морда? — крикнул Расул, зашнуривая ботинок. — Что, совсем нюх потерял?

Иса поднял голову. Отрешенно глядя перед собой, распрямился, как будто делая одолжение целому свету, встряхнул за спиной автомат и молча побрел к вершине, волоча растоптанные ботинки без шнурков. Скоро его настиг распятый на пулемете Семенов, а следом и Расул с Бабаевым, и он снова остался последним.

Таракан курил план\*. Об этом знали почти все в батарее и принимали, как должное, но к нему именно относились с жалостью и отвращением. Таракан курил план жестоко, систематически — и это было не самое страшное испытание, которому он подвергал с малолетства свой организм. Когда дело доходило до ночи, особенно если батарея безвыездно томила на базе, он докуривался до того, что остановиться не мог; потом ему становилось страшно, и вот тогда те, кто находился поблизости, старались за ним присмотреть.

Он все понимал, Каракулиев Иса. Знал, что дела его плохи и по сути дни сочтены, но вот не всегда только утром он мог припомнить все то, что случалось с ним ночью: как удлинялись носы человеческие и подбородки, стоило лишь ему задержаться взглядом на чьем-то лице — все начиналось именно с этого, а затем расплывались рты, и хищно блестели зубы, и он видел перед собою заросшие кроваво-красные пасти; они хрипло ворчали о чем-то, чаще о том, что хорошо бы поесть, — и ему самому приходила на ум еда, хотелось жирной животной пищи так сильно, что казалось, всю свою жизнь он питался одною травой, а сейчас вот постигла его, наконец, неодолимая участь хищника; мерзкая трава иссыхала, шелестела в желудке, и тогда он торопливо поднимался по лестнице под самый купол палатки, выбирался наружу и среди ночи слонялся по лагерю в поисках пищи, тревожа дневальных и спрашивая у них, где можно ее найти. Так добирался он до окраин лагеря — там, на отшибе, под закопченной масксетью помещалась походная кухня, и в темноте гремел крышками холодных котлов, цепляя длинными пальцами сажу; осторожно, на ощупь, забирался в складские палатки или будил поваров и спрашивал их диким шепотом: «Мужики, похавать что-нибудь есть?» Они хрипло матерились спросонья, и тогда он предлагал им курнуть или шел в парк, к боевым машинам; почти неслышно, точно змея, проползал под колючей проволокой ограждения, весь трясясь своим тощим телом и подвывая от страха: вот-вот он получит в спину дурную пулю от часовых!.. Но все уже привыкли к таким похождениям, и часовые лишь еще больше запахивались в бушлаты, негромко переговариваясь между собой: «Вот-вот, смотри! Таракан выполз на промысел... — Ага, вижу... — Может, шмальнем пару раз по колючке, чтоб аж падла усрался?.. — Не, не надо: разбудим всех, шуму будет... Пускай ползает». Но чаще всего часовые попросту спали, зарывшись где-нибудь в

\* Одно из названий наркотика, сырьем для которого служит южная конопля; приблизительно то же самое, что и гашиш, анаша, марихуана.

кузове с грязным бельем. И Таракан быстрой тенью проскальзывал от машины к машине, задирает брезент тентов и мигом просовывался внутрь, рыскал по ящикам ЗИЛов, в кабинах ворочал сидушками и обыскивал бардачки — всюду он шарил своими худыми руками, надеясь, что все же где-то в загашниках с прошлой боевой операции осталась пара банок консервов. И он не мог успокоиться, пока их не находил. И, если пальцы его нащупывали наконец прохладное тельце цилиндрической формы, он замирал вдруг, загадочная улыбка на миг освещала его вытянутое лицо, он торопливо совал консервы за пазуху и так же тихо возвращался обратно в палатку, а потом в темноте начинал поедать то, что добыл: рыбные или мясные консервы, гречневую кашу с тушенкой или перловую, вонючий паштет — что именно, это не имело для него большого значения, все, что ни попадалось, он ел одинаково самозабвенно, любая пища возбуждала в нем страсть; ел он до помутнения, до тошноты, и даже когда усталый и одуревший откидывался наконец на своем месте на нарах, ему все слышался скрежет алюминиевой ложки о жестяное днище, он забывался и видел перед собою ряды коряво вскрытых консервных банок — и там, внутри, там что-то пульсировало, сквозь извилины просачивалась темная кровь... И вдруг Таракан начинал понимать: ведь это человеечьи мозги! — и вот тогда он жалобными, протяжными криками не давал никому заснуть до утра.

Таракан вступил на вершину последним. Остановился и сбросил прямо в песок автомат, а сверху ремень с висящими на нем штык-ножом и подсумком. Небольшая площадка, метров восемь-десять в диаметре, была встоптана и вся сплошь изрыта. Связанные между собой углубления напоминали окопы; даже земля в них выбрасывалась не куда попало, а была аккуратно уложена и примята в виде низеньких насыпей, вроде брустверов, как раз с той стороны, откуда поднимались солдаты. Подальше, в полузасыпанной ямке, виднелись остатки костра. Расул склонился:

— Теплые еще... Только ушли... Ночевали здесь... Увидели нас и ушли, а то бы так и сидели.

— Разведка, скорее всего. — Сержант стоял над окопами, всунув руки в карманы штанов. — Да, точно, только ушли. Отлеживались здесь и смотрели на нас, — он присел: — точно! — Он смотрел в углубление — на песке даже не было от росы мелкой ряби, зато четко отпечатались в пролежинах складки одежды.

— Гады, они ведь видели нас! — Расул поднялся и перепрыгнул рытвину навстречу сержанту.

Тот задумчиво стоял над окопами, нервно кусая губы:

— Да, а мы шагаем, как на прогулке... — теперь он увидел на насыпях поперек узкие прорезы, отпечаток оружия.

Бабаев присел в стороне, напряженно следя за товарищами. Таракан неожиданно проявил интерес: молча спустился в крайнее углубление и, присев, стал осматривать брошенное тряпье.

— Что там? — Расул подошел к нему сзади.

— Да так, ничего нет; тряпка...

— Не трожь, шивая!

Сержант обернулся. Он стоял на краю площадки, внимательно всматриваясь в сторону соседней вершины. Она была еще выше той, где они теперь находились, и связаны с нею крутым трамплинообразным гребнем.

— Ну-ка, глянь-ка, Расул, своим орлиным кавказским оком, там, вроде, шевелится что-то...

— Где?

— Во-он! На самом верху!

— Черт его знает, — Расул поднял над глазами ладонь. — Бинокль надо, так не увидишь.

— Вроде, мелькнуло что-то, — теперь сержант осматривал гребень: нет ли следов? Следы, кажется, были, но не совсем было ясно, куда они уводили... Может, к соседней вершине. — Да, бинокль бы щас!

— Семен, почему они не стреляли по нас? — спросил вдруг Расул. — Ведь положили бы всех к чертовой матери!

— У них другие задачи. Они видели, как батарея внизу разворачивается — решили тихо уйти... может, сейчас они как раз на той самой вершине, снова следят за нами.

Таракан все сидел над тряпьем, что-то держал в руках и разглядывал. Почувствовав приближение сержанта, он обернулся, заулыбался и, вставая, спрятал руку в карман.

— Что там, Иса? — сержант медленно спускался к нему. Худое лицо Таракана расплывалось в слюнявой улыбке, тут же уступившей место испугу. — Что там? — повторил сержант; Таракан молчал. — Ты что, с-сука...

— Да ничего там!.. Так, ничего...

— Ну-ка, дай-ка, — Расул отодвинул сержанта плечом.

— Да вот! — выкрикнул, чуть не плача, Иса. — Вот! — Он вытянул из кармана потную руку, боязливо разжал кулак: на ладони у него лежал скомканный грязный лоскут.

— Что это? — спросил сержант.

— У-у, Саша, этот такой кяйф, — простонал Таракан, слюнявя размякшие губы. — Ты такого никогда не курил. — Он развернул осторожно тряпочку, в которой была завернута щепка с темным пухловатым наростом, вроде тампона, каким прижигают ранки на теле.

— Такого не знаю. Что это? — снова спросил сержант.

— Ух! Это такое! — Таракан смачно утерся, не отрывая глаз от руки, — такое, бля!

— План?

— Не-ет, это другое, кру-уче... Я щас покажу...

— Дай сюда! — сержант накрыл ладонью руку Исы — и то, что там было, спрятал в карман. Повернулся спиной и направился к краю площадки; Расул отошел вслед за ним.

— Зачем-ем, товарищ сержант?.. — Таракан все держал навесу свою руку и плелся вслед за сержантом.

— Отдохни!

— Отдохни, умрешь, — добавил сквозь зубы Расул.

— А-а-а! — истошно вскричал Таракан.

— Хорош дуру гнать, — обернулся Семенов.

Таракан замолк, но не унялся. Он подскочил сзади к сержанту и стал цепляться пальцами за плечи его и за руку, пытаясь вытянуть ее из кармана. Сержант повернулся и толкнул его в грудь:

— Не напрягайся, я же сказал!

Таракан бессильно опустился на корточки. Он смотрел на сержанта со злобой; потом, прищурившись, загадочно улыбнулся. Бабаев так и сидел в стороне, тыкая пальцем в песок.

Солнце было в зените. Над полями и склонами оно зависло ослепительным диском и светило жестоко, словно стремясь извести под собой все живое. Воздух нагрелся, и песок стал невыносимо горяч — попряталось все, что могло дышать и передвигаться; даже вечно усталые сухопутные черепахи и холодные телом змеи, и те углубились в темные норы, птицы покинули бесцветное небо — все скрылось и замерло до заката; лишь ползучие ядовитые насекомые: всякие пауки, каракурты, скорпионы, фаланги — они-то не оставили поверхность земли, они были по-прежнему агрессивны и так же быстро перемещались, перебирая ножками раскаленный песок.

— Бабаев!

Молодой солдат встрепенулся, схватившись за автомат. Он увидел перед собою носы пыльных разбитых ботинок: сержант стоял на бугре и смотрел сверху вниз:

— Спишь, да?

Часа два назад, разуваясь, сказал он Бабаеву: «Так, слушай. Мы отдохнем, а ты не вздумай заснуть. Ты — наблюдатель!» И солдат залег за бугром, уперевшись плечом в откос, — стал осматривать то склон, уходящий к бахчевым полям, то поворачивал голову к гребню, ведущему к соседней вершине, — и смор-



ценное, мокрое от пота лицо настойчиво выглядывало из-под ворсистого полущария каски; но скоро солдата сморзло, и он уткнулся каской в песок.

— Товарищ сержант, я не спал, — жалобно простонал Бабаев.

— Ладно. Давай поднимайся. Пойдете вниз, на огневую.

Семенов спустился с бугра и обошел углубление, на дне которого развалился Расул. Лицо его было накрыто каской, руки откинута за голову.

— Расул! — сержант подождал немного и склонился над ним: — Расул...

Слышь, Расул!

Солдат рукой отодвинул с глаз каску и взглянул на сержанта спокойно, буд-то и не спал вовсе:

— Ну?

— Надо идти вниз, на огневую. Во-первых, сказать, что мы здесь — все нормально, а во-вторых, похавать что-нибудь надо, как ты считаешь?

— Ну и что дальше?

— Давайте, вы с Бабаевым... а мы с Тараканом останемся здесь.

— А может, наоборот?

— Нет, мне нельзя. Мне надо быть здесь.

— Ладно, — Расул потянулся и стал обуваться. — Бабаев! Сын узбекского народа... готов ты?

Бабаев стоял на бугре с автоматом за спиной. Расул отряхнулся и с разбега заскочил на бугор, хлопнув Бабаева по плечу:

— Пошли!

Они прыгнули с бугра и направились вниз. Семенов постоял немного, следя за ними, потом обернулся: Таракан лежал на дне дальнего углубления, скрючившись, словно от острой боли в желудке.

— Таракан! — крикнул Семенов.

Солдат не шевелился. Сержант постоял еще и прилег за бугор, достал из пачки влажную мятую сигарету и закурил. Из другого кармана вынул толстый блокнот, купленный им в безвозвратно далекие времена, когда они находились почти что в самом центре Европы; опухшее дождливое небо — то ли дождь, то ли просто туман, аккуратные домики с черепичными крышами, мощные бульжником мостовые, запущенный пруд с позеленелой пресной водой, объятый ветвями старых деревьев, угрюмых дубов, а может быть, вязов... Это потом уже осквернил он тисненную обложку блокнота надписью: «Blood Note-book» и стал вносить туда всевозможные записи и отвратительные рисунки... Семенов раскрыл блокнот, взял огрызок карандаша и под каракулями недельной давности поставил дату — 20-25 июня 1980 года; начал быстро писать.

Первым отправили Конягу, Славика Конева. Они были друзьями. На третий день у него вскрылась желтуха. Она всегда начиналась по-разному: старший офицер батареи, тот, например, желтел постепенно. Но это было еще весной, ранней и быстрой, во время самого первого рейда.

Конягу прихватило покруче. Они трое суток бомбили горный кишлак километрах в ста от Самангана; хороший, богатый кишлак. Там они объедались дынями, арбузами, сливами и виноградом: прочищали огрубевшие от сухарей и консервов желудки. Достали еще кое-что и немало, этим заведовал Таракан. Он давился и кашлял, когда проводил очередную «политинформацию», говорил, что «литературка» — что надо! а он был в этом деле профессором.

Коняга все валялся скрюченный под машиной: ничего не ел, кроме антибактериальных таблеток из своей индивидуальной аптечки, только пил кипяченую воду, но тут же выблевывал ее под скат, и присыпал песком, чтобы мух было меньше, а затем опять вползал под машину. На седьмой только, кажется, день опустилась «вертушка», и на этом его мучения кончились.

Но на утро, после перемещения, когда они занимали новую огневую, Борька напоролся на нож. Борька, из отделения связи. Он тянул телефонный кабель от НП к огневой, проходил мимо какой-то землянки с округлой крышей; она

\* «Кровавая записная книжка» (англ.) — прим. ред.  
Наблюдательный пункт.

находилась на склоне и была похожа на крохотный глиняный планетарий; да, там еще торчали длинные жерди, обвешанные пестрыми лоскутьями. Борьку подвело любопытство, он просто ввалился туда посмотреть — и не успел охнуть. Потом оказалось, что этот сарай ни много, ни мало, а самое что ни на есть священное место. Ребята рассказывали, как они делали из него решето. Того душмана с ножом, побывавшем в Борькином животе, выволокли на свет за ноги, и кто-то еще сказал: «Да простит нас аллах...» Таракан тогда обернулся и жалобно простонал, что аллах всемогущ и прощает того, кто ему молится; тем временем пальцы его, Таракановы пальцы, все шарили в одежде убитого, не гнушаясь крови чужой; Таракан стоял на коленях перед мертвым афганцем — и даже лица их были похожи, иссушены горячим восточным солнцем и тем, что искал Таракан в одежде убитого.

Семене в это время нес Борьку. Вместе с Лешкой они тащили его на плащ-палатке вниз, к огневой. Склон был крутой и сыпучий, они то и дело сбивались, спешили, но старались не терять равновесия, падать было нельзя; в их руках стонал Борька и плакал, он не хотел помолчать. Все твердил про какого-то старика беззубого, у которого он спрашивал время и ударил прикладом в лоб, еще на прошлой боевой операции возле Баглана; а часы потом все равно продул в карты, уже в лагере. И Семенов будто чувствовал сам Борькин пульс в горячечной мокроте, неприятный утробный запах и думал: да пусть себе говорит — так ему, наверное, легче... На огневой уже поднялся столб пыли, навалился всепроникающий вертолетный рокот, растаскивая одежду, сдирая каску и выдавливая из сознания голос Борьки.

— Эй... эй...Семен!.. Эй!.. — Таракан оказался рядом с сержантом, толкал его и пытался заглянуть ему прямо в глаза.

— Ну что тебе?

— Мне это, Семен... разговаривать хочу...

— Ну что, говори. — Сержант спрятал в карман блокнот, откинулся на спину.

Таракан жадно и жалостливо смотрел на него:

— Все, я все... Мне теперь жить нельзя, моя жизнь скоро кончилась... Я не могу жить, если анаши нет... Семе-ен, — Таракан чуть не плакал, — раскумариться надо... Ой! как надо, — он еле растаскивал языком ссохшиеся губы.

— А, вот ты о чем, — вздохнул сержант. — Нет, ничего не получится. Сам не буду и тебе не дам.

— Не-ет, Саша! Ты меня не можешь понимать...

Таракан отвернулся, темные глаза его налились слезами.

— Я курить не могу, — простонал Иса. — Я больше курить не могу анашу, сойду с ума... У меня была девушка, девушка была... Дома, в Тюркмении...

Таракан заплакал. Узкое и смуглое лицо его еще более растянулось, подбородок совсем отвалился и задергался на весу. Иса закрыл руками лицо и уткнулся в горячий песок.

Сержант поморщился и взял его за плечо:

— Ну, хорош, хватит! Бросишь ты свою анашу, вернешься домой... все путем будет...

— Не-ет! — Таракан плакал навзрыд. — Совсем я пропал, я дома курил, ой — как много курил! и здесь курю... Думал, здесь не буду курить, завяжу...

— Не кури, тебя кто заставляет... Завязывай здесь; нам бы только вернуться домой, там все будет, как надо.

Таракан приподнялся. Он вдруг перестал плакать, он смотрел на сержанта, прямо в глаза, и тянулся к нему трясущейся тощей ладонью:

— Анаша не отпустит. Она никого не отпускает, и тебя не отпустит. Все мы пропали, мы все здесь умрем...

— Да пошел ты! — сержант оттолкнул Таракана, поднялся и посмотрел вниз: Расула с Бабаевым не было. — Черт! Что они там, провалились?

Таракан все сидел за бугром и не двигался. Затянутые стылой пленкой глаза его были раскрыты и никуда не смотрели, губы пересохли и побелели; сержант снова раскрыл блокнот.

Расул возник неожиданно: вынырнул из-за бугра весь взмокший, тяжело дыша. По бокам у него висели две распертые противогазные сумки, в руках он нес коробку телефонного аппарата, которая тут же упала в песок.

— Фух! Замучился в корень! Нагрузили, как ишака... Ну как вы здесь, живы?

— Живы, а где Бабаев? — спросил сержант.

— Остался внизу, ждет тебя. Скворец сказал, чтобы ты сам спустился, потянете связь... да, он еще там говорил про какую-то объяснительную.

Расул сбросил с себя автомат, противогазные сумки; одна из них повалилась на бок, из нее выкатилась вздутая банка консервов; сержант наклонился и поднял ее:

— Что это?

— Горох, — Расул сплюнул.

— Что, ничего нет больше?

— Если бы было... Там еще сахар...

— Воды-то набрал хоть?

— Набрал. — Расул расстегнул ремень, на котором рядом с саперной лопаткой висели три фляги: брезент чехлов был еще мокрым. — Ну, ты идешь?

— Нет, поедим сначала.

Сержант вытянул из ножен штык-нож и, усевшись на бруствер, ловко вскрыл одну банку, затем вторую. Расул устроился рядом, достал из внутреннего кармана ложку и принялся ее тщательно обтирать тыльной стороной полы кителя.

— Иса, пошли есть! — крикнул сержант.

Иса ничего не ответил.

— Таракан! Слышишь, нет? Есть пошли, говорю, — повторил сержант.

— Не буду, — послышалось из дальнего углубления.

— Черт с ним, его дело, — пробурчал Расул. — Пусть поддыхает с голоду, если так хочет, нам-то что...

Он уже налегал на горох, время от времени отхлебывая воду из фляги. Сержант взял в руки вторую банку, отогнул потемневшую изнутри крышку: горох был сухим и жестким, скрипел на зубах, застревал комьями в горле. Семен потянулся за флягой:

— Что там на огневой? — спросил он Расула.

Тот прожевался неторопливо, хлебнул воды:

— Как всегда, бардак!.. Занимали пешим по конному, четыре раза.

— Ну так, начальников много...

— Да, а теперь этим начальникам все до лампочки! Набили свои животы — и пузырьки на середину\*... — Расул резко поднялся и запустил пустую банку к противоположному склону. — А зачем, спрашивается, походная кухня? Зачем ее брать с собою на операцию — тут ведь хавать не надо... Выдали! По банке гороха и по три куска сахара... Ура! ура! Все довольны, все смеются... Да я, знаешь, где видел такую войну?! — Расул снова присел на бруствер и принялся грызть сахар, заливая водой. — Нет, я рубать не хочу. Что я, салабон, что ли? Меня нехватка не мучает, просто надоело все это. Изо дня в день — одно и то же! Есть каша — нет хлеба, есть хлеб — нету каши. Вот и горох вам еще — жрите с сахаром!.. Пехота, которая должна охранять нас, балдеет, а мы сами таскаемся по горам, как козлы... Скорей бы домой!

— Ладно, — Семенов поднялся. — Пошел я, короче. Ты остаешься за старшего. Да смотрите — не спите...

— Да пошел ты — знаешь куда! Чо, начальник, что ли, большой? Мне плевать, мне до дембеля осталось сто дней... Вон — Таракан, ему еще долго служить, а мне скоро домой!

Сержант ничего не ответил. Закинул за спину автомат и зашагал вниз по склону. Солнце уже перешло за зенит, но палило ничуть не слабее. Округлые спины песчаных гор совсем облупились и обесцветились, они были пустынные,

\* Устойчивое выражение артиллеристов, означающее точно горизонтальное положение.

и только крохотная фигурка сержанта одиноко маячила, словно назло палящему солнцу.

Вчера оно светило особенно сильно. На дневном изнурительном марше то и дело глох двигатель: то ли зажигание барахлило, то ли прерывалась подача бензина. Санька-водитель лишь беспомощно упирался в баранку руками: «Проклятье!» И они отвалили в конец колонны, плелись в самом хвосте вместе с тыловиками и афганской артбатареей.

Километра за полтора до реки началось — духи\* поддали жару. Стали гасить их пулеметами с обеих сторон. У брода образовался затор, скопились машины, будто груды металлолома, перегораживая друг другу проезд. Каждый норовил проскочить побыстрее, а командовать, как всегда, оказалось некому. В нем, в сержанте Семенове, заговорил поначалу какой-то там голос, вроде, долг службы: ты, мол, сержант, офицеров-то нет, вот и командуй — организуй переправу... Но в конечном счете ему оказалось плевать; нет, он не боялся, просто надоело все это. «Вперед», — сказал он водителю Саньке. Но тот посмотрел на него удивленно: «Куда вперед-то, не видишь, что ли?..» «Плевать, вперед! Ты не понял?..»

И Санек притопил газ. Они вклинились в толчею, непрерывно сигналиа и втыкаясь буфером в борта тягачей, допотопных ЗИЛков из афганской артбатареи; въехали в воду — капот впереди заходил ходунком, двигатель взвыл, надрываясь; машину бросало с булыжника на булыжник — и он, сержант Семенов, в кабине, ухватившись руками за поручни, повторял про себя: «Должно же это когда-нибудь кончиться!», а когда их круто бросило влево и они врезались в пустой бензовоз, заглохший на середине реки и накренившийся, когда они его опрокинули, как порожнюю бочку, едва не пустив по течению, а через несколько километров их остановил на дороге старлей из штаба дивизии, перекошенный злобой, и начал кричать сиплым мальчишеским голосом, Семенов уже ничего не говорил про себя и не думал, он захлопнул помятую дверцу и сказал Саньке: «Поехали», и добавил устало: «Где же он раньше-то был, мудило...» — а старлей все орал им вдогонку, стоя возле своего БРДМа, что отдаст всех под трибунал; вот тогда-то Семенов снова почувствовал, что ему уже на все наплевать.

Они вернулись в Маймене поздно вечером. Расположились возле временно-го аэродрома: там уже стояли два десантных взвода на БТРах, потом подкатила афганская артбатарея, дымила походная кухня, и наконец-то им отдали почту. Семенов смотрел на взволнованный почерк матери и не мог представить, как это плачет отец. Мать писала: «Ну вот, сыночек, мы и серебряную свадьбу отпраздновали...» Семенов ел из побитого котелка горячую гречку с тушенкой, но видел перед собою оставленный гостями праздничный стол: куски торта на широком округлом блюде, кофейные чашки — полупрозрачные, словно бумажные, с голубыми летящими бригантинами — и отца, своего отца, одиноко сидящего. Семенов видел широкий затылок, нелепый ежик волос, седину... даже обвисшие щеки отца и заостренный подбородок он мог представить, но слезы... Посыльный сказал, что Семенова срочно требует к себе командир батареи; еще передал, ухмыляясь ехидно, чтобы Семенов захватил с собою шелковую веревку и кусочек мыла. «Пусть сам вешается, — ответил сержант, — и ты с ним на пару, щегол! Вам еще долго служить, а мне осталось сто дней...»

Комбат восседал на складном стульчике под масксетью, натянутой специально между бортами машин; даже в полутьме Семенов почувствовал снова, как пынут здоровьем багровые щеки комбата и наголо стриженный череп. На складном же артиллерийском столике неярко светила японская керосинка, над которой вился рой мошкар; стоял чайник, пустая банка из-под сардин в масле, с краю лежала свернутая вчетверо карта.

Комбат звучно отхлебывал горячий зеленый чай из алюминиевой кружки, рядом стоял офицер в полевой новенькой форме: серьезный, подтянутый. Комбат даже не взглянул на сержанта, когда тот поднырнул под масксеть и доложил по всей форме: дескать, явился по вашему приказанию. Зато старлей выставил вперед подрубленный подбородок и громко сказал: «Вот он, тот самый сержант!»

\* Душманы.



И только тогда комбат повернулся лицом. «Ну что, Семенов, — так начал он. — Я смотрю, ты окончательно оборзел... Десять суток ареста, понял? — Семенов молчал. — Понял, я спрашиваю?» — «Так точно!» — «После того, как вернемся в лагерь... а пока отстраняю тебя от должности командира расчета: с сегодняшнего дня ты — рядовой, понял?» — «Так точно!» — «Машину передашь Прохнину, потом подумаем, что с тобой делать. Иди... да, напишешь объяснительную и отдашь командиру взвода, прапорщику Скворцову, иди!»

Сержант удалился. Над рядами машин, бронетранспортеров, орудий уже светила звездами ночь, умолкал обычный раскатистый шум привала: негромкий солдатский говор, брэнчание ложек и котелков, случайные отголоски гитары... Леха сказал: «Ничего, прорвемся», — вместе с ним они лежали на тенте транспортного «Урала» и смотрели в звездное небо. «Да, ты прав: сейчас главное — выбраться отсюда, — согласился Семенов, — а там...» И они принялись снова мечтать о доме, о том, как заживут на гражданке. Лешка хотел жениться, его подруга ждала: «Женюсь, заведу семью — и забуду все к черту!» И Семенов стал рассказывать ему про Маринку, о том, как они с ней попали под дождь, бежали босыми по площади, а потом стояли на крыльце его школы и целовались... Потом послышались выстрелы, одно за другим всасывающие шипения ракетниц: небо осветилось огнями, и послышались крики: «Ура-а!»

Семенов с Лешкой соскочили было на землю, схватились за автоматы, но потом поняли все — это лихая пехота начала праздновать Сто дней до приказа. «Слушай, сегодня же точно — Сто дней! — выкрикнул Леха и тряхнул Семенова за плечо. — Давай-ка и мы поддадим жару!» — «А что, это надо...» И они принялись палить в небо трассерами. Леха даже сбегал к своей машине и принес пару ракетниц... Фейерверк продолжался не менее четверти часа, и когда уже стал угасать, впереди центрального ряда пронзительно заголосили сигналы машин и дневальные наперебой прокричали общее построение.

В свете фар перед строем застыла мрачная, приземистая фигура самого командира дивизии, полковника Степанова; он командовал всей операцией. Рядом с ним стояли еще несколько офицеров, среди них и тот самый старлей, и комбат, и личный телохранитель командира дивизии — высокий, широкоплечий прапорщик. Полковник совсем не громко сказал: «Вы что, одурели?» — но всем было слышно, даже на флангах, хотя в строю стояло не менее тысячи человек. Откуда-то из темноты вытолкнули испуганного бойца в серой войлочной форме афганской армии. На голове бойца белели бинты. «Вот, смотрите, — сказал полковник, — вот это на вашей совести...» По строю прошла робкая волна смеха. Оказалось, что прогоревшая, раскаленная гильза осветительной ракеты, падая обратно на землю, угодила бойцу прямо в голову — и это было на их совести...

Было уже далеко за полночь, а за два часа до рассвета колонна бронетранспортеров, машин с зажженными фарами медленно проследовала по тихим улочкам Маймене и направилась к подножию округлых песчаных гор.

Позади остались уступы сыпучего склона, сержант перебрался через невысокую насыпь, углубился в тенистый запущенный сад и теперь, озираясь по сторонам, торопливо срывал с ветвей и совал за пазуху подернутые нежным налетом переспелые сливы... Но вот он услышал сначала далекий, но все нарастающий и вот рокошущий прямо над головой шум вертолета; сквозь просветы в листве промелькнула тяжелая тень пузатого корпуса и унеслась в сторону развернувшейся по полю артбатареи.

Фронт батареи представлял из себя дугу, протяженностью сто пятьдесят — двести метров. Шесть установок\* стояли на одинаковом расстоянии друг от друга в полной готовности к залпу. Обгоревшие добела сорокаствольные коробки пакетов были приподняты и развернуты под углом к пыльным кабинам «Уралов», на дверцах которых пестрели размашистые красные звезды; машины стояли вдоль дуги параллельно, отвечая яркому предзакатному солнцу одинаковым блеском механических узлов и деталей. В каждом из двухсот сорока стволов ба-

\* Имеются в виду установки реактивной артиллерии БМ-21: некоторое подобие «Катюш», только более современное.

тарей ждало своего стартового импульса двухметровое, стокилограммовое тело снаряда, — это были шесть первоклассных в своем уничтожительном совершенстве стальных творений, сочетающих в себе последние достижения механики, оптики, электроники.

Возле каждой машины валялся на земле свернутый тент, чуть подальше был выкопан неглубокий, короткий окоп, называемый капониром; от пакета стволов спускались изогнутые кронштейны прицельных приспособлений, напротив которых были выставлены на треногах артиллерийские коллиматоры\*.

В центре дуги, на одинаковом приблизительно расстоянии от каждой машины, также виднелась тренога — на ней буссоль\*, рядом располагались складные стульчик и стол с планшетом и картами: здесь было место СОБа — старшего офицера батареи. Но вот уж два месяца, как он был с желтухой отправлен в Союз, замены не было — обязанности старшего офицера батареи временно исполнял прапорщик Скворцов. Позади треноги и столика был выкопан специальный окоп, где постоянно дежурил на рации связист.

Вертолет завис над огневой и начал снижаться. Из-под машин повысовывались солдаты, помятые, разомлевшие, скорее из любопытства следившие за тем, что повлечет за собой столь неожиданное явление. Вертолет коснулся земли у правого крыла батареи, как раз в нескольких метрах от первой машины, грузно осел на шасси, длинные лопасти винтов его постепенно прекратили вращение и, прогнувшись, обвисли; распахнулась округлая дверца, из которой тут же выпала ступенчатая подножка, и вот — появилась высокая, прочная фигура прапорщика-телохранителя, а за нею и сам командир дивизии. Он был невысокого роста и полон, однако подвижен, одет в просторный, рыжеватого цвета маскировочный костюм без знаков отличия, лишь на голове у него была пилотка с офицерской кокардой.

Не оборачиваясь к свите из нескольких офицеров, которые один за другим выпрыгивали на землю, он осмотрелся, сказал что-то прапорщику и быстрым шагом направился к боевым машинам.

— Батар-рея!.. — с другого крыла громыхнул голос прапорщика Скворцова. Он вынырнул из-за шестой установки, замер, как вкопанный, и наконец, словно отпущенная пружина, понесся к своему месту СОБа, спотыкаясь на рытвинах и придерживая на бегу то кобуру, то полевую сумку. Огневая мгновенно ожила: из-под машин выбирались солдаты, торопливо надевали на себя каски, ремни, разбирали оружие и бежали со всех сторон строиться.

«Батар-рея! — теперь Скворцов прокричал перед строем. — Р-райсь! Смир-равнение на!..» Правая ладонь Скворцова воткнулась в висок, левая прижалась к полевой сумке. Он попытался изобразить на пахоте некоторое подобие строевого шага и замер наконец перед командиром дивизии.

— Товарищ полковник! Реактивная батарея заняла огневую позицию согласно... — Полковник поднес ладонь к правой щеке. Скворцов окончил доклад и умолк. Он стоял перед командиром навтыжку, ожидая команду «вольно».

— Товарищ прапорщик, — неторопливо начал полковник и обернулся к стоящей позади него свите, — насколько мне помнится, я давал приказ по дивизии: всему личному составу, включая и офицеров, — всем сбрить усы. Вам об этом известно?

— Так точно! товарищ полковник! Известно! — Скворцов напряженно держал вытянутую ладонь у виска, строй позади него замер.

— Так в чем дело, почему не сбрили; — полковник нахмурился. — Вы что, Чапаев?.. — Офицеры свиты за спиной командира дивизии снисходительно ухмылялись.

— Никак нет, товарищ полковник! Скворцов!

Командир дивизии приподнял брови несколько удивленно, постоял немного, будто задумавшись, вдруг повернулся и направился к вертолету. Вся его свита — за ним.

\* Оптические приборы для наведения артиллерийской системы в цель.

Скворцов медленно опустил руку, глядя им вслед. Со стороны обмякшего строя послышался говор, смешки...

— Какого стоите? По местам всем! — громко скомандовал прапорщик. — Командирам расчетов — раздать шанцевый инструмент, лопаты... Рыть всем укрытия для машин, с аппаратами, в полный профиль... Чтобы к ночи все было готово, пройду сам проверю.

Солдаты разошлись по местам. Во главе с командирами расчетов они уселись курить под тенью развернутых в боевом положении установок; время от времени поглядывали в сторону вертолета, который с яростным рокотом снова поднялся над огневой и скоро скрылся за округлыми спинами гор; солдаты проводили его равнодушными взглядами.

Да, у прапорщика Скворцова были усы: его гордость и предмет неустанной заботы. Жесткие и размашистые, соломенного цвета усы были одной из причин, мешающих его служебному продвижению. Скворцов давно уж окончил заочно педагогический институт и еще, как он сам говорил: «экстерном военный колледж», однако погоны в лейтенантскими звездами ему не очень-то торопились вручать; вероятно, скверный характер Скворцова был тому главной виной. Этот высокий, широкой кости прапорщик непременно оказывался участником тщательно скрываемых от солдат попок, ночных карточных игр и потасовок среди молодых офицеров, хотя по натуре был нелюдим. Высокомерие и наплеватьство вселенских размеров будто отпечатались на его худосочном лице в виде постоянной ухмылки и крупных, обвислых складок пониже ввалившихся щек; голова его была начисто выбрита, но вот эти усы с лихвой восполняли недостаток растительности, выведенной по причине опасности вшей.

Сержант нехотя подошел к крайней, шестой установке: командир сидел в тени на развернутом брезентовом тенте и под музыку чистил свой пистолет. Черные, вороненные части механизма были аккуратно разложены на брезенте рядом с выдавшей виды «Спидолой», постоянной спутницей прапорщика Скворцова; кругом валялись пустые консервные банки, огрызки арбузов и дынь, скомканые обрывки бумаги...

— Звали, товарищ прапорщик?

Скворцов повернулся к сержанту, едко прищурившись:

— А-а, Семенов, пришел... — в своих широченных и грубых руках с побитыми узловатыми пальцами он держал разряженную обойму от пистолета и потемневший от металла и масла лоскут. — Ты знаешь, кто это поет?

Сержант взглянул на приемник.

— Понаровская, товарищ прапорщик.

— Правильно, Семенов, Понаровская, — спокойно согласился Скворцов. — Хорошая баба, я бы... Кстати, ты объяснительную принес?

Не услышав ответа, Скворцов посмотрел на сержанта, который осматривал песчаные склоны и небо.

— Что молчишь? Объяснительную принес, я спрашиваю? — повторил Скворцов свой вопрос, протирая вынутую из обоймы пружину.

— Никак нет, товарищ прапорщик, не принес... Ручка не пишет, паста кончилась.

Скворцов отложил пружину и неторопливо поднялся на ноги:

— Паста, говоришь... — он приблизился вплотную к сержанту и пристально его осматрел.

— Ну правда, товарищ прапорщик...

— Твоя жизнь скоро кончится! Слушай, Семенов, ты что передо мной тут выламываешься, как девочка... Ты знаешь, кто ты есть из себя? — Скворцов брезгливо поморщился. — Ты есть дерьмо!

— Полегче, товарищ прапорщик...

— Чего легче? Чего легче? — вскричал Скворцов.

Сержант отвернулся. Он неотрывно следил за тем, как в синем глубоком небе одиноко парила хищная птица; ему было плевать, он молчал.

— Пшел вон! — скомандовал прапорщик. — Чтобы через пять минут была объяснительная!

Сержант не двигался.

— Чего стоишь, ты не понял? Иди и пиши объяснительную!

— Я не знаю, что там писать.

— Не знаешь! А как калечить боевую технику, знаешь!? Наших, кстати, афганских товарищей по оружию... боевую технику... — Скворцов аж захлебнулся внезапно вспыхнувшей злобой. — Все пиши, то будет твой приговор!

— Есть, — еле слышно ответил Скворцов и пошел прочь.

Возле окопа, где на радию дежурил связист, его уже ждал Бабаев, сидя рядом с катушками телефонного кабеля. Сержант взвалил на плечи одну из них и молча пошел по полям к подножию песчаного склона.

Солнце давно перешло за зенит и потянулось к противоположным вершинам. Они отпечатались на ярком небе мрачными зубьями. Солнце умерило жар, и природа вздохнула с облегчением, праздником. Как будто послышалась музыка из ближнего мирного кишлака; на узкие, пыльные улочки, кое-где объятые зеленью, выбежали смуглые лицами дети, медлительные призраки женщин в чадрах уселись перед домами сеять или молотить муку для пресных лепешек — это будет нехитрый постный ужин мужьям, которые вернутся, когда будет совсем темно, усталые, немногословные; поедят, вознесут хвалу аллаху и отойдут ко сну; сейчас же мужья-дехане, подняв на плечи мотыги с длинными рукоятями, покинули дома и пошли к полям, чтобы отдать все силы и пот свой грубой и тяжелой работе, с истинно мусульманским терпением копать и копать, расчищая и углубляя каналы, или готовить землю для новых посадок.

Семенов помнил то ощущение незваного гостя, возникающее всякий раз, как только они въезжали в кишлак или в город. Было ль то утро, или пора предзакатная. Особенно в городе всегда было шумно и людно. Распахнуты лавки: мясные, галантерейные, овощные, — все они жили, дышали, издавали звуки и запахи, совсем не понятные им, чужестранцам. Смуглые люди в просторных полотняных штанах и длиннополых рубахах, женщины со скрытыми лицами были заняты обыкновенным повседневным трудом: торговали или нянчили детей, жарили мясо, пекли лепешки или катили в легких и звонких повозках. Они лишь изредка поглядывали на колонну пыльных, защитного цвета машин; и хотя в их глазах почти не было страха, Семеновым овладевало странное и уже знакомое чувство: словно на правдивый, живо и красочно выполненный холст городской жизни, какой-то негодяй выплеснул пузырек черной туши. Семенов чувствовал в себе неловкость незваного гостя. Ему было стыдно перед этими людьми и за машины, нещадно изрыгающие грохот, дым, страх, и за оружие, которое держал он в руках, и за беспомощность в смуглых лицах.

Что они думают, глядя на нас? — пытался понять Семенов. — На машины с красными звездами и парней, голубоглазых, светловолосых, которые устало смотрят на них из кабин, из откинутых люков... Что они думают? Ведь способны же думать они! Кого они видят в нас: врагов, друзей?.. Не могут они все до одного быть душманами, как не могут быть все люди убийцами. Добродетель — вот основной закон отношений между людьми, главное условие выживания рода человеческого. И эти люди, наверняка, в большинстве своем добры и честны — иначе и быть не может! Так какими мы предстаем в их глазах?

Тогда еще Семенов искал ответы, он даже пытался представить себя на месте этих людей: утром, распахнув окно в своей комнате, он видит вдруг, как по улице движутся танки, бронетранспортеры, на перекрестках стоят солдаты чужой страны... Да что там! Теперь он понял, уже ничего не поделаешь; теперь ему было плевать.

Зиндан. Та самая яма. Три на три метра и три в глубину. Она служит теперь в полку гауптвахтой. Ее выкопал один солдат по фамилии Борщак. Он был самым первым арестантом после того, как они вошли в эту забытую богом страну и расположились в долине лагерем. Полкач\* объявил ему пятнадцать суток ареста.

Всему виной была Катька, невысокая стройная сучка с обвислыми ушами и

\* Командир полка.

мягкой, короткой шерстью. Никто точно не знал, откуда она появилась в расположении батареи: может быть, сама забрела, а может, ее привезли водовозы или кто-то другой. Важно то, что в движениях ее, во влажных выразительных глазках было что-то теплое, нежное, девичье. Особенными симпатиями она пользовалась среди молодых офицеров и прапорщиков. Они брали ее к себе в палатку, кормили с офицерского стола и часто спорили перед отбоем, под чьей кроватью она уляжется спать. Солдаты между собой поговаривали, что, мол, они, офицеры, имеют поочередно с Катькой тайную связь, однако никто не был против, если она крутилась под ногами на кухне или, развалившись на передней линейке в тени под «грибком», пасла на носу мух.

А ефрейтор Борщак был прописан на кухне, куда его посылали дежурить чуть ли не каждый день. Это было вонючее место совсем на отшибе, вблизи туалетов, населенных навозными жуками и мухами; под закопченной масксетью стояли три походных котла, окруженные с одной стороны баками для воды и горючего, а с другой — высокой раздаткой, сколоченной из деревянных щитов, которые после каждого приема пищи наряд обскабливал штык-ножами. К себе в палатку Борщак возвращался глубокой ночью и уже на рассвете опять уходил разжигать котлы. Днем он слонялся по лагерю в засаленной робе с автоматом через плечо, свободный от распорядка и дисциплины, отвечая на оклики и насмешки своим неизменным: «пшел вон!»

В тот день после завтрака замполит собрал всех в большой, самой чистой палатке и начал политзанятия. В расположении дивизиона царил мертвая тишина. Как вдруг со стороны кухни послышался выстрел, все выскочили из палатки и увидели Катьку, бегущую на трех лапах и громко скулившую. Тут же объявили общее построение полка на передней линейке, из строя вытолкнули растерянного Борщака — уже без ремня, без погон, и вот тогда-то Распущенный (именно так они прозвали командира полка) объявил приговор: «Этот, понимаете ли, распущенный солдат... Нет, он не фашист! Он хуже фашиста!.. ведь он выгащил пулю, а в гильзу забил бумажку, чтобы собака не сразу подохла, а подольше помучилась... Начальник штаба, у нас есть гауптвахта?» — спросил он стоявшего рядом майора. «Никак нет, товарищ полковник!» — ответил майор. «Дать этому распущенному солдату лопату, пусть роет себе зиндан! Объявляю пятнадцать суток ареста!»

И вот ровно семь дней Борщак копал на жаре себе яму рядом с караульной палаткой и оставшиеся восемь суток сам в ней сидел. Потом он рассказывал, как ему там приходилось. Утром и вечером — еще ничего: можно спрятаться в тень под отвесными стенами ямы, зато когда солнце в зените... Ночью не легче — холодно, к тому же всякие ползучие гады: змеи, скорпионы, фаланги — они тянутся к людскому теплу. Накрывшись с головою шинелью, Борщак так и проживал в углу своей ямы ночь напролет; и, услышав негромкий глухой удар, шуршание или шипенье, вскакивал, хватал стоявшую под рукою лопату и начинал что есть силы плашмя бить по дну.

Теперь Семенов знал точно, что и ему не избежать этой участи; теперь его могли спасти лишь ранение или смерть.

Он остановился и посмотрел назад: шуплая фигурка Бабаева, обвешанная с обеих сторон тяжелыми катушками кабеля, маячила далеко позади, где-то на середине склона. Молодой солдат тянул лямку одной из катушек — он прокладывал связь от огневой к вершине; время от времени останавливался и смотрел назад, на то, как ложится на склоне раскрученный провод, поправлял рукою козырек ободранной каски, спадающей ему на глаза, и с поразительным для такого крохотного тела упорством продолжал восхождение.

Сержант подождал, пока Бабаев сравняется с ним, забрал размотанную до половины катушку, взял сам протягивать провод. Освободившийся от тяжелой ноши солдат пошел рядом с ним.

— Ну что, устал, Бабаев? — сержант взглянул на солдата: будто бодрый еще старичок в военной выцветшей робе шел рядом с ним.

— Не, — сморщенное лицо Бабаева расправилось жалкой улыбкой, — не особенно так...

— Тогда штаны подтяни! — По коротким, косолапым ножкам молодого солдата штаны постоянно свисали крупными складками. — Родом откуда?

— Я? — Бабаев преданно посмотрел на сержанта.

— Ну не я же...

— Узбек я, — ответил солдат.

— Я думал, японец...

— Не, — солдат засмеялся, — узбек.

Он немного отстал, подтягивая штаны и расправляя сбившиеся под ремнем полы кителя; он не расслышал того, что снова спросил сержант.

— Я спрашиваю, город какой?

Бабаев втянул голову в плечи, будто опасаясь удара, и торопливо ответил:

— Шёндор...

Теперь сержант молча шел впереди и смотрел себе под ноги, но вот обернулся:

— Как ты сказал?

— Шёндор, город, — солдат попытался заглянуть в лицо своему командиру. — Шёндор...

— Ну и как там у вас? В смысле, хороший город?

— Так, — Бабаев улыбнулся застенчиво, — не особенно так...

— А работал где? Или еще нигде не работал?

— Работал.

Сержант усмехнулся:

— На базаре дынями торговал...

— На кирпичном заводе работал.

— На кирпичном, ого! Так ты пахарь, выходит, — сержант обернулся и опять осмотрел крохотное, выносливое тело Бабаева. — Глину мешал?

— Не, глину не мешал, а мешает первый участок... а наша печь...

— Значит, на печи работал.

— Не, транспхартер...

— Тебя не поймешь: печь, транспортер, — сержант оглянулся. — Ну и что? Тяжело, наверное, было работать?

— Не, не особенно так, — Бабаев все улыбался своей жалкой улыбкой.

— По тебе видно... Зачем пошел-то туда, другого места не было?

— Отец там работал.

— На пенсии щас?

— Не, — солдат опустил голову и утерся свободной рукой.

— Все работает?

— Не, помер, — ответил солдат.

Сержант задержался. Бабаев упорно шел в гору, не оборачиваясь, со спокойным, смиренным лицом.

— Извини, я не знал... С матерью живете теперь? — Бабаев кивнул. — И сколько вас осталось у матери?

— Я и брат, два...

— Старший брат?

— Младший и старший, два.

— Так вас трое, выходит!

— Пять: сестра еще, младший совсем маленькая...

— Восемь, значит, — сержант покачал головой. — Ну и сколько ты там зарабатывал, на своем кирпичном заводе?

— Тхериста рублей.

— Матери все отдавал?

— Не, книжка клал.

— Себе на книжку, — сержант удивился. — А зачем тебе деньги?

— Калым платить надо, жену надо...

— Вот оно что! И много уже накопил?

— Не, не особенно так.

— Значит, после армии пойдешь опять на свой транспортер?

— Работать надо, за жену платить надо.

— Ясно. — Семенов вздохнул и посмотрел на молодого солдата, подумав, что ему еще долго служить: доживет ли? Вдруг улыбнулся лукаво и толкнул товарища в бок. — Подругу-то уже присмотрел? Какую-нибудь там кызымочку... Что молчишь?

Бабаев отвернулся смущенно. Некрасивое и словно высушенное южным солнцем и непосильной работой лицо его ожило и обмякло, крохотные темные глазки увлажнились и заблестели, губы собрались мечтательно в трубочку, будто его посетила любимая с детства мелодия.

— Как звать-то подругу? — спросил сержант.

— Айгюль, — с нежностью ответил Бабаев.

— Красивая?

— Не, не особенно так...

Солдат шел вслед за сержантом смущенный и тихо улыбался мыслям своим. Он не заметил, как командир его простонал зло и беззвучно. Семенова опять захлестнуло то далекое пестрое лето, они с Маринкой попали под дождь — бежали босыми по площади, крепко схватившись за руки, словно боясь потеряться в хаосе струй, о, это был настоящий, сокрушительный ливень... Но в этой стране дожди шли очень редко и то лишь зимними месяцами, а летом почти никогда, и дожди эти были серыми, безвкусными и скучными.

Вверху, над бугром, выросла упругая, приземистая фигура Расула. Широко расставленными ногами он стоял на вершине, каска его была сдвинута на затылок, опущенный прикладом к земле автомат он держал рукою за ствол; позади этого, будто застывшего силуэта, над темным массивом каменных гор небо наполнялось яркими цветами заката.

— Что долго? — пробурчал недовольно Расул.

— Ждали, пока это проклятое начальство смоеется; самого командира дивизии принесло... Вертолет, видел? — сержант прошел мимо Расула и спустился в крайнее углубление: сбросил с себя две пустые катушки. — Бабаев, подай-ка мне вон — аппарат!

Бабаев опустил свой автомат на катушку и кинулся к плоской коробке телефонного аппарата. Расул подошел и остановился на краю углубления.

— Таракан обкурился, с-сука! — процедил он сквозь зубы.

— Где он? — сержант схватился зубами за конец телефонного кабеля и резко дернул его; потом выплюнул изо рта изоляцию.

— Вон! Лежит в своей яме, тащится...

— Кто-о тащится, — послышался гнусавый голос Исы: он появился за спиной у Расула в расстегнутом кителе, без каски, без ремня, без оружия.

Сержант отложил в сторону коробку телефонного аппарата и посмотрел на лицо Таракана. Оно было бледным, отекившим: узкий лоб отсвечивал мелкой испариной, глаза блестели, словно затянутые маслянистой пленкой; по углам неживого, серпообразного рта тянулась грязная слюнь.

— Приведи-ка себя в порядок, Иса, — сказал сержант и вздохнул. — А ты куда смотрел? — он обратился к Расулу.

— Я должен караулить его!.. Убью, падла! — Расул дернулся к Таракану, который плелся к дальнему углублению; там остались его каска, ремень, автомат... Сержант схватил за плечо Расула:

— Стой! Не надо, теперь ничего не поделаешь.

Расул с ненавистью взглянул на Ису. Но тот улыбался самозабвенно, застегивая ремень и расправляя под ним полы грязного кителя.

— Где же он взял? Я ведь все забрал у него, — сержант нащупал в кармане штанов длинную щепку с пухловатым наростом.

— Он не все нам отдал. Скрыл, сволочь! — Расул еще раз брезгливо взглянул на Ису, который устало опустил на корточки, подтянув под себя автомат. — Я должен здесь торчать с ним всю ночь, кругом духи... Ну, Таракан, падла!..

— Может, дадут команду к перемещению, — заметил сержант. — Сегодня стрелять батарея не будет, это уж точно. Огневая засвечена, зачем здесь торчать...

— Ты думаешь?! — оживился Расул.

— Да, возможно, к ночи смотаем удочки. Здесь больше делать нечего.



— А зачем тогда связь?

— Черт его знает.

Сержант подошел к оставленному на песке телефонному аппарату и склонился над ним. Расул постоял немного, еще раз взглянул на Ису; потом гаркнул Бабаеву, чтобы тот занял свой пост за бугром да смотрел в оба! Особенно на соседнюю вершину и гребень; затем подобрался к сержанту и присел рядом с ним.

— Подсоединяешь?

— Да, — сержант взялся за оголенный конец телефонного провода и тут же, вздрогнув, отбросил его: — Черт, бьет!

— Током бьет, — ухмыльнулся Расул. — Кто-то там крутит ручку уже, хотя нас услышать.

— Ща-ас, — сержант вдавил кнопку сбоку телефонного аппарата и вставил в отверстие оголенный конец.

Аппарат затрещал.

— О, я ж говорил! — обрадовался Расул.

Сержант откинул плоскую крышку, остановился вдруг и посмотрел на Расула:

— Возьми ты...

Расул осторожно взял трубку с продолговатой клавишей «прием-передача» и крохотным микрофоном на нижнем конце, улыбнулся важно, прислушался.

— Да, слышу...

Сержант подтолкнул его:

— Кнопку нажми!

— Да, слышу, слышу! — Расул нахмурился и посмотрел на сержанта. — Семенов, вот он...

Из трубки слышался хриловатый голос Скворцова; сержанту вспомнилась снова та одинокая хищная птица, парившая на самом дне бесцветного неба. Он обратился туда, надеясь ее отыскать; но небо оказалось пустым.

— Где объяснительная? — Скворцов в третий раз повторил свой вопрос; щелкнул переход на прием. — Ты меня слышишь? Что молчишь, я тебя спрашиваю! Где объяснительная? — Снова щелчок. — Ладно, Семенов... Ты меня слышишь?! Запомни, я тебе не завидую... Ты меня понял?! Лучше не возвращайся оттуда! — Щелчок, связь прекратилась.

Сержант опустил трубку.

— Что он сказал, перемещение будет? — Расул вопросительно смотрел на сержанта. — Что молчишь? Что он тебе сказал?

Сержант крутанул ручку динамо, поднялся на ноги:

— Где Таракан?

— Что он тебе сказал, трудно ответить... Перемещение будет?

— Не знаю.

— Так Скворцов что сказал? Что он хотел?

— Объяснительную.

— Так ты не написал, что ли? — удивился Расул; он сидел на песке и смотрел снизу вверх на сержанта. — Ну, ты даешь! Так и не написал! Нарываешься!.. Что, трудно написать, что ли? Виноват там, исправлюсь...

— Все это без толку. Что бы ни написал — все равно останешься в дураках... — сержант отвернулся. — Тут не знаешь, доживешь ли до завтра...

— Во! Зато объяснительная останется.

— Где ты сам признаешь себя сволочью, — сержант осмотрелся. — Таракан! Черт бы тебя подрал...

«Сам ты такое слово», — послышалось из дальнего углубления.

— Сюда иди, говорю! — сержант скинул ремень с тяжелым подсумком, сбросил каску и присел на песок.

Со стороны помрачневших каменных гор неспокойно повеяло ветром; небо гасло и опускалось все ниже, загораясь на западе кровавой колыбелью заката. Он уже вовсю полыхал, хотя огромному раскаленному диску было еще далеко до холодных вершин.

— Что хочешь? — спросил Таракан, глядя куда-то в сторону.

— Сядь-ка сюда.

Сидевший поодаль Расул обернулся. Таракан пожал худыми плечами и опустился на корточки.

— Ну и что: как она действует, твоя вонючая дурь? — сержант приподнялся и достал из кармана щепку с наростом, завернутую во влажный, грязный лоскут.

Глаза Таракана расширились и заблестели, длинный подбородок отвис — и бесконечной длины улыбка расплзлась по лицу.

— У-у, Саша, это ведь такой кяйф!..

— Короче, показывай, пока я не передумал.

Расул приподнялся и, всунув руки в карманы штанов, нехотя подошел и остановился рядом с сержантом.

— Это не чарз, это ханька и чарз, — пробурчал Таракан, осторожно приняв у сержанта щепку с пухловатым наростом.

— Короче, — отрезал сержант.

— Это надо так делать, — Таракан достал из кармана спичечный коробок. — У-ун-ски... — Иса пробурчал что-то на своем языке; взял щепку двумя пальцами левой руки, а правой вытащил спичку. — Поджигаешь так, нагреваешь... И дышать надо! Дышать!

— Щепку нагревать — и дышать этим дымом, так что ли?

— Да! Так, так!

— Ну так — поджигай, короче; поехали...

Расул ухмыльнулся:

— Что, не видишь, тащится он... По мозгам ему, чтобы лучше соображал.

— Не! — вскричал Таракан. — Так нельзя! Так не будет хватать на троих! Кяйфа не будет хватать! У афганцев много кяйфа — они так делают... Нам так не надо!

— Что ты нам мозг долбишь?! — Расул толкнул Ису в спину. — Тебе сказали, короче!

— Не надо, Расул, — вмешался сержант. — Таракан, ты ведь и так — обкуранный... Тебе, наверное, хватит...

— Я не курил, — заскулил Таракан. — Совсем мало курил...

— Вот и завязывай, ты ведь хотел завязать... Дай сюда эту гадость, я ее выброшу.

— Он ее все равно найдет, — ухмыльнулся Расул. — Из-под земли выкопает.

Таракан испуганно прижал к животу кулак, где была драгоценная щепка; умоляюще смотрел то на сержанта, то на Расула:

— Последний раз... последний раз, клянусь! Завтра завязывать буду...

— Доживи до завтра, — злобно вставил Расул. — Ну, короче, что надо делать?

— Сигарета забивать надо, — Таракан все не отпускал свой кулак, опасливо поглядывал на товарищей.

— Как план, что ли?

— Да, да! Как план... Крупалить надо, табаком смешивать... У-у, это такой кяйф, балдеть будете!

— Кяйф-кяйф!.. — передразнил Таракана Расул. — Ну, какого сидишь! Сигарета есть? Забивай!

Таракан раздал потный кулак, осторожно взял щепку и зажал ее между худыми коленями; приподнялся и достал из кармана сплюсненную, влажную пачку «Донских».

Сержант взглянул на Расула:

— Ты что, тоже будешь курить? Ты же не куришь...

— Я посмотрю.

Семенов откинулся на остывший песок, подсунув под голову руки. Он обратился к потемневшему небу и подумал о том, как он проведет остаток этого дня и ночь. Сейчас опустится за ним та звонкая цепь и повлечет его за собой — в ароматный и пестрый мир, душа окунется в тихое прозрачное озеро, где не будет ни грязи, ни вшей, ни ругани; ни этих потных, уставших лиц его несчастных товарищей, напуганных и обманутых, как и он сам, не ведающих, что они дела-

ют и что будет завтра; куда канет Скворец со своей объяснительной вслед за зинданом, которого, Семенов предчувствовал, ему уж не миновать.

Объяснительная, Скворец и зиндан — все это будет потом, на рассвете; а пока — сладкие мысли потянутся одна за другой, вплетаясь в пеструю канитель и увлекая его за собою. Да, он будет ходить по этой земле, двигаться по песку в разбитых солдатских ботинках и делать там что-то, но думать он будет совсем о другом: об одной лишь Маринке и видеть ее лицо; а душа — она понесется разутой по площади и потеряется вместе с Маринкой в звенящем хаосе струй.

Конечно, думал Семенов, ночь предстоящая будет нелегкой. Ему непременно придется ответить за жизни этих людей: Таракана, Расула, Бабаева, если с ними что-то случится, но в то же время он знал, что лично от него ничего не зависит, — все, что ни происходит вокруг, творится как бы само по себе, независимо от человеческой воли; и он, если бы даже очень хотел, не в силах что-либо изменить. И самое страшное — ему так казалось, это понимали и все остальные, и Скворец, и комбат, и даже полковник Степанов... Если Семенова ожидает зиндан — ничего не поделаешь, если кому суждено погибнуть на этой земле, то это случится.

Да, он дал себе слово — не прикасаться к этой мерзкой траве, но что он мог сделать? Видит бог, если он есть: он не хотел этого.

— Пацаны, пацаны! Я глюк словил — приколитесь... Крупалики видите, видите?

На своей сморщенной, тощей ладошке Таракан раскрыл тот пухловатый нарост и теперь водил плавно рукою из стороны в сторону: крупинки пересыпались, точно живые.

— Во, во! Видите, крупали?.. Это мы! Приколите, мы это!

Крупинки бегали по ладошке, готовые вот-вот соскочить, но Таракан их удерживал ловко, стараясь не обронить ни одной.

— Убегать хотите? Не-ет... Теперь табак будем сыпать...

Семенову вдруг показалось, будто в числе других, таких же крохотных, голеньких человечков, он носится по ухабистой грязной поверхности, спотыкаясь о складки и отчетливо различая кожный узор; носится, толкается, старается ушмыгнуть, но неведомая сила удерживает его — и он опять возвращается в эту безумную круговерть.

— Табак теперь сыпать, табак...

... И ему на плечи, на голову обрушивается масса пахучих ветвей; и вот уже ничего он не видит — одно лишь колкое коричневатое месиво, из которого он так же пытается выбраться; жалкие голоса крохотных сотоварищей тонут во всепоглощающем шелесте — и все вокруг движется; непреодолимая сила то заталкивает его на самое дно, то выносит наружу.

— Лучше всего папираса... Сигарета — плохой штacketник!

... И вот уже вместе с ветвями, вместе с измученными сотоварищами его заносит в огромных объемов трубу: он несется по ней и вдруг останавливается — сверху сыпятся ветви, все плотнее, плотнее; и он задыхается в неестественной позе, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой. Жить ему осталось мгновения — скоро в трубу ворвется горячий, удушливый дым, но пока огонь дойдет до него, его голое тело прокоптится, иссохнет, выпустив дух; и этим духом насытится некое высшее существо, некий монстр, и получит от того не благодное, а тлетворное наслаждение.

Эту каждодневную и обычную для себя операцию Таракан проделал ловко и вдохновенно, так, что темная горка табака с крупной почти мгновенно перекочевала в бумажную трубочку; наконец он сдул с ладони оставшуюся пыль:

— Птичкам! Они ведь тоже кяйфавать хотят, — Таракан улыбнулся самозабвенно, вскрывая корявые корни сгнивших зубов.

Расул наклонился и забрал у него из рук готовую папиросу:

— Дай, посмотрю!

С серьезным видом он ее осмотрел, понюхал и равнодушно вернул обратно. Неотрывно следивший за ним Таракан выхватил папиросу и тут же засунул в рот:

— Подвзрывать?

Расул осмотрелся и увидел молодого солдата, который, хоть и лежал за бугром, там, где ему приказали, повернул голову и напряженно следил за товарищами.

— Туда смотри! — гаркнул Расул, указывая на гребень, ведущий к соседней вершине.

Бабаев отвернулся и прижал к груди автомат.

— Взрывай! — скомандовал Расул Таракану.

— Поджигай, — добавил сержант.

Таракан поправил во рту длинный ствол папиросы и поднес к нему на спичке огонь; шумно втянул в себя дым и зажмурился; передал папиросу Расулу, который затаился тоже, закашлялся и передал косяк дальше — сержанту.

Семенов знал, что самое главное в таком деле — настрой. Надо сообщить себе неторопливый и последовательный ход ласкающих мыслей, а там они сами унесут тебя в такие сокровенные дали, куда обыкновенному смертному путь навеки закрыт.

Прежде чем откинуться на спину, он осмотрел еще раз вечернее небо, каменные кручи, над которыми разносилась огненная стихия заката; потом обратился взглядом в другую сторону — вниз по песчаному склону, где в слабой фиолетовой дымке, застелившей лощину, виднелся дугообразный строй смертоносных машин. «Сегодня стрелять не будут, нам всю ночь здесь торчать», — подумал Семенов и понял, что ход тех ласкающих мыслей безвозвратно нарушен.

Он достал из истертой пачки мятую сигарету и закурил, снова и снова осматривая лощину и помрачневшее небо, почерневшие скалистые кручи, распустившие глубокие щели морщин, будто изможденные старцы, — и ему показалось вновь, что он слышит ту далекую, непонятную музыку мирной жизни дехкан.

Семенову захотелось зарисовать все это на бумаге, как он делал не раз во время бесконечных стоянок. Но полевая сумка осталась в кабине, — расчетом теперь командует деревенский олух Прохнин. Вот он-то служака! Ему прикажи только — и он будет стрелять по кому угодно и не задумываться над тем, что посылает двухсоткилограммовые железяки с тротилом на головы, быть может, беззащитных стариков, женщин, детей... Но причем здесь Прохнин? Небо и горы... Да, зарисовать все это — как бы сейчас это здорово вышло! — Семенов откинулся на песок и закрыл устало глаза.

Изо всех сил он старался восстановить зыбкую цепь тех ласкающих мыслей, отчаянно хватался то за одно, то за другое звено. Но мысли уносились совсем не туда, будто их гнали беспокойные, враждебные ветры... Он вспомнил, что надо думать об одной лишь Маринке, и стал повторять про себя ее имя. Но и это не помогало: знакомое до боли лицо взглянуло с ужасом и мольбой о пощаде, а затем расплылось, померкло; вконец измучившийся Семенов забылся — и тут увидел перед собою длинный точеный цилиндр снаряда и заветное имя, написанное размашисто его же рукой...

Часовой стал расталкивать командиров расчетов в полпятого. Все так же темно — лишь спокойно, открыто смотрели звезды, но близость рассвета уже зазвучала натянутой стрункой прохладного ветерка. Со всех сторон вспыхнули фары, взвыли моторы. Семенов с Санькой успели помыться, поливая друг друга из канистры водой, почистить зубы и даже сгонять к походной кухне за чаем. Пили его на ходу — сначала колонна шла медленно и почти не трясло. Потом с шоссе съехали — помаленьку стало светать; колонна набрала скорость.

До огневой добрались только четыре машины. Четыре — из шести. Предельная скорость, труднейшая дорога в горах; вернее, отсутствие всякой дороги.

Первой остановилась машина третьего расчета. Это случилось на пятом по счету бросе, километров за тридцать до огневой. От сильной тряски по каменистому руслу реки у третьей «бээмки» отвалилась насадка выхлопной трубы, и в мотор залилась вода. Машина заглохла прямо на середине реки, так и осталась стоять под молчаливым надзором бронетранспортера.

И уже за несколько сот метров до огневой, на последнем крутом подъеме,

вышла из строя первая боевая машина. Никто не понял, что с ней случилось: она вдруг покатила назад, вторая — не сбавляя хода — ее обошла, и Скворец перескочил на ходу из машины в машину. Колонна с ревом выбралась на площадку под головокружительной отвесной скалой; внизу — как на ладони — разворачивалась блеклая перспектива ущелья.

На подготовку к стрельбе — пятнадцать минут. Слетают тенты, с воём разворачиваются и ориентируются боевые машины, наводятся в цель. Цель — сто один: крутой склон и горный кишлак на склоне, скопление живой силы противника... Пехота наткнулась там на засаду и отошла, перекрыв все входы и выходы.

На огневой — беготня. Сам комбат, весь в мыле, носится от машины к машине: проверяет установки. Скворец стоит возле треноги с буссолью, громко выкрикивает поправки. Рядом с ним — замполит, тоже кричит и кому-то грозит кулаком. Так бывает только перед настоящей стрельбой!

И вот Скворец бежит на правый фланг батареи, поднимает красный флажок: «Батарея залпом! Расход — сорок...».

Семенов летит в кабину: только бы выстрелить первым! Во что бы то ни стало! Врубают массу. Откидывает крышку датчика стрельбы, устанавливает стрелку под цифру «сорок»... Быстрее — надо же первым, только первым!

...Где ключ стрельбы? На веревке, на шее. Распахивает ворот, но вдруг понимает, что для того, чтобы снять ключ, надо расстегивать ремешок и скидывать каску... Долго! С силой обрывает веревку, вставляет ключ в датчик, поворачивает на установку «Авт.» — загорается красная лампочка. Все нормально — есть контакт! Задержав руку на ключе стрельбы, неотрывно глядит на прапорщика Скворцова с поднятым вверх красным флажком... Надо уловить первое движение падающего флажка, чтобы выстрелить первым, только первым...

Двумя сутками раньше, на пункте зарядания в Пули-Хумри, Семенов написал красной краской на двухметровом теле снаряда: «Маринка» — и затолкнул его в первый ствол; это был ей подарок ко дню рождения.

«...Огонь!» Вся земля покачулась, кругом все горит. Над огневой поднялся столб дыма и пыли; реактивная батарея давала залп.

Но на мгновение раньше, как только красный флажок едва дернулся вверх, чтобы потом резко упасть, пальцы Семенова вдавились в ключ, — «бээмочка» вдруг напряглась, вздрогнула, залилась огнем и запела — первый снаряд, а за ним и другие пошли в цель... Заложило уши, застучало в висках: это ничего! Это обычные перегрузки во время залпа... главное — первый!

Ошалелый, он выпрыгнул из кабины на землю и рвущимся голосом во весь дух проорал: «Четвертый! Стрельбу закончил! Расход — сорок!» Темная армада снарядов, заслоня синий блеск неба, наперерез ущелью, уходила в направлении далекого, голубоватого за утренней дымкой склона... Вот там вспыхнула точка, потом еще и еще, и вдруг все слилось, перемешалось... наконец — с тяжелым, со всепроникающим содроганием донесся общий вздох взрывов; над ущельем поднялась темно-коричневая завеса...

А Семенову все хотелось кричать и кричать: он не четвертый, он — первый! Он первым окончил стрельбу, а значит, и начал. Ему хотелось докричаться через горы, леса и моря до своей северной родины, где осталась Маринка. Сообщить ей о своем необычайном подарке — такого ей никто не дарил и никогда не подарит.

Мог ли он думать тогда, что пройдет немногим более часа, их поздравят с удачной стрельбой, сообщат, что все снаряды «легли в копеечку» — и ни один живой человек не успел покинуть горный кишлак; тут же, на огневой, замполит проведет комсомольское собрание батареи и объявит всем благодарность, дав обещание представить к наградам, — и потом они двинутся дальше. Вытянувшись в колонну, машины войдут в ущелье и с раскатистым ревом проедут узкой горной дорогой над тем самым местом.

И все они: голубоглазые светловолосые парни — командиры расчетов, водички и водители — все они повысовываются из открытых окон кабин, из-за пыльных брезентовых тентов... Доблестные артиллеристы-реактивщики, едва не герои... Все они увидят дело рук своих и ужаснутся.

Много веков до них здесь жили люди. Таскали подолами землю на горные кручи, чтобы выращивать хлеб; поднимали на скалы желтые комья глины для постройки жилищ и воду, чтобы выкупать детей и дать напиток скотине, — эти темные люди цеплялись за жизнь, как могли, и бесконечно восхваляли аллаха за его милости. Пришествие светловолосых голубоглазых парней они приняли наказанием за грехи свои и как призыв — искупить их. И тогда мужчины оставили мотыги с длинными рукоятями, отполированными за долгие годы тяжелой работы, и взяли в руки оружие — старинные ружья дедов и прадедов. Мужчины вознеслись хвалою аллаху и направились узкими тропами в горы.

Но злорада слепая и свирепая. И насильно пролитая кровь влечет за собою новую кровь, чаще — невинную. Праведен тот, кто встал защитить свой дом и семью от врагов, но тот, кто потянулся к оружию не по велению сердца, а по чьему-то приказу или из корысти, — да будет тот проклят! Тому не будет покоя ни сейчас здесь, ни потом.

Склон был снесен. Огневая лавина искорежила и обуглила все, что теснилось на узком каменистом уступе; там были дома, убогие, мазанные глиной лачуги, смотревшие на ущелье крохотными квадратами окон, и, может, даже — деревья. Теперь все это было взрыто и выжжено, и остатки сброшены вниз — к бурлящему руслу горной реки. Семенов не знал, были ли там люди. Но зато он отчетливо видел другое: бурое пятно среди рыхих камней, вокруг которого были разбросаны во все стороны темные клочья, похожие на растерзанные туши животных; вероятно, на рассвете там несли табун лошадей — теперь лишь парили в небе хищные птицы.

Им владело еще отчасти то утреннее возбуждение, оно не прошло. Семенов покачивался на ходу перед пыльным щитком приборов и думал о том, как он будет рассказывать своим друзьям на гражданке об этой стрельбе, о том упоительном утреннем состоянии, какими словами... И, когда он высунулся в окно и увидел на склоне следы уничтоженного кишлага, он вдруг растерялся, не в силах что-либо уяснить для себя.

Нет, в нем поначалу даже вспыхнула гордость: ведь это он! Вот плоды той настоящей мужской работы, к которой он был не просто причастен... Но как-то неожиданно гордость уступила место испугу, возник сам собою вопрос: «А что мне будет за это?...» Семенову вспомнилась его нелепая детская выходка со снарядами — и он совсем потерялся, ему стало вдруг тошно: «Зачем? Что я делаю?».

Только потом он поймет, что его обманули, опять обманули. Что ему и только ему, а не кому-то другому, не расплатиться за это всю жизнь. Он позволил изгадить в себе самое главное. То, ради чего стоило жить.

И даже больше того: он почувствовал себя конченным человеком. Будто с его согласия и у него на глазах изнасиловали его любимую девушку... Именно таким мужчиной он познает себя; да, Маринку его изнасиловали: и замполит, и Скворец, и комбат, и еще кто-то там — в общем, все почти, кто командовал им, кто стоял над простым сержантом Советской Армии.

— Мои были ребята — резкими! — послышался из дальнего углубления сиплый голос Исы.

Сержант приподнялся: начинало темнеть. Сбоку виднелась спина и согнутые ножки Бабаева, который все лежал за бугром и наблюдал; с другой стороны, облокотившись на снятую каску и уложенную поверх плащ-палатку, развалился Расул. Прямо напротив него сидел Таракан, подобрал под себя по-восточному ноги.

— Они были ребята резкие! — со свирепым лицом Иса рассказывал о своих дедах и прадедах.

Когда он находился в обкурке, в нем иногда просыпалась воинственная независимость предков, и теперь, сидя перед Расулом, он сообщил важно, что его прадед и дед были душманами, басмачами, короче. Лицо Исы стало жестоким, он презрительно отвернулся.

Тьфу! Они пилят хотел на границу, скачал от самого Файзобада в Каракалпакский степь... Они тут был! — Таракан ткнул пальцем в бугор под собой. — Караван был, оружие был, опиум был — много опиум был...

— Опиум для народа, — вставил Расул, сладко и снисходительно улыбаясь.

— Не-е, они не курил анашу. Опиум не курил. — Таракан презрительным взглядом обвел сидящих. — Курит дехкан, грязный ублюдки... А дет мой не был ублюдки, мой дет не курил анашу...

Семенов приподнялся и сел: в голову лезла всякая всячина. Ему показалось вначале — одутловатое небо давит на него темнотой. Но это было не так. Темнота отходила от низа лощины и подбиралась к вершине по склонам, оголяя ее, словно ствол могучего дерева, раскидистая крона которого нависла над головою беспокоейством и страхом, давила неотвратимым приближением ночи.

Стряхивая с себя бред Таракана, сержант попытался подняться. Надо было встать и пойти, и сделать там что-нибудь... Он уперся в песок ладонью, приподнялся, но тут же откинулся. Сладостная волна окатила его, распирая грудь и омывая прохладой внутренности. Земная пружина ослабилась в теле, руки и ноги обмякли, а слух занимал щебет птиц, лесные ранние трели... Сержанту сделалось жутко: он понял, что уже ни на что не способен.

Иса тем временем оставил в покое воинственных предков, речь завел о другом — так же расплывчато и коряво, жестикулируя судорожно, шепелявя беззубым наполовину ртом... Семенову хотелось не слышать его и отвлечься; но тем живее и ярче представлялись события, о которых с болезненным жаром говорил Таракан, все сильней и сильней распаяясь.

То была давняя очень история об одном восточном царе, братоубийце. Он был подвержен гордыне и непомерному сластолюбию. Красивый и стройный юноша. Однажды явился к нему дух умертвленного брата в облике человеческого и стал служить ревностно чревоугодию и плоти молодого царя. В царской кухне готовились великолепные кушанья: сначала — из мелкой дичи и кролика, потом поймали и закололи к обеду лесного оленя, и наконец — на третий день подали царю на стол роскошный паштет из свиньи, облагороженный пряностями и щедро украшенный зеленью и плодами.

В те далекие времена люди питались одной лишь растительной пищей, царю по вкусу пришлось новые кушанья. Последнее блюдо привело в восторг изнеженного правителя. Желая отблагодарить слугу, царь обещал исполнить его любое желание.

И вот неутоленный дух брата в образе человеческого, пользуясь расположением молодого царя, приблизился к нему и поцеловал его дважды: в одно плечо и в другое. И исчез вдруг, а из плеч молодого царя, по обе стороны головы, извиваясь, выползли два холодных отростка и раскрыли змеиные пасти, и зашипели.

Тщетно царь силился извести мерзких тварей, осквернивших его прекрасное тело. Перепробовал всякие способы. Сулил несметные богатства тому мудрецу, кто сумеет избавить его от напасти. Однажды сам взял меч в руки, дабы отсечь от себя ненавистную нечисть, но остановил его мудрец и сказал, что тогда он умрет, что гады эти произрастают от самого сердца.

Так жил до глубокой старости со змеями на плечах царь той богатой страны, откуда восходит солнце. И много принес он вреда своему народу: каждый месяц при полной луне к нему приводили двух самых красивых и стройных юношей, а на бойню гнали двух отборных баранов. Отсекали головы и тем и другим, чтобы, смешав мозги юношей и бедных животных, приготовить еду для царя, потому как мудрец тот еще и сказал: «Корми их человеческими мозгами и, может быть, они издохнут сами».

Вот какую историю рассказал Таракан, восседая величественно на песчаном бугре, скрестив под собою тощие ноги. Он сидел спиной к востоку, и от этого лицо его было освещено последним, сумрачным светом уходящего солнца. Оно уже скрылось за каменными громадами, и лишь вытянутое лицо Таракана да пара перистых облаков на краю потухшего неба высвечивались изнутри неяркими, но все еще живыми лучами.

Сержант стоял на коленях перед коробкой телефонного аппарата. Иса не прерывал свой рассказ ни на миг, и Расул, напряженно застывший, тоже не в си-



лах был обернуться, даже когда за спиной трещал телефон; теперь они ждали, что им скажет сержант.

Он опустил трубку, неловко поднялся на ноги:

— Все, прекращаем базар, уходим, — сержант покачнулся.

— За-аче-ем, — простонал Таракан.

Расул встрепенулся, отыскивая ботинки:

— Перемещение...

— Нет, — ответил сержант. — Сворачивать огневую не будут; а нам надо перебраться на ту вон вершину, — сержант кивнул в сторону. — Ночевать будем там.

— Та-ам!.. А-ха-ха!.. — Расул разразился истерическим смехом.

— У-у, облом, — Таракан схватился за голову и уткнулся в песок.

Сержант устало опустился на корточки, закрыв руками лицо.

— Как там?.. Ничего себе! — вдруг воскликнул Расул. — Там же духи... Духи кругом!

— Нет никого там, — ответил сержант и поднялся. — Если бы там был кто — с вертолета бы видели.

— Кто тебе сказал? Кто сказал? — Расул вскочил на ноги и оказался перед сержантом.

— Скворец, кто еще; не сам же я это придумал.

— И приказал топтать на другую вершину?..

— Расул, — сержант осторожно нагнулся, поднял каску, ремень. — Короче, хорош... Надо идти.

— Да я, знаешь, где видел вас со Скворцом?!

Расул зашвырнул с размаху пустую консервную банку и сам при этом чуть не упал: «Ой, черт!.. Куда идти?! Скоро совсем темно!»

— Надо быстрее, — сержант с трудом застегнул ремешок каски. — Еще успеть окопаться... а сколько у нас саперных лопаток?

— Две! — неожиданно подал голос Бабаев.

— Молчи, с-сын! Убью! — гаркнул Расул.

Он стоял на бутре босой и расстегнутый: будто загнанный зверь, злобно озирался по сторонам.

— Собирайся, Расул, — повторил сержант и подошел к Таракану: тот повалился и лежал на боку, скрючившись.

— Таракан, тебе сто раз повторять...

— Мы не успеем! — вскричал Расул. — Звони Скворцу! Скажи, что мы не успеем! Скажи!.. Скажи, Таракан умирает!

— Я его сейчас оживлю. — Сержант пнул Таракана в бок: — Поднимайся!

— Не трожь его! Иди звони, я сказал! — подскочив сзади к сержанту, Расул схватил его за плечо...

Но тот вырвался и, пригнувшись, отпрыгнул в сторону, успев поднять с земли автомат:

— Стоять!

Расул замер. Сержант неторопливо опустил автомат, взявшись одной рукой за ствол, а второй за приклад:

— Бесплезно...

— Звони, — Расул утерся грязной ладонью. — Скажи: мы здесь остаемся, раньше надо было.

— С ним только что связалась пехотная рота, на них там нападение было — обстреляли с таких же вот гор... Майора с солдатом убили... И нас здесь накроют: вершина та выше — мы, как на ладони. Надо идти туда.

Сержант нагнулся и принялся поднимать Таракана: тот не двигался, только мычал. Расул выругался, блеснув в полутьме металлическим зубом:

— Я м-маму вашу!.. — отбросил плащ-палатку, схватил свою каску, ремень. — Ну, сыны!.. Достали старого! Бабаев! Таракан, падла! Я сейчас тебя оживлю!

Сержант бросил скрюченное тело Исы и обернулся к Расулу:

— Обуйся сначала!

— Молчи! — Расул сел на песок и принялся обуваться. — Таракан! Человечая мозг — твою мать! Я сейчас тебя накормлю паштетом, — он торопливо затягивал обрывки медного провода, служившие ему вместо шнурков.

Таракан молча поднялся, стал осматриваться обалдело вокруг:

— Где моя автомат?

— Щас я тебе покажу! — отозвался Расул, запихивая плащ-палатку и рассыпанные ракетницы в противогазную сумку.

Сержант отсоединил телефон и, укоротив длинный ремень, перекинул его через голову:

— Я возьму пулемет. Таракан, твои — коробки с патронами, Бабаев потянет связь... Расул, тебе придется взять пустые катушки.

— Чо, самого молодого нашел?

— Больше некому. Автомат свой я сам понесу, — сержант поправил за спиной коробку телефонного аппарата, присел и взялся за пулемет: — Ну что, ничего не забыли? Пошли!

Четверо солдат короткой вихляющей цепью спустились с вершины и вышли к сыпучему гребню. Изогнутым ребром соединял он две соседние вершины, крутые скаты которых уходили в непроглядную тьму, — и вот четыре крохотные фигурки солдат двигались по единственно светлой и узкой полоске.

Опять впереди шел сержант, неся на плечах пулемет. Следом маячила шуплая фигурка Бабаева — за ней тянулась нить телефонного провода; коренастый Расул своей упругой походкой шел замыкающим, не давая разорваться недлинной цепи, руганью и пинками подгоняя спотыкающегося то и дело Ису.

Распятый на пулемете Семенов почти сразу почувствовал, как немеют руки, а ноги становятся ватными. То могучее дерево, поднявшееся от земли с приближением ночи, давило теперь густой и развесистой кроной втрое, лишая воли. Ноющая боль от неподвижно поднятых рук потянулась к плечам — и, наконец, острым клином вонзился в спину. Сержант простонал. Ватные ноги отказывались нести его, подгибались при каждом шаге, распозались носками в стороны. Но он знал, что нельзя останавливаться — будет хуже, да и времени для отдыха нет, — и он шел, и чувствовал, как последние силы покидают его ослабшее тело.

Но мало того, словно в насмешку, явились те сладкие мысли, которыми он тешил себя час или два назад, когда Таракан готовил эту отраву. Ведь он думал тогда, что будет все совсем по-иному, что — да, он будет ходить по земле, передвигаться в трехмерном пространстве и делать там что-то, но души его здесь не будет, она окажется рядом с Маринкой, надо только почаще повторять ее имя... Но стало еще трудней и страшней. Маринка взглянула на него с детским ужасом и мольбой о пощаде. И теперь он даже не решался произнести ее имя. Она растворилась, исчезла — и ему никогда не вспомнить лица ее и улыбки.

Он лишился самого главного — воспоминаний. Безумный горячий дождь, когда они бежали босыми по площади, и она оказалась перед ним в его комнате совсем голой; она вовсе вымокла, и он сказал ей, что лучше снять и просушить одежду... Тяжесть размокших и отвердевших джинсов с кожаной латкой на поясе — «Лес»; тогда он не знал, куда их поставить, и пристроил в углу, рядом с мольбертом, и включил калорифер, а мокрую желтую майку расправил на крашенных белой эмалью секциях батареи. Они были скользкими и холодными, ведь летом батарее не топят, — и рисунок грустной собачьей морды на майке стал совсем жалким... А он стоял и смотрел в окно: на серые деревья и серые лужи, на серый проспект и людей, обернутых в целлофан и клеенку... Он стоял, не находя в себе силы сказать что-либо и повернуться, лишь взял с подоконника смятую пачку «Шипки» и хотел закурить; нет, он не смел повернуться.

Дождь уж кончился, и послышался тихий голос Маринки. Она спросила, что же ей делать. И вот тогда только он повернулся и увидел ее: голую и замерзшую. И ему захотелось согреть ладонями ее округлые плечи, склонить голову и тронуть губами те нежные узелки — они были сжаты и вздернуты, и разбегались в разные стороны, а мокрый букет на светлом матерчатом треугольнике расплылся совсем. И тогда Семенову стало стыдно и больно, и заломило в груди, — и он

быстро сдернул теплое покрывало с кровати, обернув и отринув то, что принадлежало ему одному.

Все это ушло, теперь это смыто июльским ливнем, занесено горячим песком. Лишь всякие ползучие гады: змеи, скорпионы, фаланги и прочая нечисть — перемещаются по выжженной, забытой богом земле. И все же — все это было! Этого никто у него не отнимет, он вправе вспоминать об этом сколько угодно, до самой последней минуты...

— Вставай! Ну-ка, вставай, сволочь! — послышалось за спиной.

Расул заставлял подняться обессиленного Таракана. Оставалось совсем немного — изогнутое ребро сыпучего гребня уже позади; солдаты поднимались по крутому склону к вершине, выступающей из темноты светлым наростом; они приблизились к вершине на расстояние выстрела.

— Так, Бабаев, бросай это здесь, — сержант указал на катушки. — Дальше пойдешь один... хотя нет, я пойду сам.

Бабаев послушно кивнул. Он стоял рядом, тяжело дышал и рукавом утирался.

— Ложись сюда, да смотри в оба! — сержант снял автомат и нащупал рукою торчащую из подсумка ракетницу. — Если что, прикроешь меня... Хотя, скорее, там нет никого... Я дам сигнал и выйду навстречу.

Держа автомат навесу, сержант двинулся вверх по склону. Он поднимался большими шагами, пригнувшись, и скоро его подвижная тень совсем слилась с волнистой поверхностью склона. Бабаев лег на песок и приподнял со лба козырек каски.

Семенов точно не знал, был ли кто на вершине. С вертолета могли не заметить, да и пролетал он здесь давным-давно... А если там все-таки есть кто-то?.. Сержант еще больше пригнулся — вот сейчас он увидит всплеск выстрелов, светлые струи пуль прошьют темноту, и точечные удары, наплыв за наплывом, разнесут его грудь, руки и ноги; отбросят назад — и он упадет, зарывшись в песок. Семенов даже почувствовал, как скрипит на зубах этот самый песок.

По рассказам он знал, что сразу больно не будет. Больно станет потом, а вначале будет только удивительно как-то и страшно. Но Семенов все же надеялся, что успеет что-нибудь предпринять — шприц-тюбик с промедолом находился там, где ему и положено. И второй, на всякий пожарный, лежал в другом нагрудном кармане, вместе с военным билетом. Конечно, обезболивающие лучше всегда держать под рукой, как у американских солдат — каска обтянута широкой резинкой, а под ней — перевязочные пакеты, шприцы... Так удобнее, если что, доставать: все под рукой. Семенов видел фотографию времен вьетнамской войны в журнале «Лайф», кажется. Отличная фотография! Хотя, может, то были военные фельдшеры.

Но это не главное. Важно то, что времени будет в обрез, да и сил тоже. Невозможно будет возиться, доставать индивидуальную аптечку, копаться в ней... Но Семенов все же надеялся, что успеет что-нибудь предпринять и спастись от шока. Ведь всех их учили: надо укол сделать сразу, прямо через одежду, в мякоть руки или ноги, а пустой шприц-тюбик потом подколоть к ткани в том самом месте, чтобы медики знали, когда подберут.

Но и это тоже не главное, думал Семенов. Главное, успеть сделать укол, чтобы не свихнуться от боли. А там — пусть делают со мной, что хотят. Промедол — это сильный наркотик! А лучше — ну его к черту! Пусть лучше сразу и насмерть, чем потом всю жизнь мучиться. Разом покончить — и не думать больше, не вспоминать. Я немного пожил, кое-что в этой жизни видел и понял. Прекрасная была жизнь! Если так надо — мне этого хватит. Все равно ничего не поделаешь, коль должно так случиться.

Небо давно погасло, однако на нем различались смутные очертания облаков. Одно из них, заметное самое, вдруг отодвинулось и приоткрыло огромный светящийся шар. Полная луна находилась в самом начале пути, перемещаясь от одного края неба к другому. Сержант взошел на последний уступ и споткнулся: снова окопы...

Несколько бесформенных рытвин чернело полукольцом по краю вершины,

которая оказалась не такой пологой, как прежняя. Своим могучим выпуклым теменем она, эта вершина, казалось, отошла от земли и погрузилась всей тяжестью в небо... Здесь не было никого, только вырытые торопливо и брошенные окопы. В полумраке они казались непомерно глубокими, точно могилы. Сержант поднялся на самую верхнюю точку, остановился, забросил за спину автомат и достал из подсумка ракетницу.

— Ну что, так и будешь лежать тут? — Расул понял, что руганью и пинками от Таракана уже ничего не добиться, поэтому говорил спокойно, устало.

— Достал ты меня! Слышишь, нет?..

Таракан тихо постанывал. Он лежал на боку, подобрав к животу ноги, обхватив руками бритую голову. Его каска, две пустые катушки и коробки с патронами к пулемету — все это валялось беспорядочно на песке.

— Ну-ка, вставай! — Расул взялся за обмякшее тело Исы и попытался его поднять.

Но тут на вершине вспыхнуло что-то, послышался треск ракетницы — и яркая точка с хвостом взметнулась, зависла в небе, раскрывшись и высвечивая округу черно-белым контрастом. Расул обернулся и увидел на вершине крохотный силуэт сержанта.

— Вставай, — он снова начал толкать Таракана, как только ракета погасла. — Ладно, коробки я сам понесу; поднимайся только, пошли!

Таракан сдвинул с лица тощие руки и приподнялся:

— Никуда не пойду больше, здесь умирать буду...

— Ну что ты хочешь?! Чего тебе надо? — воскликнул Расул.

— Курнуть, — ответил Иса.

— Где я возьму тебе? — Расул вывернул со злостью карманы.

— У тебя нет, а у меня есть, — хрипло пропел Таракан, лицо его расплылось в слюнявой улыбке.

— Ах ты гад! Ты вот чего добивался?! — Расул размахнулся и пнул Таракана в спину.

Тот опять свернулся в комок, закрывшись с головою руками.

— Ну ладно, кури... может, быстрее сдохнешь! — Расул злобно сплюнул и опустил на корточки.

Таракан достал из внутреннего кармана какой-то окурочек, аккуратно вложенный в комсомольский билет, всунул в рот и подкурил торопливо... Он вдыхал шумно дым через щель между пальцами, сладко сопел и покашливал; Расул искоса поглядывал на него.

— Хочешь? — предложил Таракан, захлебнувшись порцией ароматного дыма.

Расул огляделся:

— Дай сюда! — он выхватил у Таракана окурочек и затянулся: порывисто, энергично...

Иса откинулся и пробормотал что-то смотрившим на него сверху звездам... Расул старательно обслюнявил окурочек, отбросил его и прилег рядом:

— Ну, Таракан... давай случай... Как там, человечьи мозги...

— Ох! — выдохнул Таракан.

Сверху послышались голоса: разговаривали сержант и Бабаев; Расул толкнул Таракана и быстро поднялся на ноги:

— Вставай! Бери коробки, пошли!

Иса медленно поднимался:

— Ты же сказал, что сам коробки возьмешь...

— Ты что, нюх потерял? — Расул дернулся к Таракану. — Хватай, тебе говорят!

— Что такое, Расул? — послышался из темноты голос сержанта.

— Таракан совсем оборзел, не хочет коробки нести.

— Я думал, он уже умер...

Сержант остановился рядом с Расулом:

— Ладно, пустые катушки оставим здесь. Утром, если что, заберем. Берите каждый по коробке, пошли!

Вершина все более отдалялась от склонов и погружалась в неведомое пространство, как будто крохотная планета. Ночные огни располагались не только сверху и по краям округлости, но и даже, казалось, под нею. Звезды эти, совсем юные звезды, вспыхивали одна за другой, насыщая собою прозрачное черное небо; и вершина будто бы уплывала. Так что четверо усталых солдат взопли на нее с чувством опаздывающих на последний рейс пассажиров.

Сержант прошел к тому месту, откуда давал сигнал ракетой, сбросил с себя пулемет; подтянулся Бабаев с катушкой и проводом. Таракан скрылся в первом же углублении. Расул бросил коробку и сел на песок.

— Оставь это здесь, — сержант обратился к Бабаеву, снимая из-за спины телефон. — Бери пулемет и тащи его — вон к той яме... Там будет укрытие, — он указал на дальнейшее углубление по правую руку. — Расул!

— Я м-маму твою!.. — ответил Расул.

Он сидел на бугре и стягивал со стоном ботинок. Сержант вспомнил, что Расула мучил грибок, сдирая до мяса кожу ступни и выворачивая трубочкой ноготь большого пальца.

— Расул! Слышишь, нет? — повторил сержант. — Подойди сюда.

— Щас!

Сержант откинул крышку телефонного аппарата, подсоединил провод, крутанул ручку динамо:

— Алё! Серега? — спросил он связиста. — Где Скворец? — сержант слушал, глядя на то, как из дальнего углубления поднялась и приблизилась, пошатываясь, тощая тень. — В общем, передай, короче, ему, что мы здесь... Все нормально, — сержант положил трубку и взглянул на стоявшего перед ним Таракана.

— Дай лопатка... Я — окопаться буду...

— Где ты копать будешь?

— Там вон, — покачнулся Иса.

— Не там теперь надо копать, а вон там, — сержант кивнул в сторону, противоположную той, куда Бабаев потащил пулемет. — Там будет второе укрытие... Расул, дай лопатку ему.

Расул отстегнул от ремня лопатку и ловко воткнул ее в песок у ног Таракана:

— На, бери!

— Чо-о, нормально подать не можешь? — простонал обиженно Таракан.

Он согнулся и взял лопатку, поплелся с нею в ту сторону, куда ему указали... Сержант посмотрел на босые ноги Расула:

— Так и будешь ходить?

— А что, нельзя, что ли?

— А если ногу наколешь или споткнешься?

— Обо что?

— Да мало ли, — сержант осмотрелся: — А где Бабаев? — Он крикнул: — Бабаев!

— Я! — послышалось из темноты.

— Ты что там, спишь что ли?!

— Не-е, щас! — Бабаев поднялся из углубления, затягивая на поясе ремешок.

— Сюда иди быстро! — крикнул сержант. — Бегом!

Бабаев тут же появился перед сержантом, расправляя полы грязного кителя.

— Ты что там делал? — спросил сержант.

— Так, — замялся Бабаев.

— Разрешение надо спрашивать, — злобно вставил Расул.

— Вот будешь сам там углублять и ровнять укрытие. Понял, нет? — сержант приподнялся и достал из кармана штанов сигареты. — А сейчас бери лопатку и копай здесь вот.

— Прямо здесь? — переспросил Бабаев.

— Да, здесь будет командирский окоп, — сержант повернулся к Расулу, — вот смотри: сделаем два укрытия — по левую и по правую стороны, чтобы держать под контролем все подступы. Там будут стоять по одному человеку. И вот

здесь, в центре, будет окоп. Отсюда видно, если что, и того, и другого... установим здесь телефон, все дела... Ну что, как ты думаешь?

Расул сплюнул:

— Мне все равно, ты — начальник...

— Хотя сейчас они вряд ли сунутся, пока мы здесь разговариваем, мелькаем... Но под утро, мне кажется, должно быть весело...

Сбоку затрещал телефон. Сержант поднял трубку и услышал голос прапорщика Скворцова:

— Семенов, ты? Ну как вы там?.. В общем, слушай меня внимательно: час назад совершенно нападение на пехотную роту; их обстреляли там с гор — Сержант ответил, что знает об этом. — Действия мятежников активизировались. Ваша задача — не допустить их до огневой и, конечно, самим остаться в живых... Саша, — голос Скворцова смягчился, — я тебя знаю, ты парень толковый... Я тебя прошу, не приказываю... Чтобы все было нормально... Ты меня слышишь? Я отвечаю за вас!

— Понял, товарищ прапорщик, — ответил Семенов и сам ужаснулся тому, как он быстро забыл все обиды, понесенные им от Скворцова.

Он не знал, почему так случилось, но в нем действительно не было зла. Но и покоя не было. И даже то, нечто главное, что он чувствовал всегда у черты неминуемого и что спасало его, теперь развалилось в нем и ослабло... Сержанту стало вдруг страшно. Его охватил непонятный озноб, будто дружный бой барабанов послышался издали; темень надвинулась беззубой Тараканьей улыбкой, дохнула отвратительным холодом смерти... Сержант закрыл руками лицо: план! все это план! все это смерть!

Но надо было как-то дожить эту ночь до конца, найти в себе силы. Главное — это то, чтобы потом не было стыдно. Надо было что-нибудь предпринять...

Сержант осмотрелся, прислушался. По металлическому лазгу он понял, что Расул возится с пулеметом. Еще слышалось рядом упорное сопение Бабаева, который склонился над углублением и быстро выбрасывал из-под ног землю.

— Здесь вот сделаешь ступеньку для телефона, — сержант поспешно поднялся, глядя на то, как солдат справляется с нелегкой работой, и крикнул: — Расул! Ты что там?.. Иди сюда!

— Что ты хочешь?

— Сюда иди, — повторил сержант и сам направился к правому углублению.

Расул стоял на коленях перед разобранным пулеметом: крышка механизма была поднята вертикально, снизу пристегнута коробка с патронами; двигая взад-вперед затворную раму, Расул пытался заложить в патронник крайний на ленте патрон.

— Лучше, если пулемет будет находиться в командирском окопе, — Расул опустил и защелкнул крышку: — Готов к бою!

— Ты так считаешь?

— Конечно!

— Ну ладно; давай подтащим его туда.

Вдвоем они понесли пулемет к возвышению. Бабаев заканчивал готовить укрытие, ровняя лопаткой бруствер. Расул спрыгнул вниз, отесняя широкой грудью Бабаева:

— Нормально, пойдет!

Сержант посмотрел в сторону левого углубления, крикнул:

— Таракан! Иди сюда! Быстро!

Бабаев выбрался из окопа, робко взглянул на сержанта:

— Пошел я... Там окоп углублять надо...

— погоди, — ответил сержант. — Сейчас Иса подойдет, поговорить надо.

Из темноты показалась зыбкая тень Таракана; Расул гаркнул:

— Опять обкурился!

Таракан попятился, простонал:

— Не курил я, совсем не курил больше...

— погоди, Расул, — вмешался сержант. — Черт с ним! Нам теперь другое надо решить... Сядь сюда, не маячь.

Расул отошел от Исы и присел напротив сержанта. Бабаев также опустился на корточки. Семенов не спеша достал сигарету и закурил, тщательно прикрывая огонь ладонями:

— Так. На всю ночь нас не хватит, конечно. Спать будем по два часа каждый. И меняться окопами, чтобы не скучно было стоять. Место отдыха — здесь вот: расстелим плащ-палатку рядом с командирским окопом. Кто будет стоять в нем, должен охранять сон товарища, отвечать по телефону, если будут звонить, а главное — наблюдать за правым и левым укрытиями. Они далеко друг от друга, к ним запросто можно сзади в темноте подползти... Так что все мы повязаны. Если заснет кто, то порешит всех...

Сержант погасил окурок, всунув его в песок.

— Первым будет отдыхать Таракан. Он устал, от него сейчас толку мало, ему лучше поспать, — сержант взглянул на Ису. — Проспись сейчас, потом будет легче. — Таракан покорно кивнул. — После него посплю я, потому что опаснее всего, вероятно, будет под утро... Потом — Расул, и последним отдыхать будет Бабаев; он парень выносливый, должен выдержать... Все согласны, никто против ничего не имеет? — сержант посмотрел на Расула, Бабаева, Таракана... — Я думаю, все нормально. Обижаться никто не должен. Каждый из нас простоит по два часа в правом и в левом укрытии, два часа в командирском и два часа будет спать... если, конечно, ничего не случится...

— Все нормально, Семен! Пойдет, — согласился Расул и бодро поднялся. — Только, не дай бог, если кто в окопе заснет!.. Не обижайтесь тогда... Я хочу до дембеля дотянуть. Таракан, это тебя касается, понял?

— Понял, — обиженно пробубнил Таракан. — Только борзеть не надо.

— Никто не борзеет, — сержант также поднялся, разминая затекшие ноги, — Расул правильно говорит: если заснешь — не обижайся тогда...

— Да не-е, — простонал Таракан, — я сейчас покимарю кяйфово, потом не буду хотеть.

— Посмотрим, — злобно буркнул Расул.

— Да не-е... все путем... все нормально, — бормотал Таракан, расправляя под собой плащ-палатку.

— Ну все, по местам! — сержант прыгнул в окоп и, взявшись за рукоятки, поправил на бруствере пулемет: — Нормально!.. Да, Расул, оставь мне лопатку, надо бруствер еще подровнять.

— Она тама осталась, — пробурчал сонно Иса; он уже улегся на плащ-палатку, свернувшись в комок.

— Тоже мне: тама осталась...

Сержант выбрался из окопа и вместе с Расулом направился к левому углублению.

Таракан приподнялся, посмотрел вслед им; достал из кармана вложенную в комсомольский билет папиросу; потом, пригнувшись и старательно пряча огонь, закурил.

— Да-а, не много же он здесь наработал...

Саперная лопатка валялась на дне укрытия; сержант спустился за ней, пытаясь обнаружить следы предпринятых Тараканом усилий.

— Он и не копал вовсе, — усмехнулся Расул, — специально ушел, покурить чтобы.

— Да нет, вроде, я посматривал за ним — огонька не было.

— А ты и никогда не увидишь, — Расул подал руку сержанту, помогая выбраться из окопа. — Это же Таракан! Профессор!.. Хотя, конечно, может, и не курил он... Забивал косяки себе на ночь.

— Слушай, Расул! Давай, обыщем его — заберем все?

— Бесполезно, он не отдаст. Он уже так все закныкал, не сыщешь с собаками... в песок где-нибудь закопал... или сейчас лежит там, шабит...

Сержант оглянулся, но ничего не увидел. Не увидел он и огонька: лишь светловатый изгиб вершины на фоне звездного неба, бесформенный нарост бруствера да темный комок Тараканова тела под ним.

— А где он берет, как ты думаешь? Мы же, вроде, забрали у него все...



— Да-а! Все, да не все! — Расул спрыгнул в укрытие, скинул с плеча автомат и положил его аккуратно на бруствер. — У него всегда есть; земляки, если что, помогают... Он без этого жить не может, сразу подойдет!

Расул облокотился на пологий откос и зевнул:

— Ладно, лопатку взял... Все равно я копать здесь не буду — через два часа, — он посмотрел на часы со светящимися зеленоватыми точками на циферблате, — меньше уже, заступит Бабаев — он выкопает... я как-нибудь так простою...

— Прележишь, — сержант усмехнулся и пошел обратно. — Да сам смотри не засни!

— Не бойсь, не засну! — послышалось вслед. — Подходи, если что...

— Ладно!

Сержант обошел спящего Таракана и спустился в окоп. Принялся не спеша откидывать лопаткой землю от бруствера, выравнивая на краю небольшую ступеньку, чтобы разложить на ней ракетницы и гранаты. Сзади постанывал Таракан, он давно спал. Сержант приподнялся на край окопа и сел, свесив ноги.

Его снова начали мучать вши; зашевелились, выбравшись из складок одежды и швов. Днем, когда тело находилось в движении, вши почти не давали знать о себе, и Семенов о них забывал. Но стоило замереть с наступлением ночи, попытаться заснуть, они выползали из своих мест и начинали перемещаться по телу, кусать. Особенно под мышками и в паховой области, под трусами...

— Проклятье! — выругался сержант, — надо срочно постираться в бензине.

Послышались шаги за спиной; сержант обернулся: Расул. Он шел и негромко ругался:

— Проклятые вши! Зашевелились, сволочи!

— Не расстраивайся, у меня та же история... Вон Таракану все побоку!

Расул спрыгнул в окоп и присел рядом с сержантом:

— Когда это кончится?.. Сейчас в Германии собирали бы дембельский чемодан... Брежнев, паскуда!

— Да все они всколочи! Брежнев ввел войска, какой-нибудь найдется — выведет... Похерит все то, что мы делаем... А мы опять останемся в дураках, — сержант достал сигарету и закурил, скрывая огонь в ладонях. — Понял, письмо брат прислал...

— Старший брат?

— Старший... Да, я ведь дядя теперь — племянник родился. Ну вот, а пацана кормить нечем: молока нет. Во всем городе, понял! Вообще нет!.. А помнишь, на переправе мы были, снаряды грузили?

— На границе?

— Ну да, на границе. Видел, там продукты гниют на жаре: тушенка, сгущенка?.. Целыми ящиками! А они не берут... Мы посылаем, а они не берут.

— Им коран запрещает, неверные мы.

— Во, а пацана кормить нечем.

Они помолчали. Сержант стал думать о том, что, конечно, не хорошо все это, не справедливо. Зачем-то ворвались в чужую страну, а теперь хотим откупиться. Кровь сливочным маслом замазать. То ли дело американцы! Сделали выжатый лимон из Вьетнама, набили карманы, теперь процветают. Зона жизненных интересов!.. Сытним можно и о справедливости рассуждать, и о культуре подумать. Им плевать на Вьетнам, как и на все остальное, главное — их парни живут припеваючи... Расул подтянул к себе опухшую, грибком изъеденную ступню и стал сыпать горстями песок, осторожно втирая его между пальцами.

— Что, помогает? — спросил сержант.

— Мокнет... Надо, чтоб сухо было.

— М-м...

Они опять помолчали.

Сержант наконец спросил:

— Посмотри, там Таракана будить не пора?

Расул взглянул на запястье: в темноте показались зеленоватые точки, едва заметный венец.

— Пора, второй час ночи пошел.

Сержант встал.

— Будем будить. Ты пойдешь с ним и сменишь Бабаева, потом вернешься сюда. — Сержант подсел к Таракану. — Подъем, Иса! Время вышло, вставай!

Таракан застонал и еще сильнее сжался в комок. Сержант принялся расталкивать его за плечо:

— Вставай! Слышишь, нет?.. Пора другим отдохнуть... Ты не один, поднимайся!

Тощее тело Исы трепыхалось, не подавая признаков жизни. Расул обошел его с другой стороны и пнул легонько в согнутую спину.

— Ну-ка, вставай! Тебя долго будить?

Иса поднял голову и осмотрелся. Опять со стоном прильнул к плащ-палатке, закрывшись руками:

— Не хочу... я не буду жить... не хочу, не бейте меня...

Он тихо плакал.

— Тебя никто не собирается бить, — сержант расстегнул ремень, снял с него флягу. — Пить хочешь? Или умойся, легче станет.

— Да что ты с ним возишься, а ну-ка — подъем! — Расул схватился за края плащ-палатки и дернул резко, сбросив на землю тело Исы. — Вставай! Считаю до трех: раз...

Таракан тяжело поднялся и, покачиваясь, куда-то побрел.

— Не туда! — гаркнул Расул, забрасывая за спину автомат. — Где оружие твое, потерял?

— Спрятали, да?..

— Никто не прятал его, — сержант поднял с земли автомат Таракана и подал ему. — На, бери и не ной, и так тошно... Шагай вон туда! — он повернулся к Расулу. — Нет, с него толку не будет, глаз да глаз за ним нужен...

— Под глаз ему нужно, пошли!

Расул толкнул Таракана в спину, и они зашагали к укрытию, где находился Бабаев. Сержант проследил, как ушли в темноту две знакомые тени: одна приземистая и упругая, вторая тощая и неустойчивая. Откуда-то со стороны далекого каменистого гребня послышались выстрелы; сначала жесткие по звуку и одиночные, но скоро их захлестнул треск «калашниковых»... Сержант прикинул, что именно там должна была расположиться на ночь пехотная рота.

От округлых песчаных склонов взлетела в ночное небо ракета. То была красная ракета — сигнал тревоги. Зеленая могла означать отбой или — «не стреляйте, свои!»... Еще могла быть СХТ, сигнал химической тревоги, ракета с протяжным, удручающим свистом. Ею обычно стреляли безо всякого повода, только бы пошуметь... Но сейчас в небе вспыхнула красная точка, именно красная — пехоту снова обстреливали.

Семенов отошел от окопа и посмотрел в сторону огневой: внизу, в ложине, было темно и, казалось, спокойно. «Ничего, скоро и до нас доберутся», — сказал он негромко, радуясь неизвестно чему; присел к телефону и крутанул ручку.

— Серега?.. Как там у вас, спите... — Из темноты показался Бабаев, переходивший от одного окопа к другому. — Да у нас все нормально, пока... Нет, пехоту долбают, у нас пока тихо. Скворец спит?.. Ну ладно, ты не спи только, если что, позвоню, — сержант положил трубку.

— Видал? — Расул с ходу прыгнул на бруствер и начал осматривать едва различаемое желтоватое зарево, возникшее в той стороне, откуда взлетела ракета и доносились выстрелы. — Что-то горит там у них...

— Нет, это прожекторы. Они врубили прожекторы и шарят ими по склонам, — сержант встряхнул плащ-палатку и расстелил ее рядом с окопом.

— Во, слышишь?! — он разогнулся и замер. — Это не автоматы уже, это из крупнокалиберных пулеметов молотят. Видел, у них на БТРах прожекторы спарены с пулеметами.

Сержант скинул каску, отбросил на край плащ-палатки ремень с распертым подсумком и штык-ножом, начал укладываться.

Расул спустился в окоп:

— Спать будешь?

— А что, подождать, как придет твоя очередь? Потом будет поздно...

— Не дай бог, кто посмеет нарушить мой дембельский сон!

— Не волнуйся, посмеют, — сержант вздохнул, повернувшись на бок. — Вскочишь, как миленький! Не то уснешь навсегда, и на дембель повезут тебя в цинковом чемодане.

Расул ничего не ответил. Он стоял лицом к брустверу, продолжая смотреть то на далекое желтоватое зарево, то, подняв голову, на сияющий купол неба, наполненный бесчисленными огнями звезд. Сержант лежал позади, чувствуя тепло и близость спины товарища. Какое-то время отвлекали частые всплески выстрелов и мучили снова вши. Семенов заставил себя не двигаться, не расцарапывать без толку грязное усталое тело, зная, что этим он только отгонит спасительный сон; и все же отдаленные выстрелы, вши и мысли не давали заснуть...

Но вот долгожданный порыв рассек с размаху голубоватую дымку июльского зноя — по тротуарам, по сизой глади шоссе заходили, переплетаясь, пыльные манекены, бурое от усталости небо надорвалось, лопнуло и с грохотом рухнуло вниз, выливаясь прохладным потоком... Он и Маринка кинулись наперерез вскипающей площади, держась за руки, будто боясь потеряться в звенящем хаосе струй. Ослепленные ливнем машины, бордюры, обезумевшие прохожие, равнодушные серые стены домов — все замелькало, запрыгало под музыку скачущих капель. Мутное течение ворвалось в переулочек хлопьями пены. Он и Маринка побежали за ним; наконец, задохнулись, обратились друг к другу — совсем мокрые оба, и дальше просто пошли, невзирая на дождь. Маринка отстала немного — голос ее рассыпался от смеха: «Куда ж теперь мы идем... а! не все ли равно... только я немножко замерзла...». И он обернулся и увидел ее растерянное лицо: мокрые завитушки, облепившие по-детски округлый лоб, нос-трамплин и шустрые капельки, и глаза безысходно-черные... «Ты простудишься, где-то надо бы переждать: дождь скоро пройдет», — и он повел ее вдоль знакомого часокола длинных чугунных копий; но забор скоро кончился, распахнулись тяжелые створы ворот — он и она оказались на школьном дворе. «Десять лет меня мучали в этом доме», — сказал он, запрокинув голову. Маринка недоверчиво улыбнулась: «С виду приличное здание». Она поднялась на ступеньки и прислонилась к запертой двери: «Ну! Иди же сюда! Быстрее!» Здесь, под навесом, дождь не мог их достать... И тут шальной порыв ветра прижал Маринку к его груди, хлесткий дождь косою полосой занесло под навес — он и она обернулись и замерли... Старинный корабль, напрягая многоэтажные ряды тугих парусов, шел прямо на них. Серые блоки домов перед ним расступались, его потерял снасти освещались тусклым багряным сиянием. Из открытых портов колоссального корпуса выглядывали медные пушки, начищенные цилиндры которых отражали огни боевых фонарей. Обшитой медью кормой он вдавливался в асфальт, выворачивая пласты, словно ледокол льдины... Маринка отпрянула, какое-то мгновение они видели над собою гордо зависший нос корабля, но вот он сорвался — обрушился на их юные головы. Послышался треск, показалось, что проламывается дверь между ними, плита крыльца перекинулась — и с невероятно силой подбросила вверх... Он неся, он падал в гулкую бездну, а Маринка осталась внизу; и спокойный голос диктора не уставал повторять про «обильные снегопады, обрушившиеся в первые дни весны на южные районы Урала...».

«...южные районы Урала...»

— Убить тебя мало!

— Ай-ай!.. Не надо, не надо!..

— Убить тебя мало! — орал Расул.

Он выволок из окопа сонного Таракана, левой рукой ухватился за ворот, а правой совал ему то в зубы, то по уху. Иса трепыхался, издавая непонятные звуки. Он хотел вырваться, но не мог.

— Стоять, говорю! Стоять!

Сержант трянул головой, не в силах понять, что происходит. Было темно. Звезды плыли в хороводе, огибая вершину, округлая поверхность которой была истыкана пятнами рытвин.

Возня и крики доносились оттуда, где топтались, сцепившись, две черные тени. Сержант поднялся и направился к ним, прихватив автомат.

— Вот этот, видишь, — Расул утерся и пихнул ногою лежащего на песке Таракана. — Он спал! Понимаешь, спал он... мне до дембеля осталось...

— Ладно, — сержант равнодушно махнул рукой. — Иди, отдыхай: твоя очередь. Я сам с ним говорить буду.

— Нечего с ним говорить, — бросил Расул и направился к расстеленной плащ-палатке.

Сержант постоял немного, подумал, повернулся и спрыгнул в окоп. Пристроил на бруствере автомат, осмотрелся, прислушался; Иса лежал позади и не двигался.

— Таракан! Опять спишь?

Из-за спины донесся жалобный стон и сонное бормотание. Сержант подумал, что, может быть, лучше оставить его в покое — пусть спит, все равно теперь с него толку мало... Таракан сам приподнялся и сел:

— У нас там похавать нету?

Лицо его было в темных пятнах от крови, куртка распахнута — белел край разорванной нательной рубахи.

— Умойся сначала: в верхнем окопе есть фляга с водой. Иди туда, там сиди. В противогазной сумке — банка гороха, есть еще сахар... Да не спи больше, вернемся в лагерь — там выспишься.

Сильно шатаясь и ковыляя, Таракан отыскал в темноте свой ботинок, всунул в него босую ступню и поплелся туда, где находился командирский окоп; на песке так и остались лежать его каска, ремень с подсумком и штык-ножом... автомат...

Сержант поднялся и прибрал все это; теперь он остался один. Его зазнобило, стало вдруг холодно; ныла спина, ноги и руки выкручивало в суставах, подташнивало... Он достал сигарету, но передумал курить: без этого тошно! Закрыв руками лицо; глаза его налились слезами.

Когда же все это кончится — сил больше нет! Плечи его содрогнулись, он опустился на дно окопа. Но просидел так недолго. Чтобы как-то отвлечься, он вспомнил свой сон — удивительный сон. И понял, что это конец. Теперь он должен был покончить со всем, взять просто и умереть. Слиться воедино с землей или окунуться в это звездное ннбо... И он, наверное, так и сделал бы: присел бы на край окопа, зажав приклад автомата коленями, примерился большим пальцем к спусковому курку, а ствол, едко пахнувший порохом, стиснул зубами... Он, наверное, так бы и сделал, будь он один, если бы не было рядом трех усталых солдат.

Сверху слышались крики. Снова дерутся, — подумал сержант, снимая с бруствера автомат. Быстро выбрался из окопа и пошел на знакомые голоса.

Над верхним окопом возвышалась плотная фигура Расула; Таракана с ним не было.

— Где Таракан? — выпалил с ходу сержант.

— Вон, в яме валяется; истерика у него.

— Ты его бил опять?

— Я его пальцем не тронул! Говорю, истерика у него...

Иса полулежал, прислонившись затылком к дальней стенке окопа, и худое, темное от крови лицо его расплзлось в идиотской улыбке. Оно освещено было синеватым светом луны, расположившейся точно напротив. Глаза Таракана были прикрыты, губы влажно блестели, а рот напоминал серпообразного вида дупло.

— Таракан! — громко позвал сержант.

Тело Исы всколыхнулось, точно от электрического разряда, он вскинул голову на сторону, как-то по-птичьи и разразился истерическим хохотом.

Сержант поморщился и взглянул на Расула:

— Может, придуривается?

— Черт его знает, — повел плечами Расул.

Иса тем временем попытался подняться. Тупо глядя вперед, оперся рукою о

стенку окопа, встал на колени; но опять повалился, сраженный приступом кашля.

— Таракан! Хорош дуру гнать, поднимайся! — крикнул сержант.

— Или тебе помочь? — добавил Расул.

Иса поднял голову. Стоя на четвереньках, он взглянул на товарищей и попятился вдруг в дальний угол окопа:

— А-а-а!.. — заорал он истошно. — Черви! На ваших лбах — красные черви! Я вижу, вижу... — Таракан закрыл руками лицо и затрясся.

Расул не выдержал, сорвался с места:

— Сейчас я его успокою, — но сделал один только шаг...

— Только не бей! — успел крикнуть сержант.

Таракан вскочил на ноги, схватил гранату, лежавшую с краю окопа, и замахнулся ею над головой:

— Взорвать!.. Буду взорвать!..

Расул отпрянул.

Но тут Таракан опустил руку, замешкался, пытаясь выдернуть стопорное кольцо из запала... И не успел... Расул прыгнул в окоп, взрыгав по-звериному, с размаху выбросил босую ступню — и ударил ею Таракана в лицо. Потом навалился всем телом, вырвал гранату.

— На, держи! — обернувшись, крикнул сержанту.

— Только не бей!

Семенов поймал брошенную «лимонку», сразу проверил на месте ли стопорное кольцо.

Расул повалил Таракана на дно укрытия, предварительно вывернув руки и выдернул у него из штанов поясной ремешок; теперь уперся коленом между лопатками — связал Исе руки.

— Так-то оно будет лучше... От тварь! Чуть не отправил нас всех на тот свет... Что молчишь, испугался?

— Да-а, еще бы чуть-чуть...

Надо было срочно решать, как дальше поступить с Тараканом: или здесь оставлять, что было бы нежелательно, или спроваживать вниз, на огневую. Но второе решение сразу и отпадало: одного его посылать нельзя, нужен сопровождающий; двоим же на вершине оставаться опасно; надо было держаться всем вместе, только в этом было спасение.

Таракан застонал.

— Что надо? — пробурчал недовольно Расул.

— Ты слишком сильно связал ему руки, надо ослабить.

— Перебьется.

Расул однако встал с бруствера и спустился в окоп: склонился над Тараканом, потом перевернул его на спину. Иса облегченно вздохнул. Лицо его более не освещалось луною — она сместилась по небу, завершая свой путь, шел пятый час пополуночи.

Настало время сменить Бабаева. Расул повесил на плечо автомат, стал неторопливо спускаться к укрытию. Сержант направился к другому окопу. Он уже подходил, как вдруг сзади раздался вопль Таракана и тут же послышался выстрел. Светлый след трассера почти вертикально ушел в небо. Сержант рванулся обратно, мысленно благодаря бога за то, что выстрел, видимо, оказался шальным.

— Черт его знает, как это вышло, — растерянно бормотал Расул, — он бросился на меня... я думал, снова с гранатой... Говорил, не надо его развязывать...

— Что с ним?

Зыбкая тень Таракана с каким-то жалобным всхлипыванием припала к земле, повалилась набок.

— Может, снова придуривается?

— Спичку зажги... Зажги спичку!

— Щас посмотрим, — сержант торопливо достал коробок; чиркнул несколько раз: — Так, переверни его...

В груди Таракана обнаружилось едва заметное, крохотное отверстие; зато в

плече, между верхним ребром и ключицей вырван был клок; в ту дыру могли уместиться три сложенных пальца, и текла кровь... Теперь было ясно, почему трассер взлетел вертикально — пуля прошла навывлет, рикошетом отскочив от лопатки, — дурная пуля, пять-сорок пять, со смещенным центром тяжести.

— А, черт — левая сторона! — Расул сбросил каску и схватился за голову. — Все, труба! Труба мне!..

— Стой, может, жив еще...

Расул кинулся к Таракану, прижавшись ухом к груди его:

— Дышит, дышит еще!.. Спичку зажги, надо вколоть ему промедол!

— Перевязочный пакет доставай... быстрее, быстрее...

Сержант стоял на коленях, в руке у него во второй раз вспыхнул огонь... И тут же — совсем рядом свистнуло дважды, легко и чуть слышно — «фить-фить», и в ногах у Расула взрыло песок...

— Бля-я!.. — Расул отлетел в сторону. — Откуда стреляют?

Сержант отпрыгнул в другую сторону и прижался к земле, осознавая только одно: он инстинктивно ползет к укрытию; перед ним туда скатился Расул:

— Ну все, хана нам... хана!

— Понесла-ась! Теперь уж точно, до трибунала нам не дожить...

— Какой трибунал?!.. Надо подтащить Таракана!

Сержант кинулся к телефонному аппарату, крутанул ручку — она вращалась слишком легко: нагрузки нет, связь оборвана.

— Теперь все!..

— Ты что? — Расул схватил трубку.

— Нет связи.

— А, черт! Что же делать?

Он беспокойно осматривался, пока не увидел ракетницу. Схватил, отвернул колпачок...

— Не надо! — воскликнул сержант. — Не надо света, нас самих будет видно... Это снайпер, сука! Его ты все равно не увидишь... Черт меня дернул спичку зажечь!

— Что делать тогда?

— Надо как-то подтащить Таракана, он еще жив... ты здесь будь...

— Стой, я сам поползу; у меня автомат там остался и каска...

— Давай!

Сержант повернулся к брестверу и, взявшись за рукоятки, подтянул к себе пулемет.

— Во! — одобрил Расул. — Давай, молоти по склонам...

Два больших пальца сержанта плавно вдавились в гашетку, пулемет трянуло, всей тяжестью отбросив назад. Сержант лишь заметил огонь из ствола, неожиданно ярко перечеркнувший действительность, — и только потом он почувствовал боль от мощного удара в лицо, отвратительный хруст вместе с привкусом крови...

...Снова запахло дождем...

— Чертов металлолом! — ругался Расул.

Он лил на лицо сержанту воду из фляги.

— Семен! Поднимайся быстрее!

— Что это было?

— Пулемет твой, вставай!

— Что с ним?

— Отдача! Это же бээрэдэмовский пулемет, он должен крепиться к броне, без опоры нельзя... Нельзя из него стрелять без опоры! Понял, какая отдача!

— Так Скворец сказал...

— Что Скворец, что Скворец!.. Он рубит, Скворец твой, вставай!

Сержант слотнул привкус крови, попытался подняться; во рту было что-то не так... Передний зуб, оказалось, завален во внутрь — он был выбит, хоть и держался пока на месте.

— Ты куда, мм-м!.. — сержант простонал, вправляя грязными пальцами выбитый зуб.

- Подтащу Таракана.
- Не стреляли больше?
- Нет, пока...

Вслед за Расулом сержант выбрался из укрытия, захватив с собой плащ-палатку, вдвоем они волокли обратно потяжелевшее тело Исы, откинута рука которого оставляла на песке прерывистый след; его стало отчетливо видно — светало. Пышный ночной ковер постепенно расползся, и сквозь поблекшую луну и поредевшие звезды выдилось призрачное движение облаков. Таракан был мертв. Расул сидел рядом и плакал, сыпя песок горстями себе на бритую голову.

— ...Как мне жить дальше, как жить?.. Посадят меня...

А лицо Таракана отвечало холодным спокойствием, словно сам он был погружен в нелегкие мысли о том, как жить человеку, который избавил его от этой проклятой жизни.

— Не надо, Расул, теперь ничего не поделаешь, — сержант накрыл плащ-палаткой тело Исы.

Расул сидел неподвижно, устремившись бессмысленным взглядом к лазурным очертаниям дальних вершин, едва различаемых в сером тумане.

Сержант вдруг поднялся:

— А где Бабаев?

Он кинулся вниз — уже чувствуя, что никто не откликнется. И, не добежав до укрытия несколько метров, остановился, подошел осторожно.

И Бабаев, конечно, не спал. Он перекинулся через заднюю стенку окопа и уткнулся каской в песок: обхватил ладошками горло — в последнюю минуту он боролся с удушьем и кровотечением, но никто ему не помог... И, что сержанту бросилось в глаза сразу, так это большое темное пятно вокруг головы; пожалуй, слишком уж темное для крови пятно.

Близилось утро! Ночь отступала, словно бездонное море во время отлива, унося с собой звезды. Небо наполнилось рыхлым унылым светом. Если бы Семенов мог раздвинуть эту бурую пелену и заглянуть внутрь опустошенного неба, то он бы увидел плоскую долину, протянувшуюся на тысячи километров, а за нею странные серые горы, как волчьи или крысиные морды. Из травы там и сям торчали бы кочки со сломанными крестами; то было бы кладбище, одинокое и заброшенное. И увидев эту покинутость, ощутив холодную, невыносимую одинокость, Семенов бы тихо заплакал, потому как ничего не осталось во всем мире, над ним нависла мертвая тишина.

Время остановилось между ночью и утром, лишь вершина плыла мимо времени, она плыла в густом серебряном свете. Едва колыбался над нею утренний ветерок, донося издали последние лягушечьи трели. Там, где на щебне журчит вода и зелено сверкает трава, живут люди, — и все тот же утренний ветерок доносит оттуда то ли едкий дымок, то ли утробный запах жилья. И на всю округу разносится протяжный, заунывный голос муллы, будто из тьмы веков, зовущий к утреннему намазу. В это время мужчины спускаются с гор, они возвращаются в семьи и, прежде чем распахнуть двери убогих жилищ, зарывают в землю оружие — древние нарезные ружья дедов и прадедов. Кроткие призраки женщин в чадрах подносят мужьям еду, а сами садятся поодаль, потом грациозно откидывают ширму с лица, жадно обращая взор к мужчинам, и мы видим белолицых темнооких красавиц — милых робких существ, нуждающихся в защите и ласке.

Это здесь, на Востоке; а если устремиться на Юг, минув тысячи километров морского пути, горячие ветры экватора и таинственные течения, то можно увидеть великолепную бухту, где белые волны и желтый песок, и дюны... Там, где ясное небо, солнце и синева, идут вдоль берега прекрасные два создания: Он и Она — и держатся за руки. У нее длинные рыжие волосы, мягкие, словно морская волна, кожа золотистая с зеленым отливом. Губы ее пересохли, а рот приоткрыт в блаженном вздохе восторга; а море ревет и клокочет, наползая на берег... Это на Юге, но если обратиться на Запад, далеко-далеко, через водные и земные преграды, там тоже есть место — мрачный и величественный костел, пронзающий дождливое небо острыми куполами. Сквозь высокие мозаичные окна внутри проникают видения славного прошлого, и в сумрачном свете мерцают



радужные огни. Все дышит торжеством и значительностью. И какой-нибудь холеный детина во фраке стоит рядом с белокурой красоткой — и звучит музыка, чистая, тонкая. Нижний ряд ведет томный орган, а вверх устремляется пронзительно-сладкая мелодия флейты... Да мало ль! Уж не так далеко, на Севере, в обычной теплой квартире, на двухспальной кровати молодой заботливый муж обнял нежное незащищенное тело... А сержант Семенов сидит на вершине горы, свесив голову и не думая ни о чем... Он еще не знает, что болен; а будет все хуже и хуже.

Где-то повыше раздался выстрел; даже не выстрел, а жалкий хлопок. Глухой всплеск. Наверное, так отзывается черепная коробка, разнесенная выстрелом в упор; сержант бессознательно обернулся и опять опустил голову.

Некоторое время спустя он неторопливо поднимется и пойдет, оставив на песке автомат, и ремень, и каску... Остановится рядом с верхним укрытием, по-нуро глядя на то, как Расул с окровавленной головой повалился на тело Исы, накрытое пыльным брезентом. Расул так мечтал вернуться домой, но он был человеком сильным... Сержант проклянет себя, а ему позавидует; потом повернется и направится вниз по склону, и взошедшее солнце осветит лучами его мутные от боли глаза.

И день лишь родится, и до ночи будет еще далеко, гораздо дальше даже самого конца света. Но и день тот уйдет, и наступит ночь, а потом оно снова поднимется — солнце! И будет всходить еще сотни раз, освещая собой эту землю, и на три тысячи семьсот пятьдесят пятом по счету рассвете, от той самой минуты, когда сержант покинул вершину, далеко на севере, грустной и тихой зимою в одну из московских клиник привезут тяжело больного молодого мужчину.

И то будет не клиника, а странный закрытый стационар; и не привезут его вовсе, побитого ознобом молодого мужчину, приведет его брат, приведет на расвете. Он будет долго стучаться в крашеную оцинкованную дверь с круглым глазком, подошвами уминать свежесыпавший снег под собою, вздыхая, смотреть на брата и снова стучать, пока ему не откроют.

Его будут терпеливо выслушивать обыкновенные люди в белых халатах, глядя мимо него: на обтертые стены узкого коридора, на заросший паутиной по углам потолок, — и все же согласятся помочь, уведут переодевать молодого мужчину; но они ему не помогут, ибо это нормальные люди, а брат войдет в соседнюю дверь курилки и скажет мужикам хмурым, запахнутым в байковые халаты с исстиранными отворотами: «Ну все, теперь я спокоен... Здесь-то ему не дадут умереть...»

.....

Зимний день пройдет очень быстро, начнет уже понемногу смеркаться, когда к молодому мужчине вернется сознание: он откроет глаза, медленно осмотрит палату — все пять коек, стоящих вокруг, и людей на них, заглянет им в лица, а затем спокойно опустит веки — то ли устало, то ли с бессильным согласием. И все, кто находился в палате, увидят, как темнеет его лицо, заостряется нос и расширяются, застывая, глаза; испуганные мужики кинутся за врачами, но прибежавшие женщины лишь бессильно выстроятся в ряд... В палату ворвется главврач, тот самый Александр Михайлович, — сбросит на пол тело молодого мужчины, а сам кинется на него, упервшись в ослабшую грудь коленом, но искусственное дыхание уже не поможет; вскоре тело вернут на прежнее место, накрыв с головой простыней, вызовут милицию и понятых для составления акта, и тогда только выяснится, что фамилия у молодого мужчины самая что ни на есть простая — Семенов; теперь он вел за собою по склону троих усталых солдат.

*Москва, 1991.*

# Евгений РЕЙН

## СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

*Родился в 1935 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский холодильный институт. Автор поэтических сборников «Темнота зеркал», «Непоправимый день» и других. Член Союза писателей СССР. Живет в Москве.*

### ПЛАСТИНКА

Я помню «Лунную рапсодию»,  
И соловьиную мелодию,  
Твои улыбки, звуки скрипки  
И пятьдесят девятый год.  
Студенческие вечеринки,  
«Столовое» и четвертинки  
И довоенные пластинки,  
Вискозу, бутсы, коверкот.

Я помню девушек в шифоне  
И «Караван» на патефоне,  
Я помню Пикассо на фоне  
Плакатов местных «Миру-мир».  
Я помню, как запущен спутник,  
Я помню, как министр-распутник  
Переведен был в Армавир.

Я помню, как в Москве кондовой,  
Но к новому уже готовой  
В Сокольниках среди осин  
Стоял Американский купол,  
Набитый всем от шин до кукол  
Я там бывал, бродил и щупал  
И пил шипучий керосин.

Я помню рифмы Евтушенки,  
Расшатанные этажерки,  
Что украшали по дешевке  
Хэмингуэй и «Новый мир».  
Я помню время Будапешта,  
Я помню вести подопечных  
Держав, ну, Польши, например.

И остроносые ботинки,  
И длиннохвостые блондинки...  
Вас, бледноватые картинки,  
Я вызываю на парад.  
Я сам на этой киноленте  
Подобен бедной канарейке,  
Запевшей в клетке невпопад.

Я сам такой шестидесятник,  
Заброшенный, как бы десантник,  
В семидесятые года.  
О, ветер, лживый и надсадный,  
Тащи мой парашют до самой  
Земли...

И сбудется тогда.

\* \* \*

Как мало надо. Невский пароходик.  
Печальный день. Свободная печаль.  
Какой-нибудь мотивчик похоронный,  
Какой-нибудь разболтанный причал.

Рогатый лист мне гороскопы кажет,  
Собака в подворотне так добра.  
Сейчас поднимет голову и скажет:  
«Я за тобой, готов ли ты? Пора».

Как мало надо. Этот город шаткий,  
Качание от хлеба и вина.

И летний дым, то горестный, то сладкий,  
Окоп по пояс — вот моя страна.

Всего лишь пароходик. Вот избушка  
Петровская открылась мне отсель.  
Бутылка пива. Атомная пушка.  
И пылкая валькирия в постель.

### ВЕСЬ ДЕНЬ ДОЖДЬ...

Целый день неумный дождь над заливом  
Бьет с небес по лаврам, акациям, розам.  
Чуть устанет и — с минутным перерывом —  
Начинает, усыпляет, как наркозом.  
И приходится сидеть мне у веранды  
И глядеть, как волны, точно мериносы  
Всей отарой выбирают варианты  
Сдать руно — как будто выплатить партвзносы.  
Этот блок большевиков и беспартийных  
Мне понятен, я и сам оттуда родом.  
Только луж овальных, круглых, серповидных  
Стало больше, и глядят они болотом.  
Что же делать? Надо, стало быть, сушиться,  
Натянуть фуфайку, выпить рюмку,  
И с дождем, выходит, можно нам ужиться,  
Влиться в струйку, вытянуться в струнку.  
И всего вернее, может, затвориться,  
Пусть лукавит, соблазняет и лепечет,  
Что подмочено — уже не состоится,  
Дождик знает, что там чет, а что там нечет.  
В этот бред, капель древесную, дремоту  
Он подбавит два-три слова, две-три капли,  
Засыпание, забвенье, позолоту:  
Как бы, будто, словно, славно, вроде, вряд ли...

\* \* \*

### *Пранасу Моркусу*

Я был здесь лучше, был здесь, кажется, моложе —  
чужие города свидетельствуют строже.  
Поймавши небо в перископ костела,  
хотел бы я узнать: «За что же, Боже?»

Идиотичность этого вопроса  
не так проста, как нынешняя проза,

и кроме этого — я вопрошаю нечто  
похитроумнее, чем Кант или Спиноза.

Еще не стерлись на проспекте плиты,  
и царствуют в июле те же липы,

на паперти смиренно ждут валюты  
умеренные те же инвалиды.

Вот стало облако шатром над головою,  
и словно пред отметкой нулевою  
я здесь стою один и повторяю:  
«Один, один, а как же эти двое?»

Сбежали, точно призраки, как дети.  
Две-три минуты — и они на новом свете.  
Теперь вот дожидайся — вдруг вернуться,  
когда имеют что-то на примете.

И ты, товарищ в куртке домотканной,  
ты нить прядешь, как шелкопряд непарный;  
ты что-то знаешь, но молчишь, и остается  
гадать, как по картинке календарной.

Рассеян год. Но ведь осталось что-то.  
Нужны повадка и удача звездочета,  
чтобы узнать, когда опять планеты  
сойдутся и составят круг почета.

И мы с тобой опишем половину  
дуги и заберем на плотину —  
запруду времени и взглядом повстречаем  
тех, кто навстречу нам спешит из карантина.

## КРЕЩЕНСКИЙ МОРОЗ

Как часто я мечтаю о тепле, хромая на холодном костыле  
зимой, когда тепло стоит в депо — припоминаю всякое тепло.  
Подошвы примерзают к мостовым, над городом стоит махровый дым,  
пот застывает в ледяном белье, моя душа взывает о тепле.  
Тепло ночей Кавказа вороных, когда открыт широкий воротник,  
когда вино и соус пополам лениво утекают по губам.  
Тепло ночей, что молока бледней, когда Нева бежит, а перед ней,  
как мертвый зверь, пришла на водопой империя с отбитой головой.  
Еще припоминается тепло. Оно, как третий всадник, тяжело,  
а цвет его, как огневой цветок, который плавит броневой щиток  
и растворяет чашки на столе. Наездники в седле — и мы в тепле.  
Но можно обойтись и самому, тепло доступно даже одному,  
простому пешему, кто чистит башмаки, утюжит на досуге пиджаки,  
вывязывает галстук, а потом поспешно запирает темный дом.  
Подобно летчику, он землю видит так, когда порядок, а не  
кавардак.

В просторных сумерках открытая земля, выписывай любые вензеля,  
как полотняный легонький биплан, заройся носом в чернозем полян,  
в гвоздичную и шелковую мглу, там, где тоннель темнеется в углу.  
И, переделав крылья в шатуны, пыhti во тьме без масла и слюны,  
как поршень, что почуяв перекося, чугунным мужеством спасает  
паровоз.

Подземный ход кончается, и вот душистая оскомина встает,  
целует веки. Ночь ушла. Светло. А простыни хранят ее тепло.

\* \* \*

В гостинице «Европейской»  
заснул нетрезвый турист.  
О, город мой затрапезный,  
ты пуст, просторен и чист.  
В карман забита бутылка,  
окурок в зубах зажат,  
загадочная улыбка  
приколота на фасад.  
Тихи на флагштоках флаги,  
в яхт-клубах мутны огни,  
как бы водяные знаки,  
видны на просвет они.  
Нет часа, когда мы видим  
яснее нашу судьбу.  
О, нет, никогда не выдам  
местному, мужу, суду...  
«Скажи, чародейка Лара,  
гадай на этом песке —  
изгнание, смерть, отрава,  
все в жизни на волоске...  
Что видишь сквозь самый первый,  
осенний сухой туман?»  
Я верю в твой нрав неверный,  
твой шарф подношу к губам.  
Скажи-ка, докуда стоит  
добраться, дожить, успеть?  
Не лучше ль, как астероид,  
в полете дотла сгореть?



*Ольга СЛАВНИКОВА*

## МЕХАНИКА ЗЕМНАЯ И НЕБЕСНАЯ

Две улицы в центре города параллельны: обе начинаются у пруда с тяжелой, не дающей волны водой и, одолев пологий подъем, завершаются булыжной площадью, где хлопают голуби и бьют часы и где по очертаниям домов все еще заметно отсутствие давно разрушенного собора. Когда-то эти улицы назывались Большая Вознесенская и Малая Вознесенская. Они много раз перестраивались, меняли вывески и в конце концов уподобились друг другу по-родственному. Там, где на Большой стоит, в колоннах и афишных тумбах, филармония, на Малой таится полуподвальный нотный магазинчик с запрокинутой к прохожим витриной; налево от магазинчика служит райпотребсоюзу облупленный, будто больной лишаем особняк — ему на Большой соответствует стилизованное под восемнадцатый век новое здание музея; ниже музея на квартал пестрит рекламой и хлопает дверьми бюро международного туризма — а на Малой о дальних землях напоминает жилое окно с пальмой в кадке и отражением неба в треснувшем верхнем стекле. Кроме очевидных соответствий, есть и другие, скрытые: что-то связывает университет и кондитерскую фабрику, Главпочтамт и мастерскую по ремонту зонтов, академический институт биохимии и скромное заведение, которому неоновое слово «Парикмахерская» явно велико — каждая буква размерами напоминает кресло, коих в салоне всего четыре, два для женщин и два для мужчин.

Две улицы за время своей жизни не только подражали друг другу, но и усиливали различия. Большая стала еще просторнее: она стремительна, многолюдна, многолюдна, ее призывы и указатели обращаются к прохожему с непрекращаемым достоинством, а пять чугунных памятников, напоминающих вместе с постаментами шахматные фигуры, расставлены сообразно значению условных сил. Малая улица сделалась еще меньше — столетние дома вросли в землю по первые этажи. Тихой улицу не назовешь: грузовики, для которых соседняя Большая закрыта, с надсадой тянутся вверх и вниз, рыча на светофоры и заставляя жалобно ныть оконные стекла. Все-таки, несмотря на железный грохот, Малая улица кажется иногда не совсем настоящей — такими странными, театральными бывают здесь свет и снег. Мягкими зимними вечерами рыхлые хлопья косо летят на свет фонарей, сглаживают угловатость городских сугробов, лепятся на морщинистые стволы, наряжая тополя березами. В сильные холода на Малой улице висит особенно непроглядная мгла: беззвучны призраки здешних деревьев, снег лежит без блеска, будто толченый мел, над канализационными люками стоят целые горы густого белого пара — и какой-нибудь КамАЗ грубой реальностью врывается в этот сон, чтобы тут же сгинуть и быть забытым. Лето здесь чаще всего тоже холодное, промозглое (природа и не думает компенсировать тридцатиградусные морозы) — но после полудня, если есть в облаках хоть малая щель, смуглый отсвет ложится на старую штукатурку, напоминая о других, южных городах. В такие минуты пройдет ли старуха с мешком, перебежит ли улицу собака, улыбнется ли чье-то лицо, уплывавая в троллейбусном окне, — все кажется завязкой важного события.

Мужской мастер Люба, жужжа машинкой над нахохленным клиентом, укладкой вздыхала. Не удалось достать на свадьбу хорошего вина, в салоне для новобрачных все не было подходящих туфель ее размера, а главное, Гена уже два

дня куда-то запропал. Работа не ладилась: Люба никак не могла совместить клиента, сидящего в кресле, и клиента, отраженного в зеркале, в одного человека — и когда этот третий вставал и направлялся к кассе, все видели, что он не подстрижен, а обкромсан, как сирота. Любе делалось совестно, ведь она самая молодая из мастеров, а уже халтурит (именно это качество — молодость — казалось Любе несовместимым со всякой нечестностью, все равно, как если бы у новых туфель оказались ободраны каблуки). Потерявшийся Гена был для нее сейчас словно в какой-то пустоте, и чтобы зацепиться надеждой за что-нибудь доступное, Люба загадала на беременную женщину, часто проходившую мимо парикмахерской. Если и сегодня появится, значит, Гена забежит хоть на минуточку — Любе так хотелось его видеть, что, кажется, она сделала бы его себе из воздуха, если бы не надо было выполнять модельную стрижку на нескончаемых и разных головах.

Почти каждый день, как только флаконы на Любином подзеркальнике разноцветно наполнялись солнцем и начинало пикать радио, женщина тяжело вступала в раму окна. Она пробредала близко к пыльному стеклу, заправляя за ухо вялую, будто засохшую прядку. Иногда женщина пристально смотрела с улицы в салон, и Любе становилось не по себе при виде этого лица — сплошного плоского отека с черными щелочками глаз. Руки женщины, открытые до локтя, тоже были как-то неприятны: разбухшие пальцы слегка топырились, сквозь полупрозрачную, туго натянутую кожу проступали фиолетовые вены, в которых вместо крови, казалось, медленно текли холодные чернила. Но когда незнакомка уходила из окна и ненадолго появлялась на другой стороне улицы, треугольная в своем широком платье, — Люба, спохватившись, начинала ее жалеть. Поначалу она сочиняла женщине болезни, алкоголика-мужа, а потом поняла, что все это лишнее. Достаточно того, что незнакомка существует — ведь не бывает бабы без беды. В Любиной памяти она глядела с улицы не зло, а будто ища спасения в их хорошенкой парикмахерской.

Сегодня Люба думала, что женщина в благодарность за сочувствие обязательно придет. Конечно, она не знает о жалости Любы, как не знает и о своей власти принести ей облегчение в маете, когда самое простое и нужное действие кажется притворством. И все-таки незнакомка не может не откликнуться той бессознательной частицей существа, которой все общаются со всеми, — наверное, уже близко шаркает, мотая сумкой на длинном ремне. Впрочем, Любе было трудно представить женщину вне своего окна. Мысль о том, что незнакомка, слепо отражая Любу в каком-то внутреннем зеркале, имеет еще и свою, зазеркальную жизнь, казалась ей просто невероятной.

День сегодня выдался пасмурный, тускло зеленел одеколон «Шипр», обремененный унылой резиновой грушей. Радио уже просигналило, а женщина все не шла. Подрезая клиенту челку, Люба очень тщательно вела ножницы вдоль его пугливо подрагивающих бровей, но все-таки косилась в окно (ей уже казалось, что женщина и Гена хорошие знакомые) — и нечаянно столкнула с подзеркальника очки клиента. Тут же под кресло поехала швабра с пегим шиньоном из разных волос, и очки, судя по звуку, сбрыкали в угол. Клиент открыл один глаз (второй остался залеплен неподрезанным мокрым хвостиком) и приподнялся, хватаясь за подлокотники:

— Что? Разбилась? Да скажите мне, я ничего не вижу!

— Успокойтесь, мужчина, я тоже ничего не вижу, — примирительно сказала Люба, подавив желание выскочить на улицу. — Посидите, я вам всё найду.

Но клиент не слушал. Рывком ослабив на горле простыню, облепленную полукочечками его волос, он полез под мебель и наделал там такого грохота, будто не искал свои очки, а ловил. Люба беспомощно смотрела на широкую, как письменный стол, спину своего недостриженного. Рядом уборщица тетя Надя равнодушно возила шваброй по полу, налегая цыплячьим телом на черенок. Наконец клиент поднялся, шатаясь, и Люба впервые увидела его по-настоящему: багровый, толстый, лицо немного перекошено, будто клиента когда-то ударили в левую скулу и он все еще не пришел в себя от удивления. Одна бровь из длинных желтоватых волосин была мертво опущена, другая — левая — лезла на лоб, а ли-

ловый лаковый нос казался наклеенным для какой-то грубой шутки. Свои очки клиент скрывал в большом, но слабом, похожем на рулет кулаке.

— Ну, и ничего страшного? — фальшиво улыбнулась Люба. В ответ клиент близоруко наклонился и осторожно разжал кулак, будто опасаясь, что очки упрут к кулачку. Но они покалеченно лежали на ладони: одна линза была грязная, другой не было совсем.

— Вот вам и пожалуйста, — раздраженно бросил клиент, протирая уголком простыни уцелевшее стеклышко.

— Ну что же я теперь сделаю? — громко спросила Люба, сама испугавшись, как ненавидит клиента за его правоту перед ней. — В «Оптику» побегу? Или возьмете деньгами?

— А чего спрашивать? — насмешливо откликнулся мужчина. — На кой мне этот спрос? И никуда вы не побежите, так только, для разговора. Деньги что, ерунда, больше того хлопотно...

— Сам не знает, чего хочет, — хихикнула тетя Надя, простодушно поддегивая бельишко через халат. — Кланяйтесь ему в ножки за эти очки, а он покуражится.

Работавшая за соседним креслом бригадир Карина Анатольевна, переваливая с боку на бок чью-то безвольную голову, холодно произнесла:

— Клиенты всегда скандалят из-за ерунды, а мы должны все это терпеть, такая наша работа.

Алая мякоть на лбу мужчины набухла так, что казалось — вот-вот оттуда брызнет помидорный сок. Он своими пристальными глазками смотрел только на Любу, понимая, должно быть, что здесь лишь она способна почувствовать вину, а прочие окружены совершенно непробиваемой стенкой. Это было несправедливо — может быть, тетя Надя своей бестолковой шваброй разбила очки, — и в то же время мужчина словно оказывал Любе какую-то честь. Когда он заговорил, голос его звучал спокойно и рассудительно:

— Разве вы имеете право решать, что в моей жизни важно, а что ерунда? Это моя жизнь. Это мои очки. Откуда вам знать, нужны они мне, или я могу без них обходиться?

Люба стояла перед ним как дурочка, краем глаза улавливая в окне скользящие силуэты, похожие на морских коньков. Какие-то ловкие, механические повороты во фразах клиента подсказывали ей, что подобные фразы употреблялись многократно, но от этого словно приобрели настоящую силу и вес. Клиент близоруко придвинулся к Любе и продолжил все с той же рассудительной прямоотой, так не вязавшейся с клоунской внешностью:

— И вообще, разве вы можете предвидеть последствия своих малейших поступков? Вдруг вам только кажется, что вы сделали пустяк, а ниточка от этого пустяка потянется такая, что лучше бы вы здесь все окна переколотили, чем одни мои очки.

Любе вдруг почудилось, что лицо клиента как-то странно освещено. Кожа ее резиново похолодела — она ощутила всю свою кожу, ощутила себя голой и совершенно беспомощной. То, что она испытывала к Гене — чувство, называемое ее полным именем и оттого казавшееся чем-то родным, только ей присущим, — делало Любу чересчур заметной для неведомого злого наблюдателя. Ей было что терять — поэтому любое слишком сильное движение будило многократное эхо, повсюду ожидал коварный подвох. Ее могли поймать на слове, на постороннем желании (бог с ними, с туфлями и вином!), и кто знает — вдруг нарочно подослали этого клиента, чтобы в гулкой, выжидательной пустоте Люба сама запустила механизм, который и погубит ее на конечном своем повороте?

— И чего пугает мастера, страмец? — вдруг визгливо выкрикнула тетя Надя, болезненно хватаясь за поясницу. — Ходят сюда, будто какие ангелы, будто на своей работе никогда виноваты не бывают. Довел девчонку до дрожи, вот как жалко своих очков.

В этот момент проглянуло бледное солнце, обозначая на стене едва закрашенные тени, и Люба заметила, что клиент не смотрит ни на нее, ни на уборщицу, а взволнованно шурится в окно. Она обернулась и успела увидеть, как мельк-



нул знакомый колокол беременного платья под самой мордой грузовика, там, где воздух уже почти сгустился в бампер, — и тут же налетел сам грузовик и потянул длиннейшую решетчатую ферму, так что ничего нельзя было рассмотреть в мелькании просветов, в скачущем угловатом движении на той стороне. Внезапно ферма кончилась, как обрубленная, и Люба увидела, что женщина на тротуаре преспокойно поправляет тапочек, поджав под себя ногу, будто большая задумчивая курица.

— Ишь ты, какая храбрая, — как бы с удивлением произнес клиент, рассеянно пятясь к креслу и нащупывая его растопыренной пятерней. Взгляд его был словно подернут туманцем, и Люба подумала, что без очков клиент видит эту женщину не такой, какова она на самом деле. Солнце опять ушло, тени превратились в мутно-серые пятна, — все стало грустно, неопределенно, зыбко, и Люба засомневалась, точно ли ей обещана на сегодня встреча, или же опять придется почевать при полном электричестве, чтобы Гена, вынырнув из неизвестности под ее окошко, не канул обратно в свою пустоту.

Почти каждый день Ида насильно выпроваживала себя на долгую прогулку. На восьмом месяце она сделалась ленива, полюбила что-нибудь читать, завалившись в глубину дивана и положив рядом с собой огромный шевелящийся живот. Иногда она с каким-то детским любопытством давила пальцем кожу на руке, ставшую будто сырое тесто, и долго наблюдала, как расправляется глубокая вмятина. Это было так непохоже на прежнюю Иду, что вызывало у нее снисходительную усмешку: все-таки она неплохо потрудилась, прежде чем уйти в декрет. «Ида умница, — говорила она себе, — Ида молодчина». Замедленно улыбаясь, она натягивала колючее платье, светлое снаружи, сумрачное изнутри: улыбка исчезала в складках подола и неизменной выпроставалась из ворота. Ноги в туфлях без каблучков, при каждом шаге удивленно проваливаясь на пяточку, выносили Иду во двор, празднующий двухнедельное лето музыкой из окон и криками пацанов. Далее путь Иды пролегал мимо слободки нагретых солнцем гаражей, по каменным переулкам с темными лужами на дне, отороченными тополевым пухом. Переулки, впадая друг в друга, делались шире и все вместе вливались, под бдительным присмотром светофора, в Большой проспект. Прямо напротив устья возвышался зеркальный брус с подоблачной надписью: «Слава науке!» В этом институте Ида работала старшим научным сотрудником. Многие ее коллеги любили говорить, что предпочли бы уголок потише, но Иде нравилось именно такое местоположение в городе — положение в центре, которого достигают далеко не все.

Иногда Ида поднималась в свою лабораторию. Все здесь было уже немного непривычно и казалось декорацией, уменьшенной копией комнаты, где Ида работала месяц назад. Вытяжной шкаф сделался похож на дом с трубой, каким его рисуют дети; теснее сдвинулись ряды столов, беспорядочно сгрудилась на них причудливая, в рогах и отростках, химическая посуда; сейф для токсичных реактивов утратил свою значительность, свесив из замочной скважины тусклую гроздь ключей. Обычно Иду перехватывали уже в коридоре и под руки вели к ее отдельному столику, откуда смущенно выпархивала, точно на нее могли сесть, круглоголовая практикантка. Белохалатники и белохалатницы сбегались, будто на праздник: «Идочка пришла! Ну что? Ну как?» Ида, смеясь, рассказывала, что уже не читает как графики силуэты домов, а свою установку для замера поверхностного натяжения видит как стеклянную лошадь. «Ида, у вас таки просто художественный взгляд!»

Ида любила похвалу, даже грубую, даже холодную и приторную, как остатки вчерашнего чая. Любила и хвалящего (тот иногда принимал ее теплый взгляд из-под бровей-бугорков за проблеск настоящего чувства), но никогда не испытывала потребности искать, в свою очередь, достоинства у собеседника. Еще Иде нравилось замечать, что ей завидуют. Тут она была так же неразборчива, как и в похвалах: новое ли платье, статья ли, поездка ли на семинар. «У-у, крошка Цахес, — журила она себя возле первого встречного зеркала. — У-у, ненасытная...»

Без зеркала она думала о себе в третьем лице: «Ида старательная, она делает для себя все, что может, ее совесть чиста».

Однако Ида безошибочно чувала, когда за похвалу ее пытались купить, и ни в коем случае этого не позволяла: «Художественный взгляд, Мария Абрамовна, не совсем то, что вы думаете». — «Я знаю, Ида Петровна, что вы ко мне не расположены. Когда вы станете завлабом, мне придется уходить». «Успокойтесь, я всегда поступаю не так, как хочу, а так, как считаю нужным». Добрейшая Мария Абрамовна, чей орлиный нос был такой же игрой природы, как угрожающие черно-желтые полоски у некоторых безобидных мушек, уходила успокаиваться в коридор. Всю жизнь она чувала над собой всевозможные беды и старалась ответить их добром, а не худом: похвалами, несуразно дорогими подарками к праздникам. Если бы Мария Абрамовна, наоборот, наносила удар за ударом, это раздражало бы Иду гораздо меньше. Впрочем, в обстановке получасового праздника раздражение быстро сходило на нет. Женщины накрывали чай на привычных ко всему томах Бейльшейна, приводили и Марию Абрамовну, и являлся собственной персоной ныне правящий завлаб Леонид Михайлович, такой тощий и нескладный, что обыкновенный костюм выглядел на нем порождением какой-то ушедшей либо будущей моды. Как всегда простуженный, как всегда забывший носовой платок, Леонид Михайлович аккуратно пользовался в уголке чистым листом бумаги. Когда он лет через пять переведется в столицу, Ида получит его должность, оклад и кабинетик — тесный квадрат со вписанным в него прямоугольником стола и с видом сверху на самый главный чугунный памятник.

Род занятий приучил Иду мыслить графиками, и график ее научно-служебного продвижения был оптимальным. В двадцать три опубликована первая статья (выжимки диплома), в двадцать пять — вступление в партию, в двадцать семь защита кандидатской. Вполне удавшийся банкет в ресторане, где Ида не была ни до, ни после и где почти ничего не запомнила: гости накурили до миражей. Все у Иды складывалось удачно, она как будто сразу вписалась в хорошо отлаженный механизм, еще не зная ни одной его пружины. Цепкая память давала Иде много преимуществ, а в обращении с людьми она умела, когда надо, оправдать их тайные ожидания. Скрытная по натуре, Ида получала удовольствие и от своей догадливости, и от своей игры, когда она как бы пряталась за зеркалом, а противник видел вместо Иды собственное преувеличенное отражение. «Идочка, что же вы, пришли ненадолго и все молчком?» — «В вашем обществе, Леонид Михайлович, гораздо интереснее слушать, чем говорить». Больше всего Ида любила, дойдя до критической грани, наблюдать, как зыблется усмешка собеседника, отражая то глуповатую недоверчивость, то полное блаженство. И всегда расчет оказывался точным: побеждала любимая иллюзия. По сути, Ида не рисковала. Она умела находить такую сокровенную струнку, такую задушевную слабость — чтобы поверить в почти очевидное издевательство, человеку надлежало всему переродиться. Каждый раз Ида совершала кощунство — окарικатурировала личное божество, различаемое ею сквозь все оболочки. Это было как раз то самое, чего она никогда не позволяла делать с собой.

Карьера Иды складывалась естественно: подвижка в науке и подвижка по службе были как шаг левой и шаг правой ногой. В принципе, существовали иные, более пологие графики продвижения — Леонид Михайлович стал кандидатом наук в тридцать восемь, — но у Иды оставалось впереди по меньше мере пятнадцать лет какой-то ей самой не совсем понятной свободы. В слоистом дыму ресторанный зала виделась Иде великолепная лаборатория (в нее превращались две люстры, электроинструменты на эстраде), и даже не лаборатория, а что-то вроде лавки чудес, где сами собой происходят открытия. Впрочем, была у жизненного графика еще одна переменная, с учетом которой график приобретал униженный спинной изгиб. Спина Иды то и дело ощущала, как белохалатное бабье сладострастно жалеет будущую завлабшу. Приходилось таскать эту жалость, как рюкзак. Дело в том, что в смысле семейного устройства Ида безнадежно отставала от своих тридцати: все еще жила одиночкой.

Ида решила родить для себя. Это был единственно возможный, со всех сторон разумный ход: выделяться своей женской неполноценностью станови-

лось просто опасно. На Иду начинали косо смотреть. Ей следовало как можно быстрее мимикрировать (Ида с притемненной усмешечкой признавалась себе, что пока ее карьерой двигает не жажда утвердить свою особость, а стремление влиться в поток). Кроме того, ей легче будет выйти замуж с ребенком: он станет наглядной порукой ее полноценности. Рано или поздно появится подходящий человек и при виде ребенка осознает: у этой строгой остепененной дамы что-то было в жизни, ее любили, ее можно любить. То, что обычные женщины выражают собой, своим телом, взглядом, Ида деликатно пометит вне себя — и найдется человек, который это оценит.

Ну, а потом вместо той части судьбы, что отрублена и отброшена, Ида смастерит протез: какую-нибудь в меру трогательную, в меру комичную историю с добрым, плюшевым, слабым героем, например, снабженцем из приволжского городка. Все в истории будет очень по-житейски, но в двух-трех случайностях вдруг обнаружится рука провидения — и это облагородит простоватые черты снабженца. Как ни странно, Ида представляла его себе гораздо яснее, чем будущего мужа. У снабженца рыхлое лицо, нос такой большой и самостоятельный, что похож на живого хомяка, — и непрменная шляпа, непрменный галстук: перевернутый, закрытый пиджаком восклицательный знак. Этого человека Ида видела так отчетливо, что не сомневалась в своей способности внушить его образ ребенку — образ такого отца, который окажется приемлем для отчима. Иногда под хорошее настроение Ида нахваливала себя за то, как полезно сконструирован снабженец: его ничтожество будет лестно для мужа в большей степени, чем для Иды его придуманное чувство, — тут соблюдена очень важная пропорция. Но в глубине души Ида понимала, что снабженец возник почти против ее воли. Он — фантом тех вечерних улиц, по которым Ида бродила в надежде на случайную встречу, он — Акакий Акакиевич, клоунски пестрый от разноцветных неоновых реклам. Зачем скрывать от себя, какими соками питается придуманный человек, какая кровь течет в его жилах? Его робкое, скулящее, ревнивое, непомерно алчное чувство — это Ида, какой она была девять лет назад, в самое мрачное время своей жизни. Его третьесортность, банальность — все это Ида, как она ощущала тогда свое место среди людей? Ида хотела отделить от себя своего снабженца, хотела его убить в случайной автокатастрофе, — а он не поддавался, все ходил за ней по пятам, и порой ее посещала мысль, что этот человек где-то существует.

Как бы то ни было, время, чтобы родить, Ида выбрала с умом: кандидатская есть, и пока Леонид Михайлович завлаб, в коллективе не дадут появиться второму доктору. Выдалась двухгодичная пауза, которую можно было употребить на добросовестное материнство: обеспечить ребенку здоровье, а себе более или менее развязанные руки. На работе беременность Иды восприняли благосклонно. Белохалатницы долго ничего не знали — первые три месяца, когда весь мир сделался каким-то собачьим от множества съедобных запахов и была противна даже теплота собственного тела, — в эти самые тяжелые месяцы Ида никому не сказала ни слова и даже к врачу не пошла, чтобы какая-нибудь случайность не изменила ее решения. Зато потом женщины посуетились вдоволь: «Наша-то Идея Петровна! Идочка, вы хотите девочку или мальчика? Идея Петровна, мы уберем от вас аквариум, не дай бог аллергия на сухой корм». Тогда виновница хлопот отчетливо поняла, что в ее жизни наступил перелом, выражаемый в этих конфузливых колебаниях между Идой и Идеей Петровной (она не находила ничего смешного в своем полном имени, гораздо смешнее были многие обычные имена: Лиза, Аграфена). Однажды вечером к ней пришла отрешенно-печальная мысль, что вот-вот — ее же усилиями — Идея Петровна оформится вполне, и жизнь откроется в самой лучшей, самой полноценной своей части — но будет уже просматриваться почти до самого конца.

Побыв в лаборатории не более получаса (праздник начинал к тому времени выцветать), Ида по одной из двух возможных, совершенно одинаковых лестниц спускалась в вестибюль и покупала там без очереди свежие газеты. Если на этот

день была назначена явка к врачу, полупустой трамвай невыносимо медленно вез ее вокруг пруда, в котором, как в испорченном телевизоре, полосами шло перевернутое изображение стадиона. Ида пыталась читать, но скоро ловила себя на том, что заучивает наизусть первые строчки выбранной статьи. В последнее время все обязательное сделалось для нее мучительно, и она удивлялась, как это раньше могла охотно следовать режиму. Перед своей остановкой она тяжело отрывала себя от сиденья и еще два-три раза плюхалась обратно будто бы от толчков вагона, а на самом деле от нежелания покидать трамвай, который сейчас обгонит водонапорную башню и покатит назад, почти до самого Идиного дома. Все-таки она заставляла себя спуститься навстречу нетерпеливой толпе свежих пассажиров и добрести через дорогу и дворы до угрюмого краснокирпичного строения с тугими дверьми на крашенных пружинах. Однажды в этих дверях Ида столкнулась с молоденькой девочкой, плакавшей навзрыд. Самой Иде тоже не сказали здесь ни одного хорошего слова.

В коридоре женской консультации пол, обтянутый истертым, в серых лысилах узора, линолеумом, то и дело проваливался под ногой, и никак не удавалось изучить конфигурацию этих ям и колдобин. Здесь муторно пахло канализацией, побрякивали кидаемые в ванночку инструменты. Белые халаты на врачах казались Иде ненастоящими, будто нарисованная одежда матрешек — в отличие от ее рабочего, прожженного кислотой.

В назначенном для Иды кабинете обитала женщина-врач, крупная ясноглазая дама с маленькими пухлыми ручками, а напротив жалась пониже к столу кудлатая медсестра. «Да, моя хорошая, будете рожать тяжело, — приговаривала врача, лениво вымеряя ладонью Идин живот. — Надо бы вас в стационар, да нет мест, а хорошо бы полежать на сохранении... Я вас предупреждала сразу: младенчик дорого станет. Дай-то бог, чтобы все обошлось». И она мыла перепончатые лапки под резкой, приподнимающей кран струей, а медсестра глядела сквозь Иду и чесала авторучкой в голове. Пока Ида одевалась за ширмой (особенно противны были казенные развалистые тапки с написанным масляной краской номером кабинета), медсестра рассуждала отчетливым голоском: «Странная женщина. Другие с такой патологией врачей за полы хватают, глядят в глаза, обрасчаются с подарком. А этой хоть бы что». Тут же голос врачихи неразборчиво набегал и, бурля смешком, топил слова медсестры.

Ида не особенно боялась родов и того ужасного, что ей наобещали. В конце концов предупреждена не она, а они. Они все знали, записали в карточке, и если бы положение было действительно опасное, ее бы заставили подвергнуться неким искусственным процедурам. Ида отлично усвоила, как мало решает человек, если он в системе попросту никто. Поэтому она не верила, что ей могли оставить выбор между жизнью и смертью. Здесь, в консультации, Ида справедливо воспринимала врачиху как свое начальство, а себя как самую мелкую единичку — это и унижало ее, в своей системе стоящую на довольно высокой ступени, но и успокаивало. Конечно, будет больно (Ида, никогда не испытывавшая настоящей физической боли, могла вспомнить разве что ушиб на ноге, и только вид его: лиловая полосатая подушка). Но даже если бы можно было сейчас пойти на попятный, Ида не отказалась бы от родов: это попросту следовало сделать во исполнение слова, данного себе девять лет назад.

Тогда она позволила себя унижить, растоптать: за плотно прикрытой дверью в тот коридор памяти все продолжалась какая-то жизнь, а ночные улицы Ида и не пробовала забыть — они были последним обольщением и последним обманом. Иду уже отшвырнули, уже по телефону на первом слове обрывали гудком — а ее потрясала мысль, что она и человек, чье распространенное имя оглушительно звучало ей в чужих разговорах, прыгало в глазах с газетных страниц, — что они все-таки живут в одном городе и могут случайно встретиться. Тогда все начнется по второму кругу (первая встреча тоже была случайной), и она отыщет в цепи событий изъян, осторожно выправит судьбу в нужную сторону.

Так она рыскала под бурями от городских огней облаками, старательно обходя новые, мешающие восстанавливать прошлое постройки (в том числе яче-

истый брус на Большом проспекте, огороженный забором и опекаемый зрячим башенным краном). Иде казалось, что теперь она всегда будет блуждать, никогда не сможет остаться дома — и однажды она увидела его на другой стороне улицы, под руку с высокой девицей в кожаной куртке: они собирались переходить. Ида двинулась им навстречу — по белым полосам над черной пропастью — с двух сторон горели зеленые глаза, два ряда машин наблюдали, но на середине улицы обнаружилась ошибка: мальчику было не больше пятнадцати лет. Разве только рост и что-то общее в посадке головы (в профиль похоже на стоящий торчком топор) — но Ида, оцепенело разминувшись с юной парой, в уме продолжала раскручивать начатую сцену. Сцена эта среди сорвавшихся с места машин была безобразна: Ида понимала уже, что мальчишка ей послан несуществующим Богом, чтобы уберечь от последнего, дикого унижения.

Потом она увидела себя в каком-то крутом переулке: она очнулась. Теперь ей хотелось вернуть не минуты нежности, а часы шумных, постыдных ссор — чтобы вдруг замолчать с достоинством, повернуться и без единого слова хлопнуть дверью его квартиры. Под это призрачное хлопанье (исполняемое чудовищным кузнечным прессом, слышном в ночи на много кварталов окрест) Ида решила, что виновата во всем сама. Но довольно с нее, больше такого не повторится. Теперь Ида станет служить себе с полной силой отчаянья, и все в ее жизни состоится так, как у самых счастливых женщин. Ида будет последовательна, сильна, не упустит ни единой мелочи, и ничто ее не остановит. Торжествующе ухал пресс, и над головой Иды поперек ломаной щели облака бежали так быстро, будто кто-то тянул небо за край: вот-вот сдернет, и тогда откроется... Вместо этого сыпанул крупный тяжелый дождь — Ида ловко отразила его щитом автоматического зонтика.

Спустя девять лет Ида не расслабилась, потому что не простила. Ребенка следовало родить. Она почти с нетерпением ждала того момента, когда от нее уже ничего не будет зависеть — не понадобится ни умения, ни ума. Она будет только кричать, а действовать будут врачи, которые предупреждены. Пока же требовалось заботиться о детском белье, сдавать анализы, есть побольше витаминов, шлифовать между делом образ снабженца. Но каждый раз, покидая неизбежный кабинет, Ида вместе с радостью освобождения ощущала и некий укол. Не ленится ли она, делает ли для себя все возможное? Слепо выжывая ногой из-под стула, уже кем-то занятого, свои отдохнувшие туфли, Ида размышляла — а не дать ли в самом деле врачихе подарочка? Нет, отвечала она себе (и эта уверенность совпадала с пожатием крепко надетой обуви), разумеется, нет, от врачихи сейчас ничего не зависит. Ей делаются подношения в надежде задобрить судьбу: кормление лупоглазого идола. Ида не тепела неоправданных убытков — они искривляли ее оптимальный график. Она припасла духи для акушерок роддома — вот это имело смысл. Конечно, было бы забавно и здесь подпитать иллюзию, химеру особого, редкого сорта: разделяя суеверие женщин, врачиха простодушно считала свое благополучие залогом общего здоровья. «А кто делает мне зло, того жизнь накажет», — эта ее фраза, завершавшая какой-то телефонный разговор, многое открыла Иде. Она представила, какой бы мог получиться из ритуального действия жестокий фарс — но потом благоразумно решила, что в другом месте сможет развлечься бесплатно.

Если Ида была свободна от явки в консультацию, она отправлялась бродить. Обыкновенно ее тянуло на Малую улицу. Там всегда что-нибудь происходило: дрались цыгане, веревка с бельем, натянутая меж классических колонн жилой развалюхи, вдруг ни с того ни с сего падала в кусты. В окне парикмахерской можно было видеть два, иногда три фальшивых белых халата. Тут были как бы задворки Большого проспекта: обратные фасады высоких зданий несли на себе явные признаки той же пятнистой болезни, которой заражены на Малой почти все дома, от пруда до самой площади. Институт являл на крыше вместо славы науки — грубо сколоченный забор.

В последний день двухнедельного лета Ида немного припозднилась с про-

гулкой. У нее с Леонидом Михайловичем вышел тихий неприятный разговор. С одной стороны, брать его в соавторы статьи значило отдавать свое: весь материал, и теоретический, и экспериментальный, принадлежал Иде целиком. С другой стороны, там, где Леонид Михайлович будет со временем, он может посодействовать с монографией, без которой нечего и думать о защите докторской. При этом есть вероятность промахнуться, пять лет — немалый срок, а вдруг в столице решат вопрос в пользу другой кандидатуры... С третьей стороны, Леонид Михайлович делает Иде любезность, он вполне мог пригласить кого угодно, — и все равно было неприятно, и отеки на ногах беспокоили больше обычно, давая ощущение тесных, туго натянутых капроновых чулок.

День был серый и мягкий, пахло горячей ванилью от близкой кондитерской фабрики. Влажный воздух затуманивал, смягчал грубоватые линии Малой улицы — но вдруг проступала мокрым мазком какая-нибудь красная кровля, не замечаемая прежде, а по темной луже, целиком занятой отражением архитектурных частей, разбегался тонкий кружок: не то водомерка, не то капля пробующего дождя. Ветра не было, однако в складках воздуха вместе с ванильной духотой пряталось и что-то пронизывающе-холодное, а по краю лужи плавал маленький желтый лист. Лето уходило — все так и знали, что пора, что тепло истрачено. Мужчины застегивали пиджаки, женщины несли шерстяные кофты в голых руках, покрытых пупырышками: они готовы были задержать короткий ласковый сезон ценой простуды. Ида смотрела на них и думала о Леониде Михайловиче и о том, что на тополях еще долго будет держаться клеенчатая листва, хотя пух истрачен, — и снова о Леониде Михайловиче: вот если бы сделаться как-нибудь его любовницей, многие проблемы решились бы сами собой. Впрочем, это так, игра ума: у Иды более консервативная модель благополучия.

В киоске «Союзпечать», излучавшем доброжелательность рядами поздравительных открыток, Ида набрала целую кипу свежих, еще сырых, плохо пропеченных газет. То, что они писали, было эфемерно на фоне стройного вращения систем — впрочем, одна особо осмелевшая стала теперь печататься в четыре краски. С нее Ида решила начать, устроившись в квадратном скверике с квадратным же фонтаном, расположенным, однако, как-то косообоко и не в центре (тут вспоминалась идеальная геометрия кабинета Леонида Михайловича). В общем, здесь было неуютно: к взаимной неловкости квадратов прибавлялось что-то физиологическое в работе фонтана. Единственная его струя, идущая из голой трубы, поднималась толчками: то упруго росла и распадалась во все стороны на большие водяные бульбы, то слабела и петляла — казалось, это биение организма, проросшего над землей домами, а под землей укоренившегося сплетением труб и проводов. Ида уже совсем собралась уходить, как вдруг фонтан заснонил-ся хорошо запечатанным пиджаком, и незнакомый голос спросил с осторожностью:

— Я прошу прощения, как мне пройти в центральный универмаг?

Ида запрокинула голову: мужчина торчал из своего пиджака, будто из конверта. Вид его был странен: криво подстриженный чуб, неуклюжие очки с единственной линзой (открытый глаз казался шире и светлее застекленного), сочный свекольный нос. Широкое лицо мужчины было испещрено волосяными мелкими занозами: вероятно, он только что побывал в парикмахерской.

— Два квартала в сторону площади и сразу направо, — вежливо ответила Ида и показала газетой. Но мужчина, вместо того, чтобы идти в универмаг, уселся подле Иды и руки сцепил калачиком вокруг колен. Ида покосилась на него, смутно ощущая беспокойство: где-то она уже видела этого человека. Одни особые приметы — слишком особые, чтобы не быть маской, скрывающей подлинное лицо. Подозревая какой-то соблазн, Ида собрала газеты со скамьи. Мужчина расценил это как приглашение и подвинулся ближе.

— Я тут, знаете, в командировке, — произнес он, влажно глядя куда-то за Идино плечо. — Очень скучно жить. Со мной ничего не происходит, даже в чужих городах. Нет, я не в смысле приключений, не только в этом смысле, но хотя бы украли чемодан. Все-таки событие.

Ида хотела уйти, но мужчина говорил и будто гипнозом удерживал ее на

месте. Она прикрыла глаза — тотчас взревела улица, заплескал, защелкал фонтан, слова чудовищно разрослись и загудели пустыми бочками. Открыла — и сразу примолкло. Тихо шла по небу целена облаков — каждая ямка, будто в прибрежном песке водой, заполнялась молочным солнцем. От белого солнечного света видимый в перспективе улицы пруд блестел, как обрывок мягкого целлофана. Все было невинно — слишком невинно, чтобы не таить угрозы.

— Ага, вы, значит, тоже играете в жмурки? — оживился мужчина. — Я вот иногда зажмурюсь и пробую представить, как бы я жил слепым. Не получается. Но как открою глаза и увижу не то, на что смотрел, когда закрывал... Мне становится страшно. Будто что-то такое, знаете, проскочило, а я прозевал. Иногда до того заиграюсь, что и сморгнуть боюсь, — мужчина криво улыбнулся, тараща глазки, которые быстро наливались слезной красотой.

«Ненормальный», — подумала Ида. Тотчас плечам ее сделалось неудобно: мужчина положил руку на спинку скамьи — еще не объятия, а как бы намек, чуть-чуть интима. «Ничего себе», — ошарашенно усмехнулась Ида, садясь прямее. Утесненный ребенок шевельнул своими буторками — снаружи было видно, как колыхнулось платье — и на секунду ноги Иды связала тонкая тянущая боль.

— Знакомые мне советуют не придавать значения мелочам, — продолжал мужчина доверительно, с росой на ресничках (должно быть, Ида пропустила что-то в его речи, потеряла какую-то связь). — Но что делать, если вся жизнь состоит из мелочей? Приходится их как-то расставлять по ранжиру, строить что-то из этой чепухи. Честно сказать, я даже рад, если находится из-за чего поволноваться. Но иногда не могу держать себя, иду вразнос, а это для меня вредно: давление. Уже был инсульт: завтракал, чашка выпала из руки, и я не видел, как она разбилась. Если бы увидел, точно бы умер. Понимаете, у меня три бабы в разных городах. Тут Иде опять показалось, будто она что-то пропустила. — Но они такие одинаковые, что я даже не чувствую себя грешником. Будто не три, а всего одна. А вот у вас в лице есть что-то... интересное. И такая ручка без обручального кольца... Я правильно понимаю ситуацию?

— В общем да, — ответила Ида, смягчаясь от похвалы. Рука за ее спиной поигрывала, похрустывала. Желтый лист — уже второй за сегодняшнее утро — скользил по невидимым воздушным горкам, выбирая дорогу в небольшой фонтановый бассейн. И снова Иде показалось, что квадратный сквер и квадратный фонтан не имеют друг к другу никакого отношения.

— Так давайте знакомиться! — обрадованно воскликнул мужчина, подтыкая пальцем свои невозможные очки. — Меня зовут Всеволод Иванович, лучше просто Сева.

— Идея Петровна.

— Идея? — мужчина остался серьезен. — Знаешь, тебе подходит. Идея, мой бледный цветок... — продекламировал он, морщась от избытка чувствительности. — Знаю-знаю, сейчас на тебя можно только молиться, ты сейчас святая. Но я опять приеду сюда в ноябре, ты уже будешь гулять с коляской. Может, тогда и в гости пригласишь?

— Боюсь, ничего не выйдет, — снисходительно усмехнулась Ида. Конечно, не тот вариант: мордатый Сева вовсе не похож на завидного мужа, которого она готовится ловить.

— Вот дуреха! Стал бы я просто так приставать к женщине в положении, — горячо заговорил мужчина, заглядывая Иде в лицо. — Ты что считаешь, я не найду себе бабу прямо на сегодняшнюю ночь? Да хоть двух! Я же не старый и с деньгами, подумай сама. Вон сколько твоей сестры ходит по улицам. Но я хочу иметь в жизни важное, чтобы остальную мелочь держать в порядке. Я бы думал о тебе, ждал ноября... Пацану что-нибудь прикупал потихоньку... Не знаешь ты людей, Идея, прямо тебе говорю!

— Это неважно, — Ида выставила локоть, защищаясь от полупривалившей туши в готовом лопнуть пиджаке. — Возможно, меня в ноябре уже не будет в живых. Врач говорит, ребенок мне дорого обойдется.

Мужчина медленно отодвинулся, утянул руку из-за идиной спины. Из-под

розовой краски на его щеках проступил еще один, почти чернильный румянец. Отчего-то Иде сделалось не по себе.

— Ты так говоришь, чтобы от меня отделаться, или это правда? — севшим голосом спросил мужчина.

— Боже мой, конечно, правда! — раздраженно воскликнула Ида.

Тотчас мужчина обеими лапами сгреб ее руку и стал страшно мять. Он кричился и как-то по-собачьи хватал зубами нижнюю губу. Ида, обмирая, хотела крикнуть мужчине, чтобы он перестал, что все это шутка. Она вырвала руку, попыталась как ни в чем не бывало свернуть газету, но не смогла. Листы тряслись, слова и пробелы сливались в муаровый узор. Вдруг недоброкачественный шрифт стал осыпаться Иде на колени — в струйке хрупкого мусора переваливались большие буквы заголовков — и все вокруг сделалось таким, будто не происходило сию минуту, а вспоминалось из будущего времени. Желтый резиновый мяч лежал на бортике фонтана, по тротуару шла Мария Абрамовна, заслоняясь от Иды сутулой спиной. Дома отворачивались, в воздухе плясала мошकारа. Все стало маленькое, убогое, захолустное, — Ида поняла, что ее страшно обманули, уверяя, что это и есть единственный настоящий мир. Мужчина смотрел на Иду отчаянно, и с этим уже ничего нельзя было поделать. Взгляд его означал, что Ида в самом деле может умереть.

— Дай сюда, — мужчина выдрал из рук Иды мятые листы с обломками строк и чьей-то покосившейся фотографией, сложил их и затолкал в раскрытую Идину сумку. Ида подумала, что надо куда-то немедленно пойти и заявить. Пусть этот мир всего лишь пыльная провинция тех светлых мест, куда уходят, — ей все равно не хочется искать себе иную родину. Надо пойти и потребовать: «Дайте мне другого врача!» — «С какой стати, разве вы теперь живете на другом участке?» — «Сделайте же что-нибудь!» — «Не кричите, женщина, вы не на рынке. Мы все знаем, ваша карточка с красной полосой». С внезапной яркой надеждой Ида поняла, как хочется ей сию минуту увидеть безразличные, сердитые лица, быть обруганной, выгнанной из кабинета главврача — потому что это ведь и означало бы, что с Идой все в порядке! Спасительное равнодушие, равнодушные-крепость — нет, вовсе не маму Ида берегла, посылая ей беспечные письма. Вот чего она на самом деле боялась — сочувственных переживаний (в сущности, бесполезных). Ида была зачарована общим равнодушием, она спала и была бессмертна — но явился Сева, толстый пиджачный принц. Он разбудил ее, он ее расколдовал!

— Слышишь, Идея, может, достать какое-то лекарство? — пальцы мужчины с треском мяли спичечный коробок. — Я ведь по всему Союзу езжу, много знакомых человечков в хитрых местах.

— Мне про лекарство ничего не говорили, — шепотом ответила Ида. Неужели он не понимает: если было бы действительно нужно, ей бы выписали рецепт с каким-нибудь особым грифом, направили бы в аптеку...

— Ну да, они не говорят, — покивал мужчина. — Рецепты на дефицит им не разрешают выписывать, так они даже не говорят, чтобы сами не искали и не поднимали волну. Ну ладно, завтра я, положим, сдам билет, как-нибудь проморгаюсь в конторе... Врачи знакомые есть? Любые — терапевты, ухогорлоносы?

— Уйдите вы от меня, — с мукой в голосе сказала Ида. Ей представилось: если Сева исчезнет, все станет, как было до него. Черный снежок мельтешил все в одном и том же месте, у его щеки и плеча: там, вероятно, было что-то испорчено. — Хорошо, тогда я сама уйду.

Уже знакомая боль опять связала ноги Иды эластичным шнуром. Ей захотелось потянуться, выгнуться дугой — все-таки она встала, и под ее подошвами захрустел, крошась, газетный шрифт. На противоположной стороне улицы два несуетливых мужика прибавали буквы, отвалившиеся от вывески пельменной.

— Идея, ты чего? Я тебя, выходит, больше не увижу? — мужчина, приподнявшись, поймал Иду за локоть. — Стой, дура! Ты соображаешь, что делаешь? Идея!

Некоторое время он шел за Идой — слышны были его мокрое сопение и жалобные крики. Потом он отстал, но ничто вокруг не изменилось к лучшему. То,



что он сделал, было непоправимо — теперь прохожие провожали Иду сочувственными взглядами. Мягко процокала гнедая крутобокая лошадка, прокатила телегу с пониженным от тряски седоком — Ида подумала, что может больше никогда не увидеть живую лошадь. Все-таки это не укладывалось в голове. Настоящий страх все не приходил, но Ида понимала, что ее может заколотить в любую минуту. Встречная толпа в глазах качалась рядами слева направо и справа налево (чем-то это напоминало ткацкий станок) — вот вынырнуло оттуда знакомое лицо. Сначала Ида решила, что это как мячик, который исчез так незаметно, что, чудилось, все еще был где-то в маминой квартире. Но это и в самом деле оказался Гена-стеклодуд: невозможно было не узнать идеальную пластику его улыбки и бодрую посадку головы. Еще издали он закивал, привлекая к себе внимание, и протолкался к Иде через маленький водоворот, возникший у дверей подъехавшего автобуса.

— Здравствуйте, Идея Петровна! Ну как вы? — спросил он и покраснел, продолжая по-дурацки улыбаться. — Что-то вы сегодня не такая, а? Тяжело?

— Какими судьбами, Гена? — спросила Ида без особого удивления, думая о том, что теперь и с ней на Малой улице происходят события. С появлением Гены мысль о смерти отодвинулась и будто встала за спиной. Разговаривать было неловко, точно в присутствии кого-то третьего.

— А я живу здесь, снимаю комнатушку, — Гена махнул рукой вдоль по улице. — Скоро у вас в институте откроют стеклодувку, меня туда зовут. Ваши заказы буду делать в первую очередь!

— Спасибо, Гена, вы хороший мастер, — скованно ответила Ида.

С вялым любопытством она отметила, как изменился отчего-то этот скучноватый одинокий парень. Он действительно был скучен и простоват, несмотря на киногеройскую внешность: при взгляде на него (часто сидевшего неподвижно) приходили на память аляповатые снимки в дешевых журнальчиках, вызывавшие смутное отвращение к ковбоям, демонстрациям мод и тропическим курортам. Иногда Гена что-нибудь говорил, но что именно — мало кто слышал: казалось, он выдувал из своих профессиональных легких вместо слов немые пузыри. Его зеркальный смайл появлялся каждый раз, когда Гена делал мышечное усилие. Иде лучше не вспоминать, как однажды блеснули его зубы в полумраке комнаты и одновременно упало кресло — воспоминание все-таки размывалось от любого неосторожного толчка, как он весь превратился в машину, и от Иды уже ничего не зависело, ей оставалось только потерпеть, еще немножко и еще немножко... Но сегодня Гена совсем другой, он стал как все живые люди. Когда успел? Кажется, всего неделю назад Ида видела его в институте. Тогда он не смог бы вот так подойти к ней, тем более протолкаться. Темно-синий костюм, который Гена по каким-то придуманным для себя правилам обязательно надевал, когда шел подписывать заказ, оставлял ему возможность только основных движений. Костюм будто направлял его по коридору к кабинету начальника АХЧ. Пиджачный ворот над шеей Гены был как лошадиная дуга (тут Ида подумала, что стала как-то слишком часто наткаться мыслью на лошадей и пиджаки — не значит ли это, что мир вокруг нее незаметно, тайно сужается?). Сегодня Гена был в красной лощеной ветровке и к тому же в руке качал, подцепив пальцем под узелок бечевы, какую-то попкупу, скрученную наружу подкладом — еще ничейным, необошенным, дающим нарядный шелковый отлив.

— Нет, правда, вы сегодня бледная, — настаивал Гена, пряча какую-то неизвестную Иде радость. — Хотите, зайдем сейчас ко мне? Отдохнете, попьете чаю и дальше пойдете по своим делам. Меня-то вам чего стесняться, правда?

Говоря так, Гена уже вел Иду туда, откуда она только что пришла. Он действительно радовался встрече с ней — кажется, впервые за все время их знакомства. Он почти беспрерывно болтал. Желтого пятнышка — мяча — уже не было у фонтана (его, должно быть, кто-то взял себе), и сам фонтан не выбрасывал больше воды: к подсыхающей трубе прибывало сонный мусор. Иду это насторожило: ей показалось, что такая перемена могла произойти только за долгое время, что случилась незаметная, предательская утечка жизни, которой и так осталось на самом дне. Или стряслось несчастье, равновеликое годам обычного времени:

что-то нарушилось в колоссальном надземно-подземном организме, и во всем городе не стало ни капли свежей воды. Конечно, это еще не страх, это всего лишь мысли. Ида ни в чем не виновата — может, поэтому никак не удастся поверить в скорую смерть? Ида все делала правильно и сейчас поступает как надо: гуляет по предписанию врача, поддерживает полезный контакт с хорошим стеклодувом...

Они шли, пожалуй, слишком быстро для Иды: дома и деревья подрагивали, как декорации на сцене, когда поворачивается круг. Ида заметила впереди кочковатый, небрежно выкошенный парикмахером затылок Севы, его конвертообразный пиджак (опять пиджак), на котором, как на всяком конверте, был разборчиво написан прямой и обратный адрес. Склонив голову набок (вертикальные строки), Ида прочла в правой верхней части спины название своей улицы, номер дома, квартиры (все было верно), а на жестких фалдах, стригущих при каждом грузном шаге мужчины, прыгало слово «Казань». Теперь Ида поняла, почему Сева показался ей так знаком — он и был тот самый снабженец из Поволжья. Она замедлила шаг, опасаясь, что сейчас они с Геной догонят снабженца, и тот опять вцепится, потащит делать что-то дикое, преследовать несуществующую цель. Но Гена в последнюю минуту свернул и увлек Иду вниз по хлопающим дощатым ступенькам, в конце которых темнела дверь с измятым почтовым ящиком и надписью мелом: «кв. 4». По краю двери, в грязной обивке, виднелось не то пять, не то семь замочных скважин — иные заржавели, иные были с затычкой из желтой бумаги. Гена нагнулся и в самой нижней щелкнул ключом.

— Сперва я к вам, теперь вы ко мне, — произнес он довольным голосом и посторонился: — Проходите, Идея Петровна!

Комната оказалась непосредственно за дверью — ни подъезда, ни прихожей, а сразу: далеко и высоко желтеющее окошко, забранное прутьями для защиты от ног, которые ходили там, бросая отчетливые тени на пыльное стекло и вызывая игру слоистых лучей, туго натянутых меж решеткой и углами кособокого стола. На столе Ида увидела стеклянный письменный прибор в зелено-золотых засохших чернильных потеках, чугунную сковородку с одной надкушенной котлетой в слое белого жира. Дальний угол был освещен слабосильной лампочкой (нить накала, как мохнатая гусеница на булавках), для чего-то горевшей без хозяина в этот час над гулкой раковиной и газовой плитой с черными пустыми ребрами конфорок. Полумрак комнаты состоял из множества плавающих точек, которые, попадая в солнечный луч, вспыхивали огнем, а подле лампочки превращались в жирных мух и гудели на клейкой ленте. На стенах тут и там проступали мокрые пятна: известная болезнь разъедала дом изнутри.

— Извините, Идея Петровна, у меня беспорядок! — беспечно воскликнул хозяин и забежал по комнате, хватая отовсюду какие-то тряпки (мелькнуло в его руках розовое женское белье), и все это вместе со своей покупкой обрушил за диван, откуда поднялось ему навстречу мерцающее облако моли. По обе стороны дивана из стены полукругло выступало что-то белое — приглядевшись, Ида поняла, что это колонны, до половины срезанные потолком.

— Бывший особняк купца Зотова, — объяснил Гена и грохнул сковородку на плиту. — Тут у него был вестибюль, а вон там, — он указал на простенок между колоннами, — там парадная лестница. Здесь везде живут, а вот я живу как бы в прихожей. А лестницу заложили, на ступеньках жить нельзя, правильно? Да вы садитесь, Идея Петровна, вам вредно стоять!

Ида присела на диванчик, утробно хрустнувший пружинами, и, не в силах уже держаться прямо, привалилась к умятой в угол подушке. Здесь еле ощутимо пахло духами, сладкими, как карамель. «Ишь ты, какой у нас Гена», — подумала Ида, благодушно усмехаясь и поудобнее вытягивая ноги. Ребенок проснулся и будто погладил ее изнутри. Чиркнула спичка, зашумел газ, Гена близко пробежал с хорошеньким стеклянным самоваром (одна из штукечки братья стеклодувов). Ида проследила взглядом, как он поставил самовар в раковину, крутнул туда-сюда лопасти краника, похожего на игрушечный вертолет, — тот завелся было, затарахтел, но тут же плюнул ржавчиной и заглох. Сразу Ида вспомнила про иссякший фонтан, и ей впервые сделалось страшно.

Иде показалось, что опасность, пока она не думала о ней, каким-то образом придвинулась ближе. Надо всё время помнить о смерти и тем держать ее на расстоянии, надо и Гене сказать, чтобы он был как еще один часовой. Некто третий, между прочим, тихо пришел сюда с улицы и спрятался на замурованной лестнице, выдавая себя осторожным скребущим звуком.

— Это мыши, — Гена выволок из угла полное ведро: поверхность воды колебалась, превращаясь в волнистое ухо. Через минуту стеклянный самовар на плите наполнился синим свечением, и на дне его завязались стеклянные пузырьки. Да, надо рассказать Гене, ведь пока он не знает о третьем, ни о чем нельзя разговаривать по-настоящему. В конце концов это касается и его тоже. Пузыри в самоваре созрели, заворочались, заклокотали, и синее погасло, а взамен Гена насыпал целую горку чаю, которая, размякая и разваливаясь, стала окрашивать воду в крепкий коричневый цвет. За стеной отчетливо раздались шаги, и какой-то маленький предмет расхлябанно забрякал по ступеням. Ощувив эти замурованные, но все же существующие, обрисованные звуком ступени у себя за спиной, Ида ознобно содрогнулась.

Гена, подхватив стол под края, осторожно переместил его к дивану вместе со сложной системой натянутых лучей (две или три пыльные ленты лопнули и повисли на окне паутинными лохмотьями). Перед Идой оказалось нежно дымящаяся чашка с полустертым золотым ободком. Ей очень хотелось чаю, но нельзя было пить (в сутки пятьсот миллилитров жидкости, напомнил откуда-то голос врачихи). Зато с этой чашки, с отказа от нее легче было начать разговор.

Гена тянул чай, пальцем придерживая ложку у края стакана. Иде казалось: именно ложка мешает ей что-нибудь прочесть у него на лице. Сзади за стеной всё настроенно затихло. Ида еще надеялась, что Гена весело скажет: «Брунда это все. Не берите в голову. Есть же врачи». Но он был уже не весел. Наконец, он осторожно поставил стакан (указательный палец, державший ложку, остался приподнят) и задумчиво произнес:

— Вы-то меня спрашивали про здоровье, а я вас не спросил, дурак. Говорил вам, ничего хорошего не выйдет, это не по-человечески...

Ида потупилась, чувствуя, что слова застряли где-то в глубине, и чтобы их освободить, нужно прочистить горло безобразным криком. Сделанное снабженцем из Казани было необратимо: Ида теперь и сама бы не поверила, начини Гена высмеивать ее чуть-чуть проклюнувшийся сквозь пленку реальности, ее свежий и острый страх. Вера в возможность смерти была как инфекционная болезнь: подхватив сразу от проклятого снабженца, Ида передавала ее Гене — и ей сделалось нехорошо при мысли, что может вспыхнуть эпидемия и весь город сойдет с ума.

— Ну ладно, — Гена неловко закинул ногу на ногу. — А может получится так, что вы... ну, то, что вы сказали... а ребенок останется жив?

Ида кивнула, машинально отметив, что Гена все тот же: стесняется произносить неповседневные слова, всячески старается их обойти. Теперь этот парень каким-то образом сделался Иде ближе, чем после того вечера, когда они вместе проделали отвратительную процедуру — вместе заставили себя пройти через это — и даже поспали рядом два часа, совершенно измученные. Тогда они остались чужими — случившееся не имело большого значения, это было просто одно из действий, которые следовало свершить. А теперь признание Иды — их общее знание о смерти — связало их интимней, чем ужасы общей постели, где оба они были как мошки в цветке росянки. На минуту Ида представила (и зрение подыграло ей, немного изменив цвета предметов), будто она смотрит уже о т т у д а и перед ней ее взрослый сын.

У сына вполне могут быть такие жесткие волосы, такая посадка головы, напоминающая семерку или топор. Иду иногда подмывало спросить у Гены про давнюю встречу посередине ночной улицы (которая на самом деле была пропастью с подвесным мостом из беленых досок). Не он ли был тот долговязый мальчик, к которому Ида с течением лет стала питать какую-то тоскующую

нежность? Не он ли тогда прошел так близко, раскачав своими шагами зыбкий мосток? Но Ида не задала вопроса, она боялась, что догадка не подтвердится. И выпадет звено, и тот, чей образ не истерся в памяти, не будет иметь никакого отношения к ребенку, и всё превратится в случайность и грязь. Пусть лучше Гена никогда не узнает, почему Ида именно его пригласила, как он выразился, «в гости». Ему не объяснишь, как при его посредстве воплощается то, что уже произошло: в сущности, мальчик на перекрестке (отличающийся, конечно, от реального парня, гулявшего с реальной девицей по реальной улице) — в сущности, он и есть ребенок Иды от любимого человека, он порожден его образом и ее воображением, и теперь осталось только родить его физически. Гена тут всего лишь слепое орудие, первичное, не сознающее себя существо.

Но теперь он сделался сосредоточен. Он так и этак оплетал пальцами колена, будто моделируя конструкцию сустава и пытаясь изучением постороннего и простого поднять себя из своих стоячих глубин.

— А если с вами... Ну, не самое страшное, а какая-нибудь инвалидность, болезн?

Да, вспомнила Ида, ей говорили, что она рискует потерять зрение. Теперь приходилось поверить и в это. Ничего, она вызовет маму — но жизнь, вся жизнь, все, что она выстраивала с таким трудом, — все пойдет насмарку. Может, следовало вовремя отказаться от ребенка ради остального? Однако диссертация и должность имели смысл не сами по себе (взятые в отдельности, они были жалки), но только как части целого, которому Ида не знала названия. Она должна была пройти через все и добиться всего — либо уж не пробовать вовсе, а найти той ночью подходящую скамейку и сидеть там, не вставая, пока сама собой не наступит смерть.

— Интересно получается, Идея Петровна, — в голосе Гены прозвучало удивление. — Вы говорили, что считаете меня самым лучшим человеком из всех, кого знаете, чуть ли не образцом. А теперь сами делаете из меня подонка?

— Бог с вам, Гена, — Иде даже стало немного смешно при виде того, как он вдруг разгорячился.

— Тогда зачем вы мне это рассказали? Будто маленькая, не понимаете. Я, по-вашему, должен сейчас попереживать, поохать и вежливо с вами распрощаться? У вас что, подружек для этого нет?

Он резко пригнулся и стал перебирать на столе мелкие пыльные вещицы. Зрочки его бегали, а руки стали похожи на беспокойных зверьков. Потом зверьки стали драться из-за расколотой пробирки. Иде все это было знакомо: точно так же Гена вел себя у нее, когда оказалось — ему мало приглашения, мало честного слова, что не будет алиментов и вообще никаких проблем. Ему нужны были еще и причины, чтобы сделать то, к чему естественно тянет нормальных мужиков.

Но Ида быстро его раскусила, она нашла ему причины, она вдоволь посмеялась над ним (и это помогло ей до самой последней минуты почти не думать о недвусмысленно белеющей в углу постели). Гена все водил вокруг да около занудные разговоры, из которых выяснилось, что одинокий, не имеющий даже приятелей парень, сидя в своей стеклодувке или снятой бог весть у кого комнате, похожей, как оказалось теперь, на тюремную камеру), все-таки считает себя связанным со множеством разбросанных по свету людей. Настоящих, как он определил, настоящих и порядочных. Зло — а чем же еще считается «всякое такое» с посторонней женщиной? — не может проявляться в их малейших поступках частями или образцами, а только все как есть целиком. И если «всякое-такое» произойдет, оно уже никуда не исчезнет, а будет существовать везде и всегда, делая зло более доступным даже для тех, кто и слыхом не слыхивал про Гену и Идею Петровну.

Ида сразу поняла, в чем слабость этой химеры. Всякий бред неуязвим, пока не соприкасается с реальностью — а реальностью было то, что Гена не знал никого из «порядочных» ни в лицо, ни по фамилии. Те, кого он ненадолго принимал за своих, быстро разочаровывали каким-нибудь некрасивым делом, на которое Гена считал себя неспособным. Поэтому иногда он греховно утрачивал ве-

ру в свое незримое сообщество — тем забавнее показалось Иде эту веру подкрепить.

Она знала, что не вносит своего, а только облекает представления Гены в слова и краски. Краски эти были грубы и ненатуральны, и преобладал ядовито-розовый цвет. Да, говорила Ида, люди, подобные Гене, — особая порода, особый орган человечества. Гена в волнении ходил из угла в угол, странно меняя позы по частям, надолго сохраняя в поднятой руке или повороте головы отпечаток предыдущего движения, — от этого казалось, что по комнате замедленно мечутся сразу несколько длинных и тонких мужчин. Время от времени Ида пугала его насмешливым взглядом в упор, давая ему на секунду заподозрить, только заподозрить издевку — и тут же заливала эту искру новым потоком лести. Ей нужен ребенок только от Гены, говорила она, ведь самый надежный способ продолжить породу — это иметь детей. В конце концов главное передается с наследственностью (тут была маленькая натяжка, но это сошло). Пусть Гена не сможет воспитать ребенка, пусть даже никогда не увидит его — зато он будет знать наверняка, что по крайней мере один человек его склада реально существует.

Чтобы вырваться из-под власти Иды, Гена мог сделать только одно — рассмеяться ей в лицо и сказать: «Ерунда, я маленький скучный человек, и моя маленькая скучная жизнь не имеет для людей никакого смысла». Но эту правду Гена отталкивал, иначе ему оставалось одно: глушить себя казенным спиртом, которым расплачивались со стеклодувами за левые заказы. И он быстро перестал сопротивляться, а Ида мстила ему, мстила за свое унижение, доводя происходящее до грани абсурда, — а потом они вместе, внезапно и больно обнявшись, шагнули за эту грань. Уличный фонарь, проступая сквозь реденькую штору расчерченным на клетки пятном, холодно подсматривал за ними.

Когда Гена сбежал, Ида грубо ободрала постель, оставив ее лежать в нечистых перьях и пятнах, и набила мусорное ведро пузырящимся батистовым бельем. Гена сбежал, а она оставалась жить на месте общего преступления. Всю ночь Ида бездомно просидела на незастеленном матрасе, слушая себя в надежде теперь же убедиться в своей беременности. Но собственное тело было немо, непроницаемо, и постепенно Ида поняла, что оно бесконечно далеко от ее настоящего «я» — будто другая галактика — и это расстояние, не замечаемое в повседневной жизни, все время существует. Ида смогла пошевелиться, только когда погас фонарь и окна дома напротив, зажигаясь одно за другим, сложились в привычный рисунок зимних семи часов утра.

Теперь же, в этой глубокой комнате, тщетно измеряемой не достающим до дна лучом, — все повторялось. Будто восемь месяцев назад Ида завела какой-то механизм и забыла об этом — и только частью его работы было развитие ребенка, зачатого в ту же ночь. Все повторялось: Гена вскочил и стал шараться от двери к окну — навстречу ему завылгядывали, будто встревоженные родственники, темные мебельные уродцы. На середину выбежал стул, одетый в синий хозяйский пиджак поверх еще каких-то тряпок, — и стал медленно заваливаться на спину, пока не хлопнулся перетянувшей тряпичной грудой об пол, выставив неожиданно породистые гнутые ножки. Ида прикованно следила за Геной, удивляясь, как много, оказывается, знает об этом парне, все яснее ощущая свою близость к нему. Раньше Гена был всего лишь слепое орудие, но смерть (одна только возможность смерти) как бы вызвала его из небытия, и теперь он должен сыграть в судьбе Иды свою самостоятельную роль. Собственно, он был сейчас для Иды самый близкий человек, единственный реальный человек в изменившемся мире.

Между тем стул очнулся от обморока и с помощью Гены встал на дрожащие ножки, оставив пиджак на полу. Цокая по-козьи, он увязался по комнате за хозяином, норовя подставить ему свое драное сиденье. Вдруг он игриво поддал Гене под коленки, тот запутался в жестких капроновых складках, натянутых от окна к столу, чертыхнулся, оборвал — и оказалось, что на улице идет зеленый шумный ливень. Стекло трещало от ударов тяжелых капель, ветер, налетая порывами, нес целые облака воды. На половине высоты окна дождевые снаряды

взрывались об асфальт, и в этом сверкающем мельтешении вздрагивал и катался мокрый и яркий резиновый мячик. Тот самый, ярко-желтый с белыми полосками, — Иде безнадежно захотелось подержать в руках свою игрушку, давно уже канувшую в безымянное природное вещество. Гена подошел к раковине и крутанул кран туда-сюда. Послышалось сухое шипение. Тогда он запрокинул голову и стал смотреть на воду, щедро падавшую за маленьким окном.

Гена теперь сделался спокоен. Ида вдруг оробела перед ним. Он был несомненно сумасшедший — только у больного, вообразившего себя Наполеоном, может быть такая осанка и такая тень на лице. В то же время он стал удивительно хорош — совсем не тот ханжа, зануда и моралист, которого она видела прежде. В нем проступило что-то настолько значительное, что уже немыслимо было бы назвать этого человека его единичным именем. Ида, не чуя под собой дивана, подумала — может быть, фундаментальный закон человеческой природы — понимать свои дела как явление миру — по странной игре обстоятельств выказывает себя через этого молодого косноязычного мужика. Бесполезно спрашивать, почему он избран. Именно он сейчас будет решать судьбу Иды — не в практическом, а в каком-то высшем смысле, ей пока неясном... И было страшно ощущать свою зависимость от того, хорошо или дурно поступит человек — не от житейских последствий поступка, а от добра либо зла как такового. То был иной, непривычный план существования. Ида в нетерпении даже подалась вперед: что-то она услышит?

За окном ливень укатил мячик вниз по тротуару и поредел, заплескал тише, сквозь него пробился грохот воды в водосточных трубах и визг тормозов. Силуэт человека против светящегося окна стал густеть, наливаясь какой-то тяжестью, будто хозяин только теперь появился в комнате по-настоящему. Он заговорил, и в голосе его прозвучала покорность судьбе:

— Ладно, Идея Петровна, раз так вышло, теперь ничего не поделаешь. Теперь, если с вами что случится, то поживимся. Я вас не брошу слепую с пацаном. А если вы... Ну, в общем, если совсем... Тогда я ребенка возьму себе. И сейчас буду приходить, помогать вам по дому и деньгами — денег у меня много, сами знаете... Скоро купим машину, будем ездить в лес, на воздух. Вот...

Ида в смущении хотела поправить смявшийся подол, но глаза внезапно обожгло слезами (такое слезное жжение чувствует лед, когда тает, подумала она). Ее потянуло разрыдаться прямо в безвольный комочек подушки, хранящий чужие духи. Правда, которую Ида посягала окарикатурить, от ее стараний только укрепилась — победила восемь месяцев назад, победила теперь, и было сладко признавать свое поражение. То, что предложил Гена, не подходило Иде для жизни — ей все равно не нужен был такой нелепый, ограниченный муж, с его обязательными правилами на разные случаи. Но есть другая, внутренняя судьба, догадалась Ида. И в этой судьбе явленное — значительно, каким-то чудом оно переводит смерть в ряд других реальностей мира. Не меньше, но и не больше прочего.

Переполаясь этим, Ида внешней частью своего существа скорее угадала, чем услышала за спиной тихий проседающий треск. Сразу у нее заломило виски, и она слегка оглохла — будто на голову ей надели очень тесную шапку. Перед глазами опять, как в старом-старом кино, замерцал косой черно-белый дождик — когда он сошел под землю, Ида увидела, что Гена смотрит на нее в упор. Он мгновенно метнулся взглядом в угол, потом попробовал посмотреть спокойно, но опять не смог, вильнул, — руки его, поросшие черным дымящимся волосом, дрались, как дикие зверьки. Ида сразу поняла причину его смятения — они с Геной были теперь настолько близки, что невозможны сделались никакие секреты.

Вместо того, чтобы стать часовым, чтобы тоже видеть смерть и тем не подпускать ее близко, — вместо этого Гена переметнулся в лагерь врага. Он сам хотел смерти для Иды, он так этого хотел, что даже весь дрожал и не мог произнести ни слова. Но Иде все было ясно и без слов. Она почувствовала себя такой беспомощной перед ним на этом хрустком диванчике, с этой дурной головной болью и тянущей, вяжущей болью в ногах. Ненависть Гены была несправедлива,

абсурдна — ведь Ида ничего не требовала, полагалась только на маму, — но Гена ее обвинял, он ненавидел в ней помеху своей внешней сложившейся судьбе. Ида без усилий догадалась, в чем тут суть: не случайны были в комнате духи и анемичное розовое кружевце, и оживление Гены относилось к тому же самому. Давешняя радость и теперь не покинула его, проступала на скулах горячим румянцем. Ида представила, как высокая кожаная девица самоуверенно входит в комнату, бросает сумку на стол (да, у нее тогда висела на плече большая мягкая сумка), начинает медленно распускать курточную молнию, прикрыв накрашенные веки в загнутых ресницах и улыбаясь лакированным ртом. Все это было отчего-то страшно: веки, похожие на тропические раковины (что может глянуть из-под них?), белые зубы, испачканные помадой. Но девица, искося заметив Иду, не бросилась на нее, а только вскинула щипаную бровь. Она лениво стянула куртку, оставшись в чем-то интенсивно-лиловом, и уселась на стул, всем своим видом давая понять, что избавиться от нее теперь невозможно.

Иде было стыдно плакать при девице, но едкие капли сорвались и побежали вдоль носа, а в кармане не нашлось платка. Вытирая лицо рукавом, Ида горько подумала, что если бы окаянный снабженец не повредил вокруг Иды заслон равнодоушия, то и Гене не надо было бы ни на что решаться, и он был бы с Идой весел и добр. По милости этого Севы Ида, жившая раньше невидимкой, оказалась обнаружена, и на нее теперь как бы объявлена охота. Она стала теперь мишенью для чувств — самых глубинных, не предписанных ни сверху, ни свыше, не подконтрольных ничему. То была темная стихия — Ида теперь не знала, чего ей ждать от людей.

Гена молча плеснул в свою чашку из ковша и стал крутить ее над раковиной, мешая пальцами в ополосках. Проседающий треск вдруг сделался явственно слышен, что-то скрежетнуло, крикнуло — уже не за спиной Иды, а где-то наверху, — и послышался со двора женский удивленный крик. Лампочка над раковиной погасла. Девица растерянно вскочила, придерживая за спинку рванувшийся в сторону стул, и медленно уселась обратно, бровью выражая презрение и нежелание что-либо делать. Воздух комнаты наполнился тонкой пылью, и над самым ухом Иды раздался отчетливый стук. Стучали вежливо и настойчиво, будто в стене между колоннами скрывалась дверь и в нее хотели войти неизвестные гости.

Гена подбежал и за локоть рванул Иду к выходу. Тотчас на диван потекла белесая нежная струйка извести, и свалился сухой ломоть потолка.

— Это балка, — выдавил Гена, отпуская Иду и выдергивая из-под тряпья давешний сверток. — Дом лет пятнадцать аварийный... Балка держит второй этаж, так она сгнила, и поперечины сгнили к матери... — Он бросил сверток, схватил с полу пиджак, тоже бросил, стал собирать что-то со стола. — Вы с чем пришли, Идея Петровна? Ваша сумка? Да не стойте квашней! — он швырнул ей мягкий мешок на ремне, в котором, точно, были купленные Идой газеты. — Так, ключ... Вот же подонство, где этот ключ? Мы же без него не выйдем! — Гена забил ладонями по карманам, будто гасил на себе огонь. Потом метнулся и стал дергать, приседая, дверную ручку, отчего известь побежала с потолка уже посередине комнаты.

По стене, у которой только что сидела Ида, поползли, потом побежали отчетливые трещины. Там, где они зарождались, будто прятался крепко зажмуренный глаз. Вежливый стук перешел в сердитые удары, вывалился вместе с куском какой-то дряни полураскрошенный кирпич — и в проломе, точно, открылся глаз, кровавый, моргающий от пыли. Человек за стеной стоял чуть согнувшись и смотрел на Иду очень внимательно.

Ида, будто во сне, отступила на один зыбкий, воздушный шаг. Часть стены оторвалась от потолка и стала медленно оседать, а навстречу ей, будто рушилось что-то грандиозное, стала так же медленно расти и заворачиваться в клубы стена пересохшего праха. На высоте примерно метров двух клубы поглотили последние обломки и налились холодным светом, идущим почему-то с заброшенной

лестницы. Когда известковая и кирпичная взвесь немного поредела, сквозь нее проступила мужская фигура, неясно угрожающая, словно стрелковая мишень.

— Идея, ты здесь? — окликнул уже знакомый, немного охрипший голос, и мужчина осторожно помахал рукой, разгоняя остатки пыли. — А я за тобой, пойдём.

Мужчина опустился на три ступеньки и вышагнул из цельного света лестницы (похоже, выше пролома там помещались сильные прожекторы) в рассеянный комнатный свет. Это был снабженец: весь обсыпанный белым, с напудренным носом и левой щекой — правая щека была цвета гриба-синявки. Пиджак его оказался порван под мышкой и при движении разевал дыру.

— Что у вас за вид! — воскликнула Ида, ошеломленная появлением снабженца из этой странной засады. — Что вы себе позволяете? Здесь вам не цирк!

Сева в ответ только таинственно ухмыльнулся. Он действительно походил на клоуна, вдобавок и очки уже совсем никуда не годились: на месте целой прозрачной линзы белела радужная звезда. Он то цеплял их на мертвенный нос, то срывал и болтал ими в воздухе — бессильно качалась полуотломленная дужка, — но черты его лица уже не были перекошены, они расправились и приобрели внушительность. Не слышно было и его тяжелого сопения: казалось, он вообще не дышал.

Смирный и одновременно наглый вид снабженца тяжело подействовал на Иду.

— Откуда вы, собственно, взялись? — резко спросила она. — С какой стати меня разыскали? Вбили себе в голову блажь...

— А вот это ты зря! — обиделся снабженец. — Какое ты имеешь право судить о моих чувствах? Это мои чувства, и я сам знаю... Я тебя, это... На букву «л». В общем, поняла, да? Поняла?

— Сумасшедший, — смущенно пробормотала Ида и отвернулась. Гена, окаменев спиной, методично перекладывал предметы на столе — должно быть, не по первому кругу. Наверху насекомно потрескивало. Глядя на Гену, Ида и сама почувствовала в позвоночнике томительный холодок.

А снабженец, присев бочком на спинку полузаваленного дивана, сказал с какой-то задуманной досадой:

— Дура ты, Идея. Все у тебя сумасшедшие. За другими сразу замечаешь, у кого поехала крыша, а того не видишь, что у самой давно чердак набекрень. Ну как ты жила? За что боролась? Чтобы все было как у счастливых? Ты ведь и сейчас, даже дай тебе возможность, не пошла бы избавляться от ребенка. Чтобы не потерялся смысл. А смысла-то и не было!

— Почему? — машинально спросила Ида, не понимая, когда успела рассказать снабженцу о своих делах.

— А потому, что все это муляж, имитация, видимость, — тем же тоном продолжал снабженец, со странной непринужденностью сидя на жестком ребре. — Ты и старалась, чтобы все было похоже до точки, потому что создавала подделку. Настоящее — оно не нуждается, оно может быть и с пятнышком, и с червячком... А ведь все оказалось зря, Идея. Твое счастье выходило только с тем, первым, он и был твой единственный человек. На обыкновенную тяжелую жизнь без особой цели, как у большей части баб. Но не-ет, ты не захотела. У тебя в голове не укладывалось. Вместо того, чтобы жить свою жизнь, как-то ее благоустроить, ты взялась бунтовать. Но ты с самого начала ничего не могла для себя сделать. Не было тебе счастья, вообще не было, как нет в этой комнате, к примеру, слона!

Тут же растрескавшиеся колонны за спиной снабженца превратились в слоновьи ноги, и правая чуть подогнулась как бы от огромной тяжести. Не замечая этого, снабженец продолжал:

— А самое странное в твоём поведении, Идея: ты будто и не очень переживала за результат. Сделала для себя всё, что можно в данной ситуации, мысленно доложила кому-то и успокоилась. Это как будто и очень разумно с практической стороны, а с другой стороны как-то и совсем дико. Перед кем же ты отчитывалась?



Ида напряглась, понимая, что на это надо дать прямой и ясный ответ, ответ-отпор. Но голову будто стягивал крепкий обруч, и этот обруч был болью. Ида снова и снова делала усилие, мозг от этого точно набухал, но обруч никак не лопался и не освобождал воспоминание, которое бы все объяснило. Только наплыла и растаяла картинка: Ида сидит на корточках в сухой траве, из которой горстями выщелкиваются мелкие кузнечики, — и к ней катится-катится, шурша, ее желтенький мячик, и уходит, утягивается куда-то тень катнувшегося, прокладная, огромная, нечеловеческая тень.

Рассмотреть подробности Ида не смогла: картинка быстро стерлась от повторных воспроизведений. Головная боль не проходила, зато в комнате стало легче дышать. Воздух с заброшенной лестницы разбавил комнатную муть, и был он не затхлый, а чистый и свежий, будто в горах, и отчетливо стали видны в проломе гармоничные ступени голубого мрамора с черневшими на них кусками деревянной стремянки. Остатки медных прутьев прижимали к ступеням полусгнившие нитки, колеблемые сквозняком.

— Не знаешь, — покачал головой снабженец. — Вот и я не знаю. Мне тоже не все дано, — сказал он грустно и слез со спинки дивана. — Пошли, что ли, Идея. Хватит болтать.

— Куда? Искать знакомого врача? — спросила Ида, саркастически усмехаясь, потому что эта перспектива не отзывалась и эхом надежды. Там было пусто и темно. — Но ведь мы не можем отсюда выбраться. Пока хозяин не найдет ключа. Да и вообще... — она подумала, что ее недалекая смерть от родов делает нереальной всю эту глупость с ключом и опасность быть погребенной под развалинами дома.

— А нам туда, — снабженец махнул рукой по направлению к пролому, будто сделал мощный гребок. — Врача искать не будем, теперь это незачем. Да и не дали бы нам, Идея, ни отдельной палаты, ни лекарств. Такая уж система. Тебе там ничего не полагалось, потому что ты бунтовала и не жила свою жизнь, а система этого не любит. И сколько бы ты ни пробовала в нее вписаться — все будет без толку. Ты ведь потому сегодня и не пошла со мной, что побоялась нарушить как бы договор, по которому тебе будто бы что-то обещано. Не захотела уйти из-под защиты системы. Иллюзия! — снабженец сделал той же рукой уменьшенную копию гребка и вдруг посмотрел на Иду с сомнением: — А может, это у тебя интуиция сработала, и ты сразу знала, что не выйдешь ничего? У вас, у баб, такое бывает... А с системой бороться бесполезно, она — вечная сила. Ее принцип был зашифрован еще в пропорциях пирамиды Херенхеба, которая простояла уже шесть с половиной тысяч лет.

От разглагольствований снабженца чувство нереальности все росло, пока Иде не показалось, что ей только кажется, будто она слышит этот хрипловатый голос. Будто нет в разрушаемой комнате ни Севы, ни девицы (от которой остался только лиловый свитер, брошенный на стул). Будто пролом в стене непроглядно темен и оттуда тянет древесной гнильцой, а наверху слышны возбужденные крики и звуки движения мебели. И будто Гена ползает по полу, разбрасывает ладонью мусор, шарит под тумбочкой, припадая грудью к нечистым доскам, а сбоку на его штанине висит мешочком вывернутый карман. Время от времени Гена взглядывает на Иду, и тогда в его глазах читается, что она уже не на особом положении, что положение у них теперь одинаковое, и что она поэтому лишается права на особую защиту.

— Куда же вы меня зовете? — спросила Ида пустоту, и Сева моментально возник в четырех шагах, ловко вывернулся ниоткуда — будто плоская фигурка, стоявшая ребром, крутанулась на невидимом стерженьке. Одутловатое лицо снабженца выражало недоумение.

— Так ты, Идея, до сих пор ничего не поняла? — спросил он сирым фальцетом. — А меня хватил второй инсульт, почти сразу, как ты сбежала. Я упал на улице и разбил второе стекло, — он показал, держа за лапку, скелетик очков, и Ида, в самом деле ничего не понимая, сообразила только, что это очки брякали по лестнице, что она слышала через стену именно этот звук.

— Ты сообрази, — продолжал втолковывать снабженец, покрываясь неярким свечением, — в прошлый раз чашка осталась цела, а теперь стекло вдребезги, вот я и умер. И как только умер, сразу вспомнил о тебе. Думаю, ну чего она будет горе мыкать, все равно никаких радостей здесь у нее не предполагается. Надо, думаю, забирать Идею с собой и вместе двигать отсюда. Может, на другой планете я ей пригожусь.

«Что за бред, — подумала Ида, влажной кожей ощущая дуновение с лестницы. — Может, он пьян?» Гена все ползал, все шарил, покрываясь пятнами пота и извести. Он не обратил ни малейшего внимания на сообщение Севы, а скорее всего вообще не видел заговорного гостя.

— Но при чем тут линза? — спросила Ида с таким ощущением, будто разговаривает сама с собой.

— О, это хитрая небесная механика, — оживился Сева и даже забыл про злополучные очки, от которых до сих пор никак не мог отвлечься. — Понимаешь, время может сдать назад, если человек... ну, не то чтобы сознательно захочет, а как бы весь рванется туда. В принципе можно отъехать к самому моменту, когда папа с мамой... — снабженец по-свойски кивнул на Идин живот. — Но на практике выходит сдать всего на несколько минут и даже несколько секунд. Если ничего не успели разрушить или построить. Люди обыкновенно не замечают, что это с ними произошло. Со мной вот было — в случае с чашкой, а я и не знал. Теперь, не разбейся стекло, я был бы живой, хоть и в больнице. Понимаешь, Идея, — продолжал снабженец с жутковатым энтузиазмом, — этот двигатель великолепный механизм, остроумнейшее инженерное решение. Я еще не во всем разобрался, но колесо времени на самом деле не колесо, а многоугольник, вписанный в круг. Причем не так вписанный, как в школьной геометрии, не гайка какая-нибудь. У него все грани разной длины, а стоит оно всегда на ребре — это и есть настоящий момент. Перевалит и сразу снова на ребро вздернется, а вот в какую сторону перевалит... Может, и в обратную. В зависимости от того, какой толчок.

Ида, почти не слушая, смотрела на снабженца во все глаза, и было что-то нехорошее, жуткое в его измятом костюме. Складки заламывались неестественно, да, теперь Ида заметила это, они сохраняли отпечаток неживого выверта тела, а галстук в косую полоску висел петлей из раствора пиджака.

Гена, напозавшись, ошарашенно поднялся с колен. Он машинально отряхнул погубленные брюки, взял из угла кочергу и направился к стулу. Тот попытался было снова хлопнуться в обморок, но Гена крепко взял его за пухлую спинку и поволок под окно. Там он осторожно встал на сиденье, неловко размахнулся и двинул кочергой в законное пространство. Стекло (опять стекло!), будто того и дожидалось, звонко лопнуло и, щебеча, осыпалось по стене. Гена, злобно ободрив остатки лент, еще недавно служивших для украшения комнаты, одной рукой вцепился в мокрую решетку, а другой покрепче ухватил кочергу и стал шуровать ею за окном, будто в печке: там смешалась и взлетела, фыркнув, стая воробьев. Никого не было на тротуаре, только проезжали в свежем зубчатом проломе разные колеса (одна, по крайней мере, пара оказалась многоугольной, она ковыляла с острия на острие, потряхивая седека, чьи кирзовые сапоги выписывали над дорогой сложную кривую), да упруго подрагивала веревка с навязанными красными тряпицами (ее, может быть, только еще натягивали, закрепляя невидимый из комнаты конец). Из горла Гены вырвались звуки, приглушенные от неловкости положения, но полные животного страха: «Э! Э-э-э!» Он кричал и мычал, как немой.

Измятый снабженец, ответно игнорируя Гену (а может, и не зная о его присутствии), был поглощен разъяснением своих открытий:

— Прошлое, Идея, можно вернуть, если все делается таким, каким оно было в нужной точке прошлого. А если что-нибудь создано или разрушено — все, время перевалит вперед. Причем разрушение — более мощный двигатель времени, потому что оно необратимо, восстановить ничего нельзя, это все равно будет уже другое. А если только что сделанную вещь уничтожить, время перевалит назад, понимаешь? Туда, где ее еще не было. Вот снесли, к примеру, храм Хри-

ста Спасителя в Москве. Знали бы они, что натворили: храм-то этот простоял готовым меньше, чем строился.

Тут послышался сверху вкрадчивый, в два приема, деревянный скрежет. Третий раз он прозвучал призывно и зловеще, будто каркнула над головой большая ворона, и балка, раздирая штукатурку, проступила на потолке. Сева многозначительно поднял короткий палец:

— Слышишь, Идея? Сейчас грохнется. У меня очки, у тебя целый дом, — голос его прозвучал льстиво, будто он хотел понравиться ребенку. — Но, вообще-то, время не может идти вперед за счет одних разрушений. Тогда оно, наоборот, катилось бы и катилось назад. Строительство как бы закрепляет положение колеса. Тут, видишь ли, очень тонкий баланс, я сам еще не совсем понимаю. Но ничего, на Сириусе разберемся, — он ободряюще заглянул Иде в лицо и сразу обиделся: — Ты что же, не веришь мне, Идея? Ты живешь в таком городе — тут у вас все на виду. Разве ты не замечала, что Малая и Большая — это одна и та же улица? Просто время на Малой идет за счет разрушений, а на Большой за счет строительства. Время идет по-разному, и поэтому улиц как бы две, поняла?

Ида растерянно кивнула, краем глаза наблюдая, как Гена безнадежно прыгнул на пол и как хозяин и стул, оба прихрамывая, разбрелись в разные углы. Пожалуй, в словах снабженца что-то брезжило для Иды. Она и в самом деле замечала, как на Малой все происходит быстро, точно в театральной пьесе, как чутко воспринимает пространство улицы любое человеческое проявление и сразу откликается цепочкой новых событий... Тут Иде пришла одна мысль, заставившая ее негромко охнуть: то, что она знала давно и считала совершенно своим, освоенным, приоткрыло ей неизвестный доселе смысл. Человек, которого она любила так отчаянно, жил на Большой, в престижной квартире над Центральным гастрономом, под рекламой сберкассы (это здание, фасадом напоминавшее казенный бланк, по природе своей не могло сохранить ореол воспоминаний). А мальчика под руку с девицей Ида встретила на Малой, всего в квартале от его окон, где гастроном, по закону параллельности улиц, преобразался в сонное, всегда закрытое на ремонт кафе. И если несчастливая любовь, со свиданиями и ссорами, была действительным фактом в жизни Иды, то ночная встреча не была фактом в полном смысле слова, она скорее относилась к ее внутренней судьбе. И если далее представить, что город обладает свойствами личности, то в соответствии явлений на Малой и Большой нет ничего неестественного. Это как раз материальный знак того, что внутренняя судьба существует. Она параллельна внешней, отражает реальный ход вещей. Но каждый действительный факт личности пропуская через свой преобразователь (у города в преобразении почти всегда участвует охряная штукатурка, дающая от бледного солнца романтический южный эффект), и событие, здание, дерево, становятся такими и не такими, как в реальности. Это еще похоже на сновидение, где время тоже идет по своим законам: звук выбиваемого во дворе ковра у одного спящего становится хлопаньем птичьих крыльев, а у другого орудийным залпом по врагу.

Так может быть, внутренняя судьба — это сон о жизни, думала Ида, удивляясь неостановимому ходу своих рассуждений и вообще тому, что может теперь рассуждать. Это было, как заниматься вязанием на тонущем корабле: особое, почти наркотическое удовольствие состояло в том, что обрывки знаний о жизни оказались нитью одного клубка, и этот клубок легко разматывался, и от ровной бегущей нити невозможно было оторваться среди общего хаоса. Из нити под руками Иды выплеталось нечто цельное, новое (в конце обязательно либо немного не хватит пряжи, либо останется без применения самая сердцевина клубка). Лиловый свитер на спинке стула, вызвавший ассоциацию, лежал неодошевленно: девица не появлялась. Очень похоже, что этот свитер как раз женская вещь. Очень похоже еще, что внутренняя судьба в каком-то смысле более подлинна, чем внешняя. Достаточно сравнить коренастые особнячки на Малой и здание музея на Большой. Неизвестно, которое из двух создает у горожан более полное представление о прошлом: ведь купцы не ставили особнячков с замурованным парадным входом, с разбитой лепниной, не оклеивали колонны объявлениями. А у музея балконная решетка, отлитая по рисункам мастера Копешина (чей на-

тельный крест на истлевшей веревочке хранится там в отдельной витрине) сияет маслянистой чугунной новизной. А все-таки особняки — подлинныс, они уже были в прошлом и теперь даже разрушением своим двигают время. И то, что на Большой существует в действительности, приходит на Малой через представление, переживание, через внутреннюю жизнь...

(Девница, оттого что Ида не могла про нее забыть, все-таки возникла в комнате. Она вилась вокруг Гены, несильно и ритмично толкавшего запертую дверь, она заглядывала ему в лицо и что-то озлобленно шептала. Руки и ноги у нее сделались неестественно длинные, а из-под загнутых ресниц сверкали на Иду граненые огни.

— Да придет сюда кто-нибудь?! — сорванно крикнул Гена и лег грудью на дверь, будто ослабев от нежности ко всему наружному миру.)

А может, ошибка Иды состояла в том, что она пыталась материализовать внутреннюю судьбу? Синтезировать ее из сырого первичного вещества? Но оказалось, что это несоединимые среды, а она не знала этого и с ожесточенным упорством разрушала свой преобразователь, тем отрицая собственное существование? Так может, причина грозящей смерти не в токсикозе, а просто такой ребенок, зачатый от любимого человека через посредника, вообще не может родиться на свет?

Чему не суждено быть, того никогда не будет. А ребенок противоестественным образом растет, набирает вес. Он живет и шевелится. Интересно, какой он там — маленький монстр? Ида погладила свой тяжелый, спеющий живот, и ребенок невинно торкнулся ей в руку. Он уже побывал там, внутри, и рыбой, и лягушкой, и обезьянкой. Теперь у него все, как у человека: руки, ноги, голова. Теперь он как те беспомощные куклы, которым Ида тоже была единственной и законной мамой, — и которые канули, распались на неодоушевленные части с порванными резинками внутри. Ида смутно ощутила что-то вроде угрызений совести (где сейчас то, что осталось от ее игрушечных детей?) и печальную жалость к этому, живому, Голенький и мокрый, он не имеет на свете ничего, кроме материнской питающей плоти. Он ему и одежда, и дом, и целый мир с ласковыми реками и островами, с темно-алым дневным куполом. А когда этот мир, мертвея, вытолкнет человечка и страшно вывернется для него наизнанку, то никто в наружном мире, кроме матери, не будет чувствовать долга создавать для него подобие утробы, чтобы выносить его до взрослого существа. И, может быть, он тоже проживет не дольше куклы и тоже исчезнет...

Ребенок, услышав эти мысли в гуле под горячими сводами, испуганно забил великанскими пятками в самый мировой зенит. Ида почувствовала, как живот резко потяжелел и подался вниз, и судорога обвила ее, будто щупальца осьминога. Наблюдавший за Идой снабженец по-бабьи всплеснул руками, и глаза его зорко заблестели безо всяких очков.

— Идея, с тобой началось! — воскликнул он торжественно. — Я тебя уже гораздо лучше вижу! Ну поди, поди сюда, хоть глянь на эту лестницу, неужели тебе не любопытно?

Он пятился и манил Иду скрюченным пальцем, с удивительной ловкостью переступая через битые кирпичи. Ида покорно побрела за ним, поддерживая живот и волоча по мусору ненужную сумку. На последнем обломке снабженец сделал балетный арабеск, держа невероятное равновесие на кончике ботинка и весь круглясь, будто пожилой купидон. Потом он грациозно перелетел на лестницу и замедленно попрыгал вверх по ступеням: было так, будто снимали на кино пленку падающий, отскакивающий, зависающий в полете воздушный шарик, теперь прокручивают ленту в обратную сторону. Чубчик снабженца поднимался и опадал.

Ида, не помня себя, шагнула в пролом. Сразу ей сделалось зябко, на лице стянуло кожу от упругого дуновения воздуха. Она подняла голову: конец страшнотой балки, весь в каких-то серых лохмотьях, зависал в пустоте. Ни потолка, ни крыши не было наверху, не было и стен, и глубокая ночь стояла на Малой улице. Плескались и сутулились под ветром тощие черные тополя, молчали особняки, будто облитые толстой глазурью, а в дремучем дворе укромяная скамейка и при-

слоненный к ней велосипед казались откованными из одного куска чугуна. Лестница из-под балки круто уходила вверх, и было видно, где кончается голубоватый мрамор, положенный купцом, и начинается другой, нежно-пятнистый и гораздо более старый, весь покрытый мелкими трещинами. Ида заворожено попятилась: лестница взмывала на невозможную высоту, и там, где от стремительности подъема ступени сливались в глазах, она становилась световым лучом, бьющим из дальней точки неба. Пять или шесть человеческих фигур поднимались по лестнице. Дальние, полустертые светом, были уже едва различимы, а на высоте примерно пятого этажа молодая женщина в джинсовом платье, с переброшенной за спину путаницей разноцветных бус, шла по самому краю, ища рукой несуществующие перила. Чуть ниже росла, уцепившись корнями за треснувший мрамор, кривая березка, ее жесткие прутья еще качались от касаний слепой руки.

Небо, вбравшее лестницу, было бездонно. Неясными полосами светилась звездная пыль, а звезды, видные поодиночке, горели на таких расстояниях друг от друга, что захватывало дух. Ида подумала, что многие из них давно погасли, а свет еще идет — значит, она видит сейчас одновременно настоящее и прошлое: все времена, какие только были во Вселенной. Самое удивительное — эта картина каждую ночь была над ее головой. Так просто — стоило оторвать взгляд от обрамляющих небо предметов. Но сейчас Ида ощущала себя равной тому, что видит: ведь и она была целый мир, заключающий в каждой точке своего времени всю земную эволюцию и повторивший ее для живого существа. Она вздохнула, чувствуя вокруг себя глубокое единение земли и неба. Рыхлая, совсем земная луна стояла низко над площадью, и под ней, будто ее детеныш, помигивал желтый глазок светофора. Сбоку висели гроздью, отливая гладким призрачным золотом, соборные купола.

— Да, Идея, он здесь, это переход, — напыщенно произнес снабженец. Он стоял, слегка покачиваясь, на самом остром деревянного обломка, будто прибитый течением пузырь. — Пошли со мной! Черта ли тебе здесь? Ученый ты никакой, сама знаешь, все у тебя на одной памяти и обиде. Замужем по-хорошему тебе не бывать никогда. И вообще, хватит жить в общемировой прихожей. Видишь пятна на лестнице? — тут галстук Севы, выпроставшийся из-под пиджака, приподнялся от ветра, будто кобра, подвешенная за хвост. — Думаешь, это просто так? Не-ет, это не просто так! Скоро лестницу разьет, и никто уже не сможет выбраться отсюда. И этот перегруженный шарик провалится в тартарары.

Ида взглядела (головная боль помогала ей смотреть, будто наводила резкость): пятна, поначалу принятые ею за природный мраморный узор, оказались сырыми лишайными лепешками, а некоторые были черны и пусты, будто выжженные кислотой. Движение вверх по лестнице усилилось: тут и там маячили понурые спины. Сева был единственный, кто удерживался к пролому лицом. Он с какой-то сомнамбулической грацией перелетал с места на место, прикрепляясь всякий раз к чему-нибудь выступающему, угловатому — к окаменелой связке журналов, к полчерепу расколотого чугуна — Иде чудилось, что снабженец вот-вот, как и положено пузырю, разлетится на мелкие брызги. Меланхолический, но неумолимый сквозняк (противоположный материальному движению воздуха) относил снабженца все выше, все ближе к черте, что отделяла мрамор, положенный купцом Зотовым, от мрамора, положенного неизвестно кем.

— Ты что, Идея, все еще думаешь, что я из-за какой-то дури к тебе пристал?! — вскричал снабженец, взмахивая короткими ручками, будто лодка веслами. Все равно его волокло наверх, слегка заваливая навзничь.

Нет, конечно, мертвые не лгут. Теперь Ида ощущала в себе холодную, усталую отрешенность. Вся ее жизнь показалась ей каким-то жалким ухищрением, попыткой скрыть от себя самой подлинную суть вещей. Лестница в небо была реальна, Ида уже была готова поставить ногу на ее первую ступень. Она прощально оглянулась: в комнате клубилась пыль, прошиваемая то здесь, то там резкими струями обвалов. Гена стоял в проломе, машинально расшатывая выпирающий кирпич. Зрачки его огромно чернели: он не видел света, а видел только хаос загаженного места да смутный женский силуэт. На лице у Гены чи-

тались растерянность и нетерпение делать хоть что-нибудь, а в глазах обнимавшей его девицы было знание, насмешливое, уверенное знание того, что произойдет через минуту.

Ничего не жаль позабыть, подумала Ида. Но только она хотела отвернуться и уйти, как из невозможного далека — из ненастной полутьмы университетских коридоров, с берега пруда, где таял лед и расползалась, чернея на плавающих ледяных блинах, зимняя тропинка, — до нее долетел очищенный многими фильтрами звук. Любовь окликнула Иду. Что-то еще пробивалось, пело из самой глубины, что-то детское, круглое, звонкое, — Ида жадно посмотрела на Гену и вновь узнала в нем дорогие черты. Она опять залюбовалась его осанкой, жесткой гривкой его волос, и девица уже не была противной: глядя на нее, через нее, Ида ощущала счастье взаимности с тем, кто сам по себе оставался недосыгаем. Было что-то бесконечно умильное в том, что они пара, в том, что они так молоды — при чем тут снабженец с его инсультом и брюхом, и зачем Иде нужен был солидный преуспевающий муж? Она любит только того, юного, двадцатитрехлетнего, и поэтому будет влюбляться в мальчишек до старости лет — если эта старость когда-нибудь наступит.

Девица прильнула к Гене и стала гладить его плечи напряженными ладонями, лаская тело через рубашку. Удивительно, думала Ида, какой крепкой оказалась любовь. Тогда, вблизи, она представлялась все-таки чем-то житейским, преходящим, а теперь обнаружила себя во всей силе высшего закона. Любовь все время была, питалась всеми соками жизни, всеми ее впечатлениями — даже в женской консультации для этого нашлись на окнах мелкие белые цветы. Даже здесь, на лестнице, эта бедная березка...

— Идея Петровна... — хрипло окликнул Гена, и было в его голосе что-то хорошее, будто заискивающее. — Идея Петровна, что вы там делаете? Там самое опасное место, балка упадет, и не отскочить...

— Да, да, — бессмысленно ответила Ида. Тут только до нее дошло, что она уходит не одна. Она уносит с собой его ребенка. Несомненно, она переживала как бы второй круг, ускоренное повторение внутренней судьбы, со всеми ее миражами (вот что значит вспомнить всю жизнь перед смертью). И внутренняя судьба как будто торопилась осуществить свою дальнюю цель.

«Мой маленький», — неуверенно прошептала Ида. Было странно обращаться, как к незнакомому человеку, пусть еще нерожденному. И оттого, что всего лишь десять минут назад Ида так скупое, так снисходительно, так вчуже жалела ребенка, ее охватил суеверный страх за него и такая жалость, будто он уже умер, а она осталась жива. А ведь только его Ида могла бы любить свободно: сын, воплещащая отца, не нес его вины перед матерью. Не он заставлял ее часами ждать на берегу пруда, не он выталкивал взашей из подъезда, — сын, рождаясь, очищал ее любовь от горечи и обид. Наоборот, Ида виновата перед маленьким, уже тем виновата, что не может обещать ему счастья (хотя внутренняя судьба милосердней, чем внешняя). Теперь Ида знала, что если ей и ребенку суждено вместе пожить на свете, она будет любить и жалеть его не как свою природную собственность, а как взятого из детдома сироту.

Все произошло одновременно: Ида неловко попятилась в пролом, сверху сыпануло мелких камешками, и Гена стиснул Иде локти, не давая оглянуться на себя. Падала на лицо, на платье черная созревшая труха, и балка, крикая, все приближалась: конец ее вычерчивал среди звезд обод многоугольного колеса.

Снабженец, весь растопырившись, едва держался на последней зотовской ступеньке, его толстые сливовые губы дрожали от нежности.

— Сейчас, — бормотал он, — сейчас, балка упадет, и мы навек соединимся...

Ида отчаянно рванулась, ушибла ногу, повисла, а Гена сжимал ей локти все крепче, и в его чутко напряженных мышцах Ида ощущала готовность отпрыгнуть в последний момент, оставив ее неуклюже барахтаться под наступающей балкой. «Ну-ну, — ласково шептал ей Гена, будто доктор маленькой девочке, — не надо кричать...» Его шепот шкочтал ей шею, ставшую влажной и очень чувствительной, всю ее обдавал волнами озноба. И опять на какое-то просторное мгновение Ида ощутила свою глубочайшую близость с Геной, подтверждаемую

судорожной близостью тел. Они были равны, они оба были заперты в этом подвале наедине со смертью, будто в клетке со зверем, и Гена только спешил утолить свою ненависть — убить Иду раньше, чем это случится само. Может быть, он хотел поскорее изжить это чувство, чтобы незлобивым ступить на небесную лестницу. Балка вдруг приблизилась, словно из дальнего плана существования сразу перешла в ближний, реальный, и стали видны ее старческие трещины, и в одной из трещин вспыхнула для Иды ослепительно белая точка ужаса. Это было именно то, чего Ида ждала от себя все последние часы — не дрожь, не сумрак, а ослепительный, нестерпимый, все стирающий свет.

Как только Ида умолкла, криком выдавив из груди последний воздух, наступила тишина. Такая тишина, что стало ясно: больше ничего не произойдет. Все вокруг было искажено, искорежено, измято, пыль в раструбе света успокаивалась, лениво оседала на бесформенные груды, словно бы уже приглаженные временем. Пальцы Гены неуверенно разжались — Ида, не зная, жива или нет, ощущая только огромное облегчение, опустилась на какой-то полузасыпанный ящик. Ночь была хороша. Небо прозрачно синело над черными вершушками тополей, а в глубокой тени двора белое облачко звездчатых цветов — самостоятельный космос — источало сладкий запах сливочного мороженого. Балка не нависала так близко, как показалось Иде в момент наивысшего ужаса, — она осталась почти там, где была, и старый дом, приладившись ловчее, прочно держал ее в себе.

Гена, помертвев лицом, обхватил себя руками за плечи. Он мог бы своей силой и волей довершить убийство — они оказались в этой комнате словно за тысячи километров от всех людей — но глядел на Иду так, будто бы теперь настала ее очередь и уже она могла расправиться с ним движением мизинца. Бедный, подумала Ида, как он будет жить, потеряв единственное доказательство существования своего тайного ордена — собственную чистоту? Она хотела сказать ему, что все уже кончилось, но горло от крика было как тряпичное. Гена стоял перед ней в жалобной позе мерзнущего пацана, и кто может обещать, подумала Ида, что с ее сыном не случится того же самого? Ребенок тихо шевельнулся, будто устраиваясь поудобнее, и так же тихо торкнулось в груди ее еще нерожденное сердце.

Спохватившись, Ида вскинула голову, чтобы послать снабженцу последний сочувственный взгляд. Того уже поднимало в воздух, разворачивало, ботинок свалился с дрыгнувшей ноги и беззвучно исчез под лестницей. Изловчившись, Сева сделал против течения невероятный кувырок и, повиснув вверх ногами, вымученно и жадно улыбнулся Иде — вот так же и сама она улыбалась, когда ей твердили, что любовь ушла. Чубчик нежной бахромой качнулся из стороны в сторону, делая снабженца похожим на чудовищный абажур, губы дрогнули... Может быть, он хотел сказать, что это и его ребенок, раз Ида выдумала его отцом, хотел попросить, чтобы она берегла мальчишку. Медленно повернулась перед глазами Иды спина с полустершимся адресом (обратный стал совершенно неразборчив), и снабженец, на левом боку, с руками, прижатыми к телу, поплыл над пятнистыми ступенями, над склоненными головами бредущих, чтобы занять свое место в их терпеливой процессии. Он летел все быстрее, хлопая галстуком, а лестница меркла, и вот сквозь нее уже заблестели звезды, а после сделалось совсем темно. Когда глаза немного привыкли, стали видны проломленные доски перекрытий, журналы, печные заслонки, заросшее грязью, будто шерстью, мятое ведро.

Тотчас, округло брякнув, на пол неизвестно откуда упала связка ключей.

Осторожно, стараясь не коснуться друг друга, Ида и Гена прошли через неузнаваемую комнату, где в чашке все еще темнел невыпитый чай, подернутый извлекательной пленкой, а солнечная полоса, то вырастая, то испуганно втягиваясь обратно, никак не могла уцепиться за ножку лежащего стула. Лиловый свитер, придавленный большим куском штукатурки, бессильно разбросал пустые рукава.

— Идея Петровна, вы теперь меня посадите? — спросил Гена как-то очень просто, тоном натворившего бед мальчишки, будто искал у Иды покровительства в той настоящей жизни, что ожидает его снаружи. — Если бы не вы, я бы такого никогда не сделал, — добавил он простодушно. Морщины у него на лбу превратились в потные черные веревочки, собранные в жалостный пучок. Ида поняла, что и у нее на лице такая же земляная маска преувеличенного страдания, и усмехнулась — о, какая это была давняя, полузабытая усмешка!

— Нет, Гена, мне хватает забот и без вас, — ответила она и сразу спохватилась, что надо бы иначе, теплее, надо научиться за оставшийся месяц иному строю речи, чтобы передать ребенку через случайных людей хоть какой-то запас доброты — туда, где мамы уже не будет. Теперь Ида могла думать о смерти, как о наполовину сделанной работе. Теперь ей важно было приготовить для любимого человека, отданного ей во власть беспомощным, безгрешным младенцем, как можно больше хорошего. Правильно распределить свои силы, ничего не упустить.

— Вы, Идея Петровна, сипите, как открытая бутылка газировки, — с облегчением осклабился Гена и по-родственному поправил ей воротничок.

Ключ с хрустом повернулся в замочной скважине, запахло свежепротертой клеенкой от мокрой листы. Должно быть, многие убийцы становятся как дети, думала Ида, поднимаясь вслед за Генной по мокрым дощечкам. Наделав дел, они бегут искать каких-нибудь взрослых, которые пожалеют и защитят. Потому что человек, такой единственный у себя и такой живой, не может быть виновен бесповоротно. Гена сейчас совсем не тот, что два часа назад, понимала Ида, потрясение его опустошило — все-таки он слишком прост, бедняга, чтобы принять такие переживания в состав своей души. Душе его предстоит родиться заново — кто знает, что будет там, да это и неважно. Гена выполнил свое назначение — открыл для Иды существование внутренней судьбы. Впрочем, его надо иметь в виду и во внешнем, практическом смысле: ребенку (любовь все звучала, все реала) может стать очень нужен живой и здоровый отец.

Они ступили на асфальт, будто на сцену: пространство вокруг особняка было огорожено веревкой, и по ту сторону ее толпились любопытные. Когда двое полупогребенных возникли из-под земли, остановились даже те, что спешили по бровке тротуара. Патетической декорацией громоздилась кое-как спасенная из дома мебель (один буфет, лежавший на груде ничком, покачивал свешенными створками, словно сраженный человек руками), а причудливое освещение, свойственное Малой улице, создавало из мелкой дробы мокрых листьев и битых стекол броский театральный эффект. И оттого, что все стояли и заворожено смотрели на сцену, Ида ощутила значительность своего появления. Она не удивилась бы услышать аплодисменты, но кто-то из зрителей свистнул, кто-то в сатиновой кепке пошел своей дорогой. Толпа, спаянная на минуту, стала распадаться: актеры не понравились публике. Ничего, подумала Ида, кто-нибудь другой убедит людей, все они поверят в реальность смерти и станут близки, как родные. Сейчас прохожих, обтекающих сцену, не связывало ничто, кроме желтого мячика, отбившегося, видимо, от прочих спасаемых вещей. Люди, не замечая, подпинавали его друг другу, а мяч непостижимым образом катался вблизи одной невидимой точки, пока пожарник в хлопающей резине, поднырнув под веревку, не отправил его прямо к Идиным ногам. Решительно протопав, пожарник стал что-то бурчать и подталкивать Гену взащей с видного места, а Ида боком, тяжело нагнулась за своей игрушкой, ощущая в ладонях ту округлую легкость, с которой была когда-то екающим мячиком по стенке и по земле. Наконец-то он был в руках — и в то же время далеко, как далека человеческая душа от глухого темного тела. Пожарник тронул Иду за плечо — его мясистая физиономия добряка тоже показалась знакомой (должно быть, память воссоздавала прошлое из случайного материала, узнавая чужое как свое). И так все было ярко, свежо и весело — бежали пестрые облака, бензиновое пятно на мокром асфальте походило на звездную туманность, а тот самый светофор, что виден был от подножья небесной лестницы, теперь перемигивал всеми своими цветами, деля на равные части сплошной поток грузовиков.



За веревкой была оживленная суета. Ида несла свою находку на вытянутой руке, но владелец не объявлялся (может быть, память своей работой превратила подобие в подлинник). Какая-то толстая женщина в бигудях подбежала к Гене и мятым полотенцем стала вытирать ему лицо.

— Какой ужас, Геночка, зато нам теперь квартиру дадут. Ведь дадут, правда? — спросила она подобострастно, точно квартира зависела от Гены, и так, похоже, готова была спрашивать любого, кто попадался ей на глаза. Что-то было в этой женщине от Марии Абрамовны (незрелость воспоминания мешала ей превратиться в Марию Абрамовну полностью). Гена отвечал ей, что дадут, конечно, а вот ему не светит, потому что он не прописан, и пожаловался на страшные часы взаперти. Потом он взял у соседки полотенце и осторожно, уголком убрал у Иды со щеки засохшую слезную дорожку. Свежевыпачканное полотенце приятно пахло недавней стиркой, и во взгляде Гены не было ненависти. Не было теперь и причины для этого чувства: Гена, впавший в детство, вероятно, надеялся, что его сердечные дела устроятся как-нибудь сами собой.

— Так я побегу, Идея Петровна? — спросил он, глядя искательно, и в глазах его мелькнуло опасение, что могут все-таки не отпустить, а повести в милицию.

Ида кивнула. Конечно, Гена не будет сейчас спасать из комнаты добро, а полетит за сочувствием, гол как сокол, к своей яркоперой подруге: она где-то есть, где-то ждет... Шагая неторопливо, жалея спящего ребенка, Ида видела, как Гена, бухая ногами в лужи, перебежал на другую сторону улицы. Она представляла этот путь длинным — куда-нибудь на окраину города, со многими пересадками, надежно шифрующими тайну свиданий, — вместо этого Гена зачем-то устремился к парикмахерской на ближнем углу. Тотчас выскочила крепышка в тугом халатике и обхватила его руками, словно стараясь не пустить в помещение. Гена боролся с девчонкой (по-видимому, необыкновенно сильной), одновременно заправляя все еще висевшую подкладку кармана. Сцена была странная, Ида перестала понимать, что происходит с Геной-стеклодувом. Она вздохнула и приняла свое непонимание как знак, что близость их кончилась, что жизни их расходятся, и, может быть, она уже не увидит Гену никогда.

Душа человека не в теле, а вовне, думала Ида, поворачивая на Большую улицу, где вереницей шли легковые машины, каждая с белой солнечной вспышкой в углу ветрового стекла. Телесным зрением можно лишь уловить отсвет своей души на внешних предметах. Ида осознала, что все еще держит мяч перед собой, и, убедившись в недостаточных размерах сумки, продолжала нести его в руках. Встречным, должно быть, желтый шар казался издали спелой дыней, признаком осени, уместным в последний день уходящего лета. На Большой все было по-прежнему: трамваи, звеня на остановках, сортировали людей по престижным и непрестижным районам, а памятники — черные шахматные фигуры — готовили атаку на белых, венчающих собой оперный театр. Ида прошла по нижней ступеньке крыльца своего института, одной частью сознания прикидывая, где ей лучше купить молока, а другой продолжая думать, что весь этот мир: институты, трамваи, прохожие, Большая и Малая улицы, Гена, сотрудники, парикмахерская с парикмахершей, тополя, облака, киоски, диссертации и снабженцы, пожарные, соседи, города, заводы, звездные системы, самолеты в небе и на земле — весь этот мир еще не рожден, он только вынашивается в утробе и потому не знает пока родительского лица...

*Свердловск.*

---

---

# Ольга ПОСТНИКОВА

## ЭТА ТЯГА РОДСТВА

### ПРОЩАНЬЕ

Мой друг, нас четверо болталось,  
Мы начинали так давно,  
Что даже строчек не осталось,  
Иль нам их вспомнить не дано.

Другой — улыбчивый, пугливый, —  
Высокопарен, тих и дик.  
Плыл в ореоле русой гривы  
Его восторженный кадык.

Но дерзкой зрелостью мутантов  
В стихах блистали мы с тобой,  
Литературных консультантов  
Мы поражали худобой.

И ты в сияньи ассирийском  
Цветя румянцем древних лиц,  
Уже охваченная риском  
И скрипом спасских половиц.

Он — спорщик тощий и упорный,  
Премьер голодных вечеров,  
Владелец крашенных, невпору,  
Домашней вязки свитеров.

Зачем тогда мы повстречались  
И под проклятия родни,  
Зачем навеки повенчались  
В те неприкаянные дни!

Как старый фильм в последней части  
Все рвется память — о, постой!  
Но, боже, не избавь нас в счастье  
От прежней придури святой!

\* \* \*

*Страна, где уценили книги Павла Васильева и  
Случевского — очень богатая страна.*

И. Рубин.

О, как ты богата, родная страна,  
Но снова поэтов плодишь,  
Еще не запомнивши их имена,  
Даруешь могильную тишь.

О, милая родина, ты не грусти  
О тех, кто еще не убит,  
Кто нищенской хваткой не держит  
в горсти  
Державных побед и обид.

А тот горлопан от сибирских племен  
Посмертной утишен гоньбой,  
Печатью уценки злорадно клеймен  
В обложке своей голубой.  
О, милая родина, ты не скорби  
О тех, кто еще не готов

Для той лесопильни на голой Оби,  
Где дров заготовят для вдов.

О, как же ты любишь проклясть на миру,  
Развеять по свету всему,  
И сыну — синайскую эту жару,  
Чужбину назначить ему.

И если поэты в ночных сторожах,  
То время — из лучших годов,  
Из нас еще Слова не вытравил страх, —  
Генетика русских родов.

1978

### АВТОЗАВОДСКАЯ УЛИЦА

На этой улице людей как будто нет,  
Но как я чувствую все тысячи дыханий!  
Под небеса до белых кольханий  
Летит их теплый гул и дымный свет.

На выходе вертушку раскачав,  
Кипит вторая проходная ЗИЛа.  
Какое одиночество в очах,  
Какая сила плечи огрузила...

В двенадцатом трамвае мало слов  
И тесно от мужской мускулатуры,  
И едем среди черных корпусов,  
Где с лампочной гирляндой дом культуры.

И я в стандартной стеганой красе,  
С усталой нелюбезною гримасой,  
В тревожных сумерках умею быть, как все,  
Рабочею скотиной, биомассой.

А тучи над Москвой — из этих труб,  
А ветер над рекой — из этих губ.  
Всей густотою дум перегоревши,  
В напряге скул штампует лица труд,  
Спаливший душу, но не отогревший.

\* \* \*

Это тот квартирант,  
который не вернулся за своими вещами.  
Это фельдшер, который пропал.  
Про него узнавали.  
Тех, которые узнавали,  
после тоже забрали.

И остался учебник нервных болезней  
доктора Россолимо,  
цветной атлас  
(лакированные картинки —  
чертежи уха, разрезы гортани),  
книжка «Записки врача» Вересаева  
издания тридцатых годов.

Я не знаю твоего лица,  
я просто двенадцати лет  
прочла эти книжки,

коснулась страниц,  
которые ты уже перелистал и выгучил.

Вернись,  
целы твои книги.

## РЕСТАВРАЦИЯ НОВОДЕВИЧЬЕГО МОНАСТЫРЯ

А. О.

*Во время войны в подвале Смоленского собора  
Новодевичьего монастыря было бомбоубежище.*

Когда в подвале старого собора  
Я вижу ряд могил перед собою,  
И каждая так странно неопрятна,  
И вязи скорбной речь едва понятна,  
Нет, я не смею тронуть эту грязь,  
Смотрю, смотрю  
на траурные пятна —  
Такая тут с войной последней связь.

Темна бомбоубежища прохлада.  
Я слышу зов, а это канонада.  
Мне плиты мыть, а это колыбели,  
Где вспуганные губы голубели.  
И так же страшен памятника торс,  
И лилия надгробья в абрис белый  
Изношенных пальто влетает ворс.

И отпечатки детские скупые —  
Процесс наивный дактилоскопии.  
Повесят здесь портрет  
царевны Софьи —  
Свирепить брови и глядеть по-совьи,  
А я на древний известняк смотрю:  
О, как сотру свечные слезы вдовьи!  
Они родней гробниц монастырю.

Я будто помню каждую бомбежку  
И ту игру — ладошка о ладошку,  
И кашлю в лад — заречья сотрясенье.  
Сюда в музей придут ли в воскресенье  
Девочки рахитичные сыны?  
Смоленский храм как вечное спасенье  
От смерти, от сиротства, от войны.

## ЦЫГАНЕ НА РАСКОПКАХ В БОЛГАРСКОМ ГОРОДЕ БАЛЧИК

На развалинах маки цветут,  
Млечник желтые головы клонит,  
Тачки мечутся, метлы метут,  
Прах ложится на лоб раскаленный.

И несет средь пологих валов  
Вавилонский свой профиль Бай Петре,

И под крики зубастых ослов  
День разбит на квадратные метры.

В темножелтых шальварах, смугла,  
Найсмелейшая в тесном семействе  
Нина-Нина, что русский сдала  
На шестицу в училище местном...

День вместил черноту, худобу,  
Вопли ревности, кости могилы...  
Ана-Ана, скажи мне судьбу,  
Иль свое ремесло позабыла?

Ты стоишь, сигарету палишь  
С мусульманскою твердостью веры,  
И от зольников, от пепелищ  
Жестки кудри, а волосы серы.

Ржавый заступ о камни стучит.  
Склянь витая славянских браслетов,  
Рыжий мергель да чрево печи...  
От загара почти фиолетов,

В темносиней спецовке бредешь,  
Ангел-Ангел, Али черноликий,  
Откопав византийский градеж,  
Праболгарский грабеж превеликий.

А в порту отправляют в Ливан  
Тихих овнов пушистые орды.  
Овче племя, по белым хлевам  
Вам не прятаться с кротостью гордой,

Анге-анге, густое руно,  
Белый магний грошовой потехи,  
Где в цыганском ночном казино  
Блеск и грохот шальной дискотеки.

\* \* \*

Как хочу я забыться  
и брызги с лица отирать,  
И ступни обдирать  
о бульжник из розовой яшмы,  
И доверчивым «ты»  
по утрам наполняя тетрадь,  
Путать день предстоящий  
и позавчерашний.  
Я придумала все,  
что так тихо тебе расскажу,  
Все, что я прошепчу  
над голубенькой впадиной шейной,  
Оттого я без сна

в это черное небо гляжу,  
Мои губы проснулись  
от нежного жженья.  
В нашем странном родстве  
не узнали мы всей полноты.  
Еле помню лицо,  
точно щурясь от солнца над кровлей.  
Но откуда заранее  
знала я эти черты,  
Эту выпуклость губ,  
эту гладкость надбровий...  
И когда воробьи  
наклюются уже допьяна  
Винограда и терна  
в проросшей татарской ограде,  
Ничего мне не надо,  
есть эта минута одна  
Ожидания,  
сладостной рези во взгляде.

\* \* \*

Роковые слова нелюбви  
Вдруг обманную нежность прорвали,  
Но как едкий любисток в крови,  
Эта тяга родства и печали.

Предосеннее солнце не жжет,  
И под ним уже больше не зреет  
Все, что в ночь до нутра отсыреет,  
Но тепла еще жаждет и ждет.

Оговорка, обмолвка, беда, —  
Страшно знать, что уйдешь нелюбимой  
В слой дерновый, песчаный, суглиный...  
Навсегда я умру, навсегда, —  
Не как этот репейник щеглиный:

Манит красным, и липнет, и льнет,  
Щедро дарит колючее семя.  
Вечный щебет и птичий полет,  
Вечно жив — и пребудет над всеми!

Пусть мой страх за тебя — только прах,  
Но навеки мое причитанье,  
Этот шелест в осенних репьях,  
Лепетание, перелетанье.

\* \* \*

Неумолимые шнеки судьбы  
толкают нас, кувыркают.  
Ты помнишь эти труппы Москвы,  
помнишь, какая

Жизнь была —

мы спасали весь день,  
мы гуляли ночами.

Помнишь пречистенскую сирень?  
(Кусты совсем одичали).

И двухэтажные нетрезвые бараки,  
И красные маки,  
Которые никогда не дозревали...  
(Их наркоманы воровали).

О юность,

где свежей морковью пахнут подмышки,  
Не возвращайся такой любовью,  
это слишком!

Какие мы были худые,  
мы есть не могли (жевать!),  
Мы все в обнимку ходили,  
а расстались — врозь доживать.

ПУСТЬ ВЕРНЕТСЯ МОЯ БЕССОННИЦА

Когда ты нежен,  
у тебя профиль японца,  
Ты так сладостно шуришься,  
будто со мной,  
Как в японской гравюре,  
играешь на флейте одной:

Я отверстия по очереди закрываю,  
Я все взглядываю,  
угадываю, замираю,  
И под пальцами моими поет  
В полом стебле  
дыханье твое.

Оттого в нашем сыне  
мученье мелодий,  
Все он ищет их  
в семизвучье гитарном.  
Заколочена дверь  
в нашем доме старом,  
Дальше время нас тащит,  
все крепче молотит.

---

# Юрий ВИНОГРАДОВ

## ПРИЕЗЖИЙ

*Родился в 1946 году в селе Великий Глубочек Тернопольской области. Печатался в газетах, альманахах «Поэзия» и «Истоки». Работает научным сотрудником Государственного музея В. В. Маяковского в Москве.*

Он ехал долго, ехал издалека.  
Был плохо выбрит — значит, одинок.  
О том, что жизнь была к нему жестока,  
Сказал выдавший виды пиджачок.

В гостинице, полупустой на диво,  
Он встречен был как просто человек.  
Нашлась постель, вино, бутылка пива,  
Не бог весть что — но все-таки ночлег.

Каким бы ни был он усталым и голодным,  
В том городке, что выбрал наугад,  
Он чувствовал себя вполне свободным,  
Когда смотрел, как догорал закат.

Погасло небо. Сумерки упали.  
Был слышен шелест молодой листвы.  
— Ну ладно, — он сказал, — не на вокзале!  
И выбрился почти до синевы.

Потом, попозже, сидя на кровати,  
При свете лампы из-под потолка  
Не то дневник, не то письмо некстати  
Писал, пока не дрогнула рука.

Потом он пил — не суетясь, достойно,  
Курил не жадно и не торопясь.  
Его душа уверенно, спокойно  
С ночным окном установила связь.

Наверно, что-то важное такое  
Из-за окна почудилось ему,  
Что он кому-то помахал рукою  
И что-то говорил туда, во тьму.

Какая там пригрезилась картина,  
Когда сказал он, будто не в уме:  
— Доколе мне мотаться, Катерина,  
В слезах по горло, по уши в дерьме!

...Закончилась полночная морока,  
Его речей рассвет не услышал.  
Он спал на совесть — сладко и глубоко,  
Как до сих пор, наверное, не спал.



Милорад ПАВИЧ

### ПЕЙЗАЖ, НАРИСОВАННЫЙ ЧАЕМ

Роман для любителей кроссвордов

*Перевод с сербскохорватского Н. Вагановой и Р. Грецкой*

#### По вертикали 5

Когда Афанасий Разин, столь неожиданным способом облизав свои глаза, решил увезти Витачу в большой мир, они сразу же отправились в Вену, к сестре Витачи, Виде Милут. Оба они так перепугались этого своего поступка, что им было не до еды, и они, не теряя времени, кинулись прямо на вокзал. Потом они со смехом вспоминали, как Витача, когда они летели на вокзал, мечтала о ягненке, выкормленном морской травой, а Афанасий — о рыбе, три ночи пролежавшей в земле и жаренной на углях. Потому что, когда жизнь переворачивается с ног на голову, пропасть под ногами не становится небом. Они рассказывали, что на вокзале в то утро им не удалось попробовать того удивительного жаркого, когда сырое мясо как следует отбивают прутом, так что следы остаются даже на готовом кушанье. Поезд Белград — Вена уже отправлялся, и они вскочили в вагон. Однако в поезде не оказалось вагона-ресторана, а один-единственный спальный вагон был полнехонек. Так что они и глаз не сомкнули и не поели даже того, что разносили в те времена по вагонам — кусок черствого сыра на черном хлебе с маслом и пиво или заливную рыбу.

— Ничего, — успокаивала себя Витача, — наш голод — это мы сами, а наша сытость — это уже не мы. Зато будем смотреть друг на друга, потому что голодный глаз недреманный. — И в самом деле они могли только смотреть друг на друга, потому что были не одни, потому что ехали в поезде и не могли даже поцеловаться.

— Спи, во сне не стареют, — шептал Разин ей в волосы, и Витача на какое-то время забывалась сном, и снилась ей одна и та же песня, и она знала, что стоит ей пробудиться — песня кончится; и это пробуждение во сне казалось ей смертью, а не пробуждением, потому что для сна любое пробуждение есть своего рода смерть.

Даже на границе, где они долго стояли и где все было засыпано снегом, они не попробовали и куска ветчины, презимовавшей в еловой золе, с хреном, а в Австрии, куда поезд пришел после полуночи, лишь в окне закрытого ресторана видели окорок телянка, выпоенного пивом, мясо которого от кости отделяют бечевкой.

Ангелы сыпали снег снизу вверх, с земли на небо. Витача в полусне сжимала быструю ногу Афанасия, а поезд сверкал, выбрасывая в ночь и метель свет

цвета белого вина. Уже в Инсбруке они, наконец, устроились в ресторанчике, намереваясь заказать «поповский голод» с чечевицей и рыбные колбаски из леща, но выяснилось, что заведение это только для войск союзников, и их не обслужили. Они хотели было остаться и взять номер в первом попавшемся отеле, но Витача передумала:

— Шапку в охапку и — поехали! Голодные псы лучше охотятся.

Пошел второй день их поста. На какой-то станции перед самой Веной из окна вагона они видели, как за стеклом харчевни на раскаленной морской соли жарят грибы, сбрызгивая их вином, однако поезд там не остановился. В Вену они приехали осатаневшие, как голодная вошь, и, держась за грязные руки, вошли под сень собора, и после путешествия, долгого, как эта холодная тень, после трехдневного голода и жажды, тянувшихся, как эта улица, они увидели собачек, которые как бы вели друг друга к храму, гордо держа в зубах концы своих поводков. Впоследствии Витача часто вспоминала это мгновение и рассказывала, что венский собор святого Стефана восприняла как некий зримый крик, устремленный в неподвижное небо. Памятуя, что соборы никогда не достраивают те, кто их строительство начинает, она похолодела от мысли, что крик этот принадлежал не одному человеку, но двум. Здесь было кое-что еще более удивительное. Этот двоянный крик был не мужской, а женский, почти детский крик. Однако голод и жажда заглушили эти ее мысли, и они вбежали в первую подвернувшуюся кондитерскую, чтобы заказать «Sacher торт» и кофе с кардамоном. И когда все уже было перед ними, официантка выронила поднос, жаждущие и мокрые поспешили они к дому Виды, по-прежнему без маковой росинки во рту.

Оказавшись, наконец, в огромном венском доме Пфистеров в XII округе, вместо ужина они кинулись прямо в отведенную им спальню. На бегу Витача прижималась к Афанасию и шептала: «Сорви печать с моих уст, они все еще невинны в ожидании тебя!»

Они соединились, едва переступив порог комнаты, прежде, чем соединились их тела. Витача в судороге безгласного жгучего рыдания, а он — словно у него лопнул ремень.



Сестра Витачи Вида, чьими гостями они сейчас были, хорошенькая, подвижная и усагая, как херувим, обладала грудью, равновеликой бедрам, как говаривала госпожа Иоланта Ибич, в замужестве Исаилович. Как правило, тарелку со стола она брала к себе на канапе и ела руками, сидя бочком. Вида имела привычку на свою Славу\* угощать гостей кутьей, потом она выходила в коридор, здесь быстро и незаметно облизывала все ложки и подавала новым гостям как чистые. Она была молчалива, попроще Витачи, и считала, что всякая добродетель — лишь станция между двумя пороками. Со своей кровати вот уже пятнадцать лет она вглядывалась в картину Йозефа Адама Риттера фон Молка (1714—1794), и луна освещала ей на этой картине группу людей, собравшихся вокруг престола, где восседала некая женщина, а над ними, очень низко и задом наперед летел крылатый старец. При дневном свете на картине вместо старца проявлялась сказочная фигура с золотым обручем на лодыжке. Картина висела на стене огромного дома с подъездом для карет. В этом доме хлеб по ночам вел себя беспокойно, и вещи, если терялись, то так основательно, что не находились по десять лет. Над упомянутым подъездом простиралась танцевальная зала на два десятка пар, если дамы в кринолинах, и на три десятка, если дамы следовали иной моде. За домом, появившимся вместе с картиной, пышно разросся сад, полный птиц, а еще дальше, за маленькой калиткой в глубине, раскинулись огромные зеленые уголья дворца Шенбрунн. Дом некогда принадлежал герцогу Гецендорфу, почему ныне и находился на улице его имени, потом перешел к

\* Слава — праздник святого, покровителя рода. В сербских православных семьях имя этого святого передается по наследству по мужской линии. (Прим. переводчика.)

Пфистерам, скончавшимся, ибо души их истончились прежде них самих, и теперь архитектор Свиляр, впервые счастливый и впервые под своей собственной фамилией — Разин, мерял шагами парк, оказавшийся в длину — туда — в целую трубку табаку, а обратно — в половину трубки, ибо шел под уклон.

В доме уже много лет жила барышня Вида Милут, жила одна, но не одиноко. Из ее окна был виден высокий тростник, разросшийся подобно лугу вдоль Дуная и похожий на невысокую траву, отчего деревья в нем казались ниже, чем были на самом деле, и ветви их словно бы шли прямо от земли. Вида рано начала переводить со своего первого родного языка, с сербского, на немецкий, и дом ее всегда был полон гостей. Предлагая своим гостям мясо на тарелках сервиза «Жюльнайт», Вида любила повторять:

— Каждому, как кусок мяса, принадлежит его часть истины. Однако даже истину необходимо посолить, иначе она невкусна. Я перевожу только тех писателей, которые именно так и поступают.

Она была болтлива, сетовала:

— Когда я счастлива, я заболелаю. А мужчинам наступаю всегда на один палец — на мизинец левой ноги.

Друзья приходили, пили сливовицу на рояле и ели козий суп с чесноком, присланным из ее родных краев, чихали с таким выражением, словно имели на то по крайней мере два международных повода, и уходили довольные. И приходили опять.

Приходил господин Амадеус Кнопф с супругой Реббекой; она была, вроде бы, из семейства Ротшильдов или какой-то другой баснословно богатой фамилии; он — просто чиновник. С глазами, влажными, как ледяные сосульки. И огромными сросшимися средними пальцами на правой руке. Ходили слухи, что он ест мел и штукатурку. Был он бесконечно любезен и постоянно этим своим негнуцимым членом без ногтя, который казался срамным, задевал и ронял вазы и бокалы, стеклянные безделушки и зонты, и тут же другими, меньшими, пальцами ловил предметы, не позволяя упасть. Приходила Теофана Цикинджал, хорошенькая художница с прозрачными глазами, напоминающими медузу, проглотившую рыбу, с удивительными руками, испачканными зеленой краской, от которой разливается желчь, потому что писала она исключительно крокодилов. Приходил ее муж, доктор Арнольд Пала, правда, всегда с опозданием; он обмирал по лошадям и знал их настолько, что мог по помету отличить жеребца от кобылы. Он приходил прямо с ипподрома, кожаные заплатки на его штанах были пропитаны запахом лошадиного пота, а пиджак — табаком «три монахини». Вместе с этими запахами он приносил плетеный кожаный хлыст, и Теофана Цикинджал с улыбкой показывала на своей прелестной высокой груди следы от этого хлыста в ожидании кульминации ужина, когда Вида выносила гостям альбомы с фотографиями и крохотный шелковый кисет, расшитый бисером. Теофана первая брала из этого кисета на палец понюшку табаку с кокаином, вдыхала и изо всех сил старалась чихнуть как можно позже. Только господин Кнопф не прикасался к табакерке, смеялся вместе со всеми и листал альбомы. В них были исключительно женские снимки, сделанные французскими аппаратами начала века, лица выглядели неестественными, потому как таращили глаза в фотографический глазок, видевший все в желтом цвете. Остановившиеся взгляды, словно у покойников, открытые рты, словно создающие сквозняк, уши, словно заткнутые волосами на ночь от шума, — все это придавало лицам нереальность выражений, и они казались картотекой жертв из какого-нибудь полицейского архива. И Кнопф первый разгадал секрет этих снимков, как и вообще первый разгадывал подобные маленькие загадки. Это были лица женщин, сфотографированных в момент, когда они находились на вершине блаженства, когда переживали оргазм. А затем неожиданно в Видином альбоме оказался снимок бородатого мужчины в такой же момент высшего блаженства, и все прыснули, и от этого хохота старикашка, летевший на картине задом наперед, прежде времени превратился в сказочную фигуру с золотым обручем на лодыжке.

Так и жили они в некоем двойственном времени, словно бы в шляпе поверх картуза, пока однажды вечером барышня Вида Милут не наткнулась, перели-

стывая книги из своего родного края, на фразу, которая удивила ее. Фраза была короткая, и она гласила:

«Наши мысли подобны голоду — всегда одинаковы». Ее это заинтересовало, она разузнала все про автора и, наконец, во время своего пребывания в Белграде познакомилась с ним. Был он довольно неотесан, вместо усов и бороды у него росла какая-то трава, женщины утверждали, что спит он голый, перепоясавшись кожаным ремнем, а мужчины — что он может мочиться с коня на полном скаку.

— Вы левша, барышня Вида? — спросил он Виду.

— Нет, хотя мне гораздо приятней с левой стороны, — отпарировала она и пригласила его в Вену. Он приехал на Рождество вместе со своими муравьями в волосах и предложил Виде и ее друзьям устроить в Сочельник кукольное представление. Он носился по огромному Видиному дому на улице герцога Гецендорфа, маялся с веревочками и куклами, а в бороде его не переставали жужжать запутавшиеся дремотные мухи. Он расставлял стулья в зале и то и дело обнаруживал на руках — на ладонях и между пальцами — что-нибудь: соломинку ли, шерстинку, что-то прилипшее, кусочек обломавшегося ногтя, крошки хлеба, кофейную гущу, жир или песок. Он не искал этого, просто к нему все прилипало, и он, чувствуя это, тщательно оглядывал свои руки и ногти, выковыривал из глаз мошек и вынимал волосы из стаканов. Вот и теперь, очищая от плевел свое тело, он соорудил сцену в просторном зале у барышни Милут, где стояли полосатые кресла с желтыми репсовыми спинками, а в зеркале, стоявшем напротив дверей, создавалось впечатление, что за ним — другая комната, и в ней желтый, а не полосатый салон. Между делом он болтал с гостями.

— Вдумайтесь, — говорил он. — Видин отец подарил ее матери в качестве свадебного подарка серну. Живую. У Виды есть фотография, не знаю, видели ли вы? Ее матушка красива, миниатюрна, легка, как пушинка, она снята с женихом. Он в военной форме, одной рукой держит за ухо серну, второй — саблю. Глазастый, способный, если надуется, угодить вам пуговицей со своих брюк прямо в рот и выбить зуб!

— Забавно, — бросает доктор Пала, а сам пожирает взглядом госпожу Реббеку Кнопф. Они сидят за столом, курят или нюхают табак, и доктор Пала допивает из бокала госпожи Кнопф, вроде бы по растерянности.

— От ваших взглядов, доктор, остаются рубцы, как от вашего хлыста. Но если вы будете так пялиться на меня, вы увидите то, что вам не стоит видеть — через мои глаза видно слишком глубоко. Лучше наденьте темные очки...

Вида же в это время наблюдает за своим земляком с обритыми ушами и засученными рукавами, видит, как глаза его заполняют тоска, и тоска эта столь крепка, что ею впору точить ножи и чистить ложки.

— Чем внимательнее я приглядываюсь к вам, тем отчетливее вижу, что ваше лицо, как год, — говорит он Виде, пристраивая театральный занавес, — на нем все четыре времени года.

— Какое сейчас, по вашему мнению, время года на нем?

— Лето. Тихое, как спальня.

Он целует ее и уходит к своим куклам.

У представления два названия:

## ЗВЕЗДА, ИЛИ ВЕРТЕП

*На освещенной сцене — звезда, которая медленно движется с Востока на Запад, в яслях лежит новорожденный Христос, возле него, перед входом в пещеру, — Богоматерь. К яслям подходит Ягненок, Яблоня и Река Иордан — поклониться новорожденному царю. Богоматерь поет младенцу:*

Из звезд церковь построю,  
Из Месяца — белые врата церкви,  
Очами напишу иконы,  
Умом литургию запою,

На коне подъеду к церкви,  
С коня церковь копьём отворю...

**Ягненок** (*поднимает книгу*): Вот Ветхий Завет, будущая кровь Христова. Кровь того, кто лежит в яслях, новорожденный. Есть у него на небе отец, но нет матери.

**Река Иордан** (*поднимает другую книгу*): Вот Новый Завет, будущее тело Христова. Тело того, кто лежит в яслях, новорожденный. Здесь, на Земле у него есть Мать, но нет Отца.

**Ягненок**: Он искупит все будущие и прошлые грехи людские, искупит даже их прародительский грех, изгнанных вернет обратно в Рай. Омыв свою божественную искру в людской крови, он спасет человека и отдаст свою кровь и тело свое ради него.

**Яблоныя**: Это не значит, что он и меня спасет. И тебя, вода, и тебя, скотинка! Здесь не наша игра и не наша звезда.

**Ягненок**: Почему ты так думаешь?

**Яблоныя**: Ветхий Завет — не наша кровь, а Новый Завет — не наше тело. Мы не из рода человеческого, на нас нет прародительского греха, нас не изгоняли из Рая. Христос не воплощался в плод, воду или руно, которые суть наши кровь и тело. Мы обойдены его магической силой искушения, ибо нас не касается перечень грехов, и мы должны жить своей собственной жизнью. Зачем нам нести наказание за чужие грехи? Мы должны создать свой собственный мир, свободный от людских грехов и от мира людей. Потому для нас нет спасения в муках Христовых и в его жертве. Жертвою будем мы. Если не найдем своего искупителя.

**Река Иордан**: Но Адам крестил нас. Адам дал нам имена.

**Яблоныя**: Первый человек дал нам имена до того, как был изгнан из Рая и совершил свой грех; в пору невинности он своей свободной и доброй волей владел нами, животными, водами и растениями так, как владеет невинная душа своими чувствами. Но теперь, когда он делами рук своих испортил воды, растения и живность, и ныне, когда он хочет пойти дальше и загрязнить Вселенную, разве не лучше отделиться нам от него? Разве не лучше, чтобы за звездами шли мы — растения, воды и бессловесные животные, мы, кто не уничтожает мир вокруг себя? Это предначертано в книгах. «Если, как орел, вознесешься и среди звезд сотворишь себе гнездо, и оттуда я тебя свергну», — говорит Господь, но так он говорит им, людям. А не нам. Нужно отделиться от человеческой Звезды, которая куда ведет нас, и вернуться к собственной путеводной звезде и собственной судьбе. Посмотри, сколько их на небе — выбирай!

**Ягненок**: На прощанье, прежде, чем вернем людям имена, которыми нарек нас Адам, откроем потомкам Адама две вещи, о которых они не знали до сих пор.

**Река Иордан**: Первое. Из семи дней творенья, четыре дня были успешные и три неудачные. Только один день перевесил все и сделал из этого мира удачный мир. Это был день седьмой, день, когда Творец отдыхал и ничего не создал.

**Яблоныя**: Второе. Обрати внимание на свою мысль. Ты не знаешь ее. Наиболее приятна она, когда остается без движения, зато лучше всего, когда движется. Ибо мысль может и стоять на месте, и двигаться. Стоять она может всегда (прошедшее и будущее не может расти и изменяться). Двигаться мысль может лишь в данное мгновение, следовательно, пока стоит время. Если мысль движется, наиболее важен ее пятый шаг: до этого она еще или несовершенна или неглубока, после пятого же шага она тебя утомит. Обрати внимание, следовательно, на пятый шаг! После пятого шага, уставший, ты не сможешь больше следить за своей мыслью, потому что она станет или слишком сильна и быстра, или слишком отдалится от тебя.

На седьмом шагу мысль угасает и превращается в любовь...



Этими словами представление завершилось, какое-то мгновение Вида сидела в темноте и думала о своем земляке. Каждый вечер теперь она читает его книги и каждый вечер раскаивается, что загубила время, переводя книги других.

Только его нужно было бы переводить всю жизнь, переводить на семь языков, как бы убегая семью путями от недругов, которым предал тебя Господь! Однако гость ее неделями молчал, поглаживая свою бороду из сена, и ему не приходило в голову спросить, не хочет ли она перевести написанное им. Потому-то она и сидела в темноте и терзалась.

Когда зажегся свет и на улице хищные звезды зацелкали зубами от стужи, взорам всех собравшихся в зале предстала госпожа Цикинджал, целующаяся с Реббекой Кнопф, сидевшей у нее на коленях.

Тогда же гости барышни Милут, каждый выбрав себе свою звезду и покинув дом по улице герцога Гецендорфа, разошлись навсегда. Реббека увезла госпожу Цикинджал в Париж, и вскоре прошел слух, что они счастливо живут в огромном ателье в Тюильри, которое бывшей супруге доктора Пала сняла ее любовница, чтобы она там писала своих крокодилов. Вида осталась с воспоминаниями о своих исчезнувших друзьях, осталась на крахмальных и теплых подушках, которые потрескивают под щекой и уплывают, словно горячие хлебы. Только воспоминания ее с тех пор стали почему-то начинаться с частицы «не». Ее приятель, устроитель кукольных представлений, сидит рядом, и она часто говорит ему:

— Мы не снимем такую дачу, как Кнопф! Мы не поедem в Карлсбад с доктором Пала! Не раньше, чем приобретем машину, как у этой мокрехвостки Цикинджал!

Он, Видин спаситель, сидит у камина, в волосах у него полно муравьев, он не молод, однако его немецкий все еще не лишен вдохновения и свежести, потому что двадцать лет оставался без употребления. Вида переводит в соседней комнате, двери которой распахнуты в полосатый салон, и нет-нет возвращается к мысли, что из всех удачливых писателей ее родного края, кого она знает и читает, лишь этого, лишь ее избранника, именно его и прежде всех прочих она должна переводить; он же, хотя они вместе спят уже два года, никогда не говорил о том, что было бы наиболее логичным. Какой-то стыд или еще что-то мешает ему исторгнуть эту просьбу из своих уст, и Вида думала: «Даже две темноты не похожи одна на другую, а уж тем более люди», — и не искала того, чего не ищут, но принимают, если предложено. Она зашивала горные травки и вербену в швы своих платьев и шептала:

— Это неестественно, наши комнаты заполнены его растоптанными мыслями. Непереведенными на немецкий язык.

И тут ее осенило. Ведь он избегает ее здесь, на Западе, потому что, наверняка, на немецкий его переводит другая женщина где-то на Востоке, в Берлине, по ту сторону стены, быть может. От таких мыслей у нее набрякли подушечки ладоней, между которыми, не просыхая, струился пот. Подобные мысли довели их до крайности. Грань они перешагнули, когда выяснилось, что на немецкий его не переводит никто, даже в Восточном Берлине. Тогда она его оставила.

— Кто устремлен ко второй половине жизни, должен оставаться на первой половине прожитого, — сказал он и ушел.

А барышня Милут засучила рукава и работала, точно дьявол плюнул ей в рот. Вскоре не было ни одного более или менее известного писателя на ее родине, которого бы она не перевела. Оставалось только одно исключение. Тот, кого она больше всех хотела переводить, тот, ради которого она вообще переводила и любила всех других писателей, только он остался непереваденным. В результате вместо него Вида получила от югославского правительства орден, она зашвырнула его через ограду в Шенбруннский парк и решила выйти замуж.

Было это так.



Покинутый доктор Пал в своих жокейских сапогах раза два заходил к Виде, жаловался, что госпожа Цикинджал забрала у него хлыст, и повел Виду на Дунай продемонстрировать, как он может убить сома, когда тот выскакивает из воды за мухой, своим новым хлыстом. Он все сетовал на судьбу, а потом вдруг исчез, унеся с собой запах потной кобылицы. Амадеус Кнопф приходил чаще, скрывая свое двуперстое чудище в перчатке. Виде он откровенно признался, что вначале страдал из-за бегства Реббеки и бродил по улицам с вилкой и ложкой. Однако тут же наболтал массу всякой чепухи и больше не вспоминал про свою беглую жену. Виде ужасно понравилось, когда однажды в кафе он показал ей фокус со спичками. Они выпили виски с содовой и отправились звонить. Когда вернулись, спички Кнопфа присвоил сосед по стойке. Кнопф искал свои спички, но тот не признавался. Утверждал, что это его коробок.

— Если это твои, скажи, сколько штук в коробке! — потребовал Кнопф.

— Если это твои, ты, разумеется, знаешь, сколько там штук!

— В отличие от тебя — знаю: их двадцать семь!

В ответ незнакомец предложил поспорить, и они побились об заклад.

— Я тоже хочу участвовать в споре, — неожиданно заявила барышня Милут.

— На что? — удивился Кнопф, а незнакомец сказал, что блюдо, если его заказывает мужчина и женщина, уже не одно и то же. Он ликовал.

— На что — это мой секрет, — ответила Вида, — но если ты здесь выиграешь, ты проиграешь во втором споре, со мной. И наоборот. Тебе понятно?

— Понятно, — сказал Кнопф, и они пересчитали спички. Их оказалось точно 27 штук, и Кнопф забрал свою коробку спичек и деньги, оставив незнакомца с отвисшей челюстью. Виде показалось, что это был самый большой и необъяснимый триумф, при котором она присутствовала на своем веку.

Когда подошли к ее дому, она спросила:

— Как тебе это удалось?

Однако Кнопф не ответил на ее вопрос и задал свой:

— На что, черт подери, мы с тобой поспорили?

— На это, — сказала Вида и показала ему маленький ключик.

— Значит, я проиграл его, выиграв тот спор?

— Да.

— А что это за ключ?

— Это ключ от моей спальни, — сказала барышня Милут и забросила ключ за ограду Шенбруннского парка, как некогда свой орден. — Входи, мое сердце не заперто, — добавила она и взяла Кнопфа в мужья. С тех пор у Виды началась полоса счастья, а вместе со счастьем, подобно некоей болезни, к ней пришла титаническая ревность, которая осталась с ней навсегда и в конце концов свела ее в могилу. Потому что от счастья умирать куда легче, чем от несчастья.



В то время, когда их навестили в Вене Афанасий и Витача, они уже целый год были вместе, новоявленная госпожа Кнопф шептала:

— О боль моя, чем тебя наградить! — А господин Кнопф еще находился в той блистательной поре, когда не ходил, как попрошайка, что случилось позднее. Лицо у него было как маска, и только усы и брови оставались на этой красивой маске живыми. Был он приятный и разговорчивый, наболтал им кучу всякой чепухи, а Вида повела своих гостей, чтобы показать им кое-что. В спальне на кровати лежала кукла. Вылитая Вида.

— Вспоминаешь? — спросила она со смехом Афанасия. — Когда-то это была твоя жена, Витача привела тебе ее. Тогда мы обе в чем-то обманулись. Или обманываемся сейчас? — И она опять засмеялась, палец во рту, обняла их обоих, неприметно ущипнув Кнопфа, стоявшего у нее за спиной. Слова из него сыпались, как пух из утки.

— Некий японец, — начал Кнопф один из своих анекдотов, — оказался во Франции в аквариуме. Он постоянно щелкал своим фотоаппаратом. Одна рыба ему особенно понравилась, он замер, сорок секунд пялился на нее, после чего рыба перестала плавать, и глаза у нее полегоньку начали косить.

— Как ты это делаешь с рыбой? — спросил его бельгиец, тоже посетитель.

— Такое может любой, — ответил японец. — Выбери понравившуюся тебе рыбу, сосредоточь на ней свое внимание на сорок секунд и увидишь, что у тебя тоже получится. Как будто читаешь.

Бельгиец приглядел рыбу, уставился на нее и после сорока секунд начал пускать пузыри и хватать ртом воздух, как рыба, вытасненная из воды.

Мораль в том, что японец не одобрял настоящего поступка. Любовник не способен понять настоящей любви и поэтому всегда находится в положении бельгийца и рыбы или иконы и зеркала. Ибо, говорят, нельзя, чтобы в зеркале отражались иконы. Любовнику, то есть зеркалу, не дано увидеть свою любовь, то есть икону. Поскольку любовь создает влюбленных, а не влюбленные любовь...

Афанасий не слушал, что говорит Кнопф, он неотрывно смотрел на его мускулистое тело, исполненное двойной силы, и с дрожью ощутил при рукопожатии эту огромную сдвоенность Кнопфа, словно тот держал ключ от церкви. Он разглядывал волосы Кнопфа, лишённые блеска, они напоминали шерстяную шапку с пробором, и чувствовал, что первый день октября (который минул тридцать дней назад) порождает тридцатый день в октябре (который и наступил в самом деле), однако не мог вспомнить тот первый день, а видел лишь необъяснимое его деяние. Глядя на Кнопфа, он чувствовал, что глаза становятся больше души, и подумал, что Амадеусу Кнопфу вообще ни к чему половой орган, женщину при желании он сможет удовлетворить вот таким сросшимся пальцем, который крупнее самого крупного мужского полового органа. Глядя на двуххребетное чудище, которым Кнопф то и дело цеплял рюмки и стулья, Афанасий почувствовал себя беззащитным. Он не смел поднять глаз на Витачу, чувствовал себя размягченным и уязвимым. Это состояние продолжалось лишь мгновение и прошло, однако в жизни человека бывают мгновения, которые длятся даже после его смерти.

«Левый глаз — как Сцилла, а правый — как Харибда, — думал Разин, оказавшись во взгляде Кнопфа. — Кто проберется — выживет...»

И тут исчез этот наплыв апатии и страха, Афанасий Разин словно бы очнулся и с усмешкой прошептал в ложку густого супа:

— Никому не дано каждый день быть мужчиной, даже Богу.



Нужно заметить, что архитектор Разин и Витача венчались не в Вене. В каком-то городке, название которого не осталось в памяти, архитектор Разин нанял пару скрипачей, фортепьяно марки «Petroff» на колесиках и лошадь с возницей в роскошной ливрее. После венчания скрипачи, обнявшись на ступеньках церкви, сыграли им свадебную песню в два смычка на одном инструменте, а потом молодожены пешком отправились вслед за пианино, которое тащила лошадь с возницей. Сохранился снимок. Они вдвоем идут за пианино, и Витача шепчет слова своей прабабки Амалии, в замужестве Пфистер: люди стареют, как сыр, но сыр — великий господин, а мы нет... На ходу они играли в четыре руки и то и дело прикладывались к шампанскому в хрустальных бокалах, стоявших на подносе на пианино...

От этого самого счастливого периода их совместной жизни сохранились еще две фотографии, константинопольские. В связи с ними существует небольшая история. В Константинополе Витача и архитектор Разин покупали какие-то кожаные изделия. Купив желаемое, они обратились к продавцу с просьбой порекомендовать им какой-нибудь ресторан, где хорошо кормят.

— Вам угодно видеть меню? — спросил услужливый продавец, и спустя несколько минут прибежал мальчик с меню. Удивленные молодожены заглянули



в меню и, к радости продавца кожаного платья, выбрали себе два блюда. В ту же минуту два молодых человека внесли и поставили посреди магазина уже сервированный на два куверта стол, сверкающий серебром и фарфором и с двумя незажженными свечами. На фотографии изображен Афанасий Разин с супругой, сидящие за столом в магазине кожаного платья, а покупатели входят и выходят или выбирают товар. На снимке даже как будто видны теплые мысли, парящие над ними, и холодные, погружающиеся во мрак, в воды Босфора и в их души под столом...

Потом, как только наладились дела Разина, они переехали в Америку, и Афанасий распорядился построить виллу в Лос-Анжелесе. На этой вилле у Витачи было два бассейна, один с галькой, а второй с песчаным дном, в ее спальне на полу, вместо ковров, был устроен настоящий английский газон, на котором располагалось огромное водяное ложе. Витача с этого пути без возврата пишет своей сестре Виде, что дни ее несутся стремительно, по три в одном. В Лос-Анжелесе, говорит Витача, перелистывая газеты, — верим разве только поминальным книгам! — ей снится, что они вернулись в тесную белградскую квартиру и там никак не устанавливается ее кровать. Для будущего, обретенного ею, нет места в прошлом. Только прошлое может стать будущим, но не наоборот. Время от времени ей снились ее дочери, однако почему-то она всегда их била...

Вечер, она сидит в кровати, он лежит поперек, под ее ногами, согнутыми в коленях. В ее глазах сверкает созвездие Водолея, она опирается на подушку, в руках — зеркало. Он всецело погружен в нее, без движения, с закрытыми глазами. Его аура проникла глубоко в ауру ее тела. Может, даже пронзила ее. Она не чувствует боли, напротив. Неторопливыми легкими движениями, которые передаются ему, она снимает косметику с лица. Потом тушит свет и, не меняя положения, все так же с ним внутри себя, бормочет молитву:

— Запрещаю тебе, дьявол, силой честного и животворного креста обрести власть хоть над чем-то в этом доме и в этом поле и над рабом божьим дома сего. Да не будет у тебя власти ни в хлебе, ни в винограде, ни в скоте, ни в овцах, ни в козах, ни в лошадях, ни в свиньях — ни в чем в доме этом не быть у тебя власти во веки веков. А ты, Христос, полю этому помоги. Аминь.

При слове «ни в лошадях» он обычно завершает, и тело его пронзает ледяная дрожь, при слове «во веки веков» или чуть раньше заканчивает она и конец молитвы шепчет уже чуть слышно. Они не способны ни поцеловаться, ни изменить положение. Однако ребенок не приходит. Для них нет ребенка. Хотя лежат они крестом.

Вместо этого к ним приходит известие. Известие, что с девочками Витачи случился этот ужас.

## По вертикали 6

Насколько могу вспомнить, господин архитектор Афанасий Разин, в то время уже богатый и удачливый человек, рассказывал после одной из деловых поездок следующее:

Башня располагалась среди домов, как воскресенье в окружении будней. Оглядывая строчки домов, я старался отыскать, где проявится первый большой праздник в этом живом календаре. И я обнаружил его. «Здесь!» — подумал я и вскоре очутился у дома Азры. На вид он казался больше дома Ольги. В углублении — надежные двери, отражавшие уличные шумы, высокая стена, за стеной — куча детей.

«Хорошо!» — подумал я и вошел. Было очевидно, что дом содержит Ольга, поскольку от этого устранился нынешний любовник Азры, человек с короткой памятью и широким размахом. Он живет отдельно, дарит ей только свечи и заботится исключительно о ее духовной жизни. Еще Азра получает от него книги, он обратил ее в свою веру, возвел для нее на ее же с Ольгой совместные средства храм, и ничего больше. Он оплачивает молитвы за нее и уж тут не скупится, но хлеб Азра должна зарабатывать себе сама, или ей его дает Ольга, сестра. За свой

счет он отправляет Азру в церковную школу, короче, заботится о ее Судном дне, когда уйдут все люди и все ангелы.

С такими мыслями я постучал в дверь Азры, однако обнаружил записку, где говорилось, что Азра не может принять меня дома, и я найду ее в библиотеке, через несколько домов отсюда. В записке было: «Счастлив тот, кто всегда следует в шаг за идущим. Ибо на небе и на земле мы не будем любить тех же и не будем ненавидеть тех же».

И я отправился в библиотеку. Вошел в ярко освещенный зал. Людей — земле тяжело. Как сельдей в бочке. Друг другу шепчут в левое ухо приглашение к молитве, а в правое — саму молитву. И стараются случайно не коснуться друг друга бородой. Один говорит. Я вошел посреди его речи, но свободно смог понять, о чем он говорит. Зато не понимаю, чем занимаются двое стоящих перед ним, с хлыстами. Тот, что на кафедре, вещает:

— Во времена бегов\* ни один человек за год не заработал себе хлеб, и не из лености. Во времена царства все подданные за год зарабатывали каждый день по три хлеба. Но не благодаря своему старанию. Во времена бегов за год ни один человек в стране не заплакал. Однако это не значит, что все были счастливы. Во времена царства ни один человек не засмеялся. Однако это не значит, что в царстве все были несчастливы. Такие были времена...

В зале уже пили воду, в которую священнослужитель вдохнул имя Божие, и угощались облатками, замешанными на слезах. Откуда-то неожиданно появился худощавый молодой человек, красиво одетый, лицо его излучало свет, волнами поднимающийся из глубин его. На устах холодная и тяжелая, как амбарный замок, усмешка. Словно медузы в южных морях, плавают светильники в лиловатом пространстве над головами людей и звучат барабаны, подогретые на огне. Молодой человек подошел к тем, с хлыстами, и за ним протянулась черная резкая очерченная тень. Они пропустили его между собой, и вдруг один из них ударил юношу хлыстом. Испуганно и словно бы выбирая место для удара. Тотчас же ударил второй. Они чередовали удары, вроде бы специально, чтобы не сбить дыхание. Один при этом после каждого удара весьма усердно шлифовал ногти о стену. А то вдруг оба прикрывали глаза, как бы сообщая обдумывая следующий удар и что-то замеряя пядями на полу и на своих хлыстах. А каждый новый удар заставлял избиваемого совершать все новые и новые телодвижения, которые люди с хлыстами вызывали у него, подобно музыкантам, выманивающим шаги у танцующего.

И тут в зале раздали аплодисменты. Я не сразу понял, чему рукоплещут, хотя вскоре и мне, непосвященному, стало понятно, в чем дело. Тень молодого человека чуть-чуть отделилась от него. После каждого удара, благодаря искусству хлеставших и его собственным телодвижениям, тень все заметнее отделялась от него и, наконец, после движения, показавшего, сколь велика его скорость, тень оторвалась и скатилась по ступенькам, а молодой человек, словно у него выросли крылья, выпрямился и гордо вышел из зала под крики одобрения...

Однако Азры среди присутствующих не было. И я пошел поискать, нет ли ее где-нибудь в подсобных помещениях библиотеки. Я прошел коридорами, длинными, как морозные утра, дважды заплутался и оба раза возвращался на правильный путь благодаря тому, что заставлял себя идти в направлении, прямо противоположному тому, каким, полагал, надо идти. Наконец, я вошел в какую-то дверь и оказался в полумраке просторного помещения. На лестнице я наступил на что-то скользкое и догадался, что это кровь, а в ней тень молодого человека. Я узнал тот зал, где совсем недавно находился, теперь он был погружен во мрак и пуст, как оглохшее ухо, лишь в глубине светилась дверь комнаты, где я оставил свое пальто. Я подошел к двери и увидел юношу, того, которого бичевали, — он был в комнате с какими-то не знакомыми мне людьми. Все изумленно посмотрели на меня, когда я вошел и снял пальто с крюка. Прервав свои занятия, они молча смотрели на меня.

— Раньше мы никогда тебя не видели. Где ты был раньше? — сказали они.

\* Бег (турец.) — господин, землевладелец (прим. переводч.).

— Раньше? — удивился я.

Молодой человек — я предположил, что он управляющий этого учреждения, — повернулся к девушке, и та без слов поднялась и пошла за мной.

— Я покажу вам дорогу, — сказала она, хотя было очевидно: таким образом оставшиеся хотели убедиться, что я ушел.

Во тьме коридора перед выходом я спросил девушку, в чем смысл сцены, свидетелями которой мы с нею были там, в библиотеке.

— Вы задумывались над тем, что видели? — спросил я.

— Я не задумываюсь, — сказала она, — мысль, посланная с Запада, достигнет земли с Востока, мысль, посланная с Востока, достигнет земли с западной стороны. И они не встретятся. Пасущий овец разве может ввести кого-то в царский дворец? Пасущий мысли разве может ввести кого-нибудь на небо? Зачем думать?

И она оставила меня одного за дверью библиотеки.

Возвращаясь к дому Азры, я был в худшем положении, чем тогда, когда направлялся туда впервые. Если я, обманутый и разозленный, а Азра, склонная, видимо, к издевке, выложим карты на стол, из моего предприятия ничего не получится... Так я думал и потому решил усложнить дело, чтобы не сразу можно было добраться до его сути. Меня тут же провели в красивую комнату с кушетками и полочкой, на которой стояли два Корана в роскошных переплетах. Один был в зеленом сукне, оправленный серебром, другой — в красном, оправленный золотом. Один был подлинным, а второй — я с абсолютной достоверностью утверждаю — был заполнен венецианским мылом. Азра по старому обычаю клялась на мыле, если не хотела сдержать обещания.

«Если не знаешь разницы между высоким и маленьким — спроси у женщины, если не знаешь разницы между любовью и ненавистью — спроси у реки», — успел подумать я, и вошла Азра.

Мы уставились друг на друга и с минуту оставались так, дожидаясь, кто моргнет первый, а затем оба расхохотались.

Она сильно растолстела и открывала рот, когда слушала, что ей говорят. На руке у нее был перстень с часами, который она уже не могла снять, и, как у рыбы, все ее движения возвращались к ней же. Она что-то пробормотала, и я подумал, что она извиняется за недоразумение с библиотекой, но она извинялась за свою полноту.

— Я растолстела, потому что была переполнена ненавистью. А в человеке любовь занимает ровно столько места, сколько оставляет ненависть, совсем как в бокале с вином, — где места для воды ровно столько, сколько выпито вина. И если глубоко лежит ненависть — мелко лежать любви...

Она выглядела человеком, который некогда был красив. Но женщиной не выглядела. Я вспомнил ее грудь — пеструю, как два гусиных яйца, сейчас же она расплзлась по телу, и словно бы ее вообще не было.

— Ты помнишь, как мы играли в школе в «истории»? — приступил я к делу.

Она прикусила губу и спросила, как это.

— Неужели не помнишь? Это такая игра, где ты предлагаешь название, а кто-то другой начинает историю, всего две-три фразы. Затем, чередуясь, мы рассказываем ее дальше и разматываем пестрый клубочек, в котором шерсть то одного, твоего, цвета, то другого, моего, в зависимости от того, кто разматывает.

— А кто выигрывает?

«Выигрывает тот, кто пригнал историю к своей мельнице», — подумал я, но вся беда в том, что сейчас я не должен был выиграть у Азры, хотя не должен был и проиграть, иначе из моего дела ничего не получится. Я пробормотал, что, коли нет судьбы, значит, нет и решения, и выбросил название:

## ГОЛУБАЯ МЕЧЕТЬ

Она чуть удивилась, за ее щекой словно бы забурлила слюна, но она сдержалась и начала:

— Однажды под вечер в Стамбуле, незадолго до намаза, царевы очи, словно два черных голубя, опустились возле Атмейдана. Пробив плотные мысли, взгляд султана Ахмеда остановился, и порешил султан: быть на том месте мечети всех мечетей. Он повелел, чтобы храм имел шесть минаретов и отправил в обе стороны царства глашатаев, дабы отыскиали они самого лучшего зодчего...

Здесь она прервала рассказ, не зная, что дальше, потому что историю эту сочиняла, а я, ждавший этого передыха, чтобы продолжить, тут же продолжил, как положено:

— Но глашатай, отправившийся на Запад, встретился с непредвиденными трудностями. Самый знаменитый зодчий царства так испугался предстоящего поручения, что пропал бесследно...

В тихой комнате мы с Азрой попеременно рассказывали повесть о Голубой мечети, передавая друг другу куски истории, как чубук, и потягивая кофе. Я заметил, что она, стоило ей разволноваться, допускала грамматические ошибки, и тогда становилось заметно, что образование у нее неглубокое, по щиколотку. Однако, когда мы закончили рассказ, она сказала, нимало не смущаясь:

— Женщины и полицейские кладут глаз на таких, как ты... Где ты сейчас и чем занимаешься?

Теперь я знал, что миг опасности, наконец, преодолен, что «Голубая мечеть» сделала свое дело. Азра вступила в беседу, пусть и не столь приятным способом.

— Есть в Венгрии, в Сент-Эндре, — ответил я, — кафе под названием «Ностальгия». Там подают кофе с корицей, и я теперь все чаще ощущаю корицу в кофе. У меня нет детей, и это меня убивает.

Она захохотала где-то внутри, под грудью и резко оборвала смех, как ножом отрезала.

— И я бы с удовольствием усыновила кого-нибудь, — продолжал я, — но, как бы это сказать, не слишком взрослого ребенка.

— Да, да, ты прав. Взрослые дети не годятся для усыновления. Их не заставишь воду во рту держать, все норовят переспорить. Значит, хочешь кого поменьше.

— Вроде того. По сути, совсем маленьких. Или, скажем, так: я бы усыновил нескольких совсем маленьких, тебе бы я сразу выложил деньги на хорошее воспитание, чтобы росли и стали на ноги, как положено в такой семье, как моя и твоя, а потом, когда вырастут, они бы возместили мне то, что я на них потратил...

— А как малы они должны быть? Скольких лет приблизительно?

— Ну, от шестидесяти до ста.

Азра придвинулась ко мне, принялась к моему дыханию и словно только теперь поняла смысл моих слов.

— Что — от шестидесяти до ста?

— Ну на столько приблизительно младше меня и тебя.

— А, ну это уже другое дело. Ты бы хотел правнуков или белых пчелок, как их в народе зовут.

— Да. Именно так.

— Видишь ли, — пробормотала она словно про себя, — нынче будущее, тем более чужое, можно с выгодой обратить в деньги. Какое время настало! Иди на все четыре стороны! Правильно говорят люди, а я не верю. — И опять обратилась ко мне: — А ты почему правду не говоришь? Что тебе правнучки? Почему бы их не продать? Вот: у меня уже и список давно готов. Посмотри сам. Все как на подбор. Я нашу семью изучила, распланировала и родовое дерево составила. И по восходящей и по нисходящей. Как угодно. Вот, обрати внимание, это Лука, он наверняка будет похож на меня. Красивый, несколько, пожалуй, толстоват в старости, зато ласковый. Будет лечить через пятку. Лучшего знахаря и лучшего праправнука не найти. Правда, будут у него разноцветные глаза — один красный, а другой голубой, и будет он малость глуховат на то ухо, где глаз голубой. Зато послушный и расторопный. Этот, другой, его приемный сын Василий, будет остер на ухо. Слышать будет перекрестно, и его будут слушать перекрестно,

во всех четырех сторонах света... Как сказал поэт, только этот Йован сможет быть в душе по отцу дьявол, только этот Исидор сможет понять, почему на Святую Параскеву Пятницу пять созвездий собираются в одном углу неба, только этот Петр сможет отомкнуть своими ключами небесную грамматику, начинающуюся местоимением Ты, с которым Бог обратился к Адаму, только Алексей сможет доказать, что настоящее человечества — еще не все, и что существуют день и ночь, свое крошечное сегодня и завтра, только этот Павел...

На этом месте Азра взяла стакан ледяного напитка, который нам подали, и прижала к своим пылающим ушам. Я вернул ей список и сказал:

— Видишь ли, есть тут одно дополнительное обстоятельство.

— Какое?

— Вместе с белыми пчелами я покупаю дом.

— Какой дом?

— Этот дом. И усадьбу. К потомкам перейдет их недвижимость. Чтобы было, где развернуться. Ты не беспокойся, деньги я дам вперед, а во владение недвижимостью вступлю только через двести лет. Сейчас мне здесь нужно земли лишь на могилу, чтобы похоронили меня с птицей за пазухой, а не за морем.

— А разве ты не купил уже могилу у Ольги? Сколько же раз ты собираешься умирать? В общем, ничего не скажешь, условия ты предлагаешь подходящие. Однако нельзя ли те два пуда земли, или сколько там ты хочешь для могилы, чтобы тебя не похоронили за лужей, нельзя ли их чуть-чуть передвинуть? Я знаю одно красивое место, лучше для могилы не сыскать, вид оттуда открывается прекрасный — там и устроишься. Находится это место на границе сестриной земли, она там сеет пшеницу, да что тут говорить, два пуда земли — немного, довольно вином один раз изо рта брызнуть, чтобы окропить. А остальное — дом и деток — бери, когда тебе захочется, через двести лет или через сколько ты там намерен...

В эту минуту на улице, освещенной лунным светом, послышался странный прерывистый топот. Словно верблюды или жирафы мчались. Мы подошли к окну и увидели верблюда с седоком. Человек был в чалме и настолько бледен, что это было заметно даже при лунном свете.

— Откуда идет этот верблюд? — спросил я Азру.

— Он идет с нашего, исламского, кладбища. Каждую святую ночь переносит он на христианское кладбище по одной грешной душе, захороненной на нашем, мусульманском, кладбище. Верблюд очищает наши кладбища и делает их кладбищами праведников, чистыми кладбищами, без грешников, а христианские становятся кладбищами исключительно грешников... А знаешь, что мне пришло в голову? Не купить ли тебе заодно и кладбище? Здесь есть заброшенное, можно взять за бесценно.

Я оторопел от такой пронизательности Азры. Она словно читала мои самые сокровенные мысли и чаяния.

— Видишь ли, я бы не прочь. Потому что праправнуки в один прекрасный день должны же где-то собраться, не правда ли? За какое-нибудь старое, заброшенное или нет, все равно, я бы хорошо заплатил... Только надо составить договор.

Тут Азра расхохоталась так, что волосы у нее рассыпались на уши.

— Видишь ли, — говорит, — есть у меня одно дополнительное обстоятельство.

— Какое?

— У меня нет детей. И никогда не будет. Я бездетная, и у меня не будет потомства. Да и будь у нас дети, Юсуф не разрешил бы их продать.

— Ты бездетна? Тогда кого же ты продаешь? К чему эти списки имен и столько разговоров?

— Ну, это не мои праправнуки, а чужие.

— Как чужие?

— Ольги и Цецилии. У них есть дети, и это потомки вплоть до белых пчел...

— Но Ольга не продает мальчиков, она продает только девочек, внушек, я ее спрашивал.

— Это тебе. А мне продаст. Я же им двоюродная бабка. Да она и бесплатно уступит их мне на содержание.

— А потом?

— Потом я отдам их тебе, как ты и просил. Идет?

— Идет, — ответил я с выражением оторопи, какая бывает у коней на картинах итальянского кватроченто. — Я все понял, Азра, — сказал я. — Я согласен, давай подпишем бумагу.

Она подписала и поклялась на Коране, и я видел, что клянется она на настоящем Коране, а не на том, где лежало венецианское мыло. Так я понял, что все без обмана. На улице меня встретил свежий воздух, облака стояли, как прокисшее молоко, и опять слышался топот верблюда. Он возвращался с поклажей. Теперь это был праведник. С христианского кладбища на исламское.

## По горизонтали



Она: Однажды под вечер в Стамбуле, незадолго до вечернего намаза, царевы очи, словно два черных голубя, опустились возле Атмейдана. Пробив плотные мысли, взгляд султана Ахмеда остановился, и порешил султан: быть на том месте мечети всех мечетей. Он повелел, чтобы храм имел шесть минаретов, и отправил в обе стороны царства глашатаев, дабы отыскиали они самого лучшего зодчего.

Я: Но глашатай, отправившийся на Запад, встретился с непредвиденными трудностями. Самый знаменитый зодчий царства так испугался предстоящего поручения, что пропал бесследно, а вместо себя подсунил какого-то неграмотного серба из Боснии, семья которого, правда, уже в пятом колене исповедовала ислам.

Она: И он явился на зов вместо зодчего, хотя до тех пор сооружал только надгробия да питьевые фонтаны, но царскому посланнику не смели даже намекнуть, что зодчий не настоящий. Был он молчун, нос у него рос прямо ото лба, и, опускаясь на лицо, причинял боль глазам. Семь горьких лет он уже пережил, и неведомо, сколько еще соли доведется ему съесть.

Я: Но что было хуже всего, так это то, что даже он соглашался без радости. Когда услышал, что от него требуется, смех его состарился за один день, и попросил он, прежде чем отправиться в путь, посоветоваться с муфтием. Встретились они в мечети: муфтий — борода в руке, а человек — в рубашке с веревкой вместо ворота. Словно уже приготовился быть повешенным.

Она: «Ты идешь в дальнюю даль, в край, о котором человеку дано только догадываться, но не дано обежать, — сказал ему муфтий. — Запомни одно: кто от себя самого исцелится — пропадет».

Я: «От самого мудрого разговора пользы меньше всего», — подумал зодчий и ушел.

Она: Муфтий успокоил царева человека, сказав, что зодчий умеет симметрично думать и может одновременно левой рукой поднять, а правой поставить на землю чашу с вином, не расплескав. Царев посланец, поскольку не смел возвратиться с пустыми руками, отправился в Стамбул с тем, кто слюной исцеляет раны, и с надеждой, что другой царев посланец, тот, который ушел на Восток, окажется более удачливым.

Я: Но случилось так, что тот, возвращаясь из Дамаска, утонул вместе с кораблем, и потому перед Великим визирем предстал единственный. Когда зодчего спросили, есть ли у него какие-нибудь проекты будущего строительства, плотник сунул руку за пазуху и вытащил три веревочки с узелками, завязанными на равном расстоянии.

— Это все? — удивился визирь.

— Этого хватит, — ответил тот.

— А как наш властитель будет знать, какое строительство ты замышляешь? — спросил визирь.

На это зодчий, вперив указательный палец в грудь вельможи, сказал:

— Пусть властитель покажет пальцем, что он хочет, и я ему это построю.

**Она:** Говорят, что здесь Великий визирь догадался, что зодчий вряд ли понимает, о чем речь, и что турецкий язык — не самая сильная его сторона.

— Как тебе властитель объяснит, что он хочет, если ты не сможешь понять этого?

**Я:** — У мечтателей нет родины, и сны не ведают языков. А властителя мечеть всех мечетей чем может быть, как не сном?

Понравился ли план Великому визирю, нет ли — неизвестно, только зодчего привели к султану Ахмеду и, к удивлению визиря, царь подвел его к окну и показал пальцем. Там, в тумане Босфора, в зеленой воде утреннего воздуха стояла, словно в небе, огромная Церковь Церквей, константинопольская Святая София, гордость разрушенного византийского царства, самый большой храм христианства, давно превращенный в мечеть.

— Она не должна быть больше, потому что я не больший правитель, чем Юстиниан, воздвигший ее, но она не может быть и меньше, — сказал султан Ахмед и отпустил зодчего, повелев немедленно начать работу.

«И у Аллаха этот мир — первый опыт, — подумал зодчий, выходя. — Каждую вещь на земле, чтобы сделать как следует, надо сделать дважды». Он снял обувь и вошел под огромный купол храма Мудрости.

«Сейчас суть вопроса в том, — добавил он мысленно, — хочу я, чтобы меня похоронили пьяным или — трезвым»...

**Она:** Он поднялся мощным переходом наверх и с балкона и галереи Храма оглядел открывшийся перед ним простор, похожий на площадь за девятью воротами. Потом он обошел крытые галереи, где его встречали, поблескивая в темноте, глаза не до конца еще облупившихся мозаик. С них смотрели лики Христа и Богородицы, а рядом или прямо на них были прибиты обтянутые кожей доски с сурами из Корана, которых он не мог прочитать, потому что не знал грамоты. Тысячи лампад мерцали глубоко внизу над плитами церкви, и казалось, что глядишь на ночное звездное небо сверху, как Бог, а не снизу, как обычно. Он спустился не спеша, велел, чтобы ему привели высокого, самого высокого в Стамбуле, верблюда, и потребовал, чтобы десять тысяч строителей собрались в названный день внизу, возле ипподрома, который здесь называют Атмейдан.

**Я:** С того дня целых десять лет каждое утро он отправлялся к Святой Софии, измерял своими веревочками фундамент и стены, алтарь и клирос, окна, чашехранивательницы и проскомидии, галереи для певчих и неф, паперты и портики, купола и двери. Три узла влево от входа, четыре узла вверх. И переносил это на песок ипподрома для строителей, которые воплощали его указания и эти его узловатые чертежи. Упал он с верблюда и умри, унеси его ветер или укуси змея, никто не знал бы назавтра, как продолжить строительство. Он один знал, до какого момента дошли в сооружении, и все проекты были сокрыты в нем. Направляясь к стройке верхом на высоком двугорбом верблюде, он всегда сидел спиной к голове животного и неотрывно смотрел на Святую Софию, используя даже время удаления от Мудрости на то, чтобы лучше запомнить каждую деталь на ее неоглядно огромных и изученных до мелочей стенах и фронтонах. При этом он думал, что живописцы не глядят на цветок, когда его рисуют, они рисуют простор, обрамляющий цветок, и грани этой пустоты воспринимают как то, что надо изобразить, но не контур цветка. Так и он, удаляясь от Святой Софии и зрительно сохраняя каждый ее угол и окно, высекал в памяти сектор за сектором из неба, обрамляющего огромный купол, который, увидев однажды, невозможно забыть. Ибо не безразлично, после какого предмета или существа остается пустота. Пустота по сути своей — это форма предмета, находившегося здесь прежде, пустота беременна предметом, заполнившим ее. Мир вокруг нас и в нас полон таких беременных пустот.

Зодчий так натренировал свою зрительную память, что взгляд его створожился, уплотнился, и глаза стали, как два камня, брошенные из пращи. Затем он так же подробно, как небо снаружи, стал запоминать запахи пустоты, которая изнутри в свете лампад заполняла и держала на себе стены. И чем больше он

проникал в каждую деталь Святой Софии здесь, вблизи Топкап-сарая и султановых покоев, тем быстрее там, внизу, на берегу возле ипподрома вырастала величественная, прекрасная мечеть. Мечеть мечетей.

**Она:** И все-таки что-то не выходило. Святая София несла в камне мудрость христианского храма, а мечеть, выраставшая на песке ипподрома, своим естественным и предназначением, даже обликом своим словно противилась строению-оригиналу. Они словно противоборствовали между собою, та, уже существовавшая, и эта, возводившаяся по ее образу и подобию. А зодчий должен был примирять и соединять пропасти, лежащие между ними, нося этот страшный раскол и разлад в себе как подземную реку. Он должен был обуздать и усмирить ту первую огромную церковь, где мудрость была претворена в камень. Вкус этого камня он знал на память, помнил даже во сне. Но камень его детища не имел этого вкуса. Другими словами, царский зодчий не мог завершить свою мечеть.

**Я:** Годами не сворачивал зодчий с пути от Святой Софии к стройке, и сейчас, временно отказавшись появляться на ипподроме, потому что не знал, что приказать, вдруг обнаружил большую торговую площадь, по которой спустился извилистыми узкими переулками к бухте Золотой рог и здесь, на берегу, увидел другую торговую площадь, поменьше, Миср-базар, где корабли из Египта выгружали благовонные масла и приправы. Он вошел туда и захотел купить что-нибудь.

— Сандал? — спросил торговец ароматов и подsunул маленькую бутылочку из мутного стекла под другую, побольше. Стали ждать. Они ждали в полумраке, но ничего не происходило. Однако когда покупатель уже хотел отойти, торговец сказал:

— Нужно ждать ровно столько, сколько читается сура из Корана.

Покупатель был неграмотный и не знал, сколько времени надо для чтения суры из Корана, но в этот миг на горлышке наклоненной большой бутылки показалась сверкающая как комета капля, на своем хвосте она медленно опустилась вниз и исчезла в маленькой бутылочке.

— Хочешь попробовать? — спросил торговец; он ловко отер край горлышка пальцем и протянул палец покупателю. Тот взял немного жидкости на свой палец и хотел было отереть его о платье.

— Не на платье! — предостерег торговец. — На ладонь. Прямо на ладонь.

А когда покупатель сделал так и хотел понюхать, продавец опять остановил его:

— Не сегодня, господин, не сегодня! Через три дня! Только тогда обнаружится настоящий аромат. И сохранится он столько, сколько сохраняется запах пота. Только будет сильнее пота, потому что обладает силой слезы...

**Она:** Так зодчий понял, почему его творение сопротивляется: его достоинства не могут быть оценены сразу, но только на третий день. Слишком рано поднес он руку к ноздрям. Ни одно настоящее дело не может быть завершено в любой день. Нужно дожидаться настоящего дня его завершения. Настоящего дня. Так он и сделал.

**Я:** Когда наконец здание было воздвигнуто и строители закрыли купол, после того, как зодчий через отверстие наверху запечатлел полумесяц и звезду, он еще раз вернулся в Святую Софию и взгляделся в ее неизмеримую высоту.

**Она:** Там, во мраке купола, на цепи, которая держит свегильники, висело нечто овальное и белое.

Долго взглядывался он и спрашивал себя, что бы это могло быть, пока не догадался. А было это страусиное яйцо. Не зная, для чего оно предназначается, но зная — для кого, зодчий приказал и в новой мечети повесить два страусиных яйца.

**Я:** Затем он вошел в уже завершенное здание, хлопнул большим бичом, считал, сколько раз отозвалось эхо, и вернулся в Святую Софию. Там он тоже сосчитал эхо от своего бича. Отзвон оказался на десять больше, чем в его мечети.

**Она:** И тогда он приказал в купол нового здания замуровать четыре больших горшка из терракоты, и с этими горшками мечеть обрела необходимую



протяженность эха, потому что в ту же минуту горшки начали вбирать в себя копоть от свечей, которая потом, соскобленная, давала самую лучшую тушь в царстве. А страусиные яйца распугивали пауков, и в мечети по сей день нет паутины. Потом на входе зодчий повесил двойной кожаный занавес, велел застелить каменный пол бухарскими коврами и пал ниц перед царем, передавая ему Голубую мечеть.

**Я:** По пути в родные края зодчий не переставал видеть во сне, как он обходит галереи и подвалы Святой Софии, замеряет своими веревками и узлами размеры Мудрости и везет их за пазухой куда-то на верблюде. Ему снился каждый камень Мудрости. А просыпался он со странным чувством, что не здоров, что в нем что-то переменилось, что забрел он куда-то между снов, в какие-то провалы. Он не мог жить своей прежней жизнью. Он сам больше не был прежним. И даже когда те сны мало-помалу оставили его, он не перестал ощущать этот странный недуг и ходил по врачам в поисках исцеления от своей болезни, скорбя, что стареет очень медленно и так тяжело.

**Она:** В конце его поисков один травник сказал ему:

— У каждой смерти есть и отец, и мать. В твоём недуге виновата не мать твоей смерти, но отец.

— Что это значит? — спросил он.

— Это значит, что не следует тебе искать исцеления у врачей, ибо болезнь твоя не телесная.

И тогда зодчий пришел к тому муфтию, который послал его в Стамбул. И рассказал ему о своих невзгодах.

**Я:** Муфтий разглядывал его какое-то время, хотя лучше сказать, разглядывали его ноздри муфтия, словно пара незрячих черных глаз. Очнувшись, муфтий сказал без колебания:

— Я знаю, что с тобой.

— Что? — вскричал зодчий.

— Ты стал христианином.

**Она:** — Христианином? Но я же неграмотный и никогда не преступал порога христианского гяурского храма, только...

**Я:** И тут зодчий зарыдал так горько, что муфтий должен был ударить его Кораном по спине.

**Она:** — Есть ли от этого исцеление? — выкрикнул наконец преисполненный ужаса зодчий.

**Я:** — Есть, только найти его так же трудно, как душу человеческую. Ты должен найти другого султана и мечеть, такую же большую, как Голубая в Константинополе. И там, где ты ее найдешь — в Дамаске или в Иерусалиме, все равно где, ты должен оставаться десять лет и, также вглядываясь в ту мечеть, построить точно такую же по величине церковь с крестом наверху, синагогу или что-нибудь еще — баню, если тебе хочется... Но исцелившийся от себя самого — погибает.

#### По вертикали 4

После ухода жены майор Похвалич — мужчина с синими ушами, как его называли, — остался один с дочерьми. Смачно выругавшись, он сам принялся за чистку сапог.

Невелика печаль для умного человека, — думали соседи, наблюдая за ним; так прошел год его одинокой жизни. Семья привыкла, насколько это возможно, что в доме нет Витачи, только девочки по утрам в школе почему-то всегда знали, когда в прошедшую ночь мать где-то там в Америке видела их во сне. И тут случился весь этот ужас. Однажды, когда майор вернулся с работы, все было уже кончено. Девочки были мертвы — убиты из пистолета. Майор и милиция предприняли все возможное, чтобы найти убийцу. Однако следствие быстро зашло в тупик. Когда следственные органы устали, майор продолжал расследование один. Говорится же: что в жизни упустишь — во сне не поймашь, и вся его

жизнь теперь превратилась в расследование. Оружие, которым было совершено преступление, не обнаружили, и майор часто над этим задумывался. Может, убийца выбросил его в Дунай? Или, может, если у него не было времени, спрятала где-то здесь, поблизости от места преступления. Погруженный в эти мысли, майор сидел на террасе и курил. В соседнем дворе трепетали всеми своими красками цветы, листва показывала светлую изнаночную сторону, слышался шум реки. Майор смотрел и слушал. Он слушал Дунай и о чем-то думал, однако вполне отчетливо понимал и чувствовал, что мысли его рождаются не в голове, а где-то на верхушке липы в соседнем дворе.

— Ищешь, а не догадываешься, что уже нашел, — сказал он самому себе, взял старую перчатку и направился в соседний двор, откуда доносился аромат лип. Подойдя к дереву, сунул руку в дупло. Там он нащупал что-то твердое, завернутое в тряпку, вытащил. Дома внимательно рассмотрел находку. Это был пистолет. Майор решил пока не отдавать оружие следственным органам и сам, прибегнув к тем знаниям, которыми обладал, как артиллерийский офицер, исследовал баллистические особенности пистолета и снял отпечатки. Сомнения не было, это именно тот пистолет, которым было совершено преступление, и убийца, на удивление, оставил на нем отчетливые отпечатки пальцев. Из пистолета была вынута обойма с патронами, как это делают профессионалы. Оружие было военное, и убийцу, очевидно, следовало искать среди знакомых.

И майор Похвалич стал приглашать к себе прежних приятелей тестя и своих товарищей по казарме, которые заходили к ним раньше, при жене. Чтобы получить отпечатки их пальцев на стаканах. Приглашенным он обычно наливал можжевелевую водку, а себе — холодный чай, потому что оба напитка имели одинаковый цвет. Он был преисполнен решимости выявить и изобличить убийцу. Приятели с удовольствием принимали его приглашение, приходили вечером и успокаивали его, такого одинокого в пустой квартире, где остановилось время, и часы на стене по ночам были лишь светлым пятном. Майор же после этих посещений наносил на стаканы смесь сажи, графита и какого-то вонючего порошка и внимательно сравнивал оттиски пальцев на рюмках с оттисками пальцев убийцы. Только тот, кого он больше всех подозревал, полковник Крачун, каким-то образом постоянно избегал его приглашений.

Полковник Крачун, красавец-мужчина, по ее собственным словам, принадлежал к маленькому чахоточному племени, симпатизирующему русским. Он приходил в дом еще к отцу Витачи, капитану Милуту. Большой желтый зуб, торчавший посредине, подобно рогу, рассекла на две части каждое слово, вырвавшееся у него изо рта, однако потом, снаружи, эти части отыскивали друг друга и спешили соединиться, пусть как попало. Полковника, в общем-то человека решительного, это несколько смущало. Одно время он нравился Витаче, и майор знал об этом, хотя Витача скрывала это от обоих в своих глазах, оставивших созвездие Быка в быстро текущей реке. Одно время Крачун служил в Индии военным атташе и там угодил в дорожную катастрофу, в которой у него погибла дочь.

Во время похорон дочек майора Крачун пришел на кладбище выразить соболезнование, на сороковой день он встретил Витачу, выразил соболезнование и ей, и даже ее второму супругу, архитектору Разину, потом смутился, поняв, что допустил промах, и поспешил договориться с майором о встрече. Однако посещение долго откладывал и нагрянул однажды вечером неожиданно.

«Здравствуй, брат!» — хотел как обычно приветствовать он с порога майора, но вышла какая-то чушь, и Крачун засуетился, сказал, чтобы замять неловкость:

— Годы словно дни, а месяцу конца нет, — и так стремительно снял ремень, что шинель выскользнула из рук, а запасная обойма выпала из кармана и отлетела в угол. Он покосился на майора, уши у него горели — так он смутился, повесил шинель на гвоздь, а обойму с патронами сунул на полочку за щетки.

— Можжевелевой? — спросил майор как всегда и, когда полковник выразил согласие, налил ему водки, а себе чаю и поставил на стол обе рюмки, глядя Крачуну прямо в глаза и намереваясь не упустить ни единого его движения. Но по-

чему-то был рассеян. В голове его металось множество каких-то мыслей. Тоска в этот вечер мешала ему воспринимать слова. Он все вспоминал какого-то солдата из Костайницы, который во время первой мировой войны от раны в бою потерял речь, а двадцать лет спустя, уже во время второй мировой войны увидел во сне тот самый бой, и к нему вернулась речь. И еще крутилась у него в голове поговорка, что зеркало в церковь не приносят, и, желая отогнать эти мысли, майор Похвалич устался на усы полковника Крачуна и чуть было не спросил, не сеет ли он их, что они так хорошо колосятся. Вместо этого, к счастью, он только зевнул, не открывая рта, отчего губы его на миг стали тоньше. Он словно очнулся, усмешкой, рваной, как старая шапка, отогнал от себя эту тоску, путаные свои мысли и внутренне собрался. Он готовился, подстерегал.

— Подозреваешь кого? — начал полковник, как только сел.

— Пока нет, — ответил Похвалич.

— Ты не заметил чего-нибудь, что могло бы предсказать такой исход? Не было ли у тебя какого предчувствия или чего-то похожего?

— Нет, или, вернее сказать, да, только довольно странное. Да, и было это давно. Тогда мы с Витачей были еще вместе, мне иногда, правда, редко стало казаться и весьма отчетливо, что я чувствую, как моя жена (неважно, где она в тот миг находилась) рыдает. Я не сплю, занимаюсь строем, скачу верхом или бегу, слышу или понимаю — только почему понимаю, если все и так ясно? — следовательно, слышу жутко и отчетливо ее голос и, пока этот зов о помощи звучит в моих ушах, я с ужасом перебираю, с кем и что могло случиться, потому что таким голосом оплакивают не себя, а только других, так плачут лишь о мертвых или в какой-то ужасной беде, которую даже трудно себе представить. И я не знаю, почему я так хорошо слышу этот ее голос, хотя никогда не слышал его таким, потому что Витача при мне никогда не плакала, даже об отце. И в этом плаче моя жена возникает в моей памяти совсем отчетливо со своими близко поставленными зелеными глазами и грудью, тоже близко поставленной, и прочими прелестями, как бы сказала покойная госпожа Иоланта. Итак, я слышу, как она рыдает, и в этом рыдании характер ее выражен куда ярче, чем в повседневье. А ведь в это самое время, когда я слышал, как она где-то безутешно рыдает, она не выказывала ни малейшего беспокойства. Разумеется, я пугался, бежал домой и чаще всего в такие минуты (а они повторялись раза два-три) думал о наших девочках, той или другой. А впоследствии оказалось, что это рыдание предвещало смерть моего отца... Однако через год или чуть больше после смерти отца мне опять послышались рыдания. Но на этот раз я не узнал, чей это был голос. Знаю только, что похож он был на голос Витачи, хотя в отличие от ее голоса был высок, очень высок, не был надтреснутым и не дрожал, как у нее, а звенел стеклянным колокольчиком, каким никогда не был... Словно лился из хрустальных зеркал.

Вот и все.

Полковник Крачун внимательно слушал его, покуривая трубку в кресле и время от времени длинными струями дыма, которые вдруг беззвучно взрывались, словно пушечные выстрелы, попадал то в часы на стене, то в рюмку на столе или в стеклянный абажур, под которым они сидели. Эта неслышная канонада несколько замедленного действия сеяла взрывы по комнате, пока майор Похвалич говорил, а полковник почесывал трубкой ухо.

— Знаешь, со мною тоже было такое, — проговорил он наконец. — И я защищался как мог и умел от беды. Нашу боль и беду лечит время, но не то, которое приходит, а то, которое минуло... Я знаю: в доме повешенного не говорят о веревке, но вдруг тебе мой опыт поможет избавиться от муки... Я, когда у меня случилось то же, когда у меня погибла дочь, впервые задумался о смерти. Что это такое? — спрашивал я себя. Я тогда был, как ты помнишь, в Индии, и сейчас, глядя в прошлое, не скажу точно, когда во мне родилось само ощущение, ибо смерть — весьма сложная математика, вроде уравнился с несколькими неизвестными. Само ощущение и сосредоточенность на вопросе о смерти, на ее технологии и механике, если так можно выразиться, вырастали как стена и отгораживали меня от прошлого, да и сейчас это ощущение присутствует, и за

ним мое страшное прошлое может меняться или обновляться сколько угодно, только я этого не ощущаю или почти не ощущаю... Вот до чего дошел.

Зададимся вопросом: что такое время. Время — это нечто подобное иностранному языку, который постигается вместе с родным, следовательно, незаметно. Тем не менее похоже, что родной язык мы постигаем в ущерб тому, другому языку, или чаще пользуемся им, тогда как другой язык, язык времени, забываем.

Вот, например, ты сейчас в очень трудном положении. Есть люди, способные в подобной ситуации стать лицом к лицу с будущим прежде других, а есть и такие, как ты теперь, которые с будущим встречаются после всех. Настоящее тех, первых, и настоящее у вас, других, отличается по протяженности. Твое настоящее простирается за счет и в ущерб твоему прошлому и твоему будущему. Не думай, ради бога, что я намерен поучать тебя. Я лишь хотел добраться до главного вопроса данного момента, а именно: что такое настоящее?

Наше теперь — это по сути дела остановившееся время. Кончики рожек улитки, вытянутые до предела. Именно это «теперь» — единственный общий знаменатель всего живого. И единственный миг жизни от искони до скончания времен, ибо все остальное, обе вечности, простирающиеся до и после нашего «теперь», лежат в глубочайшем застое. Следовательно, *настоящее — это остановившаяся часть времени*. Жизнь не может существовать во времени, которое течет и пока оно течет. Жизнь существует лишь в настоящем, где оно стоит. Хочешь доказательств? Пожалуйста: мое настоящее не может быть ничьим будущим. Прошлое же состоит из мгновений, в которых время остановилось, а будущее — из мгновений, в которых время остановится.

А смерть, дорогой майор, как сказал Эйнштейн, смерть — всего лишь частичка нашего времени, которая утратила возможность остановиться. Потому что количество остановившегося времени во Вселенной постоянно, излишек же исчезает. Поэтому смерти должны происходить. Подчиняясь этой общей неизбежности, время каждого раньше или позже перестанет останавливаться и исчезнет навсегда. Когда твоя часть времени утратит возможность останавливаться, ты умрешь, потому что, запомни, во времени — до тех пор и пока оно в движении — нет, не было и не будет жизни... Время должно нас ждать, чтобы мы жили.

Одним словом, эти мгновения остановившегося времени откладываются в тебе, и когда ты наполнишься своими часами, как водой, ты захлебнешься, потому что в тебе для них уже не будет места, а Вселенная в это время будет становиться все моложе и моложе.

В Азии идут даже еще дальше и утверждают, что такое соответствует только одному виду смерти. Ибо шаманская религия полагает, что существуют два вида смерти — мужская и женская. Одна смерть, по их уверению, женского рода, с темными глазами, с венком лотоса на голове, в темно-красном платье. Она льет слезы над тем, что творит, и немилосердно уносит и мужские и женские жизни. А ее слезы превращаются в болезни и смерти. Смерть же мужского рода — Бог и имя его Яма. Он тоже забирает и тех, и других. Чтобы жить вечно, мало победить только бога смерти Яму (или ракшаса, что некоторые брахманские священники уже пытались сделать), нужно победить богиню смерти, а это еще никогда и никому не удавалось.

— Ты полагаешь, что смерть не такая уж цельная вещь, как в том убеждена наша классическая медицина? — прервал его на этом месте майор. — Ты думаешь, что и она, подобно нашему настоящему, разделена?

— Я ничего не думаю, — как отрезал полковник, и слова его рассеклись о рог, торчавший у него изо рта. — Я тебе лишь пересказал поверье, существующее в одной части Азии. А теперь перехожу к существу...

Здесь полковник чуть приподнялся в кресле, словно давая время словам соединиться в воздухе, и пушечным выстрелом направил дым из своей трубки на стену, где висели под стеклом фотографии покойных дочерей майора Похвалича. Точным выстрелом, разорвавшимся, как бомба, он угодил прямо в голову

одной из девочек, потом повернулся к хозяину и со смущенной улыбкой продолжил:

— Святой Павел в Послании иудеям говорит: «Человекам положено однажды умереть!» А женщине? — спрашиваю я. Женская смерть, как ты, наверное, слышал в народе, опять же делится на смерть нерожавшей женщины и смерть родильницы.

*Смерть родильницы* — это всего-навсего ее личная смерть и ничья больше. Эта смерть в общем-то и не похожа на смерть, скорее это новые последние роды. Родильница как бы переживает еще раз свои роды в своей смерти. Нерожавшие женщины, между тем, умирают совсем иначе, потому как у них нет подобного опыта.

*Умиравшая нерожавшая женщина* — это женщина, которая испокон веку не умирала и умирает сейчас впервые. Все ее предки-роженницы собрались, чтобы умереть вместе с нею, в ее смерти. И их долгий-предолгий путь незаметно завершается здесь, в минуту смерти нерожавшей женщины после бесчисленных тысячелетий непрерывной жизни. Даже если оставить в стороне побочные отростки этой женской лозы, очевидно, что один-то побег многоликой жизни навеки засыхает и гибнет со смертью нерожавшей женщины.

Для примера — твои дочери, которые умерли, не оставив потомства, а стало быть: умерла и их мать Витача, которая хотя еще жива и открыла одну церковь, закрыв другую, но больше не будет иметь детей, и ее сестра Вида, которая предлагала всем и каждому, кому потрогать, кому подержать свою необъятную, не меньше задницы, грудь; умерла в них и мать Витачи, Вероника Исаилович, по мужу Милут, черту — муку, а богу отруби отдавшая; и ее мать, госпожа Иоланта Исаилович, урожденная Ибич, велеречивая прабабка твоих дочерей, которая с покойником венчалась да ворожкой занималась; и мать ее, госпожа Ангелина Ибич, внебрачная Пфистер, или та же Ризнич, переплунувшая и попа и дьякона, чтобы у нее молоко в грудях скисло; умерла в твоих дочерях и их незаконная прабабка Амалия Ризнич, которая читала лексикон улыбок да мужу своему при живой жене новую искала, и мать этой красотки Амалии, Евдокия, урожденная (одна семья) Ризнич и по мужу (другая семья) Ризнич, которая в сытости постилась и от пирогов хлеба алкала, и мать ее, Паулина, по мужу Ризнич, урожденная графиня Жевуская, выдавшая сестру за Бальзака, а сама ступавшая куда взгляд упадет, да не видевшая, куда ступает, и мать ее, урожденная Потоцкая, которая сладко ела, да у мужа оскомины была, и ее мать, понимавшая, что с помощью часов никуда не приедешь, потому как сами они идут по кругу. Умерла в твоих дочерях и благородная госпожа Меджанская, самая знаменитая в вашей семье по материнской линии, усохшая по пути из церкви после венчания, потому что свекор бросал на землю по дукату под каждый ее шаг. Умерла в них и мать ее, и бабка ее, и прабабка, и мать прабабки, прапрабабка, прародительница и мать прародительницы, ее бабка и прабабка и «белая орлица», которая во времена Столетней войны прославилась своим упрямством и боялась спать; и бабка ее, лгунья, каких свет не видывал, и мать ее, улыбку, точно рану на лице прятывавшая, да все на рожон перевшая, и прабабка ее, с трещиной во лбу, которая ракию огнем гасила; ее мать мужа своего только по зиме и любила, а лен красила луковой кожурой, и прабабка ее, в белом черное искавшая, за то и на костре сожженная, и ее мать, по льду просо сеявшая, да сытая, голодного не разумевшая, и бабка ее, босиком по стерне ступавшая и глазами потевшая, и ее мать, которой нижняя рубаха была ближе, чем верхняя, и которой не велели петь, да плакать позволяли, и мать ее, Вероника, на свой плат лик Мессии перенесшая, и ее прародительница из каменного века, что глухому на ухо шептала да ветер ладонью чесала, и ее прабабка, поженившая Солнце с Месяцем, у которой яйца квохтали, а куры помалкивали, и ее прабабка, что младенцу зубами пуповину перекусывала да из одной козьей шкуры по два меха сшивала, и ее предшественница по крови, которая лаяла, а борода ей не была помехой, и мать этой, что мужика на закорках таскала, и их прабабка, которая живую змею за пазухой держала и в гору поднималась с оглядкой, а спускалась с разумом, помогая себе руками... Чтобы не продолжать, скажу: все они испокон веку, от начала рода человеческого и

вашей женской ветви, дабы чтобы умереть в смерти твоих дочерей. Смерть твоих дочерей достигает космических размеров, она больше, чем кажется, в тысячу раз. Она означает, что угасла целая ветвь человеческого древа по материнской линии...

Здесь гость вытащил пистолет, быстро примерился, вставил дуло себе в рот и спустил курок. Вместо выстрела раздался слабый щелчок, полковник подудел в пистолет тихо и протяжно, получилось совсем как на пастушьей свирели в горах. Затем, словно очнувшись ото сна, сказал «извините», убрал пистолет и выпустил изо рта длинную струю дыма, которая, естественно, вышла не из пистолета, а из трубки...

Было слышно, как на улице пробило час ночи. Полковник Крачун продолжал что-то рассказывать и пить, он пил и рассказывал, покручивая кончики усов, а майор наблюдал за ним, бросая иногда взгляд на тарелку, где лежала одна-единственная сардина. И думал, что боль имеет кость, совсем как палец. И еще ему казалось, что полковник ставил рюмку на стол слишком близко к краю и что он, майор Похвалич, о риданиях Витачи рассказал ему не сегодня вечером, а полгода назад, до того, как все это случилось. Можжевеловая кончилась, наступило глубокое молчание, только ангел не пролетел. Гость резко поднялся и стал торопливо прощаться. На улице слышались голоса птиц, и майор, прощаясь, подумал, что птицы никогда не лгут.

— И какой же вывод можно сделать из этих поверий? — спросил он гостя уже в дверях.

Гость выпрямился, подошел к вешалке, где висела его шинель, сунул обе руки в рукава и, уже надетую, снял шинель с крюка — словно вешалка ему одеться помогла.

— Что же нам делать? — сказал рассеянно (хотя майор не о том спрашивал) и взялся за ручку двери. — Нам должно знать, что дочери наши умерли самой тяжелой смертью. И нам должно все делать сообразно этому и исходя из этого...

Полковник пулей вылетел из дома, помахивая рукой в знак прощания, но смотрел не на майора, а на дорожку перед собой. Хозяин сразу заметил, что гость забыл на полочке для щеток обойму с патронами, однако не побежал за ним к калитке и не окликнул его, чтобы забрал забытое. Вместо этого он вернулся в комнату и, пошатываясь, тут же снял отпечатки пальцев с рюмки и словно очнулся, увидев результат. Отпечатки на рюмке с водкой были идентичны отпечаткам, обнаруженным им на пистолете, которым были убиты его дети. Сомнения быть не могло — на водочной рюмке, рюмке гостя, полковника Крачуна, были отпечатки пальцев убийцы. Однако у майора все-таки что-то не складывалось. Что-то ускользало от его внимания, мешало всецело сконцентрироваться. Совсем незначительная деталь. Он мучительно повторял про себя события минувшего вечера и вдруг почувствовал, что пьян. Пьян настолько, что вынужден был лечь спать, посчитав, что утром спокойно, на свежую голову примет решение.

Утром он поднялся, посмотрел на рюмки и понял, что на этот раз ракию пил не гость, а он сам, и в этом нет никакого сомнения. На рюмке из-под ракии и на пистолете отпечатки были идентичны. Отпечатки пальцев убийцы, его пальцев, его, майора Мркиши Похвалича, убившего собственных дочерей.

В семь часов утра майор Похвалич взял с полочки для щеток обойму с патронами и вставил ее в пистолет. Он доел оставшуюся рыбу, подумав: «Брюхо болит, а хлебу не пропадать» — и выстрелил себе в ухо. В семь часов четыре минуты, едва прозвучал выстрел, полковник Крачун с военным патрулем вошел в квартиру майора Мркиши Похвалича, чтобы произвести обыск и забрать свою обойму с патронами.

## ПО ГОРИЗОНТАЛИ 3

## По вертикали 6

Насколько я помню, господин архитектор Афанасий Разин рассказал после одной своей деловой поездки следующее:

Вам, наверное, знакомы те широкие лестницы с двойным эхом, которое перекрещивается и завязывается узлом на первом этаже, в общем-то как и сами ступеньки. Именно такая лестница в доме Цецилии. Когда я ступил на эту лестницу, был конец лета и из окна открывался вид на сад. Жирные тени лежали под каштаном, подобно лужам масла, крупные листья давали оплеухи ветру и падали, цепляя друг друга, тяжелые, словно глухари. По саду расплзался прозрачный, как кубик льда, холод, способствующий росту волчьего хлеба. Одно облако остановилось над ближней церковью, а остальные пошли вокруг него водить хоровод; внизу, у ручья, желтая глина переходила в чернозем...

Вступая в жилище Цецилии, я был полон решимости придерживаться заранее продуманного поведения. Сегодня вечером мне необходимо было хранить, как огонек на сквозняке, именно такую Цецилию, какая могла быть мне более всего полезна. Для достижения цели в таком деле, как мое, главное — не хорохориться, вести себя, как задумано наперед и ни за что не отступать от этого поведения и позиции, что бы ни случилось. Неожиданность, любая, через час или два испарится в рукавицах памяти, зато тебе останется польза, если выдержишь. Чтобы настолько владеть собой, существует один нехитрый прием. Трюк, к которому необходимо прибегать, ради безопасности всяческих начинаний. При посещениях и разговорах подобного рода нужно думать о кресс-салате, который спасает мужчин от облысения, и помалкивать, словно рот у тебя полон чернил, а уши заткнуты усами. Я в таких случаях всегда помогал собеседнику тем, что сам себе рассказывал какую-нибудь историю, специально подобранную по обстоятельствам. И этот мой безгласный рассказ позволял мне, так сказать, сохранять постоянную точку кипения...

С этими мыслями я поднялся на первый этаж, однако Цецилии в просторной столовой не было. На камине стояло зеркало и подсвечник. В ожидании я, как из рогатки, выстрелил слюной в зеркало. И тут услышал приглушенный смех и обнаружил торчащий из-под длинной скатерти крохотный с подковкой каблучок детского башмака.

— Азередо, Азередо, ты знаешь, как родятся дети? — услышал я детский голосок из-под стола.

— А ты? — отозвался еще более высокий, но мальчишеский голос.

— Я знаю. Даже знаю, как родился ты.

— Как?

— Твой отец подкараулил петуха, когда тот собирался прокукарекать, и когда петух открыл рот, он плюнул ему в клюв. Петух от этого снес яйцо, и нашелся добрый человек, который носил это яйцо три месяца за пазухой, пока ты не вылупился.

— И что?

— И ничего.

Пока дети болтали, я продолжал готовиться к встрече с Цецилией. Потому что не все равно, какую историю самому себе рассказывать в тех или иных условиях. Колорит твоего молчания зависит от того, о чем ты молчишь, а колорит молчания в моем деле означал все. Поэтому я решил, что на сей раз лучше всего угостить себя историей о Плакиде. Этот короткий и немудреный рассказец способен очистить даже самые беспокойные души...

Спрятавшиеся под столом дети свистели в поломанную пуговицу. Судя по голосам, девочке могло быть лет десять, а мальчик был намного младше.

— Азередо, Азередо, — спросила она, оставаясь под столом, — сколько сегодня на небе Солнц?

— Есть три Солнца, — отвечал тоненький голосок, прерывавшийся словно перекушенный, — первое Солнце видят все. Второе Солнце видят некоторые животные, ну там змея, а все три Солнца видят только мертвые... А что касается меня, то я не Азередо, я дон Азередо.

— Мама говорит, что ты дьявол.

— Что такое дьявол?

— Не знаешь? Не притворяйся! Неужели ты не был в театре? И никогда не слушал оперу «Фауст»?

— Нет. У меня нет слуха. Зато я понимаю языки. Все, кроме одного. Я не знаю, что за язык, наверное какой-нибудь новый.

— Вот и по этому видно, что ты дьявол! Когда вырастешь, у тебя одна грудь будет как у женщины, а другая как у мужчины. А в штанишках у тебя разве нет хвоста?

— Откуда я знаю, хвост это или не хвост?

— Наверняка это хвост, потому что мне хочется, чтобы меня высекли тем, что у тебя там, в штанишках. И Ева до Адама спала с Дьяволом. Покажи мне!

— Я не могу при этом, который пришел торговаться. Я должен сначала уладить с ним одно дельце.

И мальчик тут же выбрался из-под стола. Было ему самое большее шесть-семь лет. Зеленые сопли переплетались у него под носом в узел поверх старых, засохших и блестевших как след улитки.

— У тебя есть карандаш? — спросил он меня совсем неожиданно.

Я достал карандаш и протянул ему, несколько удивленный. Не глядя, он сунул карандаш в рот и на моих глазах сжевал с хрустом, как соломинку. Я хотел было его остановить, но все было кончено за несколько мгновений.

— Не люблю стричься, — сказал он, словно ничего не произошло.

Маленькие, будто инеем покрытые уши плавали в волнах его красивой кудрявой головенки. Волосы, ресницы, брови — все было пепельного цвета, казалось, вспыхнув, они обгорели, не повредив его румяного лица и оставшись в виде пепла на голове. Если дунуть, разлетелись бы, как сожженные письма, на которых, прежде чем они рассыпятся, можно в последний раз прочесть белые буквы... Я испугался, не повредил ли ему мой карандаш, и хотел уже поднять тревогу, но успел понять, что это помешало бы моему делу, попросту сделало бы его неосуществимым. Я был в растерянности, однако не смел этого выказать.

— Почему ты такой худой? — спросил теперь и я как ни в чем не бывало.

Его красивые глаза то загорались, то потухали, как огни светофора, и тут я заметил, что один глаз у него с изъяном — словно в него попала капля воска.

— Еда служит, чтобы согреть и ободрить человека, — ответил он и попросил меня подать ему подсвечник с камина, до которого он не мог дотянуться. Я переставил подсвечник на стол рядом с коробком спичек. Но было очевидно, что ему, такому маленькому, не дотянуться до спичек на столе.

— Это верно, что вы свои бомбы делаете из воды? — спросил он меня и плюнул на одну из свечей. Она тут же зажглась от его слюны. Потом он плюнул на другую, на третью, и они тоже вспыхнули.

— Из тяжелой воды, — ответила я не сразу и с недоумением, начиная сумбурно бормотать про себя историю о Плакиде, подобно молитве.

«Тот самый Плакида, который увидел оленя с крестом вместо рогов на голове, однажды охотился вблизи моря...»

— Теперь можешь поставить подсвечник на место, — сказал мальчик и засмеялся. Он смеялся вертикально, а не горизонтально, и смех его обегал рот и нос только с одной, левой стороны.

— Что ты сказал? — переспросил я.

— Поставь его на камин, на место.

Несколько смущенный, я послушно подошел к столу. Подсвечник невозможно было сдвинуть с места, хотя только что я без труда перенес его на стол. Я



оглянулся. Мальчик уставился на меня через эту свою каплю воска, прищурив здоровый глаз. А из-под стола я услышал хохот девочки:

— Ну как, тяжелый огонь? — выкрикивала она снизу. — Погаси! Погаси!

И я послушно дунул и погасил свечи.

— Теперь попробуй опять, — кричала девочка из-под скатерти.

Я взял подсвечник и на этот раз без труда поставил на место. И в тот же миг история о Плакиде оборвалась во мне.

— Теперь мы познакомились? — спросил дон Азередо и сразу добавил: — Я знаю, о чем ты думаешь.

— О чем? — принял вызов я.

— Для тебя в жизни нет ничего хуже мысли, что твой отец победил в войне. Мир никогда не станет твоим... Ты так думаешь?

— Так.

— А ты давно знаешь Цецилию?

— Это было так давно, что уже неправда.

Пренебрегая моим ответом, он указал мне на лестницу, по которой я поднялся сюда.

— Что ты видишь? — спросил. — Разве это не стершиеся каменные ступеньки? Посмотри, они словно бы мокрые, хотя этого не может быть, потому что день солнечный. Такой и Цецилия кажется. Холодной, хотя и горяча, влажной, хотя и прогрета солнцем, словно бы под дождем, хотя и при ясном дне. Выигрывает, хотя ты уверен, что она вообще вне игры. Помни об этом, и тогда ты договоришься с ней. Однако не делай больше того, что делал до сих пор. Хотя отечество отобрало у тебя все, что ты от него получил, не делай этого. Отечество всегда отбирает то, что дает... И не подписывай с Цецилией тот договор, ради которого пришел.

В эту минуту девочка, все еще сидевшая под столом, крикнула:

— Азередо, Азередо, а правда, что от страха быстрее пачкаются уши?

— От страха уши текут, а человек глохнет.

После этих слов она подняла скатерть и перекрестилась, ковыряя в ухе мизинцем. Потом она понюхала палец и облизала его. Повернув голову ко мне, сказала:

— Этот больше сорока дней не молился. Он увидит дьявола...

И тут вошла Цецилия.

В волосах у нее был гребень с острыми, точно иглы, зубьями, волосы черные и гладкие, точно лаковые туфли, и одежда подстать. Она села с книгой в руке на скамеечку. Была все так же хороша, как и прежде, только глаза состарились раньше нее. Словно бы отекишие и взгляд убегающий. Взгляды свои она поминутно теряла и ловила опять, и они то ускользали, то покорялись ей и, непостоянные, возвращались обратно, что заметно ее смущало.

— Слушаю вас, — сказала она и ужалила меня улыбкой, хотя я опять про себя бормотал историю о Плакиде.

— Мне кажется, ты не помнишь меня, Цецилия, только я пришел не возобновлять забытое знакомство. Я пришел просить совета и утешения в своей старости. Я уже не пляшу казачок — ногу в зубы. Старею. Особенно зимой. Малейший ветерок срывает меня с ветки. А ты как?

В ответ Цецилия раскрыла книгу. Она читала вслух, а дети и я слушали ее:

Как мне стук заступа нравится!  
Целую жизнь он мне служит —  
Землю спасает и множит,  
Ставит заслон бурным водам...  
Эй, надсмотрщик!

Тут глаза дон Азередо вспыхнули попеременно, словно на башне маяка, и он ответил, как будто это его позвали:

— Здесь я!

Цецилия засмеялась и продолжала читать:

Многое можешь ты, многое можешь!  
 Так приведи мне поденщиков больше —  
 Обманом ли, подкупом, страхом, побоями  
 Или желанной наградой!

Только бы слышать мне новость:  
 Дальше продвинулся ров!

Дон Азередо вновь вмешался и произнес нечто, меня удивившее, хотя и похожее на стихи:

— Насколько я понимаю, речь здесь идет о могиле, а вовсе не обо рве!

Цецилия опять засмеялась, и я увидел, что в левом углу рта она носит короткий и постный смех, а в правом — широкий и скромный.

— С чем пришел, Атанас? — обратилась она ко мне и закрыла книгу. — Как твои дела со строительством?

— Какие дела? Ну, чтобы в двух словах. Недавно после смерти матери завернул я в ее дом на селе. Хотел вставить ключ в замок, а из замочной скважины растет трава. Что тут строить?

— Это не ответ. Но ты и не должен мне ничего говорить. Я тебе отвечу.

Глаза ее погрузились в мои, словно что-то отыскивая. И она закашлялась.

— Пастух отлавливает самую тучную овцу, чтобы заколоть. Так и человек: самую большую свою мысль несет другому. И ты пришел с такой овечкой. Я не знаю, о чем речь, пока ты не покажешь мне эту свою овцу, зато знаю другое.

Кроме старого способа закабаления человека человеком или сословия сословием ныне обнаруживается гораздо более практичное решение — эксплуатация одного поколения другим. Выигравшие прошлую войну закабалили до крайности вас, своих сыновей, а проигравшие эту войну впоследствии были использованы своими сыновьями. Следовательно, твой сын поработит тебя, как поработал тебя и твой отец. Он скажет: «Зачем я пойду на его похороны! Он же на мои не пойдет!»

Только этот способ время уже превзошло. Для закабаления куда более пригодными окажутся грядущие, еще не рожденные поколения, те, чьи души пока не оказались на воле, те, кто еще упьется своими слезами, нерожденные душонки, которые пока что не подпадают ни под какие законные уложения, которые ничем не могут защищаться, не могут даже плюнуть нам в глаза. Поэтому надо поработать не сыновей, как это делали ваши наивные отцы, а будущее — внуков и правнуков, праправнуков и белых пчел, как ты их называешь. Эти грядущие поколения, следовательно, уже сейчас нужно с этой целью ввести в строгую правовую структуру порабощения, связать всеобщими безупречными международными нормами, поступками и договорами, закрепленными абсолютно легальным образом, которые в правовом и финансовом аспекте не смогут вызвать сомнения ни на Западе, ни на Востоке. Из тех будущих поколений уже сейчас можно выжать весь пот, их можно уже сейчас заставить и через сто или двести лет захлебываться соленым кровавым потом, если найдется мудрец, который загодя обратит в наличные их самих и их будущее жизненное пространство.

Однако это дело по всему земному шару не выгорит с одинаковым успехом. Есть на земле улицы, превращенные в коридоры из домов с облицованными фасадами, с площадями, обставленными, как комнаты, стильной мебелью. Но существуют ведь и другие места.

Всегда для кого-то где-то случаются трудные, быстротекущие и изменчивые времена. Есть на свете такие несчастные края, где столетиями существуют унижительные убеждения (проверенные жизнью бесчисленное количество раз), что заработанное не может долго удерживаться и служить наслаждению, подобно тому, как цыпленок не может не стать петухом. В таких краях тянутся дни, не меняются времена года, зато годы мелькают с быстротой молнии. Трудом и кровью обретенное пропадает и уничтожается вдруг, легко и безжалостно, и ни-

чего не остается на завтра, как это делается у великих народов и у могучих держав, которые ни за что не выпускают однажды добытое, как пес ни за что не выпустит кость изо рта, потому что понимает — это останется на долгие времена и принесет радость обладания. Здесь удобная трещина во времени для тебя и тебе подобных...

Цецилия замолчала, погладила девочку по головке и улыбнулась. И я увидел ее покрытый ржавчиной язык и опять услышал этот кашель, похожий на неразборчиво заданный вопрос. Она поймала свой оторвавшийся взгляд, вернула его мне и продолжила:

— Поэтому ты, дорогой мой, имеешь право полагать, что приобретение пчелок дело куда более прибыльное, чем любое строительство. Строят те, кто не умеет делать ничего более умного, те, у кого под пиджаком растут плевелы вместо сердца. А ты нашел прибыльное дело и вовремя, и дело это не просто дело века, но и приятное.

Поскольку ты заключил такие сделки по всей Америке и Азии, ты теперь решил попытаться счастья в Европе. Здесь тебе даже проще. Ибо ты полагаешь (и ты не ошибаешься), что здесь на Б....., скажем, где вместо Солнца огромный морской еж, черный и колючий, ныряет в облака, как в мутную воду, и восходит рано только между войнами, ты полагаешь, что здесь и в подобных краях, где двое одной пары чулок не подобрали, самое подходящее место для такого дела. Ты полагаешь, далее, и опять же по праву, что этот край подходит именно для тебя, потому что здесь ты многих знаешь, никто из них к ужину не обувается; вот и я с сестрами в молодости ходила с тобой под ручку; помнишь, у меня была тогда мелкая улыбка, натянутая на зубы, я прикладывалась к твоей трубке и валялась с тобой в лодке... Есть и еще кое-что, — продолжала Цецилия, — как слеза — пот души, так и пот — слеза тела. Ну, слезу тела можно арендовать. И ты знаешь, как это делается, тебя, все держащего в уме, учить не надо. Можно обратиться в наличные и ветер, который будет дуть в две тысячи двухсотом году, а тем более земли под тем ветром. Это не твоя цель — поработить их, этих праправнуков, не дать им шагу ступить, и белым пчелкам подрезать крылышки. Речь не о том, чтобы использовать их через загодя оплаченное питание, которое принесет тебе сверхприбыль, через оплаченный переход на новое опекуновство и на новые технологии, через загодя оплаченное долгосрочное усыновление, за которое тебе эти все будущие станут выплачивать проценты с процентов, испытывая тот, будущий, уже сегодня оплаченный голод... Твоя цель — поработить их и заполучить их жизненное пространство, уже сейчас завладеть их землей, выпить их воду и воздух... А за водой, землей и воздухом известно, что следует. Могила.

Ты рассуждаешь вполне логично: кто может меня лишит этой единственной (хорошо оплаченной) могилы? Кто откажет пожилому человеку, что припелся неизвестно откуда по уши в слезах, чтобы купить себе склеп, кто откажет ему в этом?

А уж что ты в тех нескольких кубометрах захоронишь — какое до этого дело продавшим тебе клочок земли. Они больше ни о чем не думают и не имеют на него прав. Доставит ли грузовик гроб с останками в бозе почившего Афанасия Разина, ранее Свиlara, или с радиоактивными отходами, которые станут безопасными лишь через триста лет — дело только твое и ничье больше. А если тебе повезет и купишь ты какое-нибудь заброшенное кладбище — чем больше, тем лучше, — сможешь ты туда запрятать, что твоей душе угодно.

Куда девать те поезда, что шлутают по железнодорожным путям Европы, груженные облученным молоком, или те танкеры, что с радиоактивными отходами бороздят моря, не находя порта для разгрузки, как не на заброшенные кладбища, подобные тем, которые ты скупаешь по всей земле?

Однако хватит этих серьезных дел. Если бы я не боялась тебе надоесть, я бы рассказала тебе притчу, которую у нас охотно пересказывают друг другу. Около две тысячи двухсотого года, когда ты приедешь посетить свои имения, которые сейчас приобретаешь, произойдет следующая история:

*Усадил дед своего внука и рассказывает ему сказку. Только внук есть внук: вертится и прерывает деда.*

— Дед, — спрашивает он, — слышал я, поминают люди какое-то странное название: Чернобыль или что-то вроде того... что это такое?

— Э, дитя мое, — отвечает дед, — длинная и старая это история, — и погладил внука по головкам.

Обрати внимание, не по головке, а по головкам... Стало быть, тех двуглавых ты хочешь уже сейчас, заранее ограбить. Посмотри в зеркало: ус скручен, как пороссячий хвост, и только дергается... Но, дорогой мой, обманулся ты в своих расчетах, просчитался! Не всякого заманишь тем, что пообещаешь после обеда вытереть ему бороду крупной банкнотой!



Здесь я перестал рассказывать самому себе историю о Плакиде, потому что она мне больше не помогала. Я заметил, что у Цецилии какие-то совсем другие губы, твердые, как корка хлеба, а улыбка та же, прежняя, про себя. Однако эта знакомая улыбка, соединенная из кусочков чужих улыбок, ударила меня между глаз. И я испугался, что Цецилия испортит все то, о чем я уже договорился с ее сестрами. В ушах у меня точно запищала выведок цыплят, в панике зовущих друг друга, я пробормотал, что мои намерения неправильно поняты, и поднялся, чтобы уйти.

— Все не так просто, — заметила она и позвонила в стеклянный звонок. Удивившись еще раз, я глядел на ее грудь, которой не было вообще — только две огромные бородавки под кофтой; в дверях появился лысый человек с завязанными узлом бровями. На лице в бороздках морщин блестел пот, отчего оно казалось окутанное золотой паутиной.

— Отец Тарквиний, — обратилась к нему хозяйка, — приготовьте нашему гостю чай. Чай из березового веника, которым подметают перед калиткой. И покрепче. Насколько я помню, ты любишь чай, не правда ли?

Я попытался встать, но незнакомец удивился, вроде бы чихнул, а потом сказал:

— Большой любви нужно долго созреть, зато маленькая любовь тут как тут.

И опустил свою огромную руку мне на плечо. Он был из тех, у кого сила прибывает, даже когда волос выпадает.

«Сильный ветер и рыбу в Дунае разгонит, — подумал я и в ожидании чая из веника опять погрузился в историю о Плакиде, больше мне ничего не оставалось. — Будешь подделываться под золото — золотом не станешь, подделка под призрак — призраком обратится...»

И все, что потом со мною случилось, состояло из собранного воедино внутреннего монолога, который унес историю о Плакиде, как ветер шапку. И это меня спасло.

В то время, когда чай из веника был подан в дорогой чашке сервиза «Жолнай», я сказал только чтобы не молчать:

— Пусть наши горести не роднятся, Цецилия, — твоя, как скоромный, а моя, как постный год, — это не причина для ссоры. Где я просчитался, по-твоему?

— Мне приятно, что ты спросил меня об этом, — ответила Цецилия. — Когда мой отец писал свою книгу (не знаю, довелось ли тебе видеть ее — она о бочочках), он во время работы пил вино. Когда доконал первый бочонок, сделал в рукописи пометку: *Конец первой части*. Так и ты, когда допьешь свой чай, пометь: *Конец первой части*. Потом берись за вторую, и все будет зависеть только от тебя.

— Как ты это себе представляешь? — спросил я, но она ответила не сразу, а только после того, как выпроводила из комнаты Азередо и девочку. Азередо выбежал с плачем. Теперь она ответила:

— Видишь ли, Атанас, все, что мы слышали о тебе, пока ты странствовал, рассказывали твои венские служанки. «Когда нас наняли работать у него, — рас-

сказывали они, — хозяин в первый же вечер сказал: двадцать шиллингов получит та, которая не будет ужинать. И со смехом сказал, что пошутил. Однако деньги дал. Мы думали, он хочет отослать нас из дому, чтобы остаться одному, а потому взяли по двадцать шиллингов и ушли. Между тем наутро, уже не шутя, он потребовал: Кто хочет обедать, выкладывайте двадцать шиллингов!»

Вот тебе этот незначительный факт. А теперь я у тебя кое-что спрошу. Уж не думаешь ли ты, что я твоя немецкая служанка? Ну, тут-то ты ошибаешься...

Я смотрел на отца Тарквиния, на его бороду, словно сделанную из белой пакли, и чувствовал, что дни мчатся к Новому году, подобно все увеличивающемуся дикому стаду, будущее крошилось и рассыпалось, уступая место нам, незваным гостям. И понял, что чаем из веника разговор не окончится. Тогда я сказал:

— Ты меня недооцениваешь, Цецилия. Представь себе, что мы играем в шахматы. И у меня пешка может превратиться в ферзя. Подумай. Ты так оцениваешь позицию и так ведешь игру, будто знаешь, что я свою пешку хочу превратить в ферзя. Но как ты поступишь, если твое предположение окажется ошибочным, если я, к твоему удивлению, обменяю свою пешку не на ферзя, а на какую-нибудь другую фигуру?

— В этом случае, — сказала она с торжеством, — все, о чем я подозревала и что сказала — неверно; верным будет все то, чего я не сказала, но без труда могу сказать сейчас.

Я оцепенел, потому что понял: она знает, чем я занимаюсь. Я пощупал свой ус и нашел его отвердевшим, как дубовая кора, и закрученным, как пороссячий хвостик. Я все еще хватался за историю о Плакиде, словно за соломинку.

— Если ты их, наших праправнуков, покупаешь не по тем причинам, которые я перечислила, значит, ты покупаешь их по причинам вдвое хуже, о которых даже не следует упоминать. Это верно?

— Да, верно, — ответил я и икнул, а она закашлялась, и в этот миг я вспомнил, что дьяволы общаются между собой через человеческий кашель, отрыжку, чих и свист.

— В таком случае, — закончила Цецилия, — и моя цена будет вдвое выше. А также должны быть соблюдены некоторые условия.

— Согласен на все условия, — сказал я и тут же спросил, каковы они. Цецилия достала из-за пазухи список своих праправнуков, а я полез за карандашом, которого, естественно, в кармане не оказалось. Однако Цецилия список отдала не мне, а отцу Тарквинию.

— Видишь ли, — сказала она, — всякая опись, а тем более опись праправнуков, а стало быть, инвентаризация будущего, означает нарушение небесных правил и вмешательство в компетенцию неба. Поэтому, прежде чем мы сделаем полную опись и заверим ее в суде, чтобы она обрела законный статус, отец Тарквиний должен эти нерожденные и некрещенные души окрестить согласно христианскому обряду.

— Разве дети имеют душу до того, как родятся? — спросил я изумленно, но Цецилия только кашлянула и продолжила:

— Если их не окрестить, и они станут жить и умирать, потому что продать их — значит, пустить в оборот, в жизнь и смерть, — у них появятся нежелательные имена, станут они в таком случае называться лентями, крикунами, горлопанами, тихонями, плаксами, или скорпионами, и кто знает, как еще. Они превратятся в крохотных крылатых малышей, неживых и некрещенных, которые летают, пищат и писают сверху на прохожих. Они будут вечно неприкаемыми, особенно по ночам от Рождества до Пасхи, плоские, словно сушеная рыба, борода на темени, станут по весне пугать визгом у реки, на кладбищах, задушенными голосами заполнят ночное небо, присосутся к утробам рожениц, будут дуть им в груди, словно в гайды. С криками станут врывать в твой дом, всхлипывать под перевернутыми тарелками и жалить вещими снами твое потомство и своих братьев...

Цецилия опять кашлянула, а отец Тарквиний икнул трижды кряду в список с именами — так священники дуют на ребенка при крещении, изгоняя дьявола,

положил список в книгу, и втроем мы отправились в ближайшую церковь, там как раз часы отбивали время.

На лестнице, где эхо шагов пересекалось, а ступеньки расходились в разные стороны, я зазевался и свернул налево, они же — направо.

— Фррр! — донесся до меня детский голосок, так ночью перекликаются лошади. Поворот лестницы на мгновение отделил от меня Цецилию и отца Тарквиния, и я увидел дона Азередо — он сидел на подоконнике у того самого окна, через которое, когда я шел сюда, виднелся прелестный летний пейзаж с каштаном. Я послушно подошел к нему и остолбенел от страха. За его кудрявой головой, источавшей запах цветущей липы и детского пота, я увидел тот же самый пейзаж, только заснеженный. Каштан стоял голый, без листьев, внизу, возле речки, глину покрывал лед, а чернозем — снег. Дальше тянулась к горизонту засыпанная снегом дорога, составленная из двух параллельных тропинок, таких прямых, точно проложенных выстрелом двустволки...

— Азередо, Азередо, — донесся из комнаты голос девочки, — ты ему показываешь годы? — Она появилась на верху лестницы и сказала, как бы утешая меня: — Не удивляйтесь. Из этого окна всегда виден следующий год.

Азередо соскочил с подоконника и сказал:

— Я бы хотел кое-что сказать тебе. Кое-что о моем происхождении. Мой дальний предок был Архангелом. Звали его Нафанаил. В сербском монастыре Дечаны он запечатлен в тысяча триста пятидесятом году на фреске, изображающей встречу архангела Нафанаила с Христом. Этот Нафанаил есть и на иконах. Ты же был на Святой горе. Не знаю, видел ли ты там икону с моим предком. Это икона, где показано падение Нафанаила и превращение его имени в имя Сатанаил. Когда-то Архангел божий, мой предок, предал небо и как властитель тьмы был назван Сатаной. На той святогорской иконе изображен лик божий и под ним группа горних ангелов в белом, а по обе стороны от этой группы кубарем скатываются в пропасть непокорные ангелы, спутники моего предка и спутники мрака. В вечной тьме они уже почернели, и крылья способны нести их только вниз. Предводители у них в этом падении — некогда почитаемые при небесном дворе Уэза и Азаэль. В центре хора светлых ангелов стоит ангел-мальчик и держит икону. На этой иконе в иконе виден будущий лик Христа, и под ним огромный падший архангел Сатанаил, мой предок. Весь черный, он лежит в том же положении, в каком будет лежать на последнем суде, когда Христос вторично сойдет на Землю, дабы разбить врата Ада и растоптать его, Сатану. Этот Сатана, мой предок, по сути — бывший свет... Потому что, — продолжал дон Азередо, — грань между светом и тьмой на той иконе не настоящая, а искривленная: Вселенная не симметрична. А сумма света во Вселенной константа, и когда один архангел со своими последователями отпал от Бога и скатился во тьму, став властителем ночи или Сатаной, эта сумма света или, если угодно, любви, была обкорнана. Приблизительно на одну треть. Столько было нас, непокорных ангелов, которые отпали от неба. Тогда Бог создал Малую Вселенную и положил — тебе, то есть человеку, возместить ту треть суммы любви, ту часть света, которой недостает. Следовательно, человек есть не что иное, как замена Сатаны, падшего ангела, но еще до падения. Стало быть, и ты тоже часть запоздалого света, замена бывшего света или бывшей любви, того, что не является больше ни светом, ни любовью. Именно поэтому род человеческий близок Сатане, ибо является его заменой. Переверни человека вверх тормашками, и вот тебе — Сатана!

Однако человек не возместил Вселенной ту треть света, или любви, ту часть, на какую она уменьшилась с падением моего предка, непокорного светлого Архангела. Он возместил куда меньше. И теперь мы подходим к главному.

Что такое человек? Наполовину ангел, наполовину зверь. Святой Иоанн говорит о тебе и тебе подобных: «Вы по отцу Сатана!» И именно через эти темные, кровожадные стороны человеческой природы мой предок Сатана и я до сих пор соприкасаемся со второй, светлой ангельской природой человека. А это значит, что с тем своим бывшим светом, хотя и не подлинным, но все-таки, с той частью света, который заменяет наш некогда утренний свет, давно утраченный. Утерянный навсегда. На короткий миг через человека Сатана и все мы соприка-

саемся со своей безгрешной молодостью, с собой — теми, до впадения во грех, а через это и с Богом. Сатана уже не помнит, кем он был. Можно угадать только по человеку. Именно потому Сатана это соприкосновение никогда никому не уступит, ни за что не позволит истребить род человеческий.

Я понимаю, ты не знаешь, ради кого делаешь то, что делаешь, но те, для кого ты делаешь это, хорошо знают. Такова судьба человека. Однако мы говорим не о судьбе человека, а о Сатане. Коль скоро ты, Разин, стараешься уничтожить и причинить страдания сотням миллионов людей, Сатана и я с удовольствием тебе поможем. Готовим мы ветра для таких семечек, как ты, уже давно. Но ты со своими делами способен уничтожить все многообразие рода человеческого. И здесь Сатана встанет на твоём пути. Поэтому помни, отныне на кого бы ты ни работал, ты работаешь против Сатаны — делая то, что делаешь. И берегись.

Схитришь — берегись! Посмотри на меня хорошенько! Я твоя смерть. Или, если угодно, я самая большая ошибка в твоей жизни. Запомни, для смерти и для самой большой ошибки в жизни человека годы отсчитываются обратно, к рождению. И знай — твоя смерть — в ребенке. Мне годы не прибавляются, я их теряю, они не растут у меня, а убывают! Помни это и берегись, потому что я пришел учить тебя не тому, как жить, а тому, как умирать. Что я сейчас и делаю.

А теперь посмотри на меня еще раз! Мне семь лет. Разница между тобой и мной в том, что я могу влиять на ход событий вне твоего мира, того, в котором ты заперт вместе со всеми, кто тебя окружает. И это ты почувствуешь через судьбу того, кого больше всех любишь. Я говорю о твоей жене Витаче. Ты знаешь ее слабость к мальчикам вроде меня. Сам подумай, ведь совсем не трудно возродить в ней эту страсть. Предоставим ее наклонностям широчайшие возможности. Исполним все ее желания. Перенесем ее в тот мир, где такое будет делом естественным, даже неизбежным. Влюбляться в мальчиков на сто лет моложе себя, во всемогущих, способных сразить наповал взглядом. Она смертельно влюбится и забудет тебя. А ты станешь ревновать невинного. Ты будешь стареть и стареть, а твоя смерть и любовники твоей жены — молодеть и молодеть. Сейчас ты думай и выбирай: или камень разбить или пса убить. Если ты воспротивишься, постучишь в собственные двери и не войдешь, я сделаю из тебя троих тебе подобных, ты убьешь ту, кого больше всего любишь, а мы прикончим тебя, когда жизнь твоя будет слаще некуда, а подъем духа достигнет апогея... Остерегайся своих поступков, в каждый твой след я буду плевать! Не подписывай этот договор с Цецилией! А все другие сожги!

Здесь дон Азередо взглядом начертал в воздухе мое имя, мое настоящее имя:

### *АРХИТЕКТОР АТАНАСИЕ СВИЛАР!*

Он спросил меня:

— Тебе знакомо это имя?

Я заплакал и поцеловал мальчика руку, однако не захотел оборвать в себе историю о Плакиде.

Мальчик поднес руку к губам, слизал поцелуй и выплюнул.

Я побежал в церковь.

### По вертикали 3

«Аноним из 1443 года отмечает, что при переводе с персидского на византийский календарь приобретает один междудень, появляется новый день, и от этого дня открываются новые возможности во времени, когда можно устремиться к некоему будущему, которое не является нашим...»

Таковыми словами начинается третья записная книжка архитектора Разина, которая, в отличие от остальных, украшена вместо одного двумя пейзажами, нарисованными чаем.

На обложках изображено белое строение, утонувшее в зелени вблизи боль-

шого города. Уже рассвело, однако ночь еще присутствует, скрытая в глазе художника, как закуска для будущей темноты. Обширные охотничьи уголья протянулись в прозрачном воздухе раннего утра у подножья холма, на котором воздвигнут дом, отделяя его от зноя городских улиц. Небо написано ядовитым чаем, который называется «вороньи когти» или «шпора» (*Calcatripae flos*). Высушенный на сквозняке в тени, он дает удивительный темно-голубой цвет. Для восточного края неба использован толченый барвинок, настоенный на красном вине и нанесенный пальцем. Зелень у подножья холма и лес архитектор Разин написал, используя чай пекое, собранный в мае, с добавлением куркума, затем охотничий чай, зеленый мате, манго, марачуя-чай и мяту, настоенную три дня. Само строение окрашено ромашковым чаем, в который добавлено немного слабого китайского чая, прозванного «змеиный источник», а более светлые тона даны белой слезой.

Под рисунком крупными буквами стояло:

**БЕЛЫЙ ДВОРЕЦ  
БЕЛГРАДСКАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА  
СФР ЮГОСЛАВИИ  
ИОСИПА БРОЗ ТИТО**

На внутренней стороне обложки архитектор приклеил картинку русского самовара 1762 года в память о посещении Эрмитажа в Ленинграде, а под ней поместил несколько выдержек о чае и чаепитии за самоваром на французском и русском языках из сочинений Толстого, Достоевского, Гоголя и других русских писателей. Рукой госпожи Разин (Витачи) приписано, что самовар сначала запеваает альтом, потом переходит на дискант, доходит до тенора, сменяется *basso-cantante* и выливается в меццо-сопрано. Дальше шла выписка из какой-то книги о чае:

«Котелок красиво поет, потому что кусочки металла на его дне расположены так, чтобы производить особую мелодию, в которой могут угадываться отзвуки водопада, укутанного облаками, далекого моря, волны которого разбиваются об отвесные скалы, грозовой ливень в бамбуковом лесу или шум сосен где-нибудь на высокой горе...»

На третьей странице тетрадки находился весьма точный архитектурский план Белого дворца и окрестностей с указанием высоты над уровнем моря охотничьих уголдий, называемых «Кошутняк», Топчидерского района с рекой, железнодорожным узлом и маленькой станцией у подножья горы, а также фотоснимок столицы СФР Югославии, сделанный с самолета в таком ракурсе, что на первом плане оказалось Дединье — фешенебельная часть Белграда — с упомянутым дворцом — дединьской личной резиденцией Президента Республики И. Б. Тито, по Ужицкой улице, номер 15. Под текстом рукой самого архитектора Разина даны пояснения.

Позднее в тетрадку была вклеена почтовая открытка. В ней госпожа Свиляр, мать архитектора Разина, пересылала некоей особе (чье имя указано на конверте, но для нас ничего не значит) сон, который приснился архитектору Разину. В сопроводительном письме госпожа Свиляр пишет:

«Я недавно приснилась ему, и он написал мне, как. Его поразил этот сон до болезни. Как всякая истина. Я подумала: не так уж дурно для дамы в моем возрасте, и написала ему, что это Витача заполняет его сны, восстанавливая против меня, а сама отправилась с Витачей на обед».

Сон выглядел так:

**СОН АРХИТЕКТОРА РАЗИНА**

Вижу я какой-то берег, птицы над водой вьются в сумерках и пропадают из виду, стоит им сложить крылья. Как наша любовь и молитва. Я сижу на берегу и молюсь. Боже, молю я, моя мать меня не видит, как не видит своей спины. Она говорит: тот герой-офицер, который песней гасит свечи по церквам и собирает



ежевику зубами, вообще не твой отец. Куда тебе до него, говорит, не столько ты тянешь из трубки, сколько трубка из тебя. Так и вижу тебя, в ботинки пальцами вцепившегося, чтоб не соскакивали. А приятели и официанты по трактирам подхватывают ее слова и кричат: «Этот всегда будет шлепаться на задницу, а что рта не раскрывает, ясно почему, либо полный да закупоренный, либо пустой, и так и так ничего из него не выжмешь...» Господи, сделай так, чтобы меня хоть однажды миновало их презрение, чтобы хоть раз не сказали про меня: «Смотри-те, он идет в пустых чулках!». Чтобы миновали меня их ядовитые взгляды, способные и птицу на лету убить, если угодят между глаз.

И Бог меня услышал и дал мне силу пройти по волнам. Я счастлив во сне, если можно быть во сне счастливым. Однако чувствую, что человеку не дано прочесть свои мечты, грамоты не хватает. Потом будто снаряжаю я корабль, а на том корабле — и съестное для всех, и музыка каждому гостю по слуху, и вволю питья, приглашаю всех знакомых. Лунный свет уже две ночи пыльный, будто заплесневелый, однако приходят все. Пришла и мать. Только меня нет. Я сижу, спрятавшись на берегу, на деревянном стуле и жду. Жду, чтобы они отплыли. А они ждут меня, ждут, все уже погрузились, только мать на берегу, все медлит, я сижу притаившись, она стоит неподалеку в лунном свете, в руках у нее что-то длинное и блестящее, с золотистым отливом, то ли заплетенная коса, то ли плетка — не видно. Вдруг послышались три гудка с корабля и два эха с берега. Как обычно. Тогда, выбрав удобный момент, я вскакиваю и кричу:

— Подождите, — говорю, — вот он я!

А они уже плывут, плывут. А я на волне, и бегу по воде! Ботинки у меня соскочили, бегу босой по волнам, рубаха развеивается, ловит ветер, бегу, машу им, кричу. Они же сгрудились к одному борту корабля, вот-вот опрокинут, удивляются, поражаются и крестятся. А мать еще и кричит:

— Нет, вы посмотрите на него, он и плавать-то не умеет!

И берет пасмо своей косы, которая у нее в руке, подходит к стулу, на котором я сидел, прежде чем выбежать на воду, размахнулась изо всех сил и метнула ее в то место, где была моя голова, да голову и срезала. Брызнула кровь, голова моя упала рядом со стулом, и я вижу засыпанными песком, не моргающими глазами, как там, в морской пучине, тонет мое обезглавленное тело.



Стоит ли упоминать о том, что в этой тетради находилась, записанная рукой архитектора Разина, история о Плакиде, которую, как утверждают, он знал наизусть и рассказывал себе, если в своих многотрудных делах попадал впросак и ему, как говорится, приходилось от злости жрать гриву собственного жеребца. Эта история, начинавшаяся словами: «Тот самый Плакида, который увидел оленя с крестом вместо рогов на голове...», в «Памятном Альбоме» изложена целиком, и нет необходимости здесь отдельно о ней говорить.

Сразу вслед за ней в тетрадке помещена фотография, вырезанная из какой-то старой газеты. В сноске архитектором Разиным дается ей следующее объяснение: «Здание и окрестности дворца принадлежали некогда династии сербских королей Карагеоргиевичей, и в старых газетах могут оказаться подобные снимки довоенного Белого дворца, со ступеней которого король Александр Карагеоргиевич Объединитель, тогдашний государь Королевства Югославии, принимает Рождественскую елку от своих солдат».

В конце тетради помещено несколько подробных чертежей отдельных комнат в Белом дворце и резиденции И. Б. Тито на Ужицкой улице в Дединье с примечаниями о мебели и внутреннем интерьере, о расположении помещений, о дорожках и подъездах к дворцу.

На последней стороне обложки, как и на первой, мы снова находим рисунок. Как всегда, архитектор Разин обмакнул свое стило в чай. Здесь вдохновенно изображено устье реки Савы при впадении в Дунай, под Белградом. В устье изображен остров, однако кажется, словно глаз художника вдруг наткнулся на препят-

ствии, и пейзаж перегородила невидимая отвесная стена. Словно от земли до неба стояло какое-то странное сито. Пройдя сквозь него, вода в отдалении без перехода превращалась в сушу, а суша — в воду, небо вдали колыхалось, остановившись, как земля, а земля текла, совсем как небо, неся на себе облака. За этой невидимой преградой Белград больше не Белград, а Дунай — не река. Птица с разлету в жажде свободы бьется об эту преграду, так птицы бьются в окно или стекло картины, где пейзаж нарисован чаем, и разбивают его. Птица на картине Разина тоже ударилась в эту невидимую преграду, разбила ее и пролетела навывлет. Только неведомо, достигла ли она свободы, потому что появилась на другой стороне окровавленная, и кровь ее течет по внешней стороне преграды, как по стеклу, в то время как она сама, расправив крылья, пытается с другой стороны поймать попутный ветер.

## По вертикали 2

*Милан, 23 IV с. г.  
Сиятельному Господину —  
дону Домино Азередо.*

### Уважаемый дон Азередо!

Понимаю, Бог непознаваем и становится все более непознаваемым. Солнце мне видится комом раскаленной тьмы. Однако до появления человека этой особенности у Бога, как Вы говорите, не было. Он не был непознаваем. Ибо такая его черта, как непознаваемость, возникла и растет у нас, людей, а не у Бога, который меняется ради нас таким образом, что уходит из нашего понимания все дальше и дальше. В этом смысле Бог говорит нам: «Не думай, что я то, чем я был!..» Но слова и голос человека — это лишь застывшая часть нашей боли, потому и не передают сути.

Поэтому мне трудно объяснить, как я разобрался в деле сеньоры Витачи Милут, супруги Афанасия Разина. Тем не менее я попытаюсь описать случай, чтобы Вы знали, как здесь смотрят на изменения, происшедшие с ней после смерти ее детей. Естественно, настолько, насколько я принимал в этом участие. Ибо для понимания людских дел Бог умудрил Вас, дон Азередо, и эти людские дела идут в направлении, противоположном божественным делам и воспринимаются Вашим разумом, в то время как Господь от них устранился в далекий день, когда человек распростерся ниц в пыли у подножия креста и стал слизывать кровь, струившуюся с ног распятого.

Как стало известно, госпожа Разин весть о гибели своих девочек встретила молча. Она только развела брови, как павлиний хвост, но не проронила ни звука. Услышав ужасную весть, она не заплакала, не вскрикнула, не упала. В эту минуту она находилась за обеденным столом и продолжала судорожно жевать, однако не глотала и догадалась выплюнуть пищу только утром...

Вы знаете, дон Азередо, что сеньор Разин не боится ничего, кроме как умереть на чужих похоронах. Для него нет большего позора, и потому приличный человек никогда себе не позволит ничего подобного. Поэтому он не любит похорон и не ходит на них, если это возможно. Однако в данном случае они с супругой решились ехать. Тем более что сеньора Витача спешно принялась укладывать чемоданы, по-прежнему не проронив ни слова. Она лишь щелкала пальцами. Известие о смерти было отправлено с опозданием, и они не успевали на похороны, но все-таки отправились. Сеньора Витача в аэропорту Нью-Йорка взяла в рот глоток виски, а выплюнула его в Белграде. Молчала она и на могиле своих дочерей во время сорокоднева. У меня (я тайно присутствовал) от удивления рот перекосило на левую сторону, когда я увидел, что могилу окропил священник, а отпел ребенок шести-семи лет. Ребенок был хорошо обучен, и слухом обладал отменным, только мне это не понравилось, и я не знаю, допустимо ли, чтобы ребенок пел над могилой ребенка. Сеньора же Витача лишь высунула язык и языком перекрестила две могилки, где под именами ее дочерей было написано:

## ПРОЖИЛИ 5 ЛЕТ ЗА ОТЦА 2 ГОДА ЗА СЕБЯ И 3 МЕСЯЦА ЗА МАТЬ

Прочитав текст, сеньора Витача повернулась и пошла, не оглянувшись, не пролив ни слезинки и не проронив ни слова до самой Вены, где она остановилась у своей сестры. Здесь ее молчание стало настолько тяжелым, что им можно было разбить тарелку. Мать есть мать. Вместо слов она источала запах тела, как испуганный дикий зверь. Сеньора Вида, хорошо знающая сестру, рассказывала, что сеньору Витачу в то время одолевали боли, которые она ощущала как стороны света и могла представить себе север, восток и запад своих страданий, только юга нигде не было...

Сеньор Разин наблюдал, как у его супруги пробор в волосах, начиная с затылка, серпом охватывает череп, хлопал глазами и не знал, что предпринять. Эта ее немота и заметная хрипота, появившаяся как после продолжительного беззвучного рыдания, а может, ее обет молчания вскоре начали привлекать внимание окружающих.

Сама она ничем не выказывала, что случилось что-то необычное, позволяя предполагать, что у нее заболело горло. Окружающие между тем так не думали. Особенно прислуга. Сначала в доме судачили, что кто-то намеренно пил из ее посуды и утолил свою жажду голосом сеньоры Витачи, что отголоски обгладывали ее голос и в конце концов как мыши обгрызли его и растащили, или она сама, когда ей сообщили о детях, неосмотрительно окликнула кого-то сквозь закрытые двери комнаты, выкрикнула через дерево имя близкого человека или какое-то другое имя, и от этого онемела.

Но эти пересуды прекратились, когда один слуга заявил, что однажды, когда сеньора Витача вот уже месяц как молчала, он слышал ее хриповатый альт, запинаящийся и потому легко узнаваемый, в венском Бургтеатре. После этого, как-то вечером, когда нечеткая видимость перед дождем открывает острому глазу дорогу до ближайших гор, тогда как другой глаз не видит дальше порога своего дома, архитектору Разину по секрету сообщили, что голос его супруги узнали на железнодорожном вокзале в Лионе. А вскоре служащий архитектора Разина вполне отчетливо узнал голос сеньоры Витачи в порту Нью-Орлеана, о чем и телеграфировал из Америки в Вену своему работодателю, с которым госпожа Разин все это время не разлучалась.

В отличие от остальных я знал, что это та самая минутная слабость госпожи Витачи, тот миг, который мы давно подстергали и который Вы, дон Азередо, предвидели в жизни сеньора Разина и его супруги. Поэтому я удвоил внимание и с тех пор живу, как охотничий пес, наострив уши. Сеньора буквально ощущала, что ступает по могилам своих детей и поистине дошла уже до такого состояния, что готова была протянуть свои прекрасные прозрачные руки к кому угодно. Я постарался подправить их в нужную нам сторону. И сразу все изменилось. А было это так.



Существует время года, когда сеньор Разин испытывает страдания. Это начало весны, когда запахи не разносятся далеко, мы расстаемся с ложкой, а крылья птиц под дождем хлопают глухо и кратко, словно колотушка сторожа. Об эту пору, давным-давно, сеньора Витача впервые вышла замуж и оставила нашего героя. Теперь она с ним, но он по-прежнему, наперекор всему, в дождливые весны ощущает себя несчастным, отдаваясь тоске по сеньоре Витаче, Витаче своей юности. Это нечто подобное сбрасыванию змеиного выполза, его печаль или омовение воспоминаний. Ведь омываем мы не только тело. Омываем порой и воспоминания, чтобы очистить их. Но поскольку эти воспоминания — прах, как и мы сами, с ними происходит во время купания то же, что и с пылью: если их намочить — они превращаются в грязь.

Этой весной все было как обычно. В Милане, где они оказались после Вены, лил дождь, стояла тоскливая пора, когда женщины из одного сна уходят в другой, чтобы там кого-то убить. Архитектор Разин молча выкуривал одну за дру-

гой заранее набитые трубки, а сеньора Витача поразила сразу всех нас. А затем, как известно, и весь мир.

Сначала, тем не менее, никто ничего не заметил. Просто ей приснилось, что она зеваёт в волосы ребенка, лежащего у нее на коленях. Сперва этот звук напомнил смех рыбы, рот беззвучно раскрывался — и только. Однако горничная сеньоры Витачи вскоре обратила внимание, что ее хозяйка во сне или в лихорадочном бреде иногда разговаривает, только это вроде бы и не голос и не речь в прямом смысле слова. Другие говорят, что в это время госпожа Витача пользовалась лишь отзвуком своего голоса вместо голоса, а самого голоса у нее вообще не было. Так или иначе, но звук, который она выпускала изо рта, поначалу походил на кошачий крик в пору спаривания, потом, несколько окрепнув, этот голос стал зовом ребенка, девочки. Слыша его, сеньор Разин дергался, как от ударов, от которых глаза на лоб лезут. Однако голос старел, как вино, быстрее госпожи Разин. Тяжелый, как вода, неглубокий, едва до колен, он догонял ее возраст и становился все мягче, распрямлялся высоко в небо, становясь с возрастом все выше. С легкостью достиг он некогда глуховатого альта сеньоры Витачи, который все мы так хорошо знаем, однако не остановился на этом уровне. Голос был как горящая свеча, ведь и человеческая душа есть свеча, которая сгорает. Изю дня в день он все больше обретал аромат, как выдержанное вино. Постепенно очищался и вдруг, однажды утром, голос этот зазвучал. Вы ведь знаете, дон Азередо, что язык человека вначале был раздвоен, как у змеи, и только потом соединился узлом в единое целое. У сеньоры Витачи же этот узел развязался вновь.

Вы отменный охотник, дон Азередо, поэтому Вам известна та картина, которую я собираюсь нарисовать. Мы идем по следу лисицы, крадущейся к овечьему водопою; по пути она обирает с колючек кустарника шерсть, которую оставили овцы, продираясь к реке. Эту шерсть она несет в пасти. Собрав достаточно шерсти, осторожно, очень осторожно лисица опускает одну, затем вторую лапу вводу, все еще держа пасмо шерсти в зубах. Она заходит шаг за шагом все глубже и глубже, до тех пор, пока не погрузится целиком в воду и не поплывет, а в это время ее блохи перебираются на клочок овечьей шерсти, которая только и остается над водой. Когда они соберутся там все и уже начинают щекотать ей нос, лисица отталкивает далеко от себя комок шерсти с блохами и, освободившись от напасти, возвращается на берег. Эта лисица, знакомая Вам, дон Азередо, как охотнику, не просто лисица. Она и душа человека, которую Вы знаете, дон Азередо, лучше, чем всякую другую добычу, потому что душа человека — добыча из добыч. Так и душа сеньоры Витачи отбросила от себя все, что ей мешало, что снело и мучило в жизни, и вдруг заговорила на прекраснейшем тосканском диалекте, словно природная флорентийка, хотя сама при этом не понимала ни слова, когда обращалась к итальянской прислуге или ко мне. Короче, она забыла свой язык, а чужой не постигла. Так и осталась ее душа замураванной в пение. Голос же ее теперь был высок и чист, серебряный на верхних нотах и золотой — на низких, он не был знаком ни ей самой, ни ее мужу, ни ее друзьям. Это был голос бородатого серафима с тремя парами переплетающихся усов и с тремя парами крыльев. И сеньора Витача запела. На языке, который никогда не знала как следует, на нашем языке, дон Азередо, и тут я понял, что мы выиграли сражение. Это был божественный голос, самое лучшее сопрано Италии со времен Доменики Каталани\*. Так бог, когда хочет покарать кого-то, посылает и самое большое несчастье, и самое большое счастье одновременно.

Голос госпожи Витачи был к тому же прекрасно поставлен. Теперешняя любовь к музыке словно была внучкой ее собственной детской любви к пению. Сопрано Витачи лишь переняло уроки, полученные надтреснутым альтом барышни Милут, выпорхнуло из него, как бабочка из кокона. Вам известно, дон Азередо, что с тех пор она много гастролирует — от чикагской Оперы до миланской Ла Скала, на самых крупных сценах мира, под новым, более счастливым именем, которого здесь мы не станем упоминать, потому что его помнит и знает весь мир. Сама же сеньора Витача воспринимает мир только голосом. На сцене

\* Очевидно, речь идет об Анджелике Каталани (1780—1849) (прим. переводч.).

она — чудо красоты и таланта. С выгнутой линии ее полуприкрытых век изваяны все египетские корабли, а что она поет на самом деле, не ведомо никому. Так поют о чем-то, что важнее жизни, воспоминаний, смерти, так поют, обращаясь к кому-то, кто способен одним своим взглядом обновить чужую жизнь. Исполняет ли она песни шляхи Полихронии из серебряных овальных часиков госпожи Йоланты Ибич или поет о своих неотправленных письмах, которыми забита комната ее покойных дочерей — неважно. В ней кипит музыка, в пении Витачи можно сварить яйцо, а самый дальний путь на свете — путь от своего рта до слуха других людей — она преодолевает легко, забывая обо всем.

Надо слышать, дон Азередо, аплодисменты, которые сопровождают ее пение. Эти рукоплескания звучат, словно шум ливня по мостовой перед миланской Ла Скала, временами сквозь этот дождь рысью мчатся кони, запряженные в тяжелую карету, и сворачивают за угол, оставляя на мостовой лишь дробный перестук дождя до появления следующей кареты...

После этих оваций, после своих спектаклей сеньора лежит за кулисами обессиленная, без единого звука на устах, совершенно опустошенная, не понимая того, что только что пела. Зелень ее глаз погружается в бездну, и сверху остается только едва тлеющий зеленый оттенок, неусыпный, он лучше всего виден ночью; сеньора Витача спит с открытыми глазами, забыв смежить веки. Сон ее продолжается всего несколько мгновений, а затем она вновь свежа, красива и талантлива.

И лишь единственный критик в хоре наивысших оценок заметил однажды, что в самые лучшие ее мгновения — не столько в голосе, который безупречен, сколько в отзвуках этого голоса — где-то под божественным сопрано сеньоры Разин глубоко подспудно слышен альт, дрожащий и чуть странного звучания, который иногда сбивается с ритма, словно его заикающийся отзвук, и не может догнать собственный голос. Нужно сказать, что, вероятно, сама сеньора осознала это и старалась устранить это несоответствие. И в самом деле, со временем призывок исчез, и голос ее остался без эха, как птица без тени...

Каждая женщина рано или поздно выглядит так, словно ей никогда не было пятнадцати. Это вершина, миг зрелой красоты. Сейчас у госпожи Разин был именно этот миг. Она никогда не выглядела лучше, ее голос и она сама достигли зенита в один и тот же миг. Это чувствовал и видел господин Разин, равно как и весь мир.

Существует разная любовь, дон Азередо, она многослойна, есть такая, которую можно раскатывать как тесто, однако в этом случае она становится тоньше. Тоньше становится любовь, будь она замешана на дрожжах, на сдобе или с начинкой или для простой кукурузной лепешки. Поэтому иногда наша любовь есть не что иное, как обычная кукурузная лепешка. Питательна и по-своему вкусна, а все-таки кукурузная лепешка. И не больше. Вы же знаете, какой была любовь сеньора Разина и Витачи Милут. Сильной и стремительной, как зверь. И в ней никогда не оставалось времени для ревности. Я видел Разина несколько дней назад и знаю, почему такое с ним происходит. Он открывает застекленный шкаф, заполненный курительными трубками — из морской пены, из терракоты, с длинным чубуком, словно трость, такие тоненькие, что можно сунуть за голенище сапога, удивительные экземпляры производства «Могул», которые не гаснут и не нагреваются, их нельзя купить, разве что сделать по заказу, трубки из красного дерева, выполненные так, как некогда изготавливали только скрипки — по руке того, кому предназначались... Затем он закрывал шкаф и зажигал свою старенькую, почти железную трубку, которую курил всегда. Господин архитектор Атанасие Разин, очевидно, неспособен к изменам. И не способен меняться сам. С ним уже происходили кое-какие вещи, а он полагал, что такое с ним только еще случится, с сеньорой же Витачей еще не происходило ничего, а она полагает, что такое с ней уже случилось прежде. Может быть, сеньора Витача и любила бы еще Разина, не станься он таким, как прежде. Но он уже долгое время не менялся, а этого она как раз и не могла вынести. Таким образом, теперь впервые эта любовь претерпевает великое искушение. Улыбка, прошедшая через тело Витачи, остывает на лице Разина теперь куда быстрее, чем прежде, хотя он этого

и не замечает. Трудно измерить тяжесть чьей-то улыбки на собственной щеке. А тем более на щеке архитектора Разина, обладавшего даром многого, только не даром ревности. Поэтому он до сих пор успешно преодолевает упомянутое искушение.

Говорят, дон Азередо, что конь думает, только пока стоит на одной ноге, — все остальное время он горячится. Многие верят, что сеньор Разин горячится в данную минуту. Я не верю. Пример тому — его недавний приезд сюда, в Милан. Когда после спектакля он вошел в уборную сеньоры Витачи, она повернулась, удивленная, и сказала:

— Кто ты? Просвисти мне свое имя.

На этот вопрос архитектор Разин ответил вопросом, из-за которого я и пишу Вам это письмо. Он помянул Ваше имя, дон Азередо! Он сказал:

— Ты виделась с доном Азередо?

— Кто это? — спросила сеньора, и это успокоило его вполне. В первое мгновение он, очевидно, имел в виду, нет ли на горизонте опять какого-нибудь семилетнего сорванца, с глазами, как стеклянные пуговицы, и потому спросил о Вас. Однако по его реакции на ответ Витачи можно заключить: он считает, что против него с сеньорой Витачей работаем мы, а ей он верит и все еще остается не ревнивым. Поэтому нам необходима Ваша помощь, дон Азередо. Сделайте его ревнивым, чего ни мы, ни сеньора Витача не можем, и все пойдет, как Вы того желаете.

*Вена, 2. V. с. г.*

*Наизнатнейшему Господину, Владыке*

*Донино Азередо*

*со страхом и любовью.*

### Драгоценный дон Азередо!

Сеньора Витача недавно продлила свой контракт с Ла Скалой, под тем своим именем, которое настолько лучше ее настоящего, насколько ее нынешнее soprano лучше ее прежнего альты. Сейчас она удачливее и красивее, чем когда-либо, в ее глазах сверкают звезды больших и малых созвездий и лишь при воспоминании о муже она дурнеет. В один из таких моментов в куче писем, поздравлений и газетных вырезок она заметила конверт с черной каймой. Это было сообщение о смерти ее сестры Виды. Телеграмму подписал Амадеус Кнопф.

Супруги, каждый со своего конца земли, вылетели в Вену. В доме по улице Гецендорфа сеньора Витача обнаружила на втором этаже свою квартиру из Лос-Анжелеса, в нижнем этаже — белградскую, где жили и умерли ее дочери, но дом-то находился в Вене. Она была в совершенном замешательстве.

Среди собравшихся присутствовал и вдовец Кнопф, со своей обгоревшей бородой, зубами желтыми и коротко подстриженными, как усы, госпожа Цикинджал, с огромными помятыми губами, и супруги Разины. Своего мужа госпожа Разин больше в упор не видела, а он по-прежнему не замечал ничего и не ревновал. Дом показался им одряхлевшим и маленьким, госпожа Цикинджал увяла, как и ее платье, зато Кнопф их поразил. Им тут же рассказали, да они и сами видели, что в последние годы он одевался по-нищенски. Причина проста. Вида его ревновала, и это чувство росло в ней и разрасталось, поглощая любовь, а он из желания эту болезнь, эту химеру или эту блудницу в своей супруге усмирить, сделался неряшлив в одежде, дабы отвести от жены даже самую мысль о малейшей неверности. Дошло до того, что Кнопф летом ходил в одной сандалиии; неопрятный, немывтый и в лохмотьях, он уже не мог сопровождать Виду в общество, которое раньше они посещали вместе. Как-то раз его даже поймали в русской церкви на том, что он макает хлеб в лампадное масло и ест. Когда супруги увидели его на кладбище — брови росли из носа, сам худой, по вечерам он сидел с Разиным и сеньорой Витачей — карманы забиты чем-то вонючим — и рассказывал, цепляясь своим раздвоенным пальцем за посуду и чужие рукава.

Однажды вечером после похорон госпожи Виды сидели мы так и пили вино в саду. Прилетевшая бабочка опустилась на лоб сеньоры Витачи, словно хотела поцеловать ее. Потом улетела, хотя никто ее не прогонял. Она присела затем на плечо Кнопфа и, наконец, на палец архитектора Разина. Махала крыльями, удерживая равновесие, и никак не хотела улетать, словно ждала чего-то. Мы все за ней наблюдали, и Разин неожиданно опустил палец в свое вино, стараясь резким движением не спугнуть живность. Все время он ей что-то нашептывал, будто успокаивая. И тут, к нашему удивлению, бабочка стала пить вино с пальца Разина. И продолжалось это до тех пор, пока она не выпила все вино. Этих нескольких мгновений, когда глаза всех были прикованы к бабочке, хватило, чтобы понять, что происходит. Мы молчали, точно набрали в рот воды, а когда подобным образом прерывается разговор, говорится: душа отлетела! И все мы знали, чья душа отлетела, пошатываясь на лету, пьяная, только Разин не знал. Но и он скоро сообразил. Еще как сообразил и дорого заплатил за эту пьяную душу. Было ясно, что сеньору Разину скучно в Вене, госпожа Цикинджал собрала щетки и со своими глазами, которые постыятся перед Пасхой, умчалась в Париж; было ли скучно сеньору Кнопфу — неизвестно. Сеньора Разина ждали дела, как и госпожу Разин, а господина Кнопфа никакие дела не ждали. Сеньор Разин решил уехать обратно в Лос-Анжелес, госпожа Разин решила дожидаться сорокадневных поминок, а потом возвратиться в Милан, сеньор Разин ждать не мог, он сел в самолет и улетел в Америку. И тем самым совершил наибольшую ошибку в своей жизни.

В Вене, где я остался, как обычно, при сеньоре Витаче, не случилось ничего. Зато в Америке однажды утром архитектор Атанасие Разин проснулся женщиной. Волосы под мышками у него обрели запах женского паха. И запах этот был вполне определенный и почему-то хорошо ему знакомый. Он не удивился, натянул шелковые чулки, а грудь с трудом упрятал под рубашку. Пока он держал груди в руках, формой и тяжестью они напоминали ему чьи-то хорошо знакомые. В ванной комнате, став перед зеркалом, он с удивлением всмотрелся в свое лицо. И оно тоже напоминало ему чьей-то женский образ, только он не мог вспомнить — чей. Он принялся за завтрак: чашку и тарелку со стола переставил на канапе и все съел. А затем, вместо того, чтобы вымыть — облизал грязные ложки. Поверх женского шелкового белья он надел свой костюм и пошел на службу. Он нимало не стеснялся. Считал, что располагает приемлемым объяснением. Подобно тому, как сновидения можно четко разделить, какая часть зависит от съеденного пирога с вишнями, какая — от куска жареного цыпленка, вымыченного в простокваше, а какая — от ложки чорбы\* с грибами, так можно объяснить и происхождение иных фактов. Люди живут в своих мыслях, словно личинки. Только некоторые развиваются в бабочек и покидают кокон. Нечто похожее происходило сейчас и с ним. Был полдень, еще не время для намеченной встречи. Разин задумчиво запирает дверь. Затем, словно вспомнив что-то, сунул руку между ног и нашупал там серебряное местечко Виды Кнопф. С облегчением улыбнулся и подошел к зеркалу. Оттуда его разглядывало лицо покойной свояченицы. Все сразу стало ясно. Архитектор Атанас Разин превратился в сестру своей жены, Виду Милут, в замужестве Кнопф, ту самую, которая уже сорок дней почивала на венском кладбище...

В конце следующей недели Вида Кнопф напоминала о себе архитектору Разину следующим образом: загоревший на солнце, он порой настолько походил на нее, что боялся зеркала, и у него появилось ощущение, будто сам он исчезает. Схожесть увеличивалась день ото дня, но этим дело не кончилось.

Однажды ночью господина архитектора Разина разбудило подобно удару молотка или землетрясению жуткое чувство ревности. Вида Милут оставила ему в наследство не только свое лицо и грудь, равновеликую бедрам, она завещала ему и свою неизбывную и neodолжимую ревность, которая свела ее в могилу. Ревность к господину Амадеусу Кнопфу. И еще той ночью в полусне в памяти Разина отчетливо возникли ладони Кнопфа, сухие и морщинистые, длинные, как

\* Чорба (турец.) — суп, похлебка (прим. переводч.).

ступни ног, и те два сросшихся чудовища на его руке, как некие огромные генеталии, куда больше генеталий, какими мог обладать Кнопф. И только тут у Атанаса раскрылись глаза.

Он увидел, как в огромном Видином доме в Вене его жена сенъора Витача и Кнопф утешают друг друга, одни в наступающей темноте. Все вокруг показалось ему словно бы покрытым плесенью: пятна плесени виделись ему на пище, на одежде, на собственных руках. Он тут же сел в самолет, однако в Вене не обнаружил ничего, что подтвердило бы его догадки или разубедило бы его, хотя пятна плесени он видел всюду, на руках Кнопфа и даже на лице Витачи. Он попробовал увезти жену, оторвать ее от Кнопфа, но она сидела на террасе венского дома своей сестры, вслушиваясь, как птицы в Шенбруннском саду плетут из трех веревек день, а из четырех — ночь. Ей не хотелось даже шевелиться...

В ближайшие недели на лице Разина появилась пугающая усталость, и постепенно стало исчезать какое бы то ни было сходство с Видой Кнопф. Гладкая кожа, следы раздражения и ехидства все более становились его собственными, а Вида угадывалась разве что в морщинах, где проступают добрые частицы души.

А потом с его лица Вида Кнопф исчезла навсегда, вернув ему и морщины. Он почувствовал себя как прежде, таким же старым, сбросил шелковое дамское белье, которое носил, и облачился во все новое. Какое-то время ему казалось, что ничего не произошло, что вообще ничего не менялось. Однако и после того, как Вида исчезла с его лица и тела, ревность к Кнопфу осталась в нем. Неистребимая, страшная и вонючая, как ласка, убивающая запахом, как чай, способный погубить политый им цветок. Сильнейшая двигательная сила всей его жизни, она была сильнее денег, сильнее его многолетней деятельности зодчего, глубже нефтяной скважины, принадлежащей ему, убийственнее химикатов его фирмы. Чтобы защититься, он попробовал пить, только это ему не помогло — чем больше он пил, тем светлее становилось у него в голове и чернее на душе. И тогда архитектор Разин возненавидел свою жену. Эта была первая ненависть в его жизни. Ненависть с первого взгляда, которой завершилась его великая любовь с первого взгляда. Впервые в жизни он не знал, что предпринять. В общем-то неважно, что у него не было никаких причин ревновать господина Кнопфа, который, между прочим, имел бюст куда больший, чем госпожа Витача, и был уже негоден ни на что. Однако это не значит, что у Разина не было причин ревновать госпожу Витачу. Каким бы невероятным это ни казалось, у Витачи был другой. Некто, гораздо моложе ее и ее супруга. Тот, кого Вы, дон Азередо, предрекли архитектору Разину на перекрещивающихся ступеньках лестницы.

### По вертикали



Плакида, тот самый, который встретил оленя с крестом вместо рогов, как-то охотился вблизи моря. Он шел по следу, недоступному его разумению и опыту. Передние конечности преследуемого животного оставляли следы, напоминающие птичьи, а задние были отпечатками больших лап. Следы заметал рыбий хвост.

Песок источал запах ракушек и ила, воспоминания смердели как всегда, а он не мог понять, хочется ли ему поймать это животное. Он побаивался и его, и себя. Тогда он осенил следы крестом и прочитал молитву — из тех, что заставляют зверя самого выйти на ловца. Молитву, похожую на сеть. Но зверь не появился, и Плакида понял, что он имеет дело с дьявольским отродьем, на которое не действуют молитвенные заклинания. Он перестал его преследовать и вернулся домой, потому что было поздно. Поутру, снова отправившись на охоту, Плакида встретил торговца и поведал ему о вчерашнем. Тот поскреб в бороде и изрек:

— Подделка под золото золотом не станет, подделка под призрак призраком обратится.

У Плакиды на лбу были морщины в форме греческой буквы **Ψ** и очень красивые теплые глаза, а на ресницах — всегда чуть-чуть снега. Он улыбнулся, при-



чем на лице его цвета кукурузной каши проступили три ямочки, и отправился за добычей. Составил план. Судя по передним лапам, животное обличьем и повадками напоминает птицу. Плакида охотился давно и хорошо знал повадки птиц. Насвистывая, он думал: а как бы ты себя чувствовал на месте птицы, как бы повел себя в тех или иных ситуациях — когда стал бы клевать, а когда бы вспорхнул и улетел. Только, разумеется, это было далеко не все. Звезды заволакивала дымка, следы то и дело пропадали, и на песке оставались лишь отпечатки лап. Как будто это было существо, способное подняться на задние лапы — то ли медведь, то ли еще кто, и оно как бы тащило в зубах птицу. Плакида ворчал, мол, похоже, оно несет в зубах самого себя, свою собственную птичью часть. Сейчас, судя по глубине отпечатков лап, животное походило на крупного и тяжелого хищника. Но вот следы пропали. Плакида стал забираться на деревья в поисках следов зверя, который тоже поднимался по стволу и оставлял отметины на высоких ветках. Эти отметины были похожи на зарубки, нанесенные чем-то железным, будто вместо когтей у него — этого — были очень крепкие лезвия. Потом зверь снова опустошался на все четыре конечности и заметал птичьи следы и отпечатки лап, волоча за собой свой рыбий хвост. След пропадал в реке. Плакида замолчал, как рыба, постарался не двигать зрачками и ощутить на руках чешую. Теперь он опасался больше, чем когда-либо. Чувствовал, что зверь может взглядом перенести на него свой недуг. А в том, что зверь болен, сомнений не было, охотничье чутье подсказывало. Как-то утром охотник увидел место на песке, где ночевал зверь. Песок сохранил отпечаток головы. Было отчетливо видно заостренное серповидное дьявольское ухо, на котором призрак пролежал всю ночь. Плакида уже научился входить в образ рыбы, медведя и птицы, но сейчас нужно было перевоплотиться в кого-то, соединившего и все это, и уши дьявола. И Плакида, оставаясь на лугу, стал потихоньку перебирать воображаемыми когтистыми лапами, направляя рыбьим хвостом свой бег по искрящему песку, словно по небу, и сгоняя пчел с цветов своими остроконечными ушами. Только все напрасно. И добычу не достиг, и в воображаемого призрака, за которым гнался, не обратился. Однако благодаря этому перевоплощению ему настолько удалось проникнуть в сущность зверя, что он вдруг почувствовал: зверь нашел в себе нечто вроде лестницы и спускается по ней шаг за шагом.

Вечером Плакида неожиданно услышал шум, пошел на него и оказался перед чем-то, похожем на логово или нору. У воды сидела на корточках как бы большая железная печь и бухтела. Передние конечности у нее были вроде птичьих когтистых лап, а задние — медвежьи. Между дьявольскими ушами виднелись две прорези и, поскольку в печи полыхал огонь, эти маленькие, обезьяньи или сатанинские, налитые кровью глазки в упор смотрели на Плакиду. Печь была очень больна, только непонятно — чем. Когда Плакида решился подойти к ней, он неосторожно наступил на ветку, от напряжения испуганно вскрикнул, споткнулся и упал. Печь тоже вскрикнула, разметала рыбьим хвостом золу и опрокинулась навзничь. Потом как-то сразу стала успокаиваться и остывать. Плакида наблюдал за ней из темноты, она тоже смотрела на него; он попытался подняться, она тоже сделала такую попытку, и тогда он решил не искушать судьбу. Сидел и ждал. Когда из пламени стало выделяться что-то белесоватое, Плакида задремал и проснулся лишь на рассвете.

Перед ним на песке сидел юноша и улыбался, демонстрируя три ямочки на щеках цвета кукурузной каши. У него были очень теплые глаза и ресницы, опущенные снегом. Однако на руках все еще оставались крепкие, словно железные, птичьи когти. А на лбу незнакомца прямо на глазах Плакиды морщины изогнулись в букву **Р**. Призрак превращался в Плакиду, негромко читая молитву, побуждающую зверя покориться охотнику.

#### По горизонтали 4

Моя душа — дева, родившая мое тело. И голос мой в нем. По утрам я омываю свой голос, как омывают хлеб и лицо. У моего голоса, как и у хлеба, есть

свое тело на небесах, а у меня, как у всякого творения, есть свой небесный прообраз. Слово мое уже кто-то произнес в небесной выси до меня, и теперь оно лишь следует своему труднодостижимому идеалу. И я страстно жажду пением приблизиться к этому Непознанному. Ибо любая познанная на этом свете вещь — лишь половина ее сути, постигающая свою другую, незримую божественную половину, недоступную и непознаваемую. Значит, и мое слово, и мой голос — тоже лишь половина Слова и половина Пения, постигающие иную половину, если только она будет ко мне благосклонна. Ибо Дух снисходит, когда хочет и на кого хочет. Иначе откуда у моего Песнопения и моего разума берутся то дни полного оупения, то великая пронизательность и вдохновение? Почему в среду человек глупее, чем во вторник, а в пятницу настолько глуп, что и в среду покажется мудрым?

Но моя связь с небесной стороной моего естества оборвалась. После грехопадения с Разиным, после того, как я покинула родной край, после смерти дочерей, в которой я повинна больше всех, ибо бросила их, а матери детей не бросают, мне уже непостижима небесная половина моего голоса, потусторонняя Книга моей судьбы и место Разина в ней. Книга та для меня теперь закрыта и навсегда замолкла. А от единственной в моей жизни любви остались одни усы, которые годятся разве что зубы почистить.

Поэтому я ищу Того, кто вместо меня прочтет Книгу моей судьбы и растолкует ее. Кто вновь укажет мне путь к другой половине моего голоса, небесному идеалу моего песнопения. Он должен существовать так же, как над каждой вековой тенью должна выситься вековая липа.

И если на небесах у меня есть небесный брат, по образу и подобию которого создана моя душа, то обязательно имеется и та, другая сторона медали, отголосок эха; если каждая вещь на земле имеет свой идеал на небе, то темная сторона природы этой вещи (поскольку у всего земного есть темная сторона, и у меня, Витачи, тоже есть темная сторона естества и голоса), темная сторона моего песнопения не имеет и не может иметь двойника на небе, но только в преисподней; там, в Аду, существует и мой другой, черный любовник, там, в двойном зеркале, моя правая рука превращается в левую, подобно тому, как оба глаза смотрят вместе, а каждый в отдельности по-своему слеп. Итак, если я, Витача, и моя песнь (равно как и все сущее, что может быть познано на этом свете) постигаю незримые небесные тела одной частью моего естества, то другой частью я, та же Витача, являюсь неким символом, постигающим таинства незримого Ада, подземный отзвук моей души. Мой небесный возлюбленный определяет, чем досадили нам другие, а черный возлюбленный голоса моего судит о том, чем мы досадили другим. Если на небеса меня увлекает мой небесный возлюбленный, присутствие которого я ощущаю, когда душа поет, и от которого зависит моя жизнь, то должен существовать и другой, черный возлюбленный моей души, властелин тьмы, убийца моего поющего голоса, и он неминуемо появится, чтобы увлечь меня в преисподнюю, в безмолвие и смерть. Поэтому так страстно желала бы я отыскать этого первого прежде, чем отыщет меня второй.

Это исповедь о том, как я его нашла. Как я нашла Того, кто олицетворяет здоровье и вечную молодость.



Я всегда старательно расставляла мебель в квартире, чтобы добиться наилучшего резонанса в комнатах. Дом выходит на две улицы, так что машину, сворачивающую за угол, можно увидеть дважды в окнах и третий раз в зеркале. В спальне двойные застекленные двери, а между ними, как на полках, расставлены книги. Когда мы с Разиным сняли в Милане этот дом, собаки я не завела и даже по субботам, после спектакля, не выхожу на улицу, слушаю, как ключи сами по себе скрипят в замочных скважинах, отчего моя горничная Николетта падает в обморок. По утрам Николетта протирает пивом листья рододендрона, стоящего в столовой, и приносит завтрак мне в постель. Жили мы просто, люди болтали,

будто вторник и пятница к нам в дом не заглядывают, но мы не придавали этому значения.

Это случилось как-то вечером (по подсчетам Николетты, на куриное рождество).

Лежа в темноте, я услышала звук, напоминающий звон рюмок. Я включила свет и обошла всю комнату, но ничего не заметила. Легла, и снова в темноте слышалось, будто чокаются рюмками и еще какой-то шорох словно игральные кости постукивают. Я не суеверна, но волосы у меня на голове зашевелились, и по телу побежали мурашки. Я затаила дыхание и вдруг отчетливо услышала разговор. На этот раз света я не зажигала. Вспомнила, как отец тренировался в стрельбе из пистолета вслепую, закрыла глаза, вытянула правую руку вперед и пошла на звук, вперив в темноту указательный и средний пальцы. Стояла осень, настал миг истины, а ей неведомы грамматика и правила правописания. И когда моя рука коснулась чего-то гладкого и холодного, я остановилась, открыла глаза и все увидела.

Передо мной были двойные застекленные двери и между ними, вместо книг, сидели вы и играли в домино. Я сразу заметила, что она грудаста и часто месит тесто, потому что платье было более всего изношено именно на груди, где стояли две заплаты. Волосы у нее потрескивали и светились. А дальше, в полутьме, я разглядела и тебя.

Ты что-то читал и выставлял костяшку домино, когда наступала твоя очередь. Иногда вы чокались, и этот звук, как и ваш разговор, слышался в моей комнате. Вы курили, на столе лежал нож, и стояла свеча, поглощавшая дым. Я оглянулась, чтобы убедиться, не отражение ли это в стекле дверей, но в моей комнате было пусто. Правда, напротив дверей у меня стоял такой же стол, стулья и прочее, совсем как у вас, только вас, игроков, вина и домино не было. На комод в моей комнате стояла незажженная свеча, рядом с ножом и закрытой коробкой с домино.

Словно вывернутая наизнанку душа, — подумала я и распахнула дверь. Там, в неглубокой темноте, была только полка с пыльными книгами, к которым не прикасались бог знает с каких времен. И больше ничего.

— Привидения! — воскликнула я. — Вы знаете о нас все, а мы о вас — ничего!

А вы оба там, в стекле, подняли свечу, которую я уронила, рывком открыв дверь, и снова зажгли ее в своем таинственном мире, обвиняя друг друга в неосторожности. Меня вы вообще не замечали. А я стояла в ночной рубашке посреди комнаты и долго-долго, так долго, что над моей кроватью мог бы вырасти сосновый бор, наблюдала за вашей игрой. Ты сидел спиной ко мне, и я видела твои костяшки.

Плохи твои дела, — подумала я, вглядываясь в костяшки. А ты сидел в тени, как в собственном имени, и только дымок струился.

— Вот уж кого соплей перешибешь, — прошептала я и стала делать тебе знаки, выдавая намерения твоей партнерши. Ты не подавал виду, что принимаешь к сведению мои коварные знаки, однако начал выигрывать. Когда ты выиграл семь тысяч, вы ушли, и двойная дверь опустела и онемела. Только свеча горела, отражаясь в стекле и мешала мне уснуть. Уходя, вы забыли ее погасить. Я хотела задуть ее, но сообразила, что отсюда не получится, и зажгла свечу в своей комнате. Тут же ее двойник в стекле погас. Высоко над городом я увидела два неба, вроде бы одинаково охватывавшие пространство. Только одно было низкое, все в облаках, а другое — высокое и светлое, оно сжимало это хмурое небо и придавливало его к земле.

Снова я увидела тебя в стеклянных дверях через несколько дней. Отчетливо вижу, как ты сидишь на полу, положив голову на колени, и читаешь книгу, которая лежит возле твоих ног на ковре, икры придерживают страницы книги и не позволяют прочитанным страницам перевернуться. Все книги на земле имеют эту потаенную страсть — не поддаваться чтению. Ты показался мне моложе, чем в первый раз, и я подумала, что, может быть, ты и дальше будешь молодеть, и это неодолимо привлечет меня к тебе, и поняла, что когда-нибудь это оконча-

тельно склонит меня на твою сторону, потому что меня всегда тянуло к мальчишкам. Я наклонилась посмотреть, что ты читаешь. Через плечо прочла страницу из твоей книги:

*«Юноша принес девушке цветок. Другой, придя без подарка, взял этот цветок и выбросил. Девушка его спросила, зачем он это сделал.*

*— Луна не нуждается в украшениях, — ответил он и в награду получил поцелуй.*

*— Как сладок мне был этот поцелуй, — сказал первый. — Я буду помнить его всю жизнь. Ведь мой цветок вместо девушки украсил луну, и отныне он всегда будет называться лунным.*

*А девушка сказала:*

*— Раз ты не ел, вымой ложку».*

И тут пробило полночь. Это меня удивило, потому что здесь, в комнате, на моих часах только что было уже пять минут первого. Однако сейчас стрелки соединились на обоих часах, и те, в дверях, начали бить, а мои часы молчали. От этого меня охватила дрожь, я ощущала, как мои ресницы прикасаются к стеклам очков, но не могла остановиться. Я открыла двери. Темнота. На полу лежит та книга, в углу горит свеча. Я подвинула подсвечник, чтобы осветить книгу и посмотреть название, но рука передвинула свечу, а огонь остался на месте, не продвинувшись ни на кончик иглы, словно оторвавшись от свечки. Привыкнув к темноте, как уста — к молчанию, я в самом темном углу комнаты разглядела постель. Ту самую, которая стоит в моей спальне, там, снаружи, перед стеклянными дверями. И в этой постели — тебя, того, кто выигрывал в домино и читал книгу. Ты спал, прикусив ус, не сняв обуви. Твой сон был тяжелый и твердый, как колокол. Но во сне ты бормочешь какое-то слово. Чье-то имя. Мое имя. Выходит, я в твоём сне и наяву одновременно. Это придало мне силы попробовать прикоснуться к тебе. Не пойму, почему настоящее время должно переносить во все следующие за ним времена то же количество и тот же вид времени? В наших снах существует некое полувремя и межвременье, и мы стоим в нем, хотя само оно течет, а иной раз и останавливается, и мы в нем вращаемся. Это лишь отчасти настоящее время или лишь отчасти здесь, потому что одновременно оно является частью — и прошлого, и будущего, ибо будущего гораздо больше в нашем прошлом, чем в настоящем. В настоящем его по сути нет вообще. И мы в этом времени, будучи еще детьми, видим себя уже состарившимися и ослепшими. Как это полувремя, в наших снах существует и то, что можно было бы назвать полуличностью или межличностью. Таким образом, ты додумываешь меня, оживляешь и видишь меня в своем сне или как это там называется. А для тебя я — здесь, только невидимая или видимая наполовину, а точнее, в твоём сне я присутствую частично, мое полное присутствие ограничено так же, как и полное отсутствие. Я — часть индивида, соединенная с некоей другой личностью, и она — тоже целая личность, а вовсе не полуличность. Так во мне ты видишь полуродственников и полулюбовниц, полуживых, которые встречаются с полумертвыми. И я среди них. Знаю, что только ты не из сна, а наяву, я отчетливо вижу, как у тебя в уголках глаз поблескивает соль. Потихоньку, со спины, я прижимаюсь к тебе, поглаживаю грудь, засовываю в ухо свой лиловый сосок, ты что-то бормочешь, но не просыпаешься. Я поворачиваюсь к тебе лицом, и ты все еще в полусне обнимаешь меня. Меня пугают и обжигают твои зубы, но страсть одолевает страх, и я припадаю к тебе, приближаю грудь к твоим губам, и ты вытягиваешь из нее в свой сон какой-то напиток, неведомый ни тебе, ни мне. И когда ты вот так лежишь рядом со мной и пьешь из моей груди, я понимаю, что тебе снится, будто ты с кем-то занимаешься любовью. Одари меня милостью своей, как одаривают мертвые, шепчу я тебе на ухо. Но кто-то лежит под нашими ногами, мешает нам. И когда сползает одеяло, ты видишь, что там, в ногах, лежу я. Кто же на самом деле эти любовники, кто твоя партнерша? И, задаваясь этим вопросом, ты не выпускаешь изо рта мою грудь, и твои сапоги начинают наполняться чем-то теплым. Чем больше ты высасываешь из меня, тем больше наполняются твои сапоги, и я чувствую, пока мы вот так соединены, отчетливо

ощущаю, как что-то убывает из меня и прибывает в тебя, заполняя сапоги чем-то теплым...

Тут кто-то постучал в дверь и вошел в комнату. У появившегося существа заросший лоб, из-под белой накидки торчат ноги, ногти на волосатых пальцах почти не видны, только слышно, как они скребут по полу. Веки без ресниц напоминают губы, они шевелятся, и кажется, что это существо сосет собственные глаза. Однако глаз нет. Вместо них три рта и из каждого торчит язык... Одним словом, стоит там моя горничная Николетта.

Я делаю отчаянные знаки, чтобы она вышла вон, но Николетта указывает на что-то у себя за пазухой. Вижу, что подмышкой она держит петуха и как обычно — газетку с сообщениями о моем последнем спектакле. А петух вытягивает шею и принимается зевать. Зевает — раз, второй, третий. И всякий раз, как он открывает клюв, оттуда виднеется свет. Я понимаю, что петух кукарекает, предвещая зарю, только я этого не слышу. Я быстро целую тебя в горячие зубы и соскакиваю с постели. Смотрю на твои сапоги, а они полны до краев... Выскакиваю через двойные двери в свою комнату и бросаюсь в кровать с мыслью:

«Может, всему этому есть разумное объяснение. Приемлемое для каждого и очевидное для всех решение загадки».

И тут меня осенило.

Вурдалаки. Не вы, а мы, по эту сторону стекла, мы — вурдалаки. Почему всегда другие должны быть оборотнями, все, кроме нас? И Николетта, и я ведем себя как самые настоящие вампиры — это же ясно. Значит, мы по эту сторону границы. А ты? Где ты и кто ты? А та женщина с заплатами на груди?

И тут я вспомнила, что бывают двойные и одинарные зеркала. И решила с их помощью разгадать тайну. Вопрос простой: какое время видит человек, если через зеркало смотрит на часы, висящие в комнате. Итак, какое время вы видите в зеркале, глядя из него в вашу подлинную комнату и на подлинные часы, а не на их отражение в зеркале? Какой через свое стекло ты видишь меня и вижу ли я именно тебя? Нет, наверное, нет. Однако есть средство, позволяющее вылечиться от такой близорукости. Существуют, как я говорила, двойные и одинарные зеркала, существуют отклики, способные, подобно солдатам, разобраться попарно. И вот как я себе это представляю.

По отношению к оригиналу, субъекту, зеркальный образ является искажением, изменением. Правая сторона становится левой, минута до двенадцати в среду становится минутой после полуночи в четверг. В своем первом звучании голос, устремленный *вперед* и *вверх*, превращается в голос, направленный наоборот — обратно, *вниз* и *назад*. Но потому здесь двойные зеркала и двойные отзвуки, что они исправляют искажение, получаемое от одинарного отражения. Если любой предмет, скажем, часы, попадает в двойное зеркало, то первоначальное искажение исправляется, правая рука, превращаемая в одинарном зеркале в левую, в двойном становится снова правой, часы станут показывать то же время, столько же, как на натуральных, находящихся в комнате. Увидишь в зеркале дьявола, который крестится левой рукой — перекрестись правой, и он сгинет. Если голос отразится вторично (после того, как его устремленность *вперед* превратилась в *назад*, а *вверх* пошло *вниз*), то искажение исправится, отражение в отражении опять вернет *вниз* на его место, под предмет, и *вперед* станет действительно впереди.

Так и с изображением человека, искаженным по отношению к его небесному идеалу. Нужно стремиться к двойному отражению, двойным зеркалам, одинарное отражение нужно повторить, сделать двойным, чтобы узреть истинный прообраз. Только таким путем лику человеческому возвращается истинность и вечность. Подобно тому, как сквозь тонкий фарфор кофе бросает черную тень на скатерть, а вино, сквозь бокал, — красную тень. Значит, за таким двойным отражением твоего лика я и должна гоняться. Ибо с удалением отражения и отзвука, с умножением одинарных и двойных зеркал лик и голос затуманиваются и в конце концов исчезают. Из сферы света и ясного божьего видения и искаженная и неискаженная части уходят мрак и безмолвие, во владения Сатаны. Впрочем, разок можно и попробовать...

И я возле твоих дверей поставила зеркало — двойное, если считать сами двери одинарным зеркалом. Теперь, если ты явишься, подумала я, я увижу тебя таким, каков ты есть, ибо двойное зеркало видит лучше одинарного и возвращает душу на место. Но ты не попался в мою ловушку с зеркалами. И я отказалась от фокусов и ворожбы. Вместо этого мне вспомнились семь тысяч, которые ты выиграл в домино. Я подошла к комоду, где хранились деньги. Открыла его и пересчитала деньги. Недоставало ровно семи тысяч.

— Так я и знала! — прошептала я. — Мой возлюбленный не может угодить в западню с зеркалами и эхом. Только ты, обретающий то, что потеряла я, можешь быть тем самым, одним-единственным ликом. Врагом тому, кто теряет обретенное мною. Только ты можешь вывернуть наизнанку мой мир, чтобы постичь его. — Так постепенно с глаз моих стала спадать пелена.

Когда я проснулась утром, комната оказалась заваленной неизвестными мне платьями красивейших расцветок и фасонов, Все они были разбросаны по полу. Приглядевшись, я узнала свои старые платья, которые вчера вечером примеряла и второпях оставила вывернутыми наизнанку... То же самое происходит, когда я торопливо высвобождаюсь от воспоминаний о тебе и отбрасываю их прочь, любовь моя. Сначала мне трудно узнать тебя. Но теперь я узнаю. Знаю, кто ты. Ты тот, в чьих руках Книга моей судьбы, книга, которая называется «*Пейзаж, нарисованный чаем*». И именно в ней есть такие строки:

«Так Витача Милут, героиня этого романа, влюбилась в читателя своей книги».



— Героиня романа влюблена в своего читателя?! Где это видано? — спросишь ты и будешь прав. Ибо тому, у кого есть свой любовный роман, не нужен чужой, да еще изображенный на бумаге. А тому, у кого его нет... Короче, разве справедливо, что тысячелетиями, еще со времен Гомера, от новелл Боккаччо и буквально до вчерашнего дня, все героини романов оставались слепы и глухи к чарам юных красавцев, которые в своих первых любовных грезах исцеляли свои раны их слезами и пилились на их груди с ничуть не меньшим усердием, чем выдуманные любовники из книг, в которые были вмурованы эти красавцы? Подумай, разве не все равно, влюбишься ли ты сначала в книге или сначала в действительности? Разве не все равно, умрешь ты сначала в романе, а затем на самом деле или наоборот — сначала на самом деле, а потом — в романе? По правде говоря, все мы — и Ифигения, и Дездемона, и Татьяна Ларина, и я вместе с Николеттой — все мы вурдалаки! Хотя есть тут одно различие. Те вампиры не пьют твою кровь. Только, может, иногда вторгнутся в твой сон и украдут немного твоего семени, слодоострастно разлившегося, дабы оплодотворить вдохновение. Но зато напоят тебя своим молоком, своей песнью, неслышной тебе, и своей любовью, устремленной к тебе, как к животворной ниве, способной дать жизнь человеку. А ты обратил все это в сапог, наполненный кровью. Настоящей кровью. Так кто же вампир?

Может, ты принадлежишь к числу весьма скромных, самых обычных провинциальных господ, как сказал один русский, может, ты относишься к мещанскому сословию, и, как знать, может, это я, Витача Милут, выдумала тебя, и стоит тебе глазом моргнуть, как моя жизнь остановится? Может, более красивые и более пригожие достались более красивым и пригожим? Возможно. Но для меня ты красивее и лучше всех героев книги, где твоя Витача живет в заточении. Может, ты и впрямь заслуживаешь трапезы семи дьяволят, изгнанных из женщины.

В моих снах снова осень и ночь, а от тебя осталось совсем немного — неубранные тени и аромат фруктов. Ожидая новой встречи, я прибрала комнату и украсила ее цветами, расчесала волосы гребнем из козьего рога, но сны остались неприбранными, а мои волосы во сне оказались растрепанными и нет цветов, которые пахнут наяву, а цветут во сне, и нет гребня, которым можно расчесать и мои, и твои волосы.

Но какая великая любовь, о возлюбленный мой, не встречала именно таких невыносимых трудностей? Джульетта и Ромео. Элоиза и Абеляр. Не внух ли ты? Хотя ведь это не мешало любви Абеляра. С каких это пор смерть является меньшей помехой, чем обыкновенная страничка из книги? Неужели тебя никогда не увлекли героини «Преступления и наказания», хотя они были мудрее и лучше тебя, мой единственный? Почему бы не могло быть наоборот? Неужели ты полагаешь, что только ты имеешь право на книгу, а у книги нет права на тебя? Почему ты так уверен, что не можешь быть чьей-то мечтой? Ты уверен, что твоя жизнь не просто вымысел? Выстроенный, если не как «Гамлет», то хотя бы как «Что делать?» Чернышевского? Неужели ты не знаешь, что все читатели мира занесены во все существующие книги, как в списки умерших, рожденных или вступивших в брак? Неужели тебе не хочется обвенчаться в книге?

Взгляни на свою Витачу! Посмотри на меня, грешную, которая надеется, что ты судом своим праведным разрешишь мои метания. Посмотри, твоя Витача прежде всего опускает веки, чтобы видно было, какую красивую тень отбрасывают ее ресницы, а уж потом широко открывает свои сияющие глаза, пестрые, как стеклянные шарики. Для нее важнее смотреть, чем видеть, она знает лучше тебя, что глаза красивее, если они служат плотоядной пищей для других, сами питаясь постным. Чего она хочет? Чего хочу я от тебя, любовь моя? Я знаю, что мудрость ни от чего нас не спасает — она, как день жизни: чем дальше от одной ночи, тем ближе к другой. Поэтому я и не предлагаю тебе свою мудрость. Подобно тому, как писатель переселяется из своего мира в мир читателя, так и я, Витача Милут, пыталась эмигрировать из своего мира, заключенного в этой книге, где у меня убивают детей и продают их во имя каких-то высших принципов, в иной мир. В этот ваш мир, который я разгадала, хотя и не полностью, через всемогущую силу, через любовь. Я наспалась в зеркалах спален, купалась в зеркалах ванных комнат. Теперь я хочу вырваться отсюда в жизнь. Ты мог бы стать для меня родиной, а я для тебя — заграницей. Неужто это мое желание непростительно?

Окружи меня милостью своей: в уголках моего рта каждая презренная капля взывает к чистой небесной исцеляющей слезе. Ты вечен, ты всегда молодой, а я — нет. И ты скоро забудешь слова, с которыми я к тебе обращаюсь, а ведь это единственные слова и других уже не будет. Ты молодой и неискушенный Бог, и я обращаю к тебе свои первые молитвы. Мы еще только постигаем, что можем сделать друг для друга. Услышь меня и дай совет, потому что я осталась один на один со своей жизнью, ибо создавший меня, как Пилат, омывает руки ракией, и единственная моя надежда на тебя. Искупил меня своей любовью! Я знаю: кто спасет героя романа, тот уберет роман, но попытайся спасти мне жизнь, не губя своего романа. На твоих глазах насмерть бьются мои души — темная и светлая, заключенные в книге, которая для меня то же, что для тебя твоя жизнь. Если ты взглядом удержишь одну из моих душ, не допустишь, чтобы она убила другую, это будет для меня самым большим подарком... Если ты навсегда закроешь глаза, то и я навсегда исчезну. Подумай, может, это наша единственная встреча перед ужасным концом. И позволь мне заботиться о тебе, как мы заботимся о тех, кто является частицей нашей жизни. Ибо это *истинно* так.



— Так говорила Витача Милут, в замужестве Разин, — скажете вы и будете неправы. Боже сохрани, так она никогда не говорила. Витача Милут пела, и это лишь попытка пересказать то, о чем она пела. Попытка сложная, ибо Витача Разин способна куда лучше пропеть нашу жизнь или свой сон, чем мы сможем пересказать словами ее песнь.

Но для данного Романа, Альбома или Кроссворда голосов вовсе не важна эта попытка. Неважно, кого любила Витача Милут, пока пела. Спасителя, возвышенную душу своей песни, тебя, своего возлюбленного, который прислушивается к ее жизни через ее песнь и разъясняет ей самой или тебе, читающему эту

книгу. Важно, что она любила Того, кого любила, и это улавливалось в ее песне, это понял ее муж и герой книги, архитектор Разин. И решил, наконец, кое-что предпринять.

А именно это и продвинет историю дальше. Подобно тому, как колесо телеги, бывает, подталкивает лошадь.

## По горизонтали 5

*Милан, 28 июня с. г.  
Дону Донино Азередо,  
Во всемогущие руки его*

### Уважаемый дон Азередо!

Далее описывается случай, происшедший с сэньором Разиным. Он достаточно хорошо его характеризует. Один его недавний знакомый после нескольких месяцев деловых отношений с ним заявил:

— Странно, он совсем не следит за тем, что происходит в его профессии, не знает, что делается в мире бизнеса, он словно хорошо замешанное тесто, которое так и не поднимается, с ним невозможно говорить о деньгах или о химии. Он образован, но как будто поверхностно, словно не прочитал ни строчки...

А я промолчал, потому что знаю: сэньор Разин с мудрецами мудр по мере необходимости, с глупцами — глуп, с образованными не менее образован, а с неучами и невеждами он тоже неуч и невежда.

С таким человеком непросто, и Вы это хорошо знаете. У него быстрый ум, а работает он при малейшей возможности, медленно, будто в тяжелом похмелье. Никогда не нужно упускать из виду нечто противоположное очевидному. Поэтому необходимо иметь в виду, что он, возможно, разгадал нашу игру, понял, что сэньора Витача обманула его, но не как женщина мужчину, а весьма своеобразно, заговорив и запев на языке, ни одного слова из которого она не понимает. В данном случае его ревность к Кнопфу — всего лишь маска, скрывающая другую, более страшную ревность.

Так или иначе, наши сведения, полученные за последнее время, говорят о том, что архитектор Разин прекратил оплату счетов своей супруги, которая, как Вам известно, совершенно непрактична в быту и никогда не располагала собственными средствами. Разин вернулся в Калифорнию, а сэньора Витача здесь, в Милане, обрела постоянного спутника. Специально нанятого. Нашел ли его сам сэньор Разин или кто другой, кому надо, знают, а меня это не интересует. Потому что об этом не спрашивают. Однако выбор сделан хороший. Он явился из тьмы, преисполненной музыки и безмолвия, поэтому музыка в нем клокочет, но не вырывается наружу. Было это так.

Как-то вечером, перед премьерой Пуччини в Ла Скала с сэньорой Витачей произошел странный, даже вдвойне странный казус. Она направлялась на спектакль в оперу — это совсем близко от отеля. Прямо на улице с ней случился обморок с временной потерей зрения. У нее заболела правая нога, но не там, где она оступилась, а на соседней улице. Боль двигалась метрах в двухстах впереди нее, обогнула что-то, наверное, газетный киоск и свернула за угол. Потом боль остановилась, вероятно, перед витриной или объявлением на стене. Сэньора Витача отчетливо почувствовала, что боль приближается к ней и уже идет по той же улице, и тут обморок с временной потерей зрения кончился, и боль соединилась с ней, вступив в правую ступню. В этот самый момент сэньора Витача услышала голос. В толпе людей она различила его, очень знакомый голос, будто завороченная она пошла за ним. Голос что-то рассказывал, чуть заикаясь, глубококим альтом, и она не сразу поняла, принадлежит он мужчине или женщине. Стремительно удаляясь, голос говорил на ее прежде родном языке, на сербском, на котором она больше не говорила и не пела, но который все еще прилично помнила. Это был тот самый глухой и неровный голос, которым она говорила ласко-



вые слова своим детям и убаюкивала их в те времена, когда не была еще госпожой Разин, той, которая впала во грех, а потом взяла на душу смерть своих детей. Она окликнула этот голос:

— Петка, Пятница, Амалия, Витача! — но из толпы никто не отозвался. И тогда она побежала за этим голосом, в противоположную сторону от Ла Скала, умиравшей в своем бархате и позолоте, побежала, навсегда оставляя мир аплодисментов, когда-то градом обрушивавшихся на улицы Вены, бросая свой чудный голос, первое сопрано Италии, ради этого хриплого надтреснутого альта, подобного звуку треснувшего бокала, способного держать один только лед.

Птицы, желая подняться выше, ловят теплые струи воздуха и легко и быстро воспаряют в небо, под облака. Так и Витача легко и быстро вознеслась на теплых струях горя и жгучей тоски в поднебесье оперных театров. Птицы, желая спуститься, ловят холодную струю воздуха и быстро снижаются до земли. Такая струя несла теперь Витачу вниз. Она еще шла за чьими-то шагами и голосом, но в толпе трудно было не потерять этот голос. Слышалось только, как впереди по улице кто-то в темноте твердо шагает в ночь. И вдруг шаги пропали.

Ноги отказались служить Витаче, и в отель она вернулась на машине. Стоял октябрь, по темному небу плыли облака и было заметно, что ничего-то они не помнят. Сухая листва шуршала по тротуару, словно жесть. У ворот времени ожидала огромная страна Будущего.

О стихии мы судим по-разному, исходя из своих предрасположенностей. Я и мне подобные верим, что есть искривление времени. Человек, ориентированный вправо, не должен предсказывать будущее — он просто видит и читает за поворотом наших дней. Потому что будущее (а с ним и смерть) видно уже из настоящего, так же как прошлое и наше рождение. Из прошлого человек видит очень мало. День, бывший три года назад, кажется нам столь же неясным, как и день завтрашний, и отсюда можно сделать вывод, что искривление времени относится и к прошлому. Насколько эта кривизна открывает нам будущее, настолько она скрывает от нас прошлое. Так это мы понимаем.

Но Вы, дон Азередо, учите нас, посвященных, совсем иному. Вы говорите: будущее и прошлое выдумали сами люди. Они не существовали от века. Или еще, учите Вы: у каждого человека три будущих, а не одно. Подобно тому, как существуют Сера, Ртуть и Соль. Сейчас мы, смертные, находимся на таком витке развития, что открыли и пользуемся только одним из трех своих будущих. Но со временем, может быть, мы научимся различать и использовать и другое будущее, которое пока остается без употребления, скрытое от нас. Между тем нашим третьим будущим, которое придумаем не мы, но Вы, дон Азередо, мы никогда не научимся пользоваться...

В связи с этим Вы пишете, дон Азередо, что Витача Разин может не поддаться этой общей судьбе, что, может быть, она на пути к открытию этого второго будущего, еще непознанного и не открытого для всех нас, и я делаю все, чтобы понять, в какое из своих будущих (о третьем, естественно, нет и речи) может войти Витача Милут. И сообщу, не пытается ли сеньора Разин преодолеть границу своего одного-единственного будущего. Однако, я полагаю, Вы все-таки лучше оцените это, чем я. Вот что я узнал.

Была почти полночь, на небе поблескивали ледяные звезды, Витача лежала в гостиничном номере, утомленная неудачной погоней за неровным голосом. И тут до нее донеслось из соседней комнаты пение. Есть в жизни каждого человека такие всеильные песни, которые сначала слышатся во сне, затем надолго, почти навсегда, забываются, и только потом, к концу жизни их слышат наяву как приговор — казнь или помилование. Это была такая мелодия. Та самая песня, которую несколько десятилетий назад Витача Милут пела девчонкой, бросая свои гребни в таз с водой, а потом позабыла. Песня, которую она вспоминала десятилетиями и которую на свою беду вспомнила теперь. Это была «Последняя голубая среда», и пел ее тот самый хрипловатый надтреснутый голос, за которым она бежала тогда вечером.

В номере сеньоры Витачи находилось флорентийское зеркало. Узорчатое снаружи, с обратной стороны заклеенное картиной. Витача подбежала к зеркалу,

не без труда передвинула его — так что стала видна изображенная на картине молодая наездница, сидящая верхом на гнедом жеребце в белых чулках. За зеркалом же оказалась дверь. Витача без раздумья влетела в соседний номер. Там возле балконной двери стоял кудрявый человек. Взлохмаченные его волосы блестяли, точно их окунули в смолу. У него был маленький, будто динаром прорезанный рот и перстень на большом пальце. Он грыз ногти и что-то напевал. Когда она вошла, он обернулся, брови и усы его словно бы раздвинулись при виде ее.

— Ты знаешь, кто ты? Ты знаешь, кто? — шептала Витача, не понимая, что спрашивает, да и он не понимал ее итальянского. Весьма учтиво спросил, не беспокоил ли, и пояснил, что вот уже два дня живет по соседству. Говорил он по-сербски, и это означало, что он ее знает. Он спросил, почему сегодня вечером она сорвала спектакль в опере.

— Небо высоко, земля тяжела, — задумчиво ответила Витача. — Представьте, что вы — река и течете только ночью. И по ночам жаждущие приходят к вам напиться. И если у водооя промгчали хотя бы два-три вола, разве это не повод считать волами всех пришедших? Короче, хватит с меня косоротых слащавых теноров, стремящихся проглотить собственное ухо.

Здесь Витача и незнакомец расхохотались. Это был первый смех Витачи вне сцены. Первый за десять лет. Потом они стали встречаться. Их видели на общем балконе (он соединял их комнаты), где они играли осенней листвою в карты, как это делают влюбленные. Только продолжалось это недолго.

История завершается где-то в Тоскане, возле колодца в саду. Осенью. После того вечера, когда она сорвала спектакль в Ла Скала, Витача перестала выступать. Мы, согласно Вашим указаниям, дон Азередо, постарались, чтобы ее контракты с оперными театрами были расторгнуты, и сеньора Витача покати-лась в пропасть. Таким образом она завершила свой путь, подобно Амалии Ризнич, урожденной Нако, которая подавала голос из овальных часиков госпожи Иоланты. Богатый муж бросил ее на произвол судьбы, предоставив ей умирать в нищете на улицах Триеста. И все из-за того, что застал ее с кудрявым молодым человеком, носившим перстень на большом пальце и по имени Александр Пушкин.

Кудрявый любовник госпожи Разин сделал свое дело с точностью хорошо заведенного часового механизма. Он сам описывает дальнейшие события в магнитофонной записи, сделанной нами до прихода полиции. Посылаем Вам кассету и записанное на ней заявление как в оригинале, так и в переводе на итальянский. Дон Азередо поймет, что молодой человек пользовался эзоповым языком или, точнее говоря, вместо фактов наговорил на пленку такое, что в суде не сможет быть сочтено достойным обвинения.

«Наше тело несет на горбу свою душу как громадный камень или мрачную галактику, — повествовал его женский голос. — Душа или галактика не ограничивается местом, где ты находишься — она простирается туда, куда достает твой взор, куда достигает твоя мысль — будь то дали небесные или подземелье. Твое тело не может оказаться на месте другого, но мрачная галактика твоей души, как огромная бесформенная башня, или Млечный путь, способна сойтись с другой такой же мрачной галактикой, другим Млечным путем, который тащит на горбу, как свою душу, чужое тело. В точке их соприкосновения происходит взаимное умаление, или же оплодотворение, причем гораздо раньше, чем придут в соприкосновение тела. Здесь твоя душа открывает, или теряет, или сохраняет некие вещи... Однако то же самое происходит и при столкновении орбит не только двух душ, но и твоей души с твоим телом. Тогда начинается история с двумя заголовками».

## РАССКАЗ О ДУШЕ И ТЕЛЕ

В то утро, когда мы не знали, куда податься, а нас уже выкинули на улицу, мы нанялись сторожить сад. Поселились мы в маленькой лачужке из веток и камня и провели в ней несколько дней, питаюсь консервами и распугивая птиц

колодушкой. Когда еда кончилась, я подумал, что госпожа Пятница пойдет и соберет яблок. Она этого между тем не сделала и целый день мы просидели голодные. А наутро она спросила:

— Не можешь ли ты сходить в сад и принести яблок? У меня в животе от голода бурчит.

Я несколько удивился и сказал, что не могу. По велению свыше я должен был изображать слепого.

— Посмотри на меня, — сказал я, — неужели ты ничего не замечаешь в моих глазах? Неужели не видишь, что в них — мрак, и он естество каждого глаза, его суть и его мир? Неужели ты не видишь, что дневной свет — это лишь болезнь глаз, искажение того, другого света, который не может состариться, света, который можно увидеть только если долго-долго смотреть на собственный пуп. Одним словом, — закончил я, — для этого света я совершенно слеп и не могу пойти за яблоками.

— Теперь я понимаю, — ответила госпожа Пятница.

— Что ты понимаешь?

— Понимаю, почему он нанял нас сторожить сад.

— Почему?

— Потому что ты слепой, а я такая, какая есть, и мы не можем красть яблоки, а можем их лишь сторожить.

— А ты разве не можешь сходить и набрать яблок? — спросил я удивленно. — Ты-то хорошо видишь.

— Не думаешь ли ты, — ответила на это госпожа Пятница, — что я из-за любви пошла сторожить с тобой яблоки? Я попросту не могу и шага ступить одна. Все пропало! Как ты не видишь, так я не могу ходить.

— Знаешь что, — сказал я ей тогда, а от голода и у меня уже коченели уши, — садись на меня верхом, смотри за двоих и собирай.

Так мы въехали в сад и набрали яблок.

Мы кормились ими до тех пор, пока хозяин не поймал нас и не выгнал. Тут мы действительно подошли к самой черте. Мы остановились на перекрестке дорог, и мне захотелось в последний раз побыть с госпожой Пятницей. Но только чтобы этот последний раз длился как можно дольше. Я придумал:

— Оседлай меня еще разок!

И я понес ее, углубившись в нее, а она смотрела назад на пройденную дорогу. Так мы опять любили друг друга. Наконец я сказал ей:

— Мы больше не нужны друг другу. Даже в любовной близости ты смотришь туда, куда я не могу идти, разве что двигаясь задом наперед. А я смотрю туда, куда ты не можешь смотреть, разве что сидя задом наперед... Душа моя, держащая тело мое в себе, я утомился. Отпусти его, пусть оно выйдет из тебя и проживет на воле, а ты поищи другое тело, чтобы оно тебя носило.

Так мы расстались, как расстаются все другие, после того как завершится

## РАССКАЗ О ДУШЕ И ТЕЛЕ.



Больше молодой человек ничего не хотел говорить без своего адвоката. Однако я еще поднажал. Я сказал ему:

— Душа человека — маленький дом, и комната души обставлена мебелью. Мебель эта — наше *настоящее*. Если бы это самое настоящее холили и лелеяли, если бы уделяли ему столько внимания, сколько прошлому и будущему (а это стены души), то, может, настоящее и могло бы развиться, может, разрослось, расцвело бы пышным цветом и поднялось бы за счет стен прошлого и будущего, возвращаясь к своему первоначальному порядку и становясь мерой, которые мы давно урезали, пестуя свое прошлое и будущее за счет отторженного *сегодня*, которое хиреет все больше и больше. Если ты не образумишься, я найду способ оторвать от твоего и без того ущербного *настоящего* еще кусочек...

Припертый к стене, он с глаза на глаз рассказал мне следующее:

По приглашению нанимателя он приехал из Нью-Орлеана через Лион. Сад, в котором произошло событие, принадлежал сеньору Разину, и госпоже Разин об этом было известно. В саду есть колодец, хотя в нем больше грязи, чем воды. Именно в связи с этим колодцем молодому человеку было дано специальное поручение.

«Мне было велено, — рассказывает он, — поступить следующим образом. Ежевечерне, в полнолуние, сказано было мне, сеньора Витача ворожит. Глядит в блюдо с водой или в какой-нибудь колодец и смотрит, кто является ей в воде. От лика, который ей является, зависит, по ее мнению, ее будущее, судьба любимых ей людей. В первое же полнолуние ты пойдешь вместе с ней и посмотришь, чей лик она вызовет из воды. Если мужчина, — приказали мне, — стало быть, если мужчина, убей ее и брось тело в колодец. Если в воде женский лик, пусть идет, куда глаза глядят...

В первую же ночь полнолуния пошел я с сеньорой Разин к колодцу. Она сказала, что хочет остудить фрукты. Когда она вытащила ведро, я смотрел, ибо я слеп только в своем деле. Витача не обращала на меня внимания и наклонилась над ведром, ожидая, когда в нем соберется свет луны. Она ждала, а звезды падали, словно листья. В это время она говорила:

— Пусть Воскресенье венчается с Понедельником, Вторник — со Средой, Четверг — с женской Пятницей, а мужская Пятница с Субботой. Оставь году двенадцать мужских Пятниц и не смей оскоромиться, не пускайся в путь, на войну и в постель с женой. А женские Пятницы да останутся прежними, пусть первая Пятница после каждого полнолуния останется для меня женской. Это молодая Параскева Пятница, святая, покровительница лошадей; Параскева пусть защищает бесплодных; и таких оставь двенадцать в году. И да останется Четверг вдовцом (на мужской неделе он Пятницами идет), а Суббота — вдовой, когда святые Пятницы будут в женских неделях. И пусть не борются мужские дни с женскими днями недели за превосходство, да будет мир им и явившемуся...

И тут я увидел, что в ведре появляется лик. Хорошо всмотрелся, мужской или женский, и сделал точно так, как было велено».



Прошу Вас, дон Азередо, после того как прочитаете это письмо, прослушайте кассету. Вы услышите то, чего не напишешь на бумаге. В отличие от наших голосов, голос молодого человека с кудрявыми волосами — глубокий, надтреснутый альт, который заикается и *не имеет эха*.

Хотя Вы все это, наверное, уже знаете.

## По вертикали 1

Когда был завершен и собран воедино этот Памятный Альбом, посвященный архитектору Афанасию Разину, или Свиляру, мы почувствовали себя, словно собаки, у которых от частого поглаживания по голове искривились уши. Нужно было отпечатать 600 экземпляров подарочного издания, из которых первые сто будут переданы в распоряжение фирмы «ABC Engineering and Pharmaceuticals» из Калифорнии, следующие сто, по желанию самого Афанасия Федоровича Разина, положены в склеп его матери на кладбище в Белграде, а остальные — пущены в продажу.

Но сначала надо было получить согласие самого юбиляра. Поэтому рукопись вместе с семейными фотографиями, приложенными к Альбому, была отправлена архитектору Разину. Он получил ее и долго не отвечал. На то у него были причины. Дела и заботы. Я готов биться об заклад, что мы этой книгой поставили его в неловкое положение и потому не удивлялся, что он не отвечает.

Однако нужно было работать, и я позвонил ему по телефону. Он был любезен, говорил, не вынимая изо рта трубки. Он сказал:

— Я далек от мысли, что могу по достоинству оценить вашу книгу. Хочу в связи с ней сказать вам две вещи. Мне кажется, один рассказ, или как вы это называете, сбежал, пока я читал его. Как-то потерялся. Второе, я не мог смотреть снимки. Мне постоянно казалось, что появится более удобный момент для этого. Только после того, как прочитал книгу (если я вообще ее прочитал с учетом пропавшей истории), я стал разглядывать фотографии, но вместо того, чтобы рассматривать их, пустился в этот разговор с вами. Беда в том, что мне уже сейчас кажется, что из вашей книги исчезла не одна история. Множество. И число их изо дня в день растет. Вы знаете, к чему это ведет. Из вашей книги исчезло больше рассказов, чем в ней осталось, а поскольку рассказы продолжают исчезать и теперь из вашей книги, как в черную дыру, как в звездную яму их утекло куда больше, чем вы написали. Поэтому прервем этот разговор. Он теперь уже не касается ни вас, ни меня, а кого-то третьего, ибо, как знать, чьи рассказы сейчас исчезают из вашей книги.

И он положил трубку.

Когда затем мы встретились, Альбом уже находился в печати — он же этому никогда не противился, — и все-таки я спросил его, что он думает о книге. Он был не тот, каким бывал прежде, когда, расплачиваясь в ресторане, проводил монетой по усам (чтобы денюжки водились), был умиротворен, ежедневно, по утрам, привычно, словно парикмахер, сбрасывал бороду, брови и волосы; Витача исчезла из его жизни, и доходили слухи, что он все больше отходит от дел под натиском чего-то такого, что сильнее его и свои неизмеримые богатства, земельные владения и заводы, биржевые акции и дома превращает в наличные.

— Больше всего мне понравился рассказ о четырнадцатом апостоле, — сказал он мне.

— О четырнадцатом апостоле? Да такого рассказа в нашем Альбоме нет.

— Нет, говоришь? Ну вот, видишь, здесь я с тобой не согласен.

— Клянусь бородой, нет!

— Знаешь, — сказал он, словно не услышав меня. — Нет такой фразы в книге, которая раньше или позже не стала бы истиной. Мне часто кажется, что в иностранном языке или в спектакле я узнаю слова из нашего сербского языка. В японском театре Ноо мне вполне отчетливо слышится звучание сербского народного стиха или даже пения, которое порой звучит, как русское церковное. Я убежден, что и в произведениях Шекспира может оказаться очень красивая история на нашем языке (сам Шекспир по-сербски ни «бе» ни «ме», хотя некоторые его герои говорили на этом языке), если хорошенько вслушаться, если уловить подлинное звучание и смысл фраз, вырванных из глав одной книги, может получиться такой роман, что с ума сойти можно... Следовательно, из книги не только постоянно исчезают рассказы, но в ней постоянно появляются новые и новые повести. Это зависит от чтения, а не от написания, дело глаза — не пера. Так мы возвращаемся к тем рассказам — незванным гостям, о которых ты упоминаешь в этой книге. Чему же ты теперь удивляешься? Неужели не веришь в их присутствие?

Я смотрел на него, наголо обритого, со вчерашними слезинками на глазах, которые никак не могут пролиться, и решительно возразил:

— Не верю.

— Не веришь? — переспросил он. — А это что?

И он протянул мне листок бумаги, где было написано:

#### ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ

*Когда Христа, уже пригвожденного, подняли на кресте, из пустыни явился незнакомец, который пал ниц в пыли у его подножия и стал слизывать кровь, струившуюся с ног распятого.*

— Кто ты? — спросили его ученики Христовы, собравшиеся вокруг распятия.

— Я — четырнадцатый его ученик, — ответил незнакомец.

— Раньше мы тебя никогда не видели. Где ты был раньше? — сказали они.

— Раньше? — удивился незнакомец. — Раньше он мне не был нужен. Он не был моим учителем. Я пришел учиться не тому, как жить, а тому, как умирать. Что я сейчас и делаю...



— Что это? — спросил я Разина.

— Как что? Это тот рассказ, который я прочитал в вашей книге и который мне понравился больше всего. Я собрал его, фразу за фразой, словно нищий с картины Курбе, собирающий по колоску оставшуюся на жнивье пшеницу... Видишь ли, эта история — единственное, что мне в данный момент из этого Альбома необходимо. Читатель находит в книгах то, чего не может найти в ином месте, а не то, что писатель внес в роман.

Я разволновался и взял у него ту бумажку. Если читатель хочет, пусть поступит, как я. Пусть проверит и убедится, что в нашем Альбоме в самом деле присутствуют все те слова и фразы, которые Разин собрал в рассказ — читатель может сделать то же самое, если надумает поискать в книге некую третью, свою повесть, которую он предпочтет той, которую нашел Разин, или этой, пересказанной нами. Потому что привидения исчезают с первыми петухами, даже когда и петух-то не имеет понятия, где они.

Один наш приятель, по профессии полицейский шифровальщик, исследовал наш текст с помощью своих методов вдоль и поперек, как осматривают минное поле, и нашел, кроме того, разинского, еще один рассказ, складывая от словечка к словечку этот кроссворд, или Памятный Альбом. Значит, это уже не единичный случай. Таких случаев в книге хватает. Однако с подобным исследованием можно и переусердствовать, как перестарался человек, пожелавший из часов вытряхнуть свое будущее.

Довольно нагляделись мы чужих снов в собственных, и все странички уже переложены справа налево, как возлюбленная с правой руки на левую, и читатель (тот, который в зеве своем держит тьму, а глазами пасет облака) спросит, что за роман мы прочитали? Есть ли у него конец?

Разумеется, читатель не найдет ответа на этот законный вопрос. Что произошло с героиней книги — Витачей Милут, в замужестве — Разин, ночью в полнолуние, когда она по обычаю, унаследованному от своей бабки, госпожи Иоланты Ибич, ворожила, глядя в колодец, в блюдо или в ведро с водой? Что сделал наймит, сопровождавший ее с голосом без эха и получивший указание посмотреть, чей лик появится в ведре Витачи — женский или мужской?

Кто украл свою шапку, — украдет и чужую. Однако он, этот молодой человек с перстнем на большом пальце и маленьким ртом, будто прорезанным дукатом, увидел ли он, глядя из-за прекрасных плеч Витачи, женский лик и пощадил Витачу, как повелел прихотливый заказчик, или он увидел мужской лик и убил Витачу Разин, как ему следовало поступить в этом случае?

Читатель, который не верит, что могут быть романы с двойным концом, завершающиеся счастливо и несчастливо одновременно, хеппи-эндом и трагичным исходом, то есть читатель, который хочет знать, убита или не убита героиня романа Витача Милут, пусть не ждет решения в следующем номере, как прочие отгадчики кроссворда, и поищет его в указателе на последней странице книги. Ибо разгадка романа — в его содержании.

Этот указатель, как всякий указатель, составлен в алфавитном порядке, хотя может быть составлен и по иному принципу. Если читатель выпишет буквы этого содержания в том порядке, как они встречаются в кроссворде, или в Памятном Альбоме (в порядке страниц, а не по алфавиту), он получит краткий и ясный ответ на свой вопрос, и это станет разгадкой романа.

— Ну это уж слишком! — скажете вы. — Требовать от читателя, чтобы он, прочитав книгу, превратился в писателя.

— А разве не слишком то, что требуется от всякого отгадывающего кроссворды, то есть пользоваться карандашом?

Взамен составитель этого Памятного Альбома или этого Кроссворда голо-сов, обещает каждому читателю, что он получит сообразно заслугам, свой собственный, лично ему причитающийся конец истории, подобно аристократу, получившему наследство.

А писатель тем временем займется опять, в последний раз, героем книги, архитектором Афанасием Разиным. Потому как записки Разина призывают и нас, и его. Нас ждут пейзажи, нарисованные чаем.

## ПО ГОРИЗОНТАЛИ 4

### По вертикали 2

Говорят, что свет в доме нельзя тушить ровно в полночь. Это нужно сделать чуть раньше или чуть позже. Так и с рассказом. Его нельзя заканчивать там, где того ждет читатель, а — чуть раньше или чуть позже. Предчувствие — это металл, из которого можно выковать монету.

В последнее время известия об архитекторе Афанасии Разине доходили до нас из-за океана все реже и реже, зато было одно невероятнее другого. Утверждали, что он по-прежнему одержим, как в те времена, когда у него было, что называется, две левых ноги, поговаривали, что свою знаменитую фирму «ABC Engineering and Pharmaceuticals» он продал за баснословную сумму. Как-то утром, будучи в Северной Каролине, архитектор Разин впервые в жизни неожиданно поручил собрать сведения о своих наличных средствах. Раньше он придерживался правила: тот, кто знает, сколько у него денег — не богач. Когда же его проинформировали и оказалось, что у него больше, чем он думал, он выкинул нечто вовсе непредвиденное.

Живя без Витачи, он забросил все свои дела, опустил, пресытился победами, глаза его потускнели, словно всю жизнь глядели против ветра, и все-таки чувствовалось, что он что-то затевает. Никто не знал, когда он принял решение.

В один прекрасный день, который так и останется неизвестным, он открыл расписанную чаем тетрадь и в ней что-то стал искать. Поискал и нашел заметку о том, что пьет и курит Президент СФРЮ Иосип Броз Тито. Тогда он собрал свои трубки, замоченные в коньяке так, что они играли, словно трубы, сложил их в кисет из козлиного гульфика и забросил навсегда. Затем распечатал новенькую, только что приобретенную коробку «гаваны», налил себе виски «Chivas Regal» и закурил сигару. И на первом же документе, который ему подали, подписался, как некогда в Белграде: *архитектор Атанас Свилар*. Он покусывал кончик сигары, смоченный виски, и по ушам было видно, что он себя еще покажет.

Кони в русской тройке, пока упряжка стоит на месте, не жуются красиво; они покусывают друг друга, жуют удила, не стоят на месте, мешают друг другу. Но в движении тройка — нет картины краше — кони тянут сильно, голова к голове, и, кажется, под их копытами сама трава обращается в скорость. Так и добродетели Атанаса Свилара мешали друг другу, когда он пребывал в покое, терзали его, но стоило ему настроиться на дело, все его доблести как бы объединялись. Он молодец, к нему возвращались его прежние привычки. Он еще раз вывернул жизнь, как кисет, наизнанку, отдал день за ночь. И снова у него волосы, как сено, сон короткий и крепкий, хоть разбей об него стакан — не проснет, и левый глаз стареет быстрее правого, потому что правый вообще не стареет. Он раскрыл чемодан со своими чертежными принадлежностями, который не открывал вот уже двадцать лет. Облизал очки с одним простым стеклом и из разрисованной чаем тетради извлек проект, подписанный:

«ПЛАВИНАЦ», ВИЛЛА И. Б. ТИТО  
НА ДУНАЕ ПОД БЕЛГРАДОМ.

Он улыбнулся сквозь дым сигары, совершенно расслабленный. Все это было, так сказать, предварительные операции. Он присовокупил к этому полученные с родины подробные эскизы интерьера виллы, где Иосип Броз Тито иногда проводил свой отпуск — поблизости от столицы и рядом с великой рекой. Вскоре Атанас Свиляр приобрел близ Вашингтона, на маленьком холмике над рекой Потомак, участок земли, размерами и ландшафтом напоминающий место на Дунае, где была воздвигнута вилла «Плавинац». С невероятным размахом и подъемом, словно в строительной горячке, он стал приобретать все необходимое и с неопишуемой скоростью и энергией начал строить. Его постоянно окружало человек десять, способных птицу на лету сбить снежком, которые вместе с дымом «гаваны» и запахом «Chivas Regal» непрерывно получали всевозможные указания.

Работа летела стремительно, как последние дни лета.

Вскоре на реке Потомак в США выросло просторное здание с зимним и летним залами для приемов, со стеклянными стенами, с французскими окнами, полом из черно-белого мрамора и деревянными потолками. В нижнем этаже, рядом с приемными залами, расположились три комнаты с подсобными помещениями, а на втором этаже — пять комнат с видом на Потомак, на фонтан в саду или на столицу. Это была точная копия дунайской виллы «Плавинац», принадлежавшей Председателю КПЮ Иосипу Брозу Тито. Параллельно со строительными работами на 4,5 гектарах поместья был высажен виноград. Все точно как там, на Дунае.

Когда с этим было покончено, архитектор Свиляр явился на свою пустую виллу, протер стекла очков и пригласил тех, кто отвечал за меблировку. Кратко сказал:

— Смотрите, чтобы мои куры несли яйца, — и отдал новые распоряжения.

Подробный перечень домашней мебели и предметов роскоши, по которому архитектор Свиляр делал заказы в Югославии, желая достичь полного сходства с оборудованием виллы «Плавинац», которую готовили для Президента И. Б. Тито и для проведения первой конференции неприсоединившихся стран, был составлен из произведений искусства, приобретенных за рубежом и у родовитых белградских семей между 1958 и 1961 годами художниками Педжей Милославлевичем и Миодрагом Б. Протичем, взявшими в качестве образца летнюю резиденцию Обреновичей. В американских, европейских и югославских антикварных магазинах, по ценам, оставшимся тайной доверенных лиц архитектора Свилара, были приобретены предметы в соответствии с этим списком, и на виллу на реке Потомак в кратчайший срок доставлены если не оригиналы, находящиеся в «Плавинаце» на Дунае, то во всяком случае изделия тех же художников или тех же мастерских. Ибо цель у Свилара была четкая. Все, непременно все по мере возможности сделать так, как там. Ему хотелось, чтобы все было, как у Иосипа Броза. Даже пронзительный скрип дверей, которые специально не смазывались.

Таким образом, в летней резиденции Свилара оказались: один салон в стиле бидермейер с инкрустациями из двухцветного дерева; два салонных гарнитура в стиле Людовика XVI, мебель итальянского барокко, маленькое венецианское зеркало зеленого стекла, напоминающее аквариум, пятирусные подсвечники с бело-голубой лепкой, изделия французского Севра, статуэтка из белого фарфора «саро ди ноте», изображающая мужчину, галантно целующего ручку даме, подобие уникама, выполненного для сербской королевы Драги Машин, находящегося в «Плавинаце». Затем в столовой Свилара появился стол в стиле Людовика XV, стеклянная горка голландского барокко XVIII века, металлическая посуда, подобранная в районе Косово, Метохии и Скопле, фарфоровые мейсенские сервизы, серебряные столовые приборы, хрустальные бокалы и фарфор с гербами Обреновичей. Архитектор Свиляр приобрел музыкальный инструмент «шерух» (XIX век), работающий с помощью валиков и являющийся точной копией инструмента, находящегося в «Плавинаце», который венский двор в свое время подарил сербскому патриарху Раячичу. Полы Свиляр застелил персидскими коврами, углы комнат украшали китайские вазы, на камине стояли часы с амбир-



ными столбиками и женский портрет работы Влаха Буковца. Возле портрета — всегда свежие цветы, как у маршала Тито, который велел ставить цветы перед портретом королевы Наталии работы того же Влаха Буковца — он висит над камином на вилле «Плавинац».

Когда все было готово и снаружи и внутри, архитектор Свилар пригласил одного своего приятеля, чтобы показать ему виллу, и ужин был подан на керамике — тарелках с портретом Обреновича, а с обратной стороны — сербская корона, совсем как на посуде в «Плавинаце». После того как была рассмотрена коллекция старинной металлической посуды в стиле голландского сельского барокко и деревянной скульптуры того же периода, архитектор Свилар предложил своему гостю и коллеге кофе в чашечках из терракоты, украшенной сербским же гербом. Он видел, как посетитель сидит перед ним, точно конь в мыле, ожидая приказа. Архитектор Свилар тут же велел подготовить к отплытию парусник и проводил гостя.



Через три дня он уже плыл по Карибскому морю с биноклем в руке. «Как мудры мы были и как этого мало!» — думал он, наблюдая, как рыбы ускользают от птичьей тени. На палубе огромного учебного парусника, который был точной копией «Галеба» — судна, на котором маршал Югославии Иосип Броз Тито отправлялся в свои путешествия, — застеленной бухарским ковром, стоял стол и два кресла. На столе лежала одна из записных книжек архитектора Свилара. Нарисованный на ее обложке пейзаж изображал 14 Брионских островов — летнюю резиденцию Генерального секретаря СКЮ и Президента СФРЮ И. Б. Тито.

Атанас Свилар бороздил Мексиканский залив и Карибское море в поисках похожих островов. Два предложения его фирма уже получила, и архитектор Свилар отправился поглядеть на них. Он был готов купить четырнадцать островов, похожих на Брионские, на Багамском архипелаге или на Малых Антильских, где обнаружится больше сходства...

Решил остановиться на Малых Антильских, где ему предложили 14 крохотных островков красной, как коралл, земли, расположенных западнее Барбадоса. Он купил их, замерил, каждому острову дал новое название. Острова стали называться — Св. Марко, Округляк, Газ, Супин, Малый Брион, Супинич, Большой Брион, Галия, Грунь, Мадонна, Врсар, Иероним, Козада и Ванга.

И опять он почувствовал себя прежним Свиларом, у которого даже ремень на поясице плесневел от напряжения и пота, он вновь носил серьгу Витачи вместо перстня, облизывал очки, наблюдал за прибывшими сюда строителями и сам вкалывал круглосуточно.

Прежде всего он занялся зеленым поясом, растительным покровом. Воплощая в жизнь подробные планы, полученные с родины, и в соответствии с имеющимися сведениями о флоре и фауне Брионских островов он пересадил на Антилы все виды растений с архипелага и Истрийского приморья и создал точную копию парка И. Б. Тито на Брионах. Говорят, его люди высадили тысячу видов луговых и лесных растений таких же точно, как в летней резиденции Президента республики Югославии; высаживали истово, словно молились — манго, киви, бананы, эвкалипт, мандарины, пальмы, кедр, бамбук, тис, можжевельник. Намучились, пока научились выращивать на этой земле лозу мальвазии, гамбургга, афусалии благородной с тем, чтобы выцедить из них вино — «Брионская ружица».

И пока все это прорастало и распушалось, архитектор Свилар опять занялся строительством. Как и в прошлый раз, он строил все в соответствии с хронологическим порядком. Сначала воздвиг копию римского акведука, вернее его остатков, обнаруженных на Большом Брионе, потом — несколько точных реплик церквей с Брионских островов — византийских из района залива Добрики, трехнефовой базилики из района залива Госпы и бенедиктинского монастыря, в которых он разместил копии брионских мозаик VI-VII веков. Воздвиг оборони-

тельную башню (донжон), костел, церквушки св. Германа, св. Роки, св. Анте. Построил отели, крытые бассейны с подогретой водой, ипподром и поле для игры в гольф. Установил портовые сооружения, в башне и крепости открыл маленький музей, затем — три резиденции и 257 километров дорог, столько же, сколько на Брионах, и по ним пустил множество автомобилей без номерных знаков...

Днем безразличный к еде и застенчивый, ночью он становился удивительно прожорливым и говорливым, трудился так, что пуговицы на воротничках трещали. Он бормотал: «Ничто не сможет похоронить годы жизни и пищу, пищу и годы жизни», запивал виски сигару за сигарой и строил. Резиденции он назвал «Брионка», «Ядранка» и «Белая вилла»; последнюю он построил с крытой галереей на двенадцати колоннах, а подход к ней выложил желтым, голубым и белым мрамором — совсем как в той, где Иосип Броз Тито в 1956 году подписал брионскую декларацию с Насером и Неру.

На Ванге, маленьком островке, который можно перебросить камнем, он построил свой второй дом. Соорудил пристань, у дорожки, окаймленной живой изгородью, поставил статую Нептуна, пустил фонтаны, устроил «Индонезийский салон», «Словенский салон», «Дом для работы и отдыха», кухню, мандариновый сад, виноградник, террасу с перголом и навесом, старый и новый подвалы, куда можно было попасть через огромную винную бочку с дверями. «Македонский салон» он обставил мебелью работы Охридской школы резчиков по дереву, а на пляже, где резиновая дорожка вела к морю, поставил стол, зонт и стул, в саду разместил белые садовые кресла с лиловыми подушками, а на окна каменного дома навесил наличники красного дерева. В кабинете поставил резной письменный стол, под ним постелил огромную тигровую шкуру. По стенам развесил полочки с бутылками, белый салон украшало чучело леопарда; кухню сложил из каменных плит, уложенных друг на друга и образующих свод; сделал очаг с решеткой и вытяжкой дыма, с окошками в камине и на потолке. В винном погребе он соорудил из терракоты глубокие стеллажи, откуда торчали только горлышки бутылок. Над каждым сектором указал год урожая и собрал вина, начиная с 1930 года (года своего рождения) так, чтобы каждому гостю моложе себя мог предложить, по обычаю И. Б. Тито, вино его же возраста. Свилар устроил столярную и слесарную мастерские, фотолабораторию, а в Голубом салоне, таком же как на Брионах, где Иосип Броз Тито принимал государственных деятелей, он принимал свою охрану, шоферов и строителей, потому что деловых партнеров у него больше не было. Возле одной из резиденций он построил ангар для старинных карет, вывезенных из Европы и изготовленных в Австрии в XIX веке. На каждой — табличка с именем очередного югославского функционера 70-х годов, а поверх австрийского же герба выбиты инициалы ИБТ...

Свилар сживал под рыбацкими сетями, растянутыми на неоштукатуренной стене, рассматривал каменные гусли, подаренные ему и так похожие на гусли из коллекции И. Б. Тито, и давал указания егерям. Он замечал, что они куда шире в поясе, чем в плечах, в ложке рыбной чорбы ему уже мерещились рыбы глаза, однако не прекращал работу даже во время еды. Ибо должен был позаботиться и о животном мире.

Свилар устроил три зоосада и на 6-ти тысячах гектаров разместил открытый парк типа сафари, с 260-ти метровой глубины откачал воду на поверхность и поставил обелиск в знак благодарности воды за обретенную ею свободу. А потом, в соответствии со сведениями о летней резиденции маршала И. Б. Тито, в лесную чащу и на просторы лугов выпустил породистых оленей и муфлонов (четыре самцов и восемь самок), сомалийских овец, одnogорбых верблюдов и лам, белых верблюдов, диких коз, серн, сохатых оленей, а также тибетского медведя, пуму, зебру, гепарда, льва, пантеру, трех яков, канадскую рысь, гиену, двух индийских слонов и трех жирафов. В болотистой части поселил редкую водоплавающую птицу, златокрылую дикую утку, японских перепелок и попугав. И купил ружье.

На соответствующем месте в сафари соорудил охотничью засаду с упором для ружья и застелил ее медвежьей шкурой.

Затем сел в свой самолет и вернулся в Вашингтон. Вернее, на свою виллу «Плавинац» на реке Потомак.



Словно в гамак, погрузился Свилар в немецкий язык, на котором он думал, когда дело касалось архитектуры, прочитывая каждое пятое письмо из огромной почты, скопившейся за время его отсутствия. На лбу, похожем на спущенный чулок, спрятались серебряные неподбранные брови, его знобило, хотя на дворе буйствовало лето. За распахнутым окном высился густой каштан, и каждый его листик шуршал, словно маленькая волна, а дерево бушевало, подобно озеру. Покончив с письмами, архитектор Свилар нетерпеливо потер руки и под деревянной скульптурой XVII века раскрыл записную книжку, ту самую, на обложке которой чаем был изображен Белый дворец на Дединье — столичная резиденция Президента республики Югославии И. Б. Тито.

Он уже давно высчитал, что Белый дворец отделяет от личной резиденции Иосипа Броз по Ужичкой улице, 15 всего два неполных километра. В Вашингтоне, столице США, он заплатил золотом за земельный участок, который позволил ему установить удобное сообщение между двумя точками. Сейчас настало время воплотить в жизнь самые сокровенные намерения. Надо было, наконец, построить Белый дворец здесь, неподалеку от Белого дома.

Свилар просмотрел уже готовые проекты, по которым в ближайшее время на этом месте должен был вырасти двухэтажный особняк с салонами для приемов в первом этаже, а также столовой, рабочим кабинетом со столом совещаний, библиотекой. Рядом с кабинетом он намеревался устроить небольшую фотолaborаторию и кухню, украшенную цейлонскими масками, где бы он сам готовил кофе. На втором этаже он предполагал расположить спальни, ваннные комнаты, а в конце небольшой деревянной лестницы помещения с парикмахерским креслом и зеркалами в форме трилистного клевера. Фасад в его проекте был решен так же, как на Ужичкой, 15 в Белграде: высокие трехстворчатые двери располагались под и над балконом и завершались круглыми окнами. Над ними он разместил тимпаны; для фасада нашел и цвет — какао с желтым обрамлением, желтые консоли и белые дверные косяки...

Склонившись над проектами, архитектор Свилар работал, не разгибая спины, для него ничего не существовало, кроме этого дела, он был глух ко всему и только ощущал, как когда-то, что слона начинает менять вкус. Тогда он откидывался на минутку на спинку кресла и представлял себе готовое здание, стоящее посреди парка, засаженного теми же 165 видами растений — секвойей, испанскими елями, кедром, магнолиями, которые Иосип Броз привез из своих путешествий по Индии, Бирме, Корее, Африке, Египту и другим странам, чтобы высадить в своем дединьском парке, и которые Свилар уже держал в соломе и мешковине для высадки в своей вашингтонской резиденции. Он представил себе, как переезжает во дворец, как располагает собранные по дединьскому каталогу работы художников и скульпторов — Хегедушича, Педжи Милославлевича, Стийовича, Мештровича, Куна, как развешивает коллекцию оружия и охотничьи трофеи — львиную шкуру, чучела головы африканского буйвола и подмосковного лося, как приобретает сапоги с пряжками и куртку с пуговицами из оленьего рога, черные купальные трусы, русскую шапку-ушанку, охотничью четырехместную двуколку с высокими задними колесами...

Он воображал, как размещает в будущем дворце охотничьи трофеи, которые временно висели в кабинете и имели то же число попаданий, что и подобные охотничьи трофеи маршала Югославии И. Б. Тито... Он думал, что надо бы заказать еще шесть белых лошадей-липицанеров, волкодава, которого он назовет Тигром, и двух белых пуделей. В летний зной он представлял себе, как во дворец вместе с собаками ворвется и долго будет растекаться по разным помещениям зимняя свежесть, запах ледяного пара и свежеснеженного снега.

Он представлял, как в его будущий дворец в Вашингтоне вносят белый роаль времен французской монархии с золотой окантовкой, как он набрасывает на

него персидский ковер, подобно чепраку на породистого скакуна, как он садится за рояль и совсем как И. Б. Тито наигрывает какой-то вальс, быть может, «Последняя голубая среда», который Свиляр и вправду умел играть...

И тут, целиком погрузившись в свои мечты, архитектор Свиляр ощутил некоторую странность. Из вестибюля несло холодом.

«Что это они тут устроили?» — подумал он, имея в виду прислугу, которую сам же с утра отпустил. И поспешил к кабинету. Он чувствовал себя сильным, мышцы бедер были напряжены.

«Выпорю их, выплачу каждому по апрельский вторник, да еще и сдачу по требую», — мысленно пошутил он, но, подойдя к двери кабинета, понял, что дело нешуточное. Холод, который мог бы остановить часы, ударил ему в лицо. Двери полутемной комнаты не были заперты, однако открыть их не удавалось. Мешало что-то сыпучее. Свиляр просунул руку и зажег свет. Его ослепил хрусталь венецианской люстры XVIII века, и он застыл — руки повисли в воздухе над ручкой двери. В кабинете с невидимого потолка падал снег. В воздухе носились снежинки, персидский ковер уже был скрыт под сутробами, серебряный чернильный прибор с синими и красными чернилами напоминал два заснеженных церковных купола, если смотреть на них издали, а печь, тоже заваленная снегом, походила на чернильницу вблизи.

Ничего не понимая, Свиляр кинулся выключать кондиционеры, по пути схватил лопату для угля, стоявшую у камина, и, с трудом отворив дверь, влетел в кабинет, чтобы очистить его от снега. Намело уже сантиметров сорок, а снег все шел и шел. Свиляр изо всех сил прокладывал тропинку к дверям, ведущим на террасу, а снег все падал. Барочные скульптуры оделись в белые шапки, у африканских масок поседели усы и волосы, снег сыпал на бутылку виски «Chivas Regal» 25-летней выдержки, на только что открытую коробку сигар; под снегом исчезла кофейная чашечка с гербом Обреновичей, пропали двустолка и бинокль, а Свиляр все разгребал снег. Он трудился изо всех сил, а со стены за ним наблюдал своими стеклянными глазами лось, отстрелянный в 1962 году в местечке Завидово под Москвой, с удивлением смотрели на него два вепря из Польши; муфлон, убитый в 1977 году, за которого ему насчитали 242,5 очка, неотрывно смотрел на него из-под рогов, которые в размахе были больше крыльев самого крупного орла; сквозь снег за ним наблюдал отловленный в Бугойне огромный медведь, забыв про свои 493 очка, ныне перекрытый рекорд... А поверх всех, как из своей родной Монголии, из пустыни Гоби, взирал огромный джейран, рога которого обросли ледяными сосульками.

Книг на столе уже нельзя было различить, исчез под снегом фотоаппарат «Хассельблад»; у Свилара застучали сразу два сердца — в каждом ухе по одному — он изо всех сил разгребал снег и приближался к дверям террасы. Когда он их, наконец, открыл, в кабинет ворвались свет и лето...

И пока на полочках сервировочного столика потихоньку оттаивала засыпанная снегом коллекция чая, образуя потоки и лужи с запахами липы и наркотических веществ, Свиляр опустился на каменную ограду террасы передохнуть и согреться. И тут он услышал звук, похожий на чириканье воробья или посасывание пальца. И увидел колыбельку. Обыкновенную детскую колыбельку, невесть откуда попавшую в угол террасы. Не понимая, как она здесь оказалась, Свиляр подумал было, что она пуста. Но, подойдя, увидел в ней крохотного младенца. Красиво запеленутый, он во сне мирно посасывал палец.

Услышав шаги, младенец проснулся, улыбнулся и открыл глаза. Свиляр заметил, что у ребенка на глазу бельмо, словно в глаз попала капля воска. Младенец приподнял головку, посмотрел на него этим своим глазом сквозь воск, и Свилара словно током пронзило в левой стороне груди, когда ребенок вытащил палец изо рта и вполне отчетливо произнес:

— Чего уставился, ...твою мать, качай!

Свиляр не испытывал такой растерянности с тех самых нищенских времен, когда вкалывал до седьмого пота, и покорно протянул руку к колыбели. От его руки на каменный пол вместо одной упали три тени.

Читатель, наверно, не настолько глуп, чтобы не вспомнить, что случилось

здесь с Атанасом Свиларом, который одно время назывался Афанасием Разиным.

## УКАЗАТЕЛЬ СЛОВ

(слова расположены в алфавитном порядке)

безопасности №7, с. 110	покажется №6, с. 132
вверх тормашками №7, с. 117	полагающего №7, с. 98
ведро №6, с. 132	полный месяц №6, с. 130
Витача Разин №6, с. 127	посмотреть №6, с. 136
вообще вне игры №7, с. 112	развальясь №6, с. 111
вытащенное из колодца №6, с. 138	расстаться №6, с. 141
вцепившегося №7, с. 120	спутник №6, с. 110
книгу №7, с. 117	стило №7, с. 120
кресле №7, с. 106	строчки №7, с. 96
лицо №6, с. 138	тебя №7, с. 112
ложкой №7, с. 122	тут-то №6, с. 143
нагнулась №6, с. 133	убийца №7, с. 129
ножом №7, с. 130	хозяйка №6, с. 119
находишься №6, с. 108	читающего №7, с. 94
она №6, с. 146	чье №6, с. 138

МЕСТО, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ ЧИТАТЕЛЮ ДЛЯ ТОГО,  
ЧТОБЫ ВПИСАТЬ РАЗВЯЗКУ РОМАНА  
ИЛИ РАЗГАДКУ КРОССВОРДА

---

---

---

---

---

## РАЗГАДКА КРОССВОРДА

Витача Разин, вытащив из колодца ведро воды, поймала полный месяц и нагнулась посмотреть, чье лицо покажется в воде. И тут-то она и ее спутник увидали тебя, читающего эти строчки и полагающего, что ты, развальясь в кресле, находишься в полной безопасности и вообще вне игры; тебя, держащего эту книгу вверх тормашками и судорожно вцепившегося в свое стило, не в силах с ним расстаться, как хозяйка не расстанется с ложкой, а убийца — с ножом.

---

---

# Хорхе Луис БОРХЕС

## ИСТОРИЯ ВЕЧНОСТИ

*Борхеса однажды назвали «холодным умником и скептиком». То, что Борхес умен, — несомненно, однако, холоден ли, стоит выяснить, чтобы понять его позицию.*

*Мы живем, будто с нами никогда и ничего не случится. Вероятно, так и стоит жить, и все-таки... Человек — создание слишком уязвимое. Любое сотрясение плоти, каждое движение воздуха опасны, ибо кто веда-ет, чем они обернутся?*

*Так сложились обстоятельства (или судьба пролегла?) — Борхес, человек книжной культуры, интеллектуал, — ослеп. И на долю ему осталось лишь слышать, оцупывать... Ему читали вслух, он вспоминал тексты, прежде прошедшие перед глазами, но это — иное чем то, когда ты с книгой наедине, и смеешься, плачешь, возмущаешься над страницей.*

*И предметы ушли, оставив одни тени, бесцветные понятия, да еще цветные образы, плоды фантазии, — их можно переставлять как заблагорассудится, тасовать. Отсюда кажущаяся холодность ума.*

*Отсюда и внешнее поведение аргентинского писателя. Получалось — ты на виду, а другие невидимы. Приходится представляться актером на арене, улыбаясь, раскланиваясь. И играть, играть...*

*Он давно бы получил Нобелевскую премию, если бы не шокирующие, почти гротескные, заявления. То старый писатель поддерживал и одобрял фашизм, то еще какую-то разновидность насилия. И при том — Борхес всегда был в стороне. Он был занят, решал интеллектуальный, сложный, однако решаемый — кроссворд.*

*В его стихах и в его прозе (оказавшей на современную литературу воздействие решающее) вся мировая культура сводится к нескольким устойчивым «блокам», которые транспонируются в ту либо иную историческую ситуацию. Слепой Борхес так играл. А был совсем другим: уязвимым, ранимым, грустным и желающим согреться возле другого человека.*

*Его слушали, ему внимали, и мало нашлось людей, которые бы услышали его, подставили бы ладонь под его шипящую, нетвердую руку слепого. Схемы — схемами, исторические курьезы — курьезами, скептицизм — скептицизмом, а Хорхе Луис Борхес всегда отличал себя от того — другого Борхеса, что пишет рассказы и эссе, которому приходят письма с разных сторон света. Разумеется, «двойничество» старый культурный мотив, но разыгранный на собственный, борхесовский лад. Отсюда и вывод: «Я не знаю, кто из нас двоих пишет эту страницу». Это из рассказа «Борхес и я». А на самом деле — иное:*

*На вилле забытой  
потемками наглухо окна забыты.  
Вслепую по вымершему жилью  
моя неприкаянность ищет твою...*

Евг. Перемышлев

### I

Есть в «Эннеадах» раздел, посвященный выяснению природы времени и гласящий, что, как известно, прообразом и архетипом времени служит вечность, а посему вначале следует разобраться с ней. Стоит лишь принять эту предпосылку (чего требует ее совершеннейшая искренность), как исчезнет ма-

---

В своем творчестве Борхес неоднократно возвращался к одним и тем же вопросам, поэтому для лучшего понимания аргентинского мыслителя, читатели могут обратиться к прозе и стихам Борхеса, изданным на русском языке, а также его эссеистике. Эссе «Время» («Латинская Америка», вып. 7: М., 1990, с. 427-436) является как бы продолжением разговора, начатого автором в «Истории вечности». — Здесь и далее примечания переводчика.

лейшая надежда, что мы с ее автором найдем общий язык. Время — трудный, важный, быть может, первостепенный вопрос, с точки зрения метафизика — главный; а вечность для нас — нечто вроде игры или тайной надежды. У Платона в «Тимее» читаем: время — текучий образ вечности; но ведь это не более чем фраза, вряд ли способная разубедить кого-либо в том, что вечность есть образ, созданный из времени. Так вот, об этом образе — ничтожном словечке, которое обесмертилось в гуманитарных спорах, — я и попытаюсь рассказать.

Как только мы перевернем доказательство Платона (лучший способ проверить его метод), возникнут следующие неясности. Время вносит вполне объяснимую метафизическую сумятицу: оно появляется вместе с человеком, но предшествует вечности. Другая неясность, не менее важная и не менее выразительная, не позволяет нам определить направление времени. Утверждают, что оно течет из прошлого в будущее; но не менее логично и обратное, о чем писал еще испанский поэт Мигель де Унамуно:

Как темная река струится время,  
Проистекая из первоистока,  
Который именуют вечным завтра.\*

Обе гипотезы одинаково убедительны — и одинаково непроверяемы. Оспаривая их, Бредли предлагает собственное решение: будущее, эту умозрительную химеру наших надежд, вообще исключить, а «сейчас» осмыслить как мгновение настоящего, которое канет в прошедшее и растворится в нем. Чаще всего подобные временные регрессии рождаются в эпоху упадка и дурных манер; здравомыслящая эпоха (нам кажется) всегда тянется к будущему... А по Бредли, будущего не существует. Мало того, одна индийская школа отрицает и настоящее, утверждая, что оно неуловимо. «Либо яблоко вот-вот сорвется с ветки, либо оно уже упало, — твердят эти поразительные простаки. — Никто не видел, как оно падает».

Время приносит и другие сложности. Об одной из них особенно много наговорено в связи с недавним вторжением релятивизма, когда индивидуальное время каждого из нас попытались привести в соответствие со всеобщим временем математики. (Напомню, слегка искажив: если время — мыслительный процесс, то как сотни людей, причем самых разных, могут прийти здесь к согласию?) Ухватившись за другую сложность, элеаты попытались опровергнуть движение. Ход их рассуждений можно представить так: «Промежуток в четырнадцать минут длится дольше, чем период в восемьсот лет, ибо прежде, чем пройдет четырнадцать минут, должно пройти семь, три минуты с половиной, минута и три четверти, и так до бесконечности; следовательно, четырнадцатиминутный промежуток никогда не завершится». Рассел отвергает такую аргументацию; он отстаивает реальность, и даже банальность бесконечных чисел, заданных сразу, определением, а не понятием «конца» бесконечного процесса счисления. Иррациональные числа Рассела уже предвосхищают вечность, несводимую к сумме составляющих ее элементов.

Арифметической суммы прошедшего, настоящего и будущего не представляет собой ни одна из предложенных людьми вечностей — ни номиналистическая, ни Ирнеева, ни Платонова, ни любая другая. Вечность и проще и загадочней: она — одновременность всех времен. В обыденном словоупотреблении она не значит; нет ее и в том удивительном словаре, *каждое издание которого заставляет сожалеть о предыдущем*,\*\* однако именно так ее воображали метафизики. В Пятой книге «Эннеад» читаем: «Образы души следуют друг за другом: сперва — Сократ, потом — Конь; что-то одно постигаем, прочее — утрачиваем;

\* Эта мысль близка идее схоластиков о времени как о переходе возможного в действительное. Ср. с вечными объектами Уайтхеда, составляющими «царство возможностей» и представляющими собой часть времени.

\*\* Борхес часто пользуется иноязычными выражениями, которые мы даем в русском переводе, выделив в тексте курсивом.

но Божественный Разум является вместилищем всему. И прошлое и будущее слиты в его настоящем. Ничто здесь не знает становления, все пребывает в радости покоя».

Обратимся к той вечности, что послужила источником для всех последующих. На самом деле ее первооткрыватель — не Платон, ибо в одной из посвященных ей книг он упоминает предшествующих «славных философов древности», правда, именно Платон расширил и с блеском обобщил все то, что воображали предшественники. (У Дейссена при этом говорится о закате, о последних лучах заходящего солнца). Отвергнутые или трагически переосмысленные, все греческие концепции вечности в трудах Платона сплавлены в одной. Потому я и считаю его предтечей Иренея, провозвестника второй вечности, воплощенной в трех разных, но слитых воедино ликах.

Плотин произносит с заметным пылом: «На небе разума всякая вещь становится небом, и земля там небо, и звери, и растения, и люди, и море. Мир представляется как бы еще незачатым. Там каждый видит себя в других. Все прозрачно. Ничего непроницаемого, мутного нет, и свет встречается со светом. Все — повсюду и все — во всем. Каждая вещь — это все вещи. Солнце — это все звезды, а каждая звезда в отдельности своей заключает все звезды и солнце. Ни для кого здесь нет чужой земли». Впрочем, такое полное единообразие, апогей сходств и взаимопревращений — еще не вечность; небо здесь сопредельно и еще не совсем свободно от числа и пространственности. К созерцанию вечности, мира универсальных форм, призывает пассаж Пятой книги: «Пусть те, кто очарован становлением, — его возможностями, совершенством, ритмом его превращений, видимыми и незримыми богами, демонами, растениями, зверьми, — направит свои помыслы к иной реальности, в сравнении с которой мир зримых форм — всего только подражание. Тогда они увидят умопостижимые формы, не подражающие вечности, а подлинно вечные, и увидят также их Кормчего — чистый Разум, недостижимую Мудрость, и узнают подлинный возраст Кроноса, имя которому — Полнота. В ней все бессмертно: всякий разум, всякое божество и всякая душа. Но если она — средоточие всего мира, то куда ей стремиться? К чему ей перемены участи и превратности судьбы, если она и так счастлива? Ведь она была такой и вначале, и потом. Только в вечности вещи самотождественны: время, ее жалкий подражатель, бежит из прошлого, зарится на будущее, терзает нашу душу».

Нас могут сбить с толку содержащиеся в первом отрывке настойчивые упоминания о множественности. Плотин вводит нас в идеальный универсум, скорей исполненный полноты, чем разнообразия; повторам и излишествам не место среди этого строгого отбора. Перед нами — застывшее и жуткое зрелище платоновских архетипов. Не знаю, открывалось ли оно взору смертных (речь идет не о мечтах визионера и не о страшных снах), или оно предстало целиком перед далеким греком, создателем вечности, но в этом успокоении, в этой жути и упорядоченности предвосхищается музей. Читатель может быть лишен воображения; однако без общего представления о платоновских архетипах (первопричинах, идеях), населяющих и образующих вечность, ему не обойтись.

Поскольку подробное обсуждение платоновской системы здесь невозможно, ограничимся лишь несколькими вводными замечаниями. Последней устойчивой реальностью служит для нас материя — вращающиеся электроны, пробегающие в одиночестве атомов космические расстояния; для мыслящих платонически — образ, форма. В Третьей книге «Энеад» читаем: материя нереальна, она примитивная, пустая восприимчивость, словно зеркало двоящая универсальные формы; они обитают в ней и тревожат ее, но ничего в ней не меняют. Ее полнота — это полнота зеркального отражения, мнимость, которая тщится стать реальностью, неуничтожимый призрак, лишенный способности убывать. Формы, только формы имеют значение. Вторя Плотину, Педро Малон де Шаид через много веков говорит: «Сотворил Господь золотую печать осьмигранную. Одна грань — со львом, другая — с конем, третья — с орлом, так же и все прочие; и на восковом слепке оттиснул он льва; на другом — орла; на третьем — коня. И все, что на воске, есть и в золоте, ибо запечатлится только то, что на печати. Но



вот различие: что на воске — то воск, а он малоценен, что в золоте — золото, а ему цены нет. Живые существа, — что конечные и малоценные формы; а в Боге они злато, в нем они плоть от плоти Господней». Отсюда выводят: материя — ничто.

Подобную аргументацию мы считаем ложной, даже невысказанной, и все же часто к ней прибегаем. Глава из Шопенгауэра — не бумага лейпцигских контор, не типографский станок, не изящные очертания готического шрифта, не чередование образующих ее звуков, и тем паче не наше о ней мнение. Мириам Гопкинс — это Мириам Гопкинс; умопостигаемая голливудская особь ничего общего не имеет с нитратами или минеральными солями, двуокисью углерода, алкалоидами и нейтральными жирами, со всем, что представляет преходящую плоть изящного серебристого призрака. Подобные примеры — или нечаянные софизмы — убеждают нас примириться с тезисом платоников. Его можно сформулировать так: и вещи и живые организмы существуют в той степени, в какой совпадают с образом, своим высшим смыслом. Возьмем более удачный пример — допустим, птицу. Обычай стаи, малые размеры, сходство примет, древняя связь с концом и началом дня — рассветом и сумерками, то обстоятельство, что мы их чаще слышим, чем видим, — все это вынуждает нас признать, что образ первичен, а особь и вовсе лишена смысла.\* Безупречный Китс полагает, что соловей, чарующий его своим пением, и соловей, которого слушала Руфь среди пшеничных полей Вифлеема в Иудее — один и тот же. Стивенсон восторгается птицей, не подвластной столетиям, — «соловьем, отменяющим время». А пылкий и прозрачный Шопенгауэр приводит такой довод: животные знают одно плотское бытие, не ведая смерти и памяти. Он иронично добавляет: «Стоит мне сказать, будто играющий во дворе серый кот — тот же, который играл и резвился здесь пятьсот лет тому назад, обо мне подумают бог весть что, однако было бы совершенным безумием утверждать, что это — другой кот». И далее: «Существование львов подразумевает Первольва (с временной точки зрения), который существует, бесконечно воплощаясь в особях; его неумолкающий пульс бьется в смене поколений, в рождении и смерти». И ранее: «Раз моему рождению предшествовала целая вечность, кем же я тогда был? Может быть, с метафизической точки зрения следовало бы сказать так: «Я всегда был самим собой; всякий, кто произносил «Я», был мной».

Надеюсь, читатель одобрит Первольва и облегченно вздохнет, взглянув на его отражение в зеркалах времени. Совсем иначе с идеей Первочеловека: нет сомнения, наше Я отвергнет ее, легкомысленно взвалив на плечи других. Дурной знак; однако у Платона найдутся образы и более трудные для понимания. Допустим, находящийся на небесах умопостигаемый Первостол: обреченные стремиться и терпеть крах, все краснодеревщики мира мечтают воплотить сей четырехугольный первообраз. (И точно, не будь идеи стола, реальный был бы для нас недоступен.) Допустим, Первотреугольник — совершенный трехсторонний многоугольник, не сводимый к равнобедренному, равностороннему или правильному; его не существует в природе. (И его я не отрицаю; он позаимствован мной из учебника по геометрии). Или, допустим, Причинность, Разум, Отсрочка, Связь, Суждение, Размер, Порядок, Неспешность, Расположение, Заявление, Неупорядоченность. Не представляю, что и думать об этих подсобных формах мысли; если болезнь, безумие или смерть не помогут, вряд ли их кто уразумеет. Я совсем забыл еще об одном первообразе, объединяющем и наполняющем смыслом все прочие; речь идет о вечности, чьей грубой копией служит время.

Понятия не имею, отыщет ли читатель аргументы против платоновского учения. Могу помочь — у меня они в избытке; первый — бесконечное число родовых и абстрактных понятий, данных без стеснения в нагрузку к миру архетипов; второй — создатель учения умалчивает о том способе, каким вещи соотно-

\* Присносущий, сын Пробудившегося, непостижимый метафизик Робинзон из романа Абу Бакра Ибн Туфейля, отказывается от фруктов и рыбы, изобилующих в его владениях; он боится, как бы ни одно живое существо не исчезло с лица земли — не дай бог Вселенная по его вине оскудеет.

сятся с миром первоначальных форм; третий — непогрешимые первообразы по видимости и сами страдают изменчивостью и размытостью форм. Их нельзя назвать безупречными, ибо они столь же сложны, как и творения времени. Созданные по образу тварей земных, архетипы повторяют те самые недостатки, преодолеть которые они призваны. Как, положим, Перволюву обойтись без Гордости и Серости, без Шерстистости и Когтистости? Нет и не может быть ответа на этот вопрос, ибо от понятия «Перволев» мы вряд ли ждем большего, чем от львенка.

Но вернемся к вечности Плотина. В Пятую книгу «Эннеад» включен про- странный список составляющих ее элементов. Там и Справедливость, и Числа (вплоть до какого?), Добродетели, Деяние, Движение, однако нет ни заблуждений, ни невзгод — болезней материи, коей прельстилась форма. Не мелодия, но Гармония и Ритм делают там музыку музыкой. Не имеют первообразов лишь патология и сельское хозяйство, ибо их не уточняют. Также исключено жилище, стратегия, риторика и искусство управлять, однако со временем что-то будет произведено от Красоты и Числа. Нет особей, нет первообразов Сократа, Гиганта или Императора; есть просто — Человек. И наоборот, все геометрические фигуры вечность исключают. Цвет здесь представлен только в основном: этой вечности не нужны пепельный, пурпурный и зеленый. Вот, по восходящей, ее наидревнейшие архетипы: Различие, Сходство, Движение, Покой, Бытие.

Мы рассмотрели вечность, довольно убогую в сравнении с нашим миром. Теперь, во что ее превратила церковь, доверив ей свои нетленные ценности.

## II

Первую вечность лучше всего представляет Пятая книга «Эннеад»; вторую, христианскую, — Одиннадцатая книга «Исповеди» Св. Августина. Первая немислима вне ее платоновской традиции; вторую невозможно понять за пределами вероисповедных споров о Троице, вне полемики о предопределении и каре небесной. Тему не исчерпать и пятисотстраничным фолиантом; полагаю, трех- четырехстраничный экскурс не покажется чрезмерным.

С известной долей приблизительности можно утверждать, что «наша» вечность была провозглашена за несколько лет до того, как хроническая болезнь желудка окончательно добила Марка Аврелия; родина удивительного докумен- та — берег Фурвьер, тогда именуемый Древний Форум, а сегодня славящийся своим фуникулером и базиликой.

В отличие от церковного сана ее учредителями, епископа Иренея, — эта на- вязчивая вечность — не очередное священническое облачение или церковная ре- ликвия, но грозный приговор и карающий меч. От двух бесспорных посылок — Слово исходит от Бога-отца, Святой Дух от Бога-отца и Слова, — гностики взя- ли и умозаключили, что Бог-отец предшествует Слову, и оба они — Святому Ду- ху. Такое умозаключение расщепило Троицу. Тогда Иренией поправил: двусто- ронний процесс (Отец порождает Сына, оба они порождают Святой Дух) совер- шается не в каком-то одном временном измерении — прошедшем, настоящем

\* Прощаясь с платонизмом (столь ясным), не могу не оставить одного наблюдения, в надеж- де, что его разовьют и подтвердят: «П о н я т и е м о ж е т б ы т ь б о л е е в ы р а з и т е л ь н ы м , ч е м с а м п р е д м е т ь . П р и м е р о в т о м у б о л е е ч е м д о с т а т о ч н о . Л е т о м в д е т с т в е м е н я в о з и м л и н а с е в е р п р о в и н ц и и . М ы ж и л и н а б е с к р а й н е й р а в н и н е , с р е д и п а с т б и щ , и я с л ю б о п ы г т в о м н а б л ю д а л з а л ю д ь м и , к о т о р ы е п и л и н а к у х н е м а т е . К а к я у ж а с н о о б р а д о в а л с я , у з н а в , ч т о п а с т б и щ е н а з ы в а ю т « п а м п о й » , а л ю д е й — « г а у ч о » . Т о ж е с а м о е с в л ю б л е н н ы м м е ч т а т е л е м . О б щ е е п о н я т и е ( п о в т о р я е м о е в п а м я т и и м я ; т и п ; о т ч и з н а и в е л и к о с п р е д н а з н а ч е н и е , к о т о р о е с н е й s в я з ы в а ю т ) в а ж н е й о с о б е н н о г о и е д и н и ч н о г о , к о т о р ы е т о ь к о б л а г о д а р я е м у и с у щ е с т в у ю т .

Для персидской и арабской литературы весьма характерен крайний случай, когда влюбляются по устному описанию. Вот повторяющийся сюжет «1001 ночи». Некто услышал об одной принцес- се: ее волосы черны, словно ночь расставаний и разлук, лицо ее, точно день услад, груди — мра- морные шары, затмевающие лунный свет, походка ее приводит в смущение антилоп и доводит до отчаяния львов; при виде ее пышных бедер трудно удержаться на ногах; точно наконецник копыя, ее стройные ноги. Он влюбляется до смерти. Отсылаю к истории Бад-ар-Басила, сына Шахрияра.

или будущем — но во всех трех одновременно. Поправку канонизировали; сегодня она считается догмой. Тогда была провозглашена вечность, с которой ранее едва ли бы согласился даже сомнительного авторства платоновский текст. Ныне проблема взаимосвязи и разграничения трех ипостасей божества никому не придет в голову, а раз так, то и ответ здесь вряд ли возможен; однако смысла своего она не утрачивает — хотя бы потому, что сулит надежду: «Вечность — это обыкновенное сейчас, бесхитрое и блистательное достижение бесконечности вещей». Не ослабевает и нравственно-полемическая острота споров о Троице.

Сегодня католики-миряне считают ее соединением в высшей степени безупречным — и в высшей степени тоскливым; либералы — никчемным богословским первербом, суеверием, отменить которое призваны передовые республиканцы. Троица, понятное дело, выше подобных утверждений. Стоит ее представить себе — и, целокупный образ, включающий Отца, Сына и Дух, покажется чем-то вроде интеллектуального уродца, монстра, который мог привидеться разве что в страшном сне. Ад — не более чем насилие над плотью; но мнимая, давящая бесконечностью триединого лика пугает воображение, подобно наставленным друг на друга зеркалам. Пересечением прозрачных, разноцветных кругов воображал Троицу Данте. Клубком пестрых переплетающихся змей — Донн. «Неисповедимой тайной сияет Троица», — писал Св. Паулин.

В отрыве от идеи спасения мысль о членении цельного образа на три отдельные ипостаси совершенно безосновательна. Но и сама вера не столько облегчает понимание таинства, сколько приоткрывает его замысел и пользу. Разумеется, отрицать Триединство — или хотя бы Двухединство — значит считать Христа случайным посланником божьим, историческим казусом, будто он не был вечным, *не переходящим судией наших помыслов*. И в самом деле, если Сын и Отец — не одно, но и спасение не от Бога; а ежели Сын не вечен, то и жертва его — самоуничужение и смерть на кресте — не символ. «Только бесконечное совершенство могло утолить жажду бессмертия терзаемой души», — утверждал Иеремия Тейлор. И хотя в той мысли, что Сын произошел от Отца, а Дух Святой — от них обоих, скрыт некий приоритет (не говоря уже о греховности чистых метафор), догма вроде бы оправдана. Увлеченная размежеванием ипостасей, теология считает, что поводов к замешательству нет, и требует различать: Сына, сотворенного одной ипостасью, Святой Дух, сотворенный другой, вечное исхождение Сына, вечное порождение Духа, как приличествует тому вневременному событию, искаженному *вневременному глаголу*, которое велеречиво провозгласил Ирений; его можно презирать и почитать, но обсуждению оно не подлежит. Итак, Ирений рисковал спасти трехглавое чудовище и добился своего. Должно быть, он, непримиримый враг философов, испытал истинное наслаждение война, сразив их тем оружием, которое вырвал у них из рук.

В христианстве начало времен совпадает с началом творения, и потому Господь представляется нам (как его недавно изобразил Валери) существом праздным, наматывающим полые столетия на «исходную» вечность. А по мысли Эммануэля Сведенборга («Истинная христианская вера», 1771), всех, кто «безумно и попусту болтает, каким же был Господь от сотворения мира», на краю мыслимой Вселенной поглотит бездонная пасть небытия.

После открытия Ирения пути христианской и александрийской вечности разошлись. Христианская утратила самостоятельность и приспособилась к одному из девятнадцати атрибутов божественного разума. Первообразы открылись для всеобщего почитания, угрожая превратиться в ангелов или божества; им не было отказано в праве на существование, — всегда более высоком, чем жизнь обьчных тварей, — хотя их и свели к вечным идеям творящего Слова. К этой самой мысли о *всеобщности, предваряющей вещи творения*, возвращается Альберт Великий; он полагает, что архетипы нетленны, и, служа формой или образом для подражания, предшествуют вещам творения. Он последовательно разводит их *с всеобщностью в вещах творения*, — мыслями Бога, разнообразно воплощенными во времени, но прежде всего *с всеобщностью, последующей вещам творения*, понятиями, открытыми индуктивным способом. Временные ар-

хетипы отличаются от божественных только и только тем, что лишены творческой силы; но где схоластике понять, что божественные категории могут и не совпадать с категориями латинского глагола... Однако продолжим.

Учебники теологии не утруждают себя специальным рассмотрением вечности. Они лишь замечают, что вечность есть способность мгновенно и целостно ощущать все временные промежутки, а также обставляют Писание иудеев лживыми утверждениями, уверяющими, будто все, что невнятно изрек Дух, изрядно излагает комментатор. В доказательство они приводят порой высказывание «один день для Господа — что тысяча лет; тысяча лет — все равно, что один день», содержащее то ли великолепное презрение, то ли мысль о долголетию; порой — знаменитые слова, имя Господне, которое услышал Моисей: «Я — это я»; порой — «Аз есмь альфа и омега, начало и конец»,\* — они почудились святому Иоанну, теологу с Патмоса, до и после того, как море сделалось стеклянным, зверь — багряным, а птицы кинулись на плоть кормчих. Иногда приводят изречение Бозция (рожденное в тюрьме, накануне казни): «*Вечность — это полное обладание бесконечной жизнью*»; меня тронуло, с каким упоением ему вторит Ханс Лассен Мартенсен: «*Вечность — это обыкновенное сейчас, бесхитростное и блистательное достижение бесконечности вещей*». Однако они напрочь забывают о таинственной клятве ангела, правой ногой попирающего море, а левой — землю (Откровение 10, 6): «И клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, и землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет». В действительности, «время» из этого стиха соответствует «отсрочке».

Вечность выживает как атрибут бесконечного божественного разума, но ведь поколения теологов, как хорошо известно, толкуют этот разум по собственному образу и подобию. Не сыскать более яркого примера, чем спор о предопределении *изначальном*. Четвертое столетие во Христе ознаменовано ересью британского монаха Пелагия, осмелившегося утверждать, будто души невинных, умерших до крещения, попадут в царствие небесное. Его яростно опроверг Августин, епископ Иппонийский, снискав за то восторги своих издателей. Он показал всю еретичность этой доктрины, вконец уставшей от мучеников с праведниками: она отрицает грех и падение в Адаме всего рода человеческого, непозволительно забывая, что падение это наследуется и передается родственникам по крови от отца к сыну; она брезгает кровавым потом, божественной агонией и стоном Того, кто умер на кресте, презирает тайное покровительство Святого Духа и ограничивает волю Божью, тогда британец обнаглел и воззвал к справедливости; Святой Дух — как всегда, отзывчивый и праведный, — признает, что по справедливости не следовало бы гореть в огне без прощенья, однако некоторых — то ли по своей неисповедимой воле, то ли по той причине, которую много позже и не без резкости Кальвин назовет «ибо так», Господь замыслил спасти. Они и есть избранники. Стыд и лицемерие теологов сохранили это слово лишь для тех, кто избран небом. Быть не может избранников на вечные муки: истинно, на ком нет благодати, тому и гореть вечно, но ведь здесь говорится об умолчании Господа, а не о его однозначном решении... Такое рассуждение привело к новому пониманию вечности.

Многим поколениям язычников, обитавших на земле, так и не довелось отвергнуть Слово Божие или причаститься ему, а надежда на спасение без его участия столь же нелепа, как предположение, будто их мужей, людей высшей доблести, минет слава. (В 1523 г. Цвингли признал, что лично он надеется попасть на небо в общество Геракла, Тесея, Сократа, Аристиды, Аристотеля и Сенеки). Для преодоления возникшей трудности достаточно оказалось расширенного толко-

\* Мысль о том, что время людей несоизмеримо со временем Бога, явствует из одной исламской традиции, восходящей к сюжету «мирадж». По легенде, Пророк на фантастической кобыле аль-Бурак вознесся на седьмое небо, на каждом из небес беседовал с живущими там ангелами и пророками, предстал перед Единым и ощутил холод, пронзивший его сердце, когда Господь похлопал его по плечу. Прежде чем отправиться в путь, аль-Бурак копытном задел кувшин, полный воды; вернувшись, Пророк поднимает его — из него не пролилось ни единой капли.

вания девятнадцатого атрибута Божьего (О всеведении). Решили так: всеведение подразумевает знание всего — не только того, что имеется, но и того, что может произойти. В поисках подтверждений столь неограниченному толкованию перевернули все Писание и нашли два места: из Первой Книги Царств, где Господь предостерегает Давида, что если он не покинет город, люди Кеила выдадут его, — и он уходит; из Евангелия от Матфея, посылающего проклятье двум городам: «Вот тебе, Хоразин! Вот тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретнице и пепле покалялись». Благодаря этим неоднократным доводам вечность обогатилась условным наклоном глагола: на небесах Геркулес соседствует с Ульрихом Цвингли, ибо Господь знает, что первый соблюдал бы пост; однако Лернейская гидра сослана в непроглядный мрак, ибо Господь знает, что она отвергла бы крещение. Мы ощущаем реальное и воображаем возможное (будущее); Господу и в голову не придет такое различие, годное, разве что, для времени и неведения. Божья беспредельность охватывает все сразу, *одним движением мысли*, причем не только то, что происходит в нашем полнокровном мире, или то, что произойдет, случись перемениться самым туманным обстоятельствам, — но, разумеется, и то, что совершенно невероятно. Вечность Бога, многосоставная и тщательно продуманная, богаче самой Вселенной...

В отличие от платоновской, грозящей опуститься до банальщины, рассматриваемая вечность рискует уподобиться последним страницам «Улисса», или даже предпоследней главе с ее утомительным вопрошанием. Великолепная придирчивость Августина покончила с подобным занудством. Проклятие отрицается в его доктрине почти дословно: Господь заботится об избранных, бросив грешников на произвол судьбы. Он ведает все, но наведываться предпочитает о душах добродетельных. Эту мысль блестяще исказил Иоанн Скот Эриугена, наставник при дворе Карла Лысого. Он провозгласил Бога неопределимым; мир — состоящим из платоновских архетипов; грех и формы зла — непризнанными Богом, а все творения (включая время и дьявола) — боговдохновенным, возвращающимся к изначальной целостности Божьей. «*Зло находит завершение в высшем благе, смерть растворяется в вечной жизни, нищета духа — в блаженстве небес*». Эту всеядную вечность (в отличие от платоновских, она включает индивидуальные судьбы; в отличие от ортодоксально религиозных, исключает любой изъян и ущерб) заклеил Валенсийский и Лангресский собор. Богопротивный труд, провозгласивший ее, — «О разделении природы, книга V», — публично сожгли на костре. Лучший способ добиться благорасположения библиофилов, усилиями которых и дошла до нас книга Эриугены.

Уже само существование Вселенной подразумевает вечность. Не безызвестно, твердят теологи, что стоит Господу хоть на мгновение отвлечься и забыть о моей правой руке — я ею сейчас пишу — и она, словно проглоченная пастью небытия, канет в пустоту. Поэтому они и говорят: сохранение нашего мира — акт вечного творения; взаимоисключающие глаголы *сохранять* и *творить* — для неба синонимы.

### III

Итак, мы разобрались со всеобщей историей вечности, представленной в хронологическом порядке. Точнее будет сказать — вечностей, ибо человеческой мечте, один за другим, привиделись два непримиримых сна, объединенных меж собой названием: первый, снящийся реалистам, тайно влюблен в недвижимые первообразы вещей; второй, снящийся номиналистам, отрицает существование первообразов и силится совместить в одном мгновении все, что случается во вселенной. Реализм, лежащий в основе первого сна, столь чужд нашей сущности, что я, пожалуй, готов усомниться во всех его интерпретациях, даже в моей; номинализм — доктрина, противоположная ему, — утверждает истинность особенного и условность общего. Подобно тому нечаянному и недалекому комедийному прозаику, сегодня мы все номиналисты *бессознательно*: это необходи-

мейшая предпосылка нашего мышления, благоприобретенная аксиома. Потому она и не нуждается в пояснениях.

Мы также разобрались с движением (поданным в той же хронологической последовательности) спорной, клерикальной вечности. Ее измыслили далекие, бородатые люди в митрах, дабы оправдав единство Одного в трех лицах, публично изболтывать ересь, и мечтая про себя хоть чуть-чуть удержать бег времени. «Жить — значит терять время, — читаем у поклонника Эмерсона Джорджа Сантаяны. — Только вечное можно обрести и сберечь». Сопоставим эту мысль с жутким отрывком о пагубе соития у Лукреция: «Словно тот жаждущий, который в сне хочет пить и, не утоляясь, поглощает всю воду, и погибает, сжигаемый жаждой на середине реки: так и Венера обманывает любовников видимостью, но не насыщает их зрелищем тела, ибо ничего нельзя взять и унести, хотя обе руки лихорадочно ощупывают тело. Наконец, когда тела уже предчувствуют счастье, и Венера вот-вот оросит свое лоно, любовники страстно жаждут слиться друг с другом, впиваясь ртом в рот; но все напрасно — им так и не удастся раствориться друг в друге и стать единой плотью». Наоборот, наши два слова — архетипы и вечность — чреваты сочетанием более цепким. В самом деле, линейность невыносимо убога, а бурные страсти жаждут каждой секунды времени и всего разнообразия пространства.

Как известно, память — средоточие человеческой личности; выпадение памяти приводит к идиотизму. То же самое верно и для вселенной. Без вечности — этого хрупкого, загадочного образа, исторгнутого душой человека, — всемирная история, да и судьба каждого из нас, — лишь попусту растраченное время, превращающее нас в суетный призрак.

Как могла возникнуть мысль о вечности? Святой Августин не знает, но указывает одно соображение, предполагающее ответ: любое настоящее включает элементы прошедшего и будущего. Он приводит конкретный пример — припоминаемое стихотворение. «Оно еще не произнесено, однако уже предвосхищается; уже прочитано, однако возвращается в память; стирается то, что прочитано; всплывает то, что не прочитано. С каждой строкой и с каждым слогом происходит то же самое, что и с целым стихотворением. Так и с тем действием, частью которого служит декламация; с человеческой судьбой, состоящей из ряда действий; с человечеством — сменой отдельных судеб». Разумеется, подобное доказательство тесной взаимосвязи временных пластов подразумевает линейность, что противоречит образу мгновенной вечности.

Вероятно, ностальгия и будет воплощением этого образа. Печальный изгнанник вспоминает счастливые мгновения и видит их с точки зрения вечности, напрочь позабыв о том, что одно отменяет (или откладывает) все другие. Переживая прошедшее, память забывает о времени. Счастливые мгновения прошлого сливаются для нас в единый образ; различной яркости закаты — я смотрю их каждый вечер — запоминаются как один закат. Так и с предвидением; несовместимые надежды без труда ладят друг с другом. Иными словами, вечность — это время наших переживаний. (Отсюда — особое наслаждение перечней, скрывающих намеки на вечность, на *обыкновенное сейчас, бесхитрое и блистательное достижение бесконечности вещей*».

#### IV

Осталось поделиться с читателем собственными представлениями о вечности. В моей убогой вечности уже нет ни Создателя, ни иного творца, ни архетипов. Она была описана мной еще в книге «Язык аргентинцев», изданной в 1928 году. Приведу выдержку; страничка называлась «Чувство смерти».

«Расскажу о том, что случилось со мной несколько ночей тому: столь мимолетным и трогательным кажется мне пережитое и такая сердечная тоска заключена в нем, что ни происшествием, ни вымыслом назвать я его не могу. Речь идет об одном ощущении и о его обозначающем слове; слово это уже было мной упомянуто, однако так глубоко прочувствовать его не доводилось ни разу. При-

ступаю к рассказу, со всеми обстоятельствами времени и места, возвестивших его.

Было так. Накануне вечером я оказался в Барракас: я редко забирался в такую даль, и уже сама мысль о расстоянии таила смутные предчувствия. Никаких определенных целей у меня не было; вечер выдался теплый, и, перекусив, я вышел пройтись и поразмышлять. Но я все никак не мог решить, по какой дороге идти. А идти хотелось во всех мыслимых направлениях, дабы не утомить себя отысканием единственно возможного. Поэтому, чтобы хоть как-то удовлетворить свое желание, я двинулся, как принято говорить, наугад; согласившись с единственным разумным ограничением, — обходить стороной проспекты и широкие улицы, — я доверился заманчивым посулам слепого случая. И все же, нечто похожее на тягу к близким местам увлекло меня к тем кварталам, что издавна внушают мне почтение и чьи названия всегда вспоминаю с охотой. Нет, речь идет не о родном квартале — столь знакомом пространстве моего детства — не о его и поныне загадочных окрестностях, близких и далеких одновременно, о которых столько приходилось слышать, но которые все не доводилось увидеть. Казалось, что там, где кончается квартал, берет начало другой, потусторонний мир, оборотная сторона знакомого и близкого, столь же загадочная, как подвал в нашем доме или мой собственный, недоступный глазу скелет. Дорога привела на перекресток. В тихом спокойствии души я стоял и вдыхал ночь. Быть может, то моя усталость стерла очертания незатейливой окрестности. Подобная всем другим, она казалась призрачной. При виде улицы низеньких домиков сперва подумалось о нищете, но внезапно меня осенило радостью. Улочка была самым воплощением счастья и нищеты. Вокруг тихо; на углу чернеет смоковница; воротца, возвышавшиеся над длинной линией стен, сливаются с бесконечной мглой ночи. Тропа обрывается над улицей, первозданной глинистой улицей еще не завоеванной Америки. В конце, поросший травой, переулок уводит на Мальдонадо. На серых комьях земли розовый коврик не отражает луну, но сам словно излучает мягкое свечение. Ничто не выразит нежность лучше, чем этот розовый свет.

Я стоял и смотрел окружающую простоту. Похоже, подумал вслух: «Так же, как и тридцать лет назад...» Вспомнил, что для других стран это ничтожный срок, а для нашей, и вовсе забытой части света — далекое прошлое. Где-то пела птица, — мной овладело крошечное, с птичку размером, умиление; и точно, среди той головокружительной тишины — ни звука, только неумолчный стрекот сверчков. Обретя плоть, незамысловатое «сейчас тысяча восемьсот такой-то...» уже не было сочетанием прилительных слов. Казалось, я умер и превращаюсь в чистое сознание мира; у науки оно вызывает безотчетный страх, а метафизике представляется полной очевидностью. Нет, нет, мысли, будто мне однажды приходилось погружаться в эти воды времени, не было и в помине; скорей закралось подозрение, будто я улавливаю непостижимый, а то и вовсе отсутствующий смысл невообразимого слова «вечность». Только потом я понял, что мне выпало пережить.

Я бы сказал так. Между двумя событиями — тихой ясной ночью, деревенским запахом жимолости, первозданной глиной, и ночью, запахом и глиной столетней давности нет прямого сходства; без натяжек и оговорок, то было одно и то же событие. Стоит лишь нам ощутить эту тождественность, как время покажется иллюзией, ибо для его уничтожения достаточно, чтобы настоящее невозможно было отличить (или отделить) от его подобия в прошлом.

Очевидно, таких ощущений в человеческой жизни не так много. Самые примитивные из них — физическая боль, наслаждение, погружение в сон, в музыку, страсть и апатия — вовсе безличны. Вот мой предварительный вывод: при таком однообразии жизнь не может не быть бессмертной. Но и в однообразии нашей жизни нет уверенности, ибо если чувство времени легко опровергнуть, понятие времени — с его неотъемлемой идеей линейности — куда трудней. Таким образом, в исповедальной робости этих строк скрыт озноб души, а в пережитом опыте — озарение духа, словно намекающее на вечность, которую щедро мне подарила та ночь.

Необходимость придать жизнеописанию вечности определенный драматизм вынудила меня допустить ряд неточностей: скажем, выразить в пяти-шести именах то, что вынашивалось веками.

### Примечания

Платон Афинский (427-347 до н. э.) — древнегреческий философ, создатель традиции философского диалога.

Плотин (204-270) — греческий философ-платоник, основатель неоплатонизма, автор «Эннеад».

Унамуно Мигель де (1864-1936) — испанский философ-экзистенциалист, писатель, поэт.

Уайтхед Альфред Норт (1861-1947) — англо-американский логик, математик и философ-платоник.

Бредли Френсис Герберт (1864-1924) — английский философ-неогегельянец.

Рассел Бертран (1872-1970) — английский философ-неореалист, логик и математик.

Св. Иреней (120/140 - 200/203) — христианский богослов, епископ Лугдунга (Лиона), автор ряда сочинений против гностиков.

Дейссен Пауль (1845-1919) — немецкий историк философии, иррационалист, ученик Шопенгауэра.

Шаид Фрай Педро Малон де (1530-1590) — испанский писатель и теолог-мистик.

Шопенгауэр Артур (1788-1860) — немецкий философ-иррационалист, основоположник философского пессимизма.

Китс Джон (1795-1821) — английский поэт-романтик.

Абу Бакр ибн Туфейль (1110-1185) — арабский писатель, врач, астроном и философ.

Св. Августин Аврелий (121-180) — крупнейший христианский теолог, основоположник западной патристики.

Джон Донн (1572-1631) — английский поэт-метафизик, представитель английского барокко.

Св. Паулин (353-431) — христианский теолог и епископ.

Сведенборг Эммануэль (1688-1772) — шведский математик, инженер, астроном и философ-мистик.

Альберт Великий (1193-1280) — немецкий философ-аристотелианец, теолог-доминиканец.

Боэций Анлий Манций Торкват Северин (480-524) — римский государственный деятель, философ-платоник.

Пелагий (ок. 360 - после 418) — основоположник еретической доктрины, отрицавшей идею предопределения и первородного греха.

Цвингли Ульрих (1484-1531) — представитель швейцарской Реформации.

Эриугена Иоани Скот (810-877) — ученый-монах, философ-неоплатоник.

Тит Лукреций Кар (99-55 до н.э.) — римский поэт и философ-эпикурец.

Эмерсон Ральф Уолдо (1803-1882) — американский философ и богослов, писатель, основоположник трансцендентализма.

Сатаяна Джордж (1863-1952) — американский философ и писатель.

*Перевод и примечания Ивана Петровского*



*Кн. Сергей ЩЕРБАТОВ*

## ХУДОЖНИК В УШЕДШЕЙ РОССИИ

*Имя князя Сергея Александровича Щербатова (1875—1962) — сына первого выборного московского городского головы — практически неизвестно современному читателю, как мало кому было оно известно и при его жизни. Щербатов пробовал свои силы в живописи и дизайне, не чуждался архитектуры, много занимался разного рода организаторской деятельностью — но такой, которая чаще всего была не на виду, и в этом отношении ему, конечно, не сравниться ни с Дягилевым, ни с Грабарем.*

*Почти вся его жизнь прошла «около искусства», которое он любил до самозабвения и для которого сделал (по самым строгим оценкам) немало. На закате своей долгой жизни, во Франции, ему захотелось рассказать о том, что он видел и слышал и передумал за свою жизнь. Получилась книга под эгзегическим названием «Художник в ушедшей России», публикацию глав из которой начинает наш журнал.*

*Значительность этих мемуаров читатель оценит и без нашей указки, хочется лишь подчеркнуть одну особенность мемуариста.*

*Князь Щербатов имел полное право проклинать варваров, обративших в прах и его личное, воистину драгоценное собрание культурных ценностей, и многое из его деятельности — в Третьяковской галерее и Румянцевском музее. Но он остался — по крайней мере, в своей книге — спокойным свидетелем. Он честно попытался разобраться в психологии люмпена, который «хочет красивого», презируя это «красивое» («буржуйское добро») на словах и уничтожая его, когда оно в чужих руках.*

*Щербатов не мог не оказаться в эмиграции хотя бы в силу своего социального положения: для него «пора топора» наступила сразу же. Но, потеряв все, он сумел найти в себе силы, чтобы продолжить работу на благо русского искусства и, наконец, написать мемуары — лучший памятник самому себе и своему времени. В Италии и во Франции Сергей Щербатов всегда думал о России и судьбах русского искусства. Поэтому сегодня, в жестокое и прозаическое время, так дороги нам написанные им страницы, ибо обращены они к нам — оставшимся здесь.*

### Глава III

К Москве я был привязан крепко и традициями и моей любовью, нежной и глубокой к этому столь обаятельному в те времена городу, единственному в мире по особому и трудно описуемому шарму. Только Константинополь и Севилья, во многом схожие с Москвой, дали мне некоторое ощущение, подобное тем, которое давала Москва. Все русское мое нутро питалось Москвой. Чем более с годами в художественном сознании отстаивались понятия о подлинной самобытной красоте тех или иных явлений и образов (а сколько в прежней Москве было самобытного), тем глубже я ценил все то, что в Москве было необычайного и единственного по красоте, прелести и живописности, не только официально

могущих быть признанными в смысле исторических памятников мирового значения, но не всеми, кроме художников, угадываемых.

Наряду с этим и наряду с очень богатой сферой музыкальной и литературной, в сфере пластического искусства в Москве не было художественных флюидов, нужных для развития имевшихся в ней национальных молодых художественных сил. В моем быту эти флюиды отсутствовали почти полностью.

Почему их не было? При таком богатстве русской музыки и после столь великого культурного национального дела Павла Михайловича Третьякова (основателя Третьяковской галереи), проложившего путь для художественного развития в Москве. Почему, с одной стороны, узкий консерватизм, обскурантизм, шовинизм, с другой стороны, наряду с этой косностью, увлечение новинками французского искусства с его завораживающей москвичей модой — пряной, соблазнительной и столь часто сбивчиво опасной? Это сложный и глубокий вопрос, связанный со всей установкой нашей национальной общественной жизни, художественной культуры, преподавания и нашего отношения к Западу, со всем, что в этом было непродуманного, неуглубленного, поверхностно-легкомысленного. Отсюда, наряду с указанным шовинизмом и беспомощным консерватизмом, отсутствие подлинной динамики в национальном творчестве со всем, что в нем имеет быть преемственного и наряду с этим творчески живого.

Вся история искусства свидетельствует о взаимных влияниях живописи одной страны на другую: фламандской на итальянскую и обратно, итальянской на испанскую, французскую и т. д., но вряд ли где-либо, кроме как в России, имело место такое раболепство пред чужим, такая недооценка своего, такое впрямь незнание своего, такое пренебрежение к голосу крови, к великим традициям старого, сложного по своему внутреннему составу — востоко-итало-русского, и все же русского по духу искусства. Подчас незнание и грубое, тупое непонимание значения величия того, что создано было в веках народом, шло рука об руку с поверхностным культом всего чужого, нового, в силу этой новизны интригующего и ослепляющего.

В стране, не имевшей своего Ренессанса, но имевшей столь великое Византийское наследие, развившейся на иных, по сравнению с Европой, путях, с уже столь потерпевшей насилие культурой, но со своей природой, со своим особым человеческим ликом, с прекрасным самобытным народным творчеством, талантливейшими кустарями, с величайшими национальными сокровищами искусства, казалось бы, нужно было сугубо бережно вести художественное воспитание чувства и глаза и художественного сердца, а не бросаться в авантюру, нередко заражаясь чужеземным авантюризмом, не отличаемым от того, что чужеземное может дать ценного и нужного, будь оно осторожно и мудро осознано и творено.

Тема эта глубокая и сложная и здесь не место развивать ее.

С вышеуказанным связана была в России и личная, нередко весьма печальная судьба наших русских художников, что особенно грустно.

Почему была поручена роспись — и за огромные деньги — русским купцом С. А. Морозовым в его столовой в Москве Морриссу Дэнису (парижскому художнику), написавшему ужасные по слащавости фрески, а не нашему поэту, благородному художнику Мусатову? Ведь у этого физически обездоленного, маленького горбача был подлинный декоративный талант и большое благородство цвета; его композиции из эпохи кринолинов, в обстановке русских усадеб, с их парками и водоемами, отличались своим особым стилем и ничего не имели от шаблона и подражательности. Русские по духу, они были пропитаны подлинной поэзией. Или как не обратиться к тому же столь русскому по духу и чувству Рябушкину, столь же художественно отображавшему крестьянский быт, как и боярскую жизнь («Моление в церкви» — Третьяковская галерея), с его самобытным талантом и чувством! Или, наконец, как было обойти Врубеля, которого, по словам другого купца, московского мецената, последний «в рублях держал», не смотря на его гениальность!

Как не создавать было конкурсов, не оживлять национальную жизнь, при столь огромных материальных возможностях и затратах на импортное, чужое

искусство. Как не вспомнить наших древних русских князей-меценатов, гордившихся своими Рублевыми и Дионисиями!

Чем может стать национальное дело, несколько позже доказал расцвет нашего театра, оперы и балета. Но впоследствии вместе с декорациями и костюмами превратилось в прах все лучшее, что сделали наши лучшие художники. Неудивительно, что театральные демонстрации за границей создали мнение, что ценность русского искусства, главным образом, если не исключительно, в области балета и оперных постановках, — искусства, подладившегося под французское, нередко под самое крайнее по стилю.

Были отдельные ячейки, где процветал культ коллекционерства.

Было отчасти снобистическое, отчасти искреннее, но не глубоко культурное увлечение искусством среди новых меценатов нового класса «передового купечества», преклоняющегося перед парижскими течениями в живописи и притом (за исключением П. Харитоненко, собиравшего за огромные деньги Мессонье и картины отживающей школы Барбизонцев) пред течениями самыми новыми и даже крайними.

Все это носило весьма специфический характер — «московский», своеобразный, и мне лично не всегда симпатичный. Много было в этом провинциализма и, несмотря на кажущуюся утонченность, непродуманного, непрочувствованного, наивного и далеко не непосредственного, а потому далеко не всегда искреннего. Что было в этом от подлинного увлечения и интереса, и сколько в этом было показного, похвальбы, желания порисоваться и «эпатировать» — сказать было не всегда легко. Явление это было сбивчивое, как и много было сбивчивого в этом классе «передового» московского купечества.

Что-то глубоко коробило в этом преклонении перед экспортированными из Парижа, светоча мира, образцами «подлинного и великого искусства» в назидание примитивной, провинциальной, отсталой Москве, между тем как именно в этом и был величайший провинциализм, недостаточно развитое национальное сознание, непонимание настоящей культуры и серьезных культурных заданий, не говоря уже о желании играть роль и хвалиться своими возможностями.

Оргия, устроенная по поводу купленной за огромные деньги и очень плохой картины Бенара «Pègicintùms» (обнаженная женщина, возлегающая среди горящих канделябр), бывшей предметом чествования во дворце Михаила Абрамовича Морозова, наделала много шума. Ходили на преклонение этому «шедевр», о котором теперь стыдно вспоминать.

Во всей силе своего таланта и вдохновения и с глубокой душевной горечью выступил на банкете, как мне рассказывали, с протестом против столь позорной переоценки чужого искусства Врубель, величайший художник из всех, с которыми пришлось мне встречаться.

Показательным для Москвы и одним из самых ярких явлений в ее художественной жизни было собрание Сергеем Ивановичем Щукиным своей картинной галереи французской — только французской живописи. Масштаб этого задания был поистине огромный и по-московски широк.

Небольшого роста, коренастый, с хитрыми умными глазками, необыкновенно живой и, несмотря на то, что был заикой, чрезвычайно говорливый, — Сергей Иванович привлекал и заражал всех своим горячим темпераментом, который он изливал в своей страсти коллекционера. Тут он достигал подлинного пафоса и убеждал своей искренностью и даже жертвенностью. Искренность этой страсти была несомненна, и это подкупало.

Насколько отношение к самим произведениям искусства, а не к «идее их собирания», и их внутренняя оценка были искренними, — это подлежало нередко сомнению.

Думается, что, попадая в Париж, куда Щукин ездил ежегодно и откуда он вывозил всякий раз очень ценные, нередко первоклассные картины (у него были лучшие Гогены, хороший Ренуар, Пювис дэ Шаванн, приобретенные до увлечения крайними течениями), он не столько руководствовался внутренней потребностью избрать для себя на основании личного критерия, личной искренней оценки и непосредственного чувства ту или другую вещь, сколько учитывал зна-

чение ее на основании признания ее качеств и значительности в художественных и художественно-торговых сферах Парижа.

Поскольку он в этих случаях сталкивался с законами художественной биржи, с ажиотажем и подчас грубейшей эксплуатацией видного коллекционера-толстосума из Москвы парижскими торговцами, постольку Щукин делался нередко жертвой, переплачивая огромные деньги за модный товар «à la page». То, что он называл «случаем», было обычно весьма относительно. Наряду с этим, в своем служении идее новатора и передового коллекционера, Щукин сознательно жертвовал собой, и эта жертвенность, причинявшая ему страдания, проявлялась подчас даже в комической форме.

— Сергей Иванович, — воскликнул я раз (Щукин был самолюбив и не любил критики купленных им вещей). — Ну, зачем вы купили эту, простите, плохую вещь Матисса, да еще за такую цену: 45 000 франков!

Панно модного в то время уже Матисса было действительно невыносимое по наглости, несмотря на несомненный талант этого неровного художника с его озорством, но часто с благородным чувством подлинного живописца.

— А вы знаете, — как-то искренне признался мне Щукин, — я наедине и сам ненавижу эту картину, неделями борюсь с ней, ругаю себя, что купил ее, но только за последнее время чувствую, что она начинает меня одолевать!

Такое единоборство с явно навязанной ловким торговцем-рекламистом вещью, всю «сокровенную прелесть» которой бедный Щукин считал недоступной для него самого, но которая так высоко котировалась, показалось мне столь же трогательным и смешным, сколь и весьма показательным. Думается, со многими холстами Пикассо он переживал то же самое, платя дорого и страдая сам в глубине души, заставляя себя ими восхищаться и вызывать восхищение у «отсталых» москвичей.

Не лишенный иногда чутья, Щукин выявлял этим весь свой провинциализм.

Но как бы то ни было, собрание Щукина было явлением весьма значительным: оно было гордостью Москвы наряду с собранием Ивана Абрамовича Морозова, первоначально собиравшего картины русских художников, а потом тоже при мне начавшего собирать исключительно французскую живопись.

Но и у него, имевшего хорошие вещи, не обошлось без печального недоразумения, основанного на снобизме и погоне за модой. Я уже упомянул о росписи его столовой, для которой был приглашен Моррисс Дэнис, пользовавшийся в то время еще большой славой в Париже (впоследствии померкшей), но опасный в силу очень неровного вкуса и впавший в нестерпимую пошлость и слабость. Последние он проявил полностью в росписи упомянутой столовой Морозова (можно себе представить, как она была оплачена). Редко приходилось видеть большую пошлость, чем эта живопись цвета розовой карамели. Трудно представить, чтобы хозяин в этом не смог сам убедиться и не понять, что за доверчивость к парижскому мастеру он награжден не по заслугам\*.

Я любил посещать богатейшее собрание Щукина и беседовать с владельцем, когда никого не было — с глазу на глаз, что позволяло искренне делиться мнениями и высказывать свободно мои мысли и недоумения.

По воскресениям я иногда тоже ходил к Щукину, интересуясь уже не столько картинами, сколько контактом с молодым художественным миром Москвы.

В галерее с утра толпились ученики Школы Живописи и Ваяния, критики, журналисты, любители и молодые художники.

Тут Сергей Иванович выступал уже не в качестве хозяина, а в качестве лектора и наставника, поясняющего, руководящего, просвещающего Москву, знатока и пропагандиста.

Перед каждым холстом он читал лекцию о той или другой парижской знаменитости, и доминирующей идеей была *ex occidenteux*.

\* То и другое собрание большевиками было объединено в одно целое под названием «Музей французской живописи». Бедный Щукин еще успел узнать до своей кончины в Париже, что его коллекция большевиками разбазаривается, а ценность ее не подлежит учету.

Перед холстами художников крайнего течения молодежь стояла разинув рты, похожая на эскимосов, слушающих граммофон.

Щукинские лекции и восторженные пояснения новых веяний живописи Парижа имели последствием потрясение всех академических основ преподавания в Школе Живописи, да и вообще всякого преподавания и авторитета учителей; и вызывали бурные толки, революционировали молодежь и порождали немедленную фанатическую подражательность, необузданную, бессмысленную и жалкую. «Расширяя горизонты», это парижское импортное искусство, как зелье, кружило голову, впрыскивало опасный яд, заражавший молодежь в учебные годы в Школе, а молодых художников окончательно сбивало с толку.

Серов однажды в беседе со мной поделился своим ужасом от влияния, оказываемого импортированными из Парижа картинами крайних направлений, на его учеников: «После перца школьные харчи не по вкусу, хоть бросай преподавание, ничего больше слушать не хотят. Каждый «жарит» по-своему, хотят догонять Париж, а учиться не желают. Уйду! Мочи нет! Ерунда пошла!..»

Некоторым противовесом могло бы явиться в Москве собрание картин исключительно русских художников устаревшей школы, ярким ненавистником всего иностранного и лютым врагом всех новых течений (объединяемых общим термином «декадентщина») Иваном Евменьевичем Цветковым, обладателем роскошного дома, выстроенного Васнецовым. Но душной вкус этого шовиниста компрометировал, а не спасал национальное дело.

Другим типичным московским явлением этого порядка был купчик-меценат Николай («Николаша») Рябушинский из очень богатой семьи московских промышленников.

Он играл роль «эстета», издавал очень роскошный художественный журнал «Золотое руно», учредил выставку картин новейших направлений «Голубая роза» и выстроил себе виллу в Петровском парке «Черный лебедь».

Завитой, с пышными кудрями и выхоленной бородой, упитанный, с заплывшими масляными глазами, розовыми щеками, он мог бы сойти за обычного «купчика-голубчика», кутилу, обедавшего ежедневно в «Эрмитаже», причем его стол всегда был убран орхидеями, — если бы в нем не была заложена все же какая-то сумбурная, но несомненная талантливость. Эта талантливость расплескивалась по-московски в проявлениях всяких экстравагантных затей с ориентацией на красоту. Последнюю он чувствовал интуитивно, подчас довольно метко, хотя и будучи лишен подлинной культуры, а потому и подлинной утонченности, которой он похвалялся.

«Черный лебедь» с расписанным художником Кузнецовым (работавшего в стиле нео-примитивов) фризом в холле-музее был символом всего внутреннего содержания этого молодого и шалого мецената, сыплющего деньгами и не останавливающегося ни перед любым капризом, ни перед любой затеей. Отравленные стрелы, вывезенные из диких стран, вазы и жуткие драконы с Майорки, русская графика, холсты покровительствуемых «передовым меценатом» юных художников левых течений, декадентская богатая мебель и роскошная опочивальня, пахнувшая экзотическими духами, где владелец-сибарит, как некий римлянин времен упадка, возлегал с постоянно сменяющимися любовницами и сменяющимися женами.

— Я люблю красоту и люблю много женщин, — заявил он мне при первом (и единственном) моем посещении виллы этого московского Петрония.

В саду строилось помещение для львов и тигров, с которыми Рябушинский, по его словам, чувствовал некую «соприродность», но водворить которых в заготовленные клетки ему не удалось в силу запрета полиции...

При входе маячил большой бронзовый бык, водруженный над усыпальницей «mon tombeau», ожидавшей прах пока что жизнерадостного владельца.

На Рождество в саду горела многочисленными электрическими лампочками елка под снегом. На этом ночном зимнем garden party раздавались в подарок художественные предметы и ювелирные драгоценности.

«Золотое руно» так дорого стоило, что долго не выдержало. Недолго выдержал и сам Рябушинский.

На ускоренной распродаже вещей «Черного лебедя» я купил чудесную вазочку персидской эмали XIV века (по сапфировому фону черный орнамент).

Мое положение в купеческой среде было странное и необычное. Я был студентом и еще не художником-профессионалом, которые охотно приглашались московскими «Медичи», и не всегда к их благополучию, вовлекались в водоворот роскошной, кутежной жизни. Ни в какой иной среде в Москве они и не могли бы получать заказов, но иногда им приходилось считаться с закоренелым атавистическим кулачеством расчетливого и наряду с тем безмерно расточительного купечества. «Это было то время, когда я Врубеля в рублях держал...» Я уже привел выше эти весьма характерные слова одного купца-мецената. Это «держание в рублях» явление было нередкое, но все же эти рубли платились, и то хорошо для художника, из которых многие нуждались и часто жили впроголодь.

Не будучи зачисленным в разряд художников, я, с другой стороны, был представителем иной среды, иного «класса», а в то время разграничение между купеческим и дворянским сословием соблюдалось еще строго, столь же в силу бытовых традиций, сколь и в силу директив свыше.

Первое было до известной степени понятно. Старая культура с ее навыками, обычаями, бытом была иной по тональности и диапазону, чем новообразующаяся — интересная, но еще весьма сумбурная, неустойчивая и во многом сбивчивая и парадоксальная в своих проявлениях.

Но второе было ошибкой столь же в социальном, сколько и в политическом отношении, и ошибка, чреватая тяжкими последствиями. В момент политического кризиса затаенная обида, горечь и озлобленность сказались ярко. Вспомнилось, что даже на большие официальные балы московского генерал-губернатора вел. кн. Сергея Александровича купечество не допускалось (исключение составляли две красавицы-сестры М. К. Морозова, типа портретов Рубенса и Е. К. Вострякова, в стиле английских портретов: говорили, что обе были побочными дочерьми полицмейстера Козлова).

Озлобленность купечества на дворянство получила яркое выражение в знаменательной и непростительно грубой речи старшего из братьев Рябушинских во время революции, в которой он отпраздновал с явным злорадством тризну по дворянству, имеющему быть смененным купечеством, «солью земли Русской». Все, что было сотворено русским дворянством на протяжении веков на этой русской земле и для нее, — было забыто или обойдено молчанием.

Но популярность, личное обаяние, простодушие и бесконечная доброта моего отца были столь велики, что в его отношениях с купеческим миром не только все сглаживалось и забывалось, но он в этой среде всегда был желанным гостем, правда, в среде, им самим ограниченной. Конечно, в данном случае играло роль и его особое положение, как бывшего первого избранного Москвой всесословного Городского головы, и вся его деятельность и популярность, как коренного москвича. В силу этого, а также в силу моего личного живого интереса к искусству, в свою очередь интересовавшего любителей искусства в купеческой среде, и я был их желанным гостем, скорее в виде исключения, и пользовался большим радушием.

У моего отца до старости сохранилось какое-то необычайно свежее, почти юношеское любопытство к новым, интересным явлениям жизни; он любил посмотреть, что кругом делается, заглянуть в чужую жизнь.

Таким интересным явлением был вновь выстроенный дворец, огромный, необычайно роскошный, в англо-готическом стиле, на Спиридоновке — богатейшего и умнейшего из купцов Саввы Тимофеевича Морозова, тоже крупнейшего мецената. Я с отцом поехал на торжественное открытие этого нового московского «чуда», водруженного на месте снесенного прелестного особняка знаменитой семьи Аксаковых, светоча русской старой культуры.

На этот вечер собралось все именитое купечество. Хозяйка, Зинаида Гри

горьевна Морозова, бывшая ткачиха, женщина большого ума, с прирожденным тактом и нарядной внешностью, ловкая, хитрая, острая на язык и не лишенная остроумия, равно как и художественного чутья, с черными умными и вкрадчивыми глазами на некрасивом, но значительном лице, — принимала с поистине королевским величием, вся увешанная дивными жемчугами.

Тут я увидел и услышал впервые молодого в то время, еще довольно застенчивого Шалапина, тогда только восходившего светила, и Врубеля, исполнившего в готическом холле отличную скульптуру из темного дуба и большой витро «Фауст с Маргаритой среди цветов». В этих работах чувствовалось тончайшее проникновение в стиль эпохи. Все же этот витро с Фаустом, где изумительно красиво были исполнены белые лилии, я любил гораздо менее других произведений мастера. Что-то в нем было от афиши Муха, от влияния которого он скоро отделался (венгерский художник, тогда славившийся). Среди блестящей публики Врубель тогда мне показался очень скромным и растерянным. Это была первая моя встреча с этим замечательным человеком, о котором подробно скажу ниже.

На почве интереса к искусству я с Саввой Морозовым довольно близко познакомился. Он пригласил меня в свое имение Горки (где жил и умер Ленин). Грубый по внешности, приземистый, коренастый, с лицом типичного калмыка, Морозов поражал меня блеском ума и богатством заложенных в нем возможностей. Наизусть он цитировал целые страницы поэтов, обожал театр и щедрой рукой сыпал деньги на устройство нового первоклассного художественного театра, которым славилась Москва. В нем были данные и дарования, которые могли бы сделать его схожим с Лоренцо Магнifico Медичи (при столь непохожей на него внешности), если бы он остался крупным дельцом и промышленником и, наряду с этим, меценатом, располагающим огромными средствами. К сожалению, его погубили и довели до самоубийства политика и увлечение крайне левыми течениями и идеями.

Иного, более старомодного склада, тоже московский меценат, — был милейший добродушнейший Павел Иванович Харитоненко, очень любивший моего отца.

Я довольно часто бывал у него в его роскошном особняке за Москва-рекой, где все было на широкую ногу, добротно и довольно безвкусно.

Харитоненко обожал французскую живопись, но презирал современное искусство и считался в художественном мире «vieux roturier». Он тратил огромные деньги на крошечные Мэссонэ, потолок его гостиной был расписан Фламэнгом. Увлекался он и пейзажами Барбизонцев, и лишь под конец жизни стал приобретать и русскую живопись.

Хотя к его собранию живописи передовые меценаты относились несколько свысока, но искренней, интимной любви к картинам «для себя» в нем было больше, чем у них, и я очень ценил в нем эту искреннюю, подлинную любовь к своим приобретениям. Под конец жизни она вся излилась на собирание древних русских икон, которым увлекалась более его самого его жена Вера Андреевна.

Незадолго до революции Харитоненки пригласили меня в свое имение Натальевку Харьковской губ., чтобы полюбоваться прелестной церковью, выстроенной в парке, как священное хранилище целого музея изумительных икон древнего письма лучшей эпохи.

Такую любовь к своему детищу — коллекции икон музейного достоинства, менее религиозно-сердечную, но более научно-углубленную, мне пришлось встретить у большого коллекционера Ильи Семеновича Остроухова, о котором подробно (он этого заслуживает) расскажу ниже.

У Харитоненки я впервые познакомился с бывшим послушником Афонского монастыря и начинающим быть знаменитым художником Малявиным. Он писал большой портрет Павла Ивановича с сыном, писал он его странным способом, так как натурщики были нетерпеливые. Зарисовывая отдельно нос, глаза, рот, характерные особенности, он по этим документам составлял портрет на холсте. Вышло довольно неудачно.

Из роскошной гостиной с золоченой мебелью Обюссон, через залу, где на изысканном вечере, на эстраде, убранной цветами, танцевала прима-балерина Гельцер, Харитоненко, по желанию моего отца, раз провел его и меня к своей матери, никогда не показывавшейся в обществе.

Сморщенная старушка в черном повойнике, живой портрет Федотова или Перова, пила чай за своим самоваром в довольно скромной спальне с киотом и портретом рослого крестьянина в длиннополом сюртуке — ее покойного мужа, умнейшего сахарозаводчика и филантропа, создавшего все состояние Харитоненков.

Не забуду этого впечатления и контраста, меня поразившего. В этом была Москва и два исторических момента ее жизни, две эпохи. Многое болезненное, несурное, сумбурное, но любопытное и значительное объясняется этим контрастом, этим переломом, не органическим, но молниеносно быстрым, чреватым большими опасностями от перехода одной установки жизни к другой. Новое поколение передового купечества вливалось в общественную жизнь, отрываясь от старого быта и традиций, в погоне за культурой Запада, с подчас искренним стремлением к новейшим ее достижениям.

---

Несмотря на все это любопытное меценатство, у москвичей купеческогословия (в дворянстве оно не наблюдалось, да и не могло развиваться в силу разницы материальных возможностей и косности во вкусах и традициях) не ощущалось благоприятных жизненных флюидов для выращивания и серьезного углубленного развития художественных сил, по крайней мере в области изобразительных искусств.

Они проявились в сфере очень специальной, которой суждено было сыграть большую роль, а именно в сфере декоративных работ при театре.

Театр, к которому в Москве во все времена наблюдалось большое влечение, занял в художественной жизни того времени совершенно исключительное место. На глазах (в детстве я любовался добросовестно-скучными декорациями Вальса) произошла ломка всех устаревших традиций в постановках оперы и балета, в костюмах и декорациях, и работа в театре стала национальным делом, поистине крупным, весьма самобытным и имеющим международное значение. По сравнению с русским театральным искусством, Запад оказался весьма отсталым. Каждая новая постановка была для меня художественным праздником, и я гордился за русское искусство, гораздо менее меня радовавшее на выставках, усматривая именно в этой сфере наиболее свежие подлинные достижения подлинно русских талантов. Театр много дал для русского искусства, но многое отнял у «чистого» искусства.

Хотя в секторе, противоположном тем, в которых либо культивировалось подражательное Западу искусство, либо последними весталками поддерживался огонь на жертвеннике передвижничества (искусство сюжетное, порабощенное социальной идеологией и ограничивавшееся жанровыми сюжетами, обычно скучное и унылое в смысле живописном, хотя некоторые художники первой эпохи передвижничества и достигали изумительной выработки, подобной мелким голландским мастерам), наблюдался культ национально-русского, но, к сожалению, это «русское» было псевдонациональным и псевдорусским.

Такого рода деятельность по воссозданию русского национального стиля была в мое время сосредоточена в двух главных центрах. Одним центром было Абрамцево, имение Саввы Ивановича Мамонтова, другим было имение Талашкино, Смоленской губ., княгини Марии Клавдиевны Тенишевой.

В силу моего недоверия к художественной продукции в псевдорусском стиле, я уклонялся под разными предлогами от повторных любезных приглашений княгини Тенишевой приехать к ней в Талашкино. Кривить душой я не хотел и могу откровенно признаться, что никогда не кривил в оценке произведений искусства, быть может, и навлекая на себя подчас обиды всегда столь самолюбив-



вых художников и коллекционеров, и не хотелось мне обижать Тенишеву, всегда так мило ко мне относившуюся.

По прекрасному изданию с репродукциями в красках Талашкинских работ, исполненных в мастерских под руководством княгини, мне подаренному последней, наряду с некоторыми скатертями, все же очень тонко и со вкусом исполненными, я ознакомился подробно с искусством Талашкина и увидел, что не ошибался.

Жалею, что мне не удалось побывать в Абрамцеве, но лично с Саввой Ивановичем я встречался нередко и чувствовал большое влечение к этому самобытному и крупному и талантливому человеку.

С княгиней Тенишевой я часто встречался в Париже уже после разгрома всех ее Талашкинских художественных учреждений, на закате ее яркой и интересной жизни.

Это была одна из самых незаурядных женщин, с которыми пришлось мне в жизни встретиться. Неустойчивого и даже несколько взбалмошного нрава, широко образованная и начитанная, властолюбивая, с большими запросами и безусловно с искренней любовью к искусству, она была не только выдающейся меценаткой, субсидирующей лучший художественный журнал «Мир искусства», собиравшей картины русских и иностранных мастеров, помогавшей щедро художникам, но и крупной общественной деятельницей, и, кроме всего этого, серьезной работницей в искусстве в очень специальной области. Она очень основательно изучила историю и технику эмали и специализировалась в работах по эмали.

— Я вам покажу, — сказала раз мне Тенишева, — один предмет, который дороже всех у меня имеющихся. Я бесконечно тронута, что археологическое Общество мне его подарило — это уник, поистине почетный дар. Знаете, что это такое?

Это был черепок вазы с эмалью, местами сохранившейся и чудесной по цвету. Ни один археолог не мог определить даже приблизительную эпоху с лица земли исчезнувшей бесконечно древней культуры, от которой сохранилась в недрах земли разбитая ваза с той утонченной эмалью, секрет которой был утрачен и над которой Тенишева билась годами в своей лаборатории.

Серьезное и любовное отношение к своей сложной работе этой, блиставшей своими туалетами, своей нарядной внешностью, своими выездами, — в то время как она в качестве супруги комиссара русского отдела на международной Парижской выставке принимала весь Париж в своем роскошном отеле, — было весьма почтено и не носило никакого любительского характера. За свои заслуги перед искусством она была избрана почетным членом Общества Осеннего Салона.

Но, лишенная вкуса, она, к сожалению, никогда не смогла применить своих глубоких познаний и подлинного мастерства для осуществления какого-либо выдающегося художественного произведения.

Невозможность восхищаться ее произведениями и еще менее взятым ею направлением, как вдохновительницы и руководительницы крупного Талашкинского дела, столь дорого ей стоящего, несколько стесняла меня при личном контакте с Тенишевой, но беседы об искусстве с ней были всегда весьма интересными, и ее суждения, резкие и часто пристрастные, являлись обычно точкой отправления для самых живых споров, которые я любил, ценя ее ум и остроумие, а очень русская душа ее была для меня привлекательна. О многом мы грустили и многое мы оплакивали вместе на развалинах наших, во многом соприродных, жизней.

Княгиня Тенишева могла бы сыграть очень большую роль в жизни искусства, в силу недюжинной своей натуры, природной талантливости, организаторских способностей, огромных средств ее мужа и, наконец, в силу желания играть таковую роль, яркую и значительную, если бы уклон, и далеко не благополучный, в сторону увлечения псевдорусским, национальным стилем не продешевил ее кипучей деятельности.

С грустью надо заметить, что мало кто из деятелей в России перенес столь

ко разочарований в людях, столько обид, столько неблагодарности и интриг, как эта женщина. Революция и преступные действия ею облагодетельствованных питомцев довершили трагедию ее жизни, отравили ее сердце болезнью, которая свела ее в могилу. Она оставила городу Смоленску прекрасный музей, со всеми собранными ею сокровищами искусства русской старины, судьба этого музея, в который она вложила свою душу, немало содействовала преждевременной ее кончине.

Мамонтов был человек бурный, и такой же бурной была его личная и общественная жизнь и его деятельность крупного мецената.

Купец, кулак, самодур и в полном смысле самородок, он был богато одарен умом и талантливостью.

В его художественной деятельности огромную роль сыграл художник Поленов. Барин, европейски образованный, много видевший, много путешествовавший и весьма культурный.

Эти два человека друг друга восполняли. Один — человек темперамента, интуиции, огромного размаха, со своим «моему нраву не препятствуй» и большими средствами. Другой — мягкий, очаровательный, тонкий, менее от природы талантливый, но культурой своей восполнявший многое, чем природа его не наградила.

Писал он приятные, тонко прочувствованные пейзажи, прелестные уголки Москвы и святые места Палестины, которые он все посетил с набожным чувством и которые он честно и иногда удачно запротоколировал. Не лишены и мастерства его скучноватые, академические композиции («Христос и грешница»). Реалистические, непретворенные, конечно, но с несомненными живописными качествами.

Любил он Россию всей душой и был центром особенного художественного мира. Поленов сильно влиял на Мамонтова, «обтесывал» его и пополнял то, что, за отсутствием наследственной культуры (отец Мамонтова был крестьянином), не доставало Савве Ивановичу.

Имение Абрамцево близ Москвы, по Ярославской ж. д., в котором Поленов и Мамонтов с окружавшими их самыми талантливыми художниками (Серовым, Коровиным, Головиным, Врубелем, Васнецовым, Нестеровым и др.) проводили лето, стало одно время самым живым художественным центром. Ставились живые картины, писались этюды с натуры, делались зарисовки в альбоме, находившемся в распоряжении всех художников и хранившемся, как драгоценная память, у дочери Мамонтова.

Мамонтов умел разжигать своим темпераментом художественную страсть у молодых тогда его окружавших художников, умел веселить, воодушевлять, забавлять и увлекать разными затеями, пока сам не затеял великое дело, основав свой театр (10 января 1885 г. в Камерном переулке в Москве) под названием Частной Оперы, для прославления своей любовницы г. Любатович, певицы, разрушившей его семейную жизнь.

Еще ранее, в доме у себя в Москве, Мамонтов ставил любительские спектакли («Снегурочка» Островского) необычайной красоты, в театре же его деятельность была опьяняющей и блестящей. Тут была и свежесте затеи, и новизна, и чуткость, талант и очень широкий диапазон. Привлекались лучшие силы, знаменитые итальянские певцы, тратились огромные деньги, заказы декораций и костюмов привлекали лучшие русские художественные силы, перешедшие впоследствии на служение Императорским Театрам (Коровин, Головин, Васнецов).

Наряду с этой интенсивной художественной жизнью была и жизнь разудалая, веселая, кутежная, с ресторанами, винами, цыганами, тройками, на широкий московский лад, во многом повредившая Врубелю, которого надо было беречь, как некую редчайшую ценность особого масштаба, иного, чем все остальные.

Наряду с живописью в Абрамцево процветало и прикладное древообделочное и гончарное искусство, под руководством Поленова, собиравшего по всей России образцы изделий кустарей из народа. Под руководством Поленова соч-

ное, своеобразное, талантливое народное искусство перевоплощалось в некий заурядный «поленовский» стиль, меня мало прельщавший, но все же неизмеримо более художественный, чем стиль Глобы — директора Московского Строгановского училища, зараженного нестерпимой безвкусицей в лженациональном стиле. При подчас хорошей технике, при наличии отличного материала, пред лицом чудесных образцов старинного искусства, изготавливаемые в этом роскошно обставленном училище предметы прикладного искусства оскорбляли глаз и русское чувство своим насквозь фальшивым стилем. Строгановское училище казалось мне всегда чем-то худшим, чем могила, оно было источником заразы, широко распространяемой и губительной. Жаль было больших средств, которые на него тратились.

Такой же фальшью дышало творчество художника Малютина, к несчастью, водворившегося в Талашкино у кн. Тенишевой и сильно повредившего ей в ее искреннем служении русскому искусству.

Жалко было видеть, как под влиянием того же увлечения псевдорусским «национальным» стилем, продешевлялось творчество таких талантов, как Врубель, призванного исполнять заказы по росписи балалаек, ларцов и разных предметов кустарного типа из дерева, что меня всегда огорчало за него.

Не избежал и Мамонтов этого влияния, хотя в его гончарной мастерской у Московской Заставы, где он жил после денежного краха и разрыва с семьей, исполнялись мастером Фроловым, под его наблюдением и по его указаниям, прекрасные гончарные работы с благородными поливами со скульптур Врубеля, которыми я очень любовался и некоторые из которых я приобрел.

Я любил навещать старика Савву Ивановича в его скромной мастерской у Заставы (где я заказывал все работы для устраиваемой мною выставки «Современное Искусство» в Петербурге, о которой скажу ниже). В память имения Абрамцево эта гончарная мастерская, где и жил Мамонтов, носила то же название. Мамонтов был в то время трагической фигурой. По приговору суда (его обвинили, не знаю справедливо или нет, в растрате денег Ярославской ж. д., председателем правления которой он состоял) он был лишен всего большого состояния и всех любимых собранных им произведений искусства. Он был в опале, потому бедного старика особенно трогал всякий знак внимания, всякое посещение и радовало его, когда ценили его работы, которые и в старости увлекали его. Все также он разгорался и оживлялся, когда речь шла о любимом его искусстве. Любил он рассказывать об интересной своей прошлой жизни, о театре, интересовался художниками и выставками, сам редко где показываясь, любил он и похвалиться своей ролью покровителя всего молодого, нового и свежего в искусстве и, со свойственным ему темпераментом, всячески ругал отсталых, косных, ничего не смыслящих в подлинном таланте официальных представителей художественного мира, жюри, судей, руководителей и вершителей судеб.

Ярким эпизодом в этом отношении явился инцидент на Новгородской выставке, для большого павильона которой были заказаны, по совету Мамонтова, большие панно Врубелю. Последние «за декадентство» были отвергнуты жюри. Пришедший в негодование Мамонтов на свои средства немедленно выстроил отдельный барак, где и выставил эти большие панно, весьма талантливо исполненные (Алеша Попович и Царевна Грез).

Увлечение национально-русским вне театра, где русский дух получал в чудесных постановках наших опер и балетов блестящее оформление, давало, как уже указал, в общем печальные результаты. Нарочитость, литературность в живописи, часто мишурная безвкусица, доходившая до дешевки, неумелая подражательность великому, народному, подлинному искусству были нередко оскорбительными.

Характерным примером псевдонационального надуманного ходульного русского стиля было творчество Малютина (к сожалению, бывшего в фаворе у кн. Тенишевой). Продукция его была, главным образом, декоративного порядка и применялась к прикладному искусству. Последнее в мастерской Талашкина выручало ткацкое искусство (скатертей), тонко и мастерски исполняемое деревенскими бабами.

Очаровательный художник, увы, рано умерший, Рябушкин являлся исключением как творец подлинно русского искусства, не говоря о крупной фигуре Нестерова (о котором будет подробно сказано ниже). Выдающимся представителем национального русского искусства был И. Я. Билибин. Несомненно, большой мастер в графическом и демонстративном искусстве (в серии народных сказок и былин) он был и художником сцены.

Как это ни странно, в его чрезвычайно аккуратно, протокольно внимательно по историческим документам исполняемых работах, он со своей суховатой техникой был сродни немецкому искусству. В расцветке, впадая в пестроту, он не проявлял подлинного живописного дара. Его искусство было более почтено, чем вдохновенно, но нельзя не отметить у Билибина большой изобретательности и фантазии в композициях разного рода.

Но, несомненно, самой яркой фигурой в секторе национального русского искусства был Виктор Васнецов. На нем я остановлюсь подробнее.

— Ну, какой я художник? Я просто маляр, — с довольно безвкусной рисовкой говорил о себе прославленный Виктор Васнецов. (Брат приятного пейзажиста с особой техникой Аполлинария.)

Но достаточно было немного знать его, чтобы не сомневаться, что никакого фрэйдковского комплекса (самоуничтожения) у него, конечно, не было. Да как он мог не считать себя выдающимся? Слишком много курилось вокруг него фимиама, начиная с прославлявшего его Саввы Мамонтова, выстроившего для него лично огромную мастерскую в своем имении Абрамцево, где, наряду со многими другими картинами, писались знаменитые богатыри, сидящие на конях Абрамцевской конюшни.

«Большому кораблю — большое и плавание». Плавание, выпавшее на долю Васнецова, было на редкость большое. Кому в наше время посчастливилось получить такой почетный заказ росписи стен огромного, роскошнейшего Владимирского собора в Киеве и икон иконостаса — работа, давшая славу Васнецову. Как скромнен в сравнении с этим был заказ Врубелю в небольшом Кирилловском монастыре в Киеве, так чудесно им исполненный.

Нельзя отнять у Васнецова и фантазии, и умения, и размаха, и даже частично вдохновения, сменявшегося подчас надуманностью. А, главное, надо признать полностью не только серьезное, но даже набожное отношение Васнецова к своей религиозной живописи. Он всегда молился перед началом работы, а это показательно. В этом он держался великих традиций наших иконников. «От видимого, молясь перед работой, я переносюсь к невидимому», — говорил Рублев. Да и внешность Васнецова, с его узкой длинной бородкой «святителя», вторила его подлинной религиозности.

Но так ли уж был велик «корабль», как велико было «плавание»?

Главное, основное и роковое неблагоприятное в религиозном искусстве Васнецова было противоестественное сочетание иконописного стиля с натурализмом, что внесло фальшь, неувязку и являлось органическим пороком его религиозной живописи, губило ее значительность, художественную цельность и ценность. Личного стиля Васнецов был не в силах выработать (у Врубеля он был)\*.

Когда я посетил в Москве мастерскую прославленного художника с неловким чувством необходимости высказываться, я пришел в восхищение от первоклассных икон лучшей эпохи (Новгород, XVI век), которыми она была заставлена.

«Как можно так писать, когда любишь такими сокровищами, или, вернее, к чему же сводится культ таких сокровищ и понимание и значения красы, если так пишешь, — подумал я, — какое художественное недомыслие, отсутствие чутья и проникновения».

Не всегда удачно проплывал Васнецов в своей живописи и между Сциллой слащавости и Харибдой ходульности. Первой не лишена и самая значительная

\* «Мне слышится интимная национальная нота, которую мне так хочется поймать на холсте и в орнаменте. Эта музыка цельного человека, не расчлененного отвлечениями упорядоченного, дифференцированного и бледного запада». (Из писем Врубеля.)

в соборе фреска Богородицы (приятной, вдумчивой и миловидной женщины) с красивым мальчиком (более чем Св. Младенцем), взмахивающим руками. Близкое соседство изумительной Оранты на Нерушимой стене в Софийском соборе в Киеве невыгодно для этого произведения Васнецова. Ходульностью отмечены его знаменитые богатыри, Грозная Святая Ольга и немало другого, да и в сентиментальной «Аленушке» немало перетянутости.

В живописи как таковой, пестрой расцветке без углубленного и связывающего общего тона, Васнецов не больше многих других наших живописцев заплатил дань неблагоприятному уклону русской живописи определенной эпохи, столь далекой от того, что так облагораживает живопись Франции, не говоря о старых мастерах.

Несколько базарной пестротой грешило многое и в его постановке столь глубоко мистической оперы, жемчужины русской музыки, «Град Китеж», требующей иной тональности, другого духа и стиля, — больше претворенности.

В Падуе, перед фресками Джотто и Мантенья, во Флоренции, перед фресками Беато Анжелико, перед нашими необычайной высоты фресками Новгорода, лучше о Васнецове не думать, но все же, снижая мировые масштабы, надо признать, что он внес посильную и не столь маловажную лепту в русское искусство, в определенный, во всяком случае, отрезок времени.

Указанная мною сбитость с определенного пути, при увлечении национально-русским, получившим лишь на сцене блестящее оформление, — весьма показательна. Если считать по праву величайшим русским искусством, ценнейшим в мировом масштабе и являющимся нашей национальной гордостью, — нашу иконопись, то за неимением у нас гения Джотто, явившимся переходным этапом в своем вдохновенном новаторстве после иконного стиля Италии, и за неимением гениев Ренессанса, расшатанность в поисках своего родного искусства становится понятной. Со всеми компромиссами, неумелыми заимствованиями оно представляло собой гибридное и часто фальшивое искусство. Врубелевский вдохновенный гений, частичные достижения Нестерова внесли индивидуальный элемент, не упрочив за собой соборного начала, могущего подвести общую основу для подлинного русского национального искусства.

Некоторые примеры, конечно не исчерпывающие содержания пестрой картины, которую представляло собою меценатство в России (я не касаюсь страсти коллекционерства антикварного характера, эклектического, непоказательного для моей темы), дают мне, кажется, уже ясное представление, по каким путям оно шло. По путям, а не по пути — и в этом был его основной дефект. Крупный меценат Лоренцо Магнifico Медичи, arbiter искусства, мудрый, весьма просвещенно-утонченный, был неким «Дуче» искусства Италии своей эпохи, сочетавшим культ античного искусства, вскормившим Возрождение, с покровительством всех новых устремлений и талантов, его окружавших, и благодаря его покровительству расцветавших. Он, наряду с Папой, давал тон, вторили ему многие: и церковь, и аристократия, и высшая буржуазия. Все движение сосредоточилось на культе своего родного искусства, растущего из глубоких национальных корней греко-итальянских, в своем родном климате.

Во Франции «свое» искусство («l'art et génie français») шло и развивалось также своим путем, издавна и неукоснительно. Сколько оно ни находилось бы под иноземными влияниями, как бы оно ни эволюционировало, каким бы многообразным оно ни было, с его взлетами и падениями, исканиями и заблуждениями, даже отравленное ныне снижающими его темными силами, оно носило и носит специфический французский характер. Эстетические, живописные традиции его заметны во всем.

Французы, со свойственной им национальной гордостью и сознанием (часто преувеличенно-шовинистическим) своего превосходства, питаются культом своего родного французского искусства, покупая его почти исключительно, не жалея денег, любя его и всемерно его превознося. Среди бесконечного числа собирателей предметов искусства, от мала до велика, весьма трудно найти покупающих иностранных мастеров, разве великих классиков итальянцев. В этом русле течет вся художественная жизнь, воспитание и обучение. Le goût français

(столь ныне развращаемый) считался и считается неким абсолютom, на который ориентировалась жизнь во всех ее проявлениях.

У нас, в связи со многими причинами историческими, со столь неровной кривой культуры, получилась «сбитость с толку» и некоторое, нам, к сожалению, слишком свойственное, самоунижение, недооценка или просто непростительное незнание своего, поражающее даже иностранцев, эту сбитость с толка всемерно увеличивавшее.

Это одна сторона.

Другая сторона — это неумелое, внешне дилетантское, дешево-сентиментальное, поверхностное обращение со своим родным, недостаточно вдумчивое отношение ко всему подлинному и великому, серьезному, в мировом масштабе значительному, чем богато наше прошлое.

Было бы несправедливо не воздать должное интересу, проявленному, как мы указали, в последнее время лишь (и не так уж задолго до революции, которая смела и загубила все начинания) к народному искусству. Кустарные выставки, где выставлялась продукция народного творчества всех русских губерний, Музей Кустарных Изделий в Москве, заказы красивых мерешек, скатертей, были явлением очень отрадным, но все это носило все же несколько любительско-сентиментальный характер с культом «пейзажства». Между тем, применение бесценных талантов наших кустарей из народа, к которым был проявлен несомненный интерес (Гр. Бобринский составил ценное собрание кустарных изделий и воспроизвел их в хорошем издании) могло бы и должно было пойти по иным путям, и более серьезным и широким чем те, по которым оно шло, в предложении магазинного рынка, удовлетворяющего спрос обывателя, покупателя елочных сувениров, забавных пустьяков, или иностранцев, приобретающих «забавные вещички в русском стиле» (об извращении этого «русского стиля» я уже говорил выше).

Показателен также пример с исключительным по драгоценности и не имеющим равного в Европе «Лукутинским» производством лаковых изделий. Только древний Китай мог дать что-либо подобное по драгоценности фактуры и качеству лака.

Если в деревообделочной области все свелось, главным образом, к производству шкафчиков, скамеечек, коробочек, балалаек и пасхальных яиц, в чеканке металла к безвкусным окладам для любительски исполненных икон, в области вышивок (столь изумительной в древней России) к узорчатым салфеткам и покрывалам, то великие Лукутинские мастера, могущие исполнять тончайшие произведения искусства (если бы были руководимы художниками и использованы достойными заказчиками) призывались к исполнению на шкатулках безвкусных троек и нарядных боярышень (под русский стиль) с переливчатыми яркими цветами кумачевых рубашек ямщиков и сарафанов.

Париж, Петербург (с культом Петровской эпохи XVIII в.) и Москва, родное древнее искусство тянули в разные стороны, отсюда разные направления вкуса и мысли в искусстве. Серьезное и прихоть, дилетантизм и баловство, искреннее увлечение и мода, рутинная, подражательность и дерзкое новаторство шли у нас рука об руку. Отсюда эксцессы и блуждания, смелые попытки одиноких, антагонизм противоположных западных и русских веяний, озадаченность, растерянность, компромиссы, ирония критики, разноречивой и угрюмой, ворчливый консерватизм Академии.

Все это было отчасти понятно и печально, как и многое печальное и понятное, было у нас, но все же, наряду с заблуждениями, путаницей, ошибками, безрассудными увлечениями, в эту эпоху было столько напряженности и интереса в сфере художественной жизни (не говоря о жизни театральной, исключительно интенсивной и радостной), столько сил, энергии и средств на нее шло в среде меценатов, какими бы они ни были, подчас сумбурными, до озорства смельчаками, наивно увлеченными, подчас и подлинно-талантливыми и чуткими, —

\* В Советской России широко использовано Лукутинское мастерство, изумляющее на международных выставках иностранцев. Сюжеты: Ленин на митинге, комсомольцы за работой и пр.

столько было жизни и темперамента во всем этом, что все же невозможно не почитать эту эпоху, как за необычайно любопытную и для русской природы показательную. Во всяком случае, она не была сонной и мертвой, а на редкость живой в своих многообразных проявлениях и со столь яркими талантливыми личностями, по своему разумению искусству служащими.

Во что бы все в конце вылилось, трудно сказать. Театр и архитектура (а за последнее время в России можно было насчитать немало первоклассных культурных архитекторов, прекрасных рисовальщиков с хорошим вкусом и направлением), а также превосходные художественные издательства дали уже большие конкретные достижения, но многое бродило еще, сбивалось с пути и устремлялось, как я сказал, в самые разные стороны под влиянием самых разных течений.

Одно увлечение серьезное и весьма отрадное стало выявляться за самое последнее время перед революцией — увлечение собирательством на базе серьезных изучений русской древней иконы. В этой области национально-художественное сознание могло бы обрести богатый источник, могущий питать искусство подлинно русского и великого стиля, если бы в момент этого увлечения у нас, в национальной России, жившей под знаком креста, а не пятиконечной звезды, не произошел всеокрушающий срыв национальной жизни.

При большевиках изучение икон и церковной росписи в силу неутомимой работы группы лиц (знатоков и работников по реставрации и расчистке стенописи) не замерло, но это величайшее русское искусство, на почве антирелигиозной и на базе интернационала, стало лишь материалом для мертвого изучения, если не впрямь предметом сбыта за границей (разбазаривание икон), а не источником для вдохновения и руководства в русском творческом, художественном, национальном деле.

На предыдущих страницах на некоторых примерах деятельности русских меценатов — русских купцов — показано, как они, эти купцы-меценаты, про которых принято было выражаться, что они «чудят» или еще грубее «с жиру бесятся», как они по-разному подходили к делу служения искусству. Честь и слава тому же купечеству, что именно оно и пробило заросший путь к этому кладезю художественной радости, ибо оно в первую голову увлеклось иконой русской.

Мы много раз приводили слово «увлечение», свойство чисто русское и особенно в среде купечества, в силу своей особой психологии являющееся результатом кризиса, испытываемого в этом сословии. Этот кризис, болезненный и интересный для близкого изучения, был обусловлен, как я сказал, резким переломом, отходом от старого и жадным устремлением к новой культуре.

Но то, что имело место в жизни купеческого сословия, не является ли это неким микрокосмом по отношению к историческому процессу всей России, всего русского народа, круто изменившего фарватер на своем великом пути, переброшенного из одной культуры в другую, от одного не вполне отошедшего и до другого не вполне дошедшего.

Это неустойчивое положение в искусстве, с его столь разными устремлениями, направлениями, вкусами, со своим «западничеством» и со своей «русскостью» — не является ли собой ясный результат нашей общей неустойчивости и атакзизмов у нашего, когда-то сбитого с толка народа? Разве не показательно, как горячо обсуждалась у нас тема о национальном искусстве, подвергшемся идейной травле петербургских западников, снисходительно, иронически относившихся к «московско-русскому» искусству и его жрецам, в свою очередь презиравших петербуржцев-западников, европейцев за их культ всего иностранного и презрение к русскому.

А если ко всему сказанному прибавить свойство русского беспокойного нутра с его исканиями, столь противоположного конструктивности, четкости, конкретности мыслей французов (не без основания похваляющихся латинской ясностью ума), то многое в судьбах нашего искусства становится ясным.

Нет у нас и солнца Италии, столь четко и ясно очерчивающего формы Божьего мира и столь радостно его освещающего: отсюда и конкретное, ясное ее искусство.

Чрезвычайно сложна, богата и в высокой мере талантлива русская природа. Не наша вина, что все нам дается не легко, чтобы вобрать в общее русло все то, что у нас так «обильно» и «без порядка», о чем мы признались сами некогда Ваярягам. При огромных и, как ни у кого, легких достижениях в одиноличном творчестве, при столь же беспорядочной и сложной жизни (Мусоргский, Бородин, Врубель и др.).

В общем процессе нашей художественной культуры все вышеуказанное является ярко. В этой неконструктивности, в этом разброде много досадного и вредного, но и много любопытного, неожиданного, занятого и даже милого нашему сердцу, как и мил наш «неконструктивный пейзаж», столь не похожий на сады Ленотра.

Люди, стоявшие близко к искусству, у нас, в силу совершившегося срыва, находятся в совершенно особом положении. Откиннутые на другой план, они видят уже издали, что было рядом. Сегодняшнее почти (так все было недавно) стало уже давним, близкое — дальним, совершающееся на глазах — совершившимся и оконченным, действительность сразу внезапно стала историей. Мы не живем в эпохе, а стоим на рубеже двух эпох, причем одна закончена. Лист истории нашего искусства перевернут, и часы истории пробили новый час.

Потому мы в состоянии уже, с дальним и прощальным взором на прошлое, подводить итоги, синтезировать и высказывать суждения, мнения, а не только впечатления. Это не только право, но и обязанность всех, кто были свидетелями вчерашнего, ставшего прошлым для «новой смены». Такое исключительное положение нас, стоящих на некоторой исторической грани, мы обязаны использовать в качестве живых свидетелей только что на наших глазах бывшего, свежего в памяти, законченного и отошедшего.

В дальнейшем на этих страницах и будет уход в это прошлое, столь недавнее, с вызыванием призраков из этого недавнего прошлого, лиц ушедших, достойных быть отмеченными в жизни нашего искусства, и описание некоторых лиц, хотя еще живых, но более связанных с прошлым, чем с настоящим.

Но и автор этих строк более связан с прошлым, чем с настоящим; потому его жизнь с искусством на этих страницах будет проходить, как связующая нить через узорчатую ткань рассказа, жизнь с ее эпизодами, переживаниями и мыслями. В этой жизни есть тоже кое-что от истории прошлого, к ней и вернемся, пока что оставаясь в той же старушке Москве.

Должен искренно признаться, как ни мило и дорого моему сердцу наше старое московское дворянское общество, все же в среде нашего передового купечества мне было веселее и интереснее. Уж очень много было переливчатых красок и тонов в этой новой, намечающейся, еще не оформленной, не осевшей культуре, столько в этой среде бродило, столько было любопытных контрастов, столько нового и свежего, при несомненно неприятных явлениях и даже определенно отрицательных, меня коробивших.

Зато в нашей среде все осело и так утряслось, что нередко склонялось ко сну и навевало сон.

Все же, если бы мне чудом удалось унести в этот затонувший, как некий Китиж, уже давний, исчезнувший мир и в виде привидения явиться снова в нем своим родным гостем, как бы я был рад увидеть все таким, каким оно было и без изменений: те же полутемные гостиные с семейными портретами, акварелями, миниатюрами и семейными реликвиями\*, часто потертыми коврами и обивкой мебели, с их особыми запахами, трудноопределяемыми и слегка удушливыми, свойственными старому жилью.

Это были, конечно, не морозовские чертоги, но было во всем этом то, чего в новоотстроенных чертогах не было и быть не могло, и что тем более отсутствует в современных, бездушных, стандартных обстановках.

\* В воспоминаниях лорда Фредерика Хамильтона, проведенного в 80-х годах несколько лет в составе Английского посольства в Петербурге, отмечено, что в частных домах в России, полных чудной мебели, бронзы, старинного фарфора, редко встречаются старинные картины, а все более семейные портреты. Замечание это верно. Современного искусства еще гораздо меньше.



И чтобы я дал, чтобы в этом чудесном полете в прошлый мир увидеть ту же милую молодежь, сверстников, для которой я был «Сережей», тех милых старушек, сидящих у лампы в глубоких креслах, говоривших на особом изысканном наречии, столь же по-французски, как и по-русски, и любивших «une conversation» (беседу), а не пустую болтовню.

Инстинктивно, пожалуй, из подсознательного чувства некоего самосохранения я все более отходил от среды, в которой вырос, несмотря на всю мою душевную привязанность к ней, к ее быту, с ее вековыми священными традициями — отходил, так как отношение ко мне, как к чудаку, не только живущему в искусстве, но и стремившемуся даже сделаться профессиональным художником, меня тяготило и подрывало во мне силы и веру в себя, в правильность моего решения и даже в его законность.

Некоторые иронизировали, относились не всерьез к этому, как ко временной блажи; другие морализировали и предостерегали от опасного, при моих будущих обязанностях гражданина и помещика, неверного и впрямь недопустимого шага, и неодобрительно покачивали головой.

В добродетельнейшей и со строжайшими общественными и религиозными устоями и взглядами семье Самариных увлечение искусством для дворянина, представителя служилого сословия, с predetermined судьбою обязанностями, считалось определено прихотью и роскошью, не соответствующими этим моральным обязанностям. При этом некоторые члены этой семьи были далеко не лишены таланта, но что могло получиться при подобной ригористической, не допускавшей компромисса и давящей точке зрения?

Но один дом, сыгравший в моей жизни и в развитии во мне художественного вкуса и чувства большую роль, являлся исключением — это был дом Гагариных\*, с которым я был тесно связан в силу старой дружбы нашей семьи с родителями моего лучшего друга жизни Николая Гагарина.

И в этом доме было, конечно, много давящего, косного, старорежимного, при том много космополитизма и мало русского. Князь Виктор Николаевич Гагарин был европейцем, живущим в Москве, к которой он как-то парадоксально питал сильную любовь и привязанность; возможно, более к своему чудесному жилью и подмосковному имению, чем к самому городу, а княгиня немецкого рода, почти не говорила по-русски, но противовесом являлась необыкновенно живая, преисполненная темперамента очень русская природа Николая Гагарина. Он был бурливого, «вулканического», неустойчивого нрава, с большими порывами, увлечениями, вспышками восторга и негодования, с мечтами и планами, часто утопическими, с приступами меланхолии, с некоторой неудовлетворенностью, как и у меня, от ксности московского быта высшего общества, с порывами уйти и вырваться, и все же с достаточной долей сибаритства, чтобы не решиться покинуть в нем насиженного и удобного места.

Его культ красоты, чутье в искусстве и еще больше, чем непосредственное чутье, его наследственная культура вкуса, его повышенная музыкальность и, главное, его чуткое понимание меня, моих переживаний и стремлений — были для меня бесценными.

Наряду с личной близкой дружбой с Николаем сам гагаринский дом был для меня постоянным местом художественной услады. Он представлял собой музей картин старых мастеров (пожалованных Екатериной II гагаринским предкам), бронзы, фарфора, серебра и мебели, заключенный в редкой красоты особняке стиля ампир.

В этом доме дышалось как-то особенно, пахло изысканными духами (специально выписанными из Берлина), и в то время, когда часами лились звуки любимого Николаем Шопена, Шумана и Скрябина, глаз отдыхал на всех музейных сокровищах, уютно заполнявших дорогие мне по воспоминаниям комнаты.

В гагаринском доме было что-то разнеживающее, обаятельное, но и в этой атмосфере, как и во всем окружавшем меня в Москве, не было того, что было не-

\* Князь Виктор Николаевич Гагарин, женат на бар. Будберг.

обходимо в мои годы, чтобы быть «ganz ernst bei der Sache», как выразился о Гебхардте мой дюссельдорфский собеседник, профессиональный художник, — не было серьезной рабочей обстановки.

Чтобы работать и учиться, нужно было порвать с дорогой старушкой Москвой, вырваться в иную атмосферу, «сесть на другие харчи» и стать самим собой.

После окончания университета был решен мой отъезд в Мюнхен.

К жизни есть два друг другу противоположных подхода, и в связи с личными убеждениями, а также в связи с возрастом, энергией, пафосом, силами творческими и силами сопротивления — определяется либо тот, либо другой.

Один подход — это приятие жизни, намеченной вам судьбой и средой, предуказанной известными устоями и традициями, существующим укладом, с атавистически передаваемыми из поколения в поколение и санкционированными нормами, принципами, догматами и чувством долга. Это путь приспособления и покорности. Человек в этом случае является звеном непрерывной цепи поколений, блюстителем традиций.

Другой подход — это разрыв цепи и властное самоопределение и определение своего личного и самолично избранного пути, нередко полярно противоположного уготованному традицией.

Первый путь удобнее, морально он обставлен большим одобрением, а потому он легче, безопаснее в силу гарантий от мучительных коллизий со старшим поколением, родительским авторитетом и средой.

Второй — путь риска, но дающий опьяняющее чувство личной свободы и пафос творческого, свободного выбора. Первый — путь органического слияния с жизнью уготованной, второй — путь построения жизни, переорганизованной по личному произволу.

## Глава IV

— Куда лучше ехать — в Париж или Мюнхен? — с таким вопросом я обратился к моему бывшему учителю Леониду Осиповичу Пастернаку.

— Париж — это кипучий водоворот, Мюнхен — тихий, спокойный немецкий город, для многих, пожалуй, и скучный, но для учения он дать может много. Там умеют рисовать, а это главное, это фундамент. В Париже голову вскружат все новые живописные течения, да и сам город вскружит голову — шум, блеск и суета. Пропадете вы там, да еще будучи князем, увлечетесь светской, блестящей жизнью, а вам нужно быть учеником, ремесленником. Париж — это «женщина». Мюнхен — это «пиво»; решайте сами, а по-моему, лучше Мюнхен.

В таких приблизительно словах выражено было мнение, которое я воспринял, как мудрый совет, быть может, и ошибочный, но он решил мой выбор.

Мюнхен встретил меня улыбкой чудной золотой осени и сразу обворожил меня. Чувствовал я себя как на крыльях, свободным, молодым, на переломе жизни, и солнечные дали сулили мне неиспытанное еще счастье художника, устремляющегося к заветной цели. Много дорогого сердцу и много тяжелого было позади, а впереди — вся-вся жизнь!

У меня было рекомендательное письмо к русскому художнику Игорю Эмануиловичу Грабарю (его имя известно в России, как историка искусства, давшего ценные труды, и как работника комиссии по реставрации церквей при большевиках), и с него начался мой контакт с той средой, в которую я вступил и в которой он сам стал для меня центральной фигурой.

В Мюнхене был русский уголок, свой, «наш» впоследствии, близ чудного Английского парка на Gisellastrasse и Königinstrasse в полупровинциальной части города Schwabing. Чудная тополевая аллея от Siegesthor вела в этот милый укромный и поэтичный квартал, ставший мне столь дорогим — моим Мюнхеном.

Когда говоришь, что любишь такой-то город, в котором живешь, то это всегда не точно. Любишь часть города, кусочек его, остальным можно любоваться, интересоваться, к нему привыкнуть, но «любить» можно то, что близко, созвучно, где вы вжились, где все для вас знакомо: улицы, дома, садики, лавки, в которых вас приветствуют, как своего. Потому, попадая из своего угла в дальнюю часть любого города, испытываешь и щемящее чувство отчужденности, растерянности и душевного холода, будто это другой город, дальний, с вами не связанный.

В огромном Париже это чувство «своего» и «чужого» особенно сильно.

Швабинг стал моим Мюнхеном. Временно взятую мастерскую на восьмом этаже я скоро сменил на хорошую (и все же необыкновенно дешевую в те счастливые времена) квартиру.

Перед большим окном зеленел парк, где мои любимые черные дрозды давали мне весной настоящий концерт на флейте — звуки в моей памяти, неразрывно связанные с Мюнхеном. Перед другим окном расстилалась обширная, ныне застроенная, поляна с высокой травой, в которой, как в русском поле, по вечерам кричали перепела.

До сих пор грезится мне это милое место, где жилось так привольно и так необыкновенно радостно.

Грабарь (который раньше был учеником профессора Чистякова в Императорской Академии Художеств в Петербурге), Кардовский (ставший впоследствии профессором в той же Академии) и Явленский, наиболее талантливый из трех, но в России неизвестный, были художниками, недавно кончившими учение в частной мюнхенской школе профессора Азбе. Я прозвал их «богатыри старшие». Школа ими гордилась.

Частные школы были тогда в моде, в противовес Академии, взятой под подозрение молодым поколением художников в силу того, что заключается в термине «академичность», то есть традиционность, засушивающая талант, догматичность и рутина. По совету Грабаря, я и записался в ученики школы Азбе, бывшего ученика Пилотти.

В широкополой шляпе, карикатурно-низкого роста, с огромными усами и испанской бородкой, в пенсне на покрасневшем от пива носу и с постоянной сигарой «Виржиния» во рту, этот милейший профессор Азбе был очень популярен, всеми любим и считался серьезным знатоком искусства, но «неважным» по части живописи.

Впервые я окунулся в атмосферу уютно скрытой в саду настоящей школы с обнаженной натурой (именуемой Акт), где при гробовом молчании только шуршала уголь по бумаге и раздавалась команда «Zeil und Anziehen», означавшая начало работ и перерывы.

Грабарь заинтересовался мною и лично следил за первыми моими шагами в школе.

Я в рисовании исходил из чувства объема и сбивался нередко в пропорциях, увлекаясь живописностью рисунков, которые выходили удачными в смысле светотени, но недостаточно строгими. Хольбейновский тип рисунка, строго линейный, мне был чужд и давался с трудом, между тем как немцы, в силу атавизма и «немецкого глаза», преуспевали именно в такого рода рисунке, менее чувствую лепку.

Тут сказались явно двоякого рода подходы к натуре, два весьма существенно отличавшиеся художественные восприятия и процессы работы. Один — от формы и светотени к линии, другой — от линии к форме, один — Микеланжеловский, Репинский, другой — Хольбейновский, один — русский, другой — германский, один — скульптурно-живописный, другой — графически-планометричный.

Эта разница, очень существенная, восприятия природы у меня и у учеников школы меня смущала. Подчас мне казалось, что я никогда не выгучусь «по-настоящему» рисовать, как лучшие ученики, меня окружавшие, и это меня удручало. Астигматизм зрения также отчасти мне мешал, как и мешал всю жизнь именно в рисунке, но, с другой стороны, мне казались скучными эти безупреч-

но-правильные, до сухости отчетливые, «бескровные», педантичные, чистые рисунки тончайшей линии.

Что касается живописи, то все, что висело на стенах школы, как образцы лучших работ учеников «на пятерку», меня просто удручало. Это была большей частью раскраска, но не живопись, лучшие этюды были кончивших школу вышеназванных русских художников. Я чувствовал себя растерянным и переживал тяжкое недоумение, опасаясь идти по пути, казавшемся мне неверным, быть может, даже опасному, во всяком случае мне лично не свойственному. Зная, как высоко стоит живопись в Париже, я, глядя на скучную живопись немцев, спрашивал себя, не ошибся ли я, вняв совету Пастернака.

Азбе хвалил мои живописные рисунки углем, но Грабарь считал, что это все «не то», «талантливо», но не серьезно, и что для того, что во мне есть ценного и личного, влияние школы, насколько он мог убедиться, вряд ли подходящее. В конце концов, чувствуя в Грабаре недоюжинный педагогический талант и чутье, я в него уверовал больше, чем в Азбе. Наряду с этим я верил больше в частные уроки и советы, чем в школьное преподавание, где был все же шаблон в корректуре, в силу школьных условий, всегда беглой. Притом, при моей нервности и обычной мнительности, школа меня сбивала, нервировала и, хотя я все же ко многому полезному присмотрелся и кое-чему научился, я решил с ней расстаться и сделаться учеником Грабаря, равно как и мой лучший приятель по школе Рудольф Трейман, ставший моим близким другом, и скульптор барон Рауш-фон-Траубенберг, который тоже перешел на учение к Грабарю.

Рудольф Трейман был очень тонко чувствующий художник, но через призму немецкого глаза и немецкой души. Он был блестящим молодым ученым, но, получив звание доктора, как я узнал, бросил науку для искусства. Отец его, очень богатый, не мог простить этого и так рассердился на сына, что предоставил ему полугодное существование в Мюнхене, проживая сам в собственной вилле в Бадене. Я очень сочувствовал Трейману и понимал его переживания и геройское решение, вызванное любовью к искусству. Это его радовало и трогало, и мы очень подружились.

Все, что было для меня привлекательного в германском духе (а воспринял я его глубоко, получив скорее немецкое воспитание и отлично владея немецким языком, чем даже поражал мюнхенцев), — все, что есть углубленного, серьезно-го и вместе с тем трогательного в немецкой природе, было у Треймана.

Будучи очень умным и крайне остроумным поэтом в душе и подлинным художником, он был лишен всякой тяжеловесности, а также сентиментальности и ненавидел все грубые отрицательные стороны своей нации, ее милитаризм и самодовольство, а также специфическое немецкое мещанство, беспощадно их высмеивая и бичуя сарказмом.

В этом отношении он не отставал от сатирического журнала «Simplicissimus», издававшегося в Мюнхене. Мне не приходилось видеть более блестящего журнала, как по уровню художественных рисунков (в нем работали первоклассные художники), так и в смысле остроумнейшего текста. Каждый выходящий номер журнала нас обоих смешил до слез, а смеяться мы любили. В России он был запрещен, так как и России он продергивал нередко. Чтобы показать соотечественникам, что из себя представляет высокохудожественный сатирический журнал (у нас подобные журналы были в высшей степени пошлы и бездарны), я вывозил его тайно в двойном дне в сундуке. Это «преступление» было обнаружено, но любезный чиновник на таможне сказал: «Я вижу, но ничего не видел», а друзьям я привез угощение, очень оцененное.

В противовес всему германскому, что было в Треймане, в Траубенберге (хотя и балтиец по крови, но кровно русский по душе, воронежском помещике и петербуржце) я находил то необходимое для меня русское, «свое», что мне недоставало в Мюнхене.

Таким образом составила тройка вокруг преподавателя Грабаря.

Наиболее тесный контакт художественный у меня был с Трейманом, с которым мы работали вдвоем в его мастерской и делились за работой нашими художественными переживаниями, мучениями и удачами, а по вечерам сходились у

меня, часто собираясь все вместе, и обсуждали вопросы технические и художественные, столь нас сближавшие. Грабарь был интересен, культурен, и контакт с ним давал серьезный заряд для работы. Рауш-фон-Траубенберг был скульптор и потому не мог так глубоко проникать в наш мир живописи и рисунка. Он увлекался античной скульптурой, искусством древней Греции, читал колиньона («Историю греческой скульптуры») и был, в силу своего веселого живого темперамента, ума и остроумия, прелестным собеседником.

Грабарь повел дело иначе, чем Азбе, и я многим ему обязан. Он учуял, что ко мне нужен иной подход, и засадил меня за лепку форм, светотени, двумя красками кистью en grisalle с достижением рельефа. В этом направлении я сразу казался восприимчивее и сильнее немца Треймана с его повадкой немецкого линейного рисовальщика, от которой он стремился отделаться, но никогда не смог.

Помню, к нам приехал из Киева художник Мурашко, бывший ученик Репина, который возвращался в Россию, в Петербург к Репину. Грабарь дал ему, с целью показать последнему, три мои портрета, исполненных по методу Грабаря. Репин написал Грабарю из Петербурга: «...У Щербатова сильное чувство формы и рельефа, продолжайте его вести по этому направлению. Путь верный...» Грабарь просиял, его радость меня тронула, и я очень приободрился. Радость Грабаря, при всяком проявлении серьезного отношения к искусству и успехов в нем, проявляла очень хорошую душевную сторону его, так как он художественному делу был искренно предан. Не знаящие его или плохо и односторонне о нем судившие, не видели того, что в его сбивчивой и подчас неприятной природе было ценного и даже привлекательного. Его беззаветная любовь к искусству и радость, когда он находил у других, в данном случае у своих учеников, ту же любовь и искренний интерес, были очень привлекательной чертой у Грабаря, наряду с очень неприятными проявлениями крутого и капризного нрава и «нищестанства», которым он хвалился; «Übermensch» его заворожил, до него Грабарю было далеко, но к его образу тянулись его мечты и моральная сторона от этого гипноза страдала.

Личная трагедия Грабаря, во многом портившая его нрав, заключалась в несоответствии размера его таланта с потугами, самоотверженными и упорными, для достижения высоких целей, им самому себе поставленных. Культ эпохи Возрождения и завораживающие образы великих художников, их биографии и их художественные подвиги и достижения (о которых он с нами интересно беседовал) и его скромные, судьбою ему отпущенные возможности ограниченного, хотя и несомненного таланта, были личной его тяжелой драмой, скрываемой в силу самолюбия, не раз прорвавшейся в словах: «Ужасно, когда наедине с собой приходится себе ставить двойку».

Вся последующая его жизнь в России, вся его деятельность (увы, при большевиках), как хранителя и оценщика национальных сокровищ и очень ценная, заслуживающая даже восхищения работа возглавляемой им комиссии по расчистке, реставрации и изучению старинных фресок и икон в древних русских соборах, бесподобных по красоте и доселе бывших неизвестными (будучи закрытыми штукатуркой), равно как его труд по истории русской живописи и архитектуры — вся эта кипучая плодотворная деятельность с избытком замещает все то, чего ему не удалось достичь в области личного творчества в живописи.

В Мюнхене я застал начинающийся закат «великой эры» в искусстве. Еще блистал во славе своей старый, угрюмый, величественный Лембах, в очках, с большой бородой, в бархатной блузе. Он был Юпитером Мюнхенского Парнаса и был редко доступен. К нему изредка ходили на поклон, как к маститому великому мастеру, славе Мюнхена.

Его роскошное жилище с оригиналами Тициана и других великих мастеров, большей частью поднесенных ему коронованными особами, служили

целью набожного паломничества для приезжающих в Мюнхен. Его портреты ценились на вес золота и были «гвоздями» на выставках.

Прекрасно нарисованные, живые по характеру, они меня раздражали своей подражательностью великим мастерам, своей псевдоэскизностью, шиком технических приемов и росчерка и искусственной патиной коричневых тонов «Gallerieton». Но все же Лембах был значительным, чисто немецким явлением. Его портреты Бисмарка и ученого Момсена были поистине замечательными.

Несравненно более талантливые произведения в то время уже не бывшего в живых друга Лембаха, Маресса, в прелестном загородном дворце Плейсхейм, где находятся его знаменитые фрески (столь же значительные его фрески я видел в зале Неаполитанского Аквариума), произвели на меня впечатление лучших творений мюнхенской школы, по талантливости и благородству композиций, силе и общему тону.

Более раздутый, чем великий, талант был у знаменитого и прославленного в то время Франца Штука.

Красавец римского типа, с профилем монеты Римской империи, позировавший под персонаж античной эпохи, он был баловнем Мюнхена. Его роскошная вилла в стиле римско-помпейском, с фресками, мозаиками, с мраморными полами, с камеей-портретами, вделанными в стену хозяина и хозяйки, красавицы тоже римского типа, бывшей кельнерши, служила предметом поклонения и восторга и была достопримечательностью Мюнхена.

Штук встретил нашу тройку с изысканной любезностью, но во всем чувствовалось, что он «великий человек» и сомнения у него было много.

С этой обстановкой соприродно было все его творчество, ложно-античное, вернее, проникнутое античным духом и античными фабулами. Картины с кентаврами, фавнами, нимфами были наиболее любимыми его темами, но и портреты его были овеяны неким античным духом, мастерски нарисованные, очень тяжелого цвета, часто весьма надуманные, его картины отличались особенной звучностью красок, сильных и весьма контрастных, от черного к ярко-красному, синему, зеленому, и породили особый уклон в мюнхенской живописи, находившейся в силу традиций во многом еще во власти ложно-классического стиля, как и архитектура.

Я всегда любил и люблю, чтобы в искусстве все пахло «самим собой» и не было надушено духами, заглушающими национальный аромат. Потому элементы подлинно-немецкие, проникнутые ароматом Германии, германским духом, мне были в Мюнхене интереснее, чем все, навеянное из античной жизни, что было в моде (Беклин) в смысле фабулы и подвергшейся влиянию древнеитальянского и парижского искусства в смысле живописи. Как не чудно для русского нутра многое в немецкой живописи, но в духе немецком в романтике, в лирике, в душевности все же более родственного нашему нутру (особливо в музыке), чем в искусстве в других странах. Потому многое мною прощалось дефективного в живописи, скучного по тону, суховатого по фактуре, хотя в некоторой сухости и четкости германского искусства есть своя прелесть. Никто, как немцы, так любовно и внимательно не умеют передавать структуру деревьев, тонкий орнамент сучьев, трепетные листочки деревьев, луг, усыпанный цветами, и пейзажный сказ со всеми его интимными деталями.

Наряду со всем невыносимо-академическим, театральным и взвинченно-сентиментальным (что называлось kitschlich в тирольских жанровых композициях старика Дефрегара, когда-то прославленного и в мое время уже находившегося в опале), я не мог не отметить у него хорошие пейзажи и интерьеры и не воздать должного его мастерским рисункам.

Интересно было констатировать, как Ханс Тома, столь немецкий своим сентиментальным нутром, в своих пейзажах и лирически-трогательных мотивах скинул с себя влияние заворожившего его Курбэ со своим ядреным реализмом одно время (1869 г.), вскружившего голову немецких художников в Париже и еще более своей выставкой в Германии, для которой он сам туда прибыл (ни слова не говоря по-немецки). То же произошло с лучшим, весьма значительным и глубоко искренним живописцем Лейблем, одно время также заворо-

женным Курбэ, но ставшим впоследствии все же исто-германским художником. Кровь заговорила, и национальное нутро осиливало, выпирало через все внешние влияния и наслоения.

Среди довольно унылых, большей частью зал Гласс-Паласт (Мюнхенского Салона), недавно сгоревшего, в то время подчас замечались веяния, шедшие из Парижа, сначала дальние, а затем все более обозначающиеся, хотя и воспринятые внешне немецким нутром, которое все же постепенно нейтрализовалось под влиянием французского, ему не свойственного искусства.

Импорт французских картин, который впоследствии усиленно практиковался в Берлине Бруно-Паул Кассирером (крупным и просвещенным торговцем лучших современных мастеров), не коснулся еще Мюнхена в мое время.

К чему привела вся эта пропаганда в Берлине? Нужно ли, не вредно ли вводить в чужую кровь состав явно для данного организма не пригодный и не могущий быть воспринятым, что кризис в немецком искусстве впоследствии и доказал, когда оно ринулось в сторону крайнего модернизма, лишенного той нервной чувствительности, остроты и находчивости, которые подчас делают интересными самые необузданные затеи модернизма во Франции.

В Германии было свое национальное искусство, пусть нам, как я сказал, чуждое и чуждое французу по духу, форме и стилю, но ценное, «свое», интимное, романтическое, лирическое, напряженно-четкое, также подчас суровое до жесткости (Дюрер, Хольбейн, Бальдунг, Альтдорфер, Кранах, Грюнвальд), подчас задушевное, тщательное, нередко весьма утонченное и в своем роде совершенное и трогательное (Ретель, Рихтер, Шпитсвег и другие). Это другое искусство, другого духовного склада и более духовное, чем французское (никогда духовностью не отличавшееся, исходившее из другого нутра). Пусть оно другим и остается! Источники, откуда оно исходило, были не менее чисты и высоки, во многом первоначально они были те же, которые вскормили Италию и Францию (эпоха Возрождения и, конечно, все Средневековье), но те же лучи преломились через иную призму. В борьбе с дифференциацией, с национальными особенностями, традициями, народными вкусами искусство может быть доведено до некоего интернационального шаблона, к чему оно идет быстрыми шагами. К чему всех гнать по одному и часто столь сомнительному пути, когда столько путей «ведут в Рим»? Вот вечный вопрос, продуманный мной не раз в моих странствованиях. Интернационализация искусства, обобщение понимания законов красоты, своего рода почти догматизация их (в чистом и прикладном искусстве и в архитектуре) с уничтожением национальных культов и традиций, расовой физиономии и народной души и чувства, навязыванием общего рецепта, общего угла зрения, культа новых «откровений», сводящихся к раболепному служению моде и ее законодателям и кумирам, все это не приводит ли в конце концов к забвению исконных начал, в которых национально-эстетическое сознание, слагавшееся в сложном и для каждого из нас особом историческом процессе, находило свою художественную речь и свое слово.

Ныне, более чем когда-либо, меня волнуют эти мысли при виде той безотрадной нивелировки, к которой приводит современная цивилизация.

И кто эти пророки и вожди с их сводами эстетических законов? Откуда они взялись, какие их цели? Искренне ли их служение искусству, или побуждения и расчеты их в другой плоскости и не имеют ничего общего с целями искусства и служением ему?

Кто эти властители дум, модные фетиши, столь часто дутые знаменитости, прославляемые вожди, не только отдельных художников, но целые нации сбивающие с толку. Стандартизирующие, опощляющие и развращающие искусство и навязывающие нагло-авторитетно свои «откровения», своим тлетворным дыханием убивающие столь много ценного и искреннего, развращающие «детскую душу» начинающих и к ним тянущихся, как нежные цветы к солнцу?

Как все это требует осматрительности и во многом переоценки сверху донизу, переоценки честной, прямой, неустрашимой.

Наконец, основной принцип — «живопись для живописи». Важно ли только «как», а не «что» и «для чего»? Все устремления для станковой живописи, для

виртуозного овладения техникой (сама собой разумеющейся у всех подлинных мастеров прошлого) на небольшой поверхности холста в раме.

Но и техника «la belle peinture», может ли она быть сколько-нибудь определена, как некий «абсолют», и не в полной ли зависимости находится мазок от психики того или другого художника, его народности, темперамента, мировоззрения, мышления, голоса крови, души? Немцу неприемлем (если он не кривит душой и не искусственно подлаживается) какой-нибудь Манэ или Моне, а последним, в свою очередь, чуждо все немецкое.

Интереснейшая поездка моя с Грабарем вдвоем по старым городам Германии с их Бальдунгами, примитивами, Дюрерами, Хольбейнами, поэтами-романтиками, влюбленно-детально выписывавшими все интимные прелести природы, структуру деревьев, цветов, перышки птиц, мебель в уютных интерьерах, как и Дюрер выписывал каждый волос на голове, а Хольбейн — каждую брошку и цепочку на своих портретах, с их грандиозными патетическими и религиозными композициями на стенах и витринах древних соборов, еще более открыли глаза на великие заблуждения нашего времени и на великие заветы Германии своим художникам, сбываемым, как и наши, с их предначертанных путей и готовым променять свое ценное на плохо усваиваемое чужое и несоприродное.

Но мы были молоды и дети своего времени. Мы верили все же в эту нас завораживавшую современность, в голос соблазнительной сирены — Парижа. Мюнхен нас давил своей косностью. Ценное, самобытное и симпатичное и столь душевное, как я указал выше, подчас немецкое искусство с его мастерским рисунком и ему свойственной живописью нам казалось часто «старой немчуroid», отжившей и скучной, а наряду с маститыми мастерами старой школы не было крупных молодых немецких талантов. Далеко не безталантливые художники, хорошие живописцы, как Слевохт, Хертерих, а в Берлине Либерман (в то время весьма прославленный) и другие, в сущности были подражателями французской живописной манеры на немецкий лад.

Раз уж веяния Франции доносились в Германию и менялась художественная ориентация, то не лучше ли оригинал, чем несовершенная копия — Париж, а не Париж через призму Мюнхена?

А что, если все это ошибка, весь этот Мюнхен, трата времени, не то, что надо? Нередко приходила мне в голову эта тревожная мысль. Все это хорошо, эта лепка форм, рисунок, а живопись? Где она кругом? Не заражаться же этой мюнхенской коричневой, темной палитрой, а потом, чего доброго, и не вылечишься, на то не мало примеров.

Постановка глаза живописца бывает не менее решающей для его искусства, чем постановка голоса певца. Эта мысль, меня беспокоившая, становилась все более назойливой. Мои сомнения получили внезапное компромиссное разрешение в нашей поездке вчетвером (Грабарь, Трейман, Траубенберг и я) на блестящую выставку искусства Франции за сто лет, в Париже, в 1900 году.

## Глава V

Эта поездка была одной из самых радостных, ярких и интересных страниц моей жизни.

Что там делается в этом городе-светоче? Как это нас интриговало и волновало!.. В городе-светоче, лучи которого озаряют весь художественный мир, да еще в такое время, когда во всем великолепии на этой выставке выявлены были перед лицом всего мира достижения французского искусства за целое столетие.

Поездка была решена на товарищеских началах. Предприятие, ввиду нашей более чем скромной кассы, было рискованным, особенно из-за дороговизны во время выставки; поэтому стиль «богемы», и весьма строгий, было решено выдержать от начала до конца.

Этот стиль являлся ярким контрастом по сравнению с моей давней первой поездкой в Париж после экзамена на аттестат зрелости в классической гимназии Поливанова, когда я проживал на рю де Гренелль в русском посольстве, у



моего дяди, посла (сводного брата моей матери барона Артура Моренгейма) и когда я видел весь блеск высшего и столь нарядного тогда общества и посольского мира с его обедами и пышными приемами. Это были первые годы союза России с Францией и год убийства президента Карно.

Это был Париж того времени, о котором люди, его не видавшие, слышат из уст стареющего поколения русских парижан и старожилов-французов, столь одиноких в современном, послевоенном и изменившемся Париже: «Да, тогда это был Париж, а теперь это уже не Париж, не мой Париж». И начинается сказочный, быть может, идеализированный рассказ (а какие воспоминания о дорогом прошлом своего города не идеализированы), рассказ-фильм о прошлом. Я рад, что захватил еще Париж того времени.

Это был милый, веселый, улыбающийся, блестящий Париж с вечным праздником, к которому приобщался, от которого хмелел, как от искристого вина, всякий приезжавший в этот интересный, радостный город.

Таким был Париж наших родителей, нашей первой молодости, Париж семейных альбомов, выплывших фотографий, модных журналов и прелестных, столь редких теперь литографий в красках, когда улица ликовала и смеялась, и женщины в своих шляпах и нарядах были подобны птицам (ныне они превратились в «рыбу-угря», как остроумно выразилась одна газета), когда на Елисейских полях тянулась блестящая вереница сверкающих на солнце экипажей с гарцующими чудными кровными лошадьми и был уютный, преисполненный богемной романтики Монмартр, не то Тулуз-Лотрека, не то оперы «La vie de Bohème». Всюду была разлита радость, смех и беззаботность.

И на всем искусстве в то время еще лежала особая печать. Как некий *enfant terrible*, врывались в него уже новые течения, вызывавшие презрение, подчас ужас. От них шарахалось все общество, усматривая в них некое сатанинское наваждение. Такими они казались и маститым художникам со значком Почетного Легиона в петлице и модными роскошными мастерами, где позировали именитые дамы, где заказывался «парижский портрет» богатыми иностранцами.

Большой частью эти портреты были весьма умелыми, грамотными, с условным безукоризненным рисунком, академически строгим. Искусство весьма ограниченное, и в этих границах по-своему совершенное, если проникнуться вкусом, нередко сомнительным, и стилем эпохи. По аналогии к религиозной вере эта художественная вера может быть приравнена к религии тех, кто верит просто, не мудрствуя лукаво и опираясь на церковные догматы без оговорок и сомнений. Таковую веру давала Академия с ее заветами. На этих догматах, на некоем символе веры и основано было все тогдашнее искусство, в противоположность вольнодумцам, а то и «впрямь» безбожникам вне «церкви» и ее «заветов».

Догматы, на которых зиждилось это искусство, были ясны и просты: строгий рисунок, сходство в портрете, нередко доведенное до фотографичности, убедительность протокольного пейзажа или особая задача цвета, не живого, а декоративного («фонарного», а не рассеянного и вибрирующего, как у импрессионистов); жанр сцены из жизни (Берро, воспевший быт Парижа); тут все «узнаешь», пытливо рассматриваешь, изучаешь и многое прощаешь этим протоколам, ныне имеющим прелесть документов минувшего быта (лирическое чувство было почти всегда чуждо французскому искусству, за исключением Коро, Миллэ и, быть может, некоторых других, равно как и фантастика, кроме Дорэ и Морро).

Портрет женский должен был быть приятным, нарядным; он должен был увековечить красавицу, а если дама была не очень красива, то ее прикрашивали.

Воспетым и протокольно переданным, как воспоминание, должен был быть и туалет, не просто красивый предмет живописи, а именно точно то платье, которое заказывалось и выбиралось для портрета. Также внимательно выписывались аксессуары: веер, нарядное кресло и драгоценности.

Напрасно ныне не видят в этом смысла и оправдания, и в презрительном отношении к этой честности находят оправдание для своей поспешной небрежности или просто отсутствия мастерства, умения и добросовестности. В пределах своей веры французские живописцы были просты, и в вере они были сильны.

Менее талантливые были все же сильны в рисунке, что внушало уважение к великим французским традициям, но скучны и неприятны по живописи (Боннар). Более крупные вносили свой темперамент, яркие таланты являли чудеса виртуозности (итальянец-парижанин Больдини, ранней эпохи, несколько дешево шикарный в последней). Делакруа, Шассерио и прочие великие имена после немцев нас порадовали своей живописной палитрой. Рад я был увидеть мастерские портреты Лакур, мне близкого и даже «родного», так как он написал портреты моей бабушки и деда Щербатовых, в бытность их в Париже (куда они в дормеze приехали из Московской губернии, проехав всю Германию, Австрию, Италию и так же проследовали дальше в Англию и Ирландию — свадебное путешествие на лошадях), и моих теток княгини Голицыной и княгини Васильчиковой, сестер моего отца. Он был серьезным портретистом, чувствующим аристократизм модели, шарм лица и, при всей приятности, не впадавший в слащавость и лишенный сухости знаменитого Энгра, виртуоза рисунка, каких мало.

Целая эпоха жизни и творчества Франции, недавней и уже законченной, ставшей историей, — прошла перед моими глазами.

Очень тревожит теперешних критиков вопрос, был ли в то время «стиль» или его не было. «Конечно, он был!» — восклицают некоторые. В этом я сильно сомневаюсь. Стиля-то именно и не было, но был свой вкус, *le goût du temps*, что составляет большую разницу и, конечно, в общем безвкусица, хотя и «трогательная», ибо прошлое всегда покрывается как бы амнистией, к нему относятся умиленно, всепрощающе, но все же безвкусица, подчас забавная, занятая, в прикладном искусстве нередко чудовищно-оскорбительная (зал, специально посвященный теперь музею прикладного искусства при Лувре, это ярко выявляет).

В молодости моей, вплоть до революционной эпохи, когда вкус ощущался в связи с культом старинных обстановок эпохи Екатерины II, Павла I и Александра I, прикладное искусство и у нас представляло собой конгломерат стилей или варианты стиля Луи-Филиппа. Пышная перегруженность, нагроможденность наблюдались повсеместно. В новых домах примешивалась пошлая стилизация, заимствованная из Парижа, мотивов из растительного мира и мира животных и насекомых, проникавшая со своими гнутыми линиями и орнаментами как в архитектуру, так и в обстановку, и в ювелирные изделия. Этой отравы не избег и талантливый знаменитый мастер-ювелир Лаллик.

Вкус постепенно все более отравлялся.

В Москве, в особняках французов, в купеческих семьях новой формации наряду с парижскими новыми шляпами считалось модным в лучшем случае обзаводиться заграничной мебелью или подражать декадентскому «новому стилю». Я говорю — в лучшем случае, ибо во французских изделиях все же наблюдалось изумительное мастерство техники, владение материалом и подчас остроумие выдумок, забавная изобретательность.

Все изящное из Парижа нравилось, давало тон, и не верилось, что в Париже, этой вековой колыбели красоты и культуры, городе, диктовавшем миру свои эстетические законы, могли процветать тогда, как и теперь, — *les fleurs du mal*, наряду с цветами свежими и благоуханными.

В первую мою поездку (по окончании гимназии) я застал парижский художественный мир на рубеже этих двух эпох, о которых я говорю. Увлекаясь Лувром, где я проводил целые дни, я тогда еще мало вникал в новые веяния. Резковраждебное отношение к ним в той среде, в которой я жил, этому способствовало. Даже мой восторг от оперы Вагнера вызвал бурю негодования, зато теперь, приехав из Мюнхена, порвав со всей предвзятостью в моей среде и окунувшись в иной художественный мир, я жаждал приобщиться к новому искусству, произвести переоценку ценностей и широко раскрыть глаза на все, что сулило мне современное парижское искусство, все те великие мастера, о которых я читал и слышал.

На сей раз я поселился с моими товарищами на высотах Монмартра, за три франка в день (включая утренний кофе) в грязной, очень сомнительного вида и репутации маленькой гостинице, на жуткой и смрадной улочке.

Смеялись мы до упаду над самими собой, и веселое божественное настроение

скрашивало все. Да и наших убогих комнатух мы почти не видали, перенасыщенные впечатлениями от всего воспринятого. Вернувшись поздно вечером, мы валились от усталости и засыпали, как мертвые.

Грабарь самым комическим, серьезным образом приписывал огромное значение именно богемному настроению нашей жизни, начитавшись о мизерной жизни в биографиях художников, он усматривал в этом хороший тон для профессиональных артистов. Мы вообще «принципиально» не завтракали, а ели с тем же Грабарем «открытый» (он любил «открывать Америку») вкусный дешевый сыр *Ront e'Evêque*, всем давно, конечно, известный.

В «большом человеке», как мы его называли, было столько наивно детского и простодушного, наряду со всем, что было в нем серьезного, и несмотря на всю его важность. Это было в нем очень мило и компенсировало его авторитетность. По поводу того и другого вспоминаются забавные и важные его заявления и вопросы, нам поставленные. Когда мы в Мюнхене поехали в Шлейсхейм, чтобы поклониться талантливым произведениям Маресса, о котором я упомянул выше, Грабарь, входя в зал с его фресками, заявил нам: «Кто не ценит Маресса — круглый болван, невежда и ничего в искусстве не смыслит...» И вдруг вопрос: «Вам нравится Маресс?» «Болванами» мы с Трейманом не оказались.

О каких-либо кутежах в ночном Париже, конечно, и речи не было. Не было ни денег, ни охоты, так как жили мы исключительно искусством. С утра до ночи мы изучали, а не просто смотрели, ретроспективную выставку и французскую школу изучали основательно; и не только на выставке — Лувр, Люксембургский музей были изучены внимательно — и с каким увлечением!

Все это было крупным вкладом в мое художественное развитие и при руководстве Грабаря, культурного, начитанного и, несомненно, чуткого, подобный осмотр лучшего, что дала Франция, был очень ценен для всей последующей моей жизни и работы.

Молодых к молодому тянет, и само собой разумеется, импрессионисты, пуантилисты, мастера пленеристы получили первенствующее место по нашей балльной системе.

Все остальное, чудесное, мудрое, умелое, преисполненное мастерства, но старое, отжившее — попало «в архив», а вот в них было найдено, как тогда казалось, подлинное откровение. Мастерства, знания и в Германии было не мало, но этого нового, свежего, этого «откровения» там «не было»!

Излишне говорить, что от этой переоценки мало что осталось в связи со взглядами, убеждениями и вкусами, созревшими с годами. Это во многом был «грех молодости», одно из ее очаровательных, опасных и чреватых горькими разочарованиями и раскаяниями увлечений, но грех этот нами овладел в то время.

Импрессионистов, пленэристов мы изучали не только на выставках, где они собой представляли «левое крыло», но и у знаменитого в то время собирателя их и покровителя Дюран-Рюэля, у которого были самые первоклассные холсты, раньше презираемые и уже в то время получившие очень высокую оценку. Дюран-Рюэль на своих плечах вынес и выручил из мрачной нищеты и беды многих знаменитых впоследствии художников и в то время заслуженно пожинал плоды своей энергичной деятельности, как пропаганда импрессионизма. Вкус и чутье его не обманули.

Мы проникли в квартиру этого симпатичного и любезнейшего дельца-мecenата, где висели его любимые, собственные, непроданные картины. Между прочими — очаровательный портрет его дочери, девочки в белом платье, написанный Ренуаром. Тогда зародилась во мне моя первая любовь к Ренуару, которым я одно время бредил и, наконец, приобрел, много времени спустя, прекрасного Ренуара, портрет, украшавший мое собрание в Москве.

Звезда «великого» Сезанна еще не взошла в то время, но когда взошла, то затмила своим блеском все остальные. Мода на него была столь велика, и пресса до того раздула его славу, что цены на него были баснословные. Но Гоген, со своими живописными картинами острова Таити, куда этот пресыщенный Парижем талантливый художник заточился и наряду с Пьером Лоти дал моду «экзотизма» — был на высоте своей славы. С. Щукин приобрел для своего Москов-

ского собрания, пожалуй, самые лучшие его холсты. Не менее высоко котиrowался еще гораздо более талантливый фламандец Ван-Гог, с его благороднейшей палитрой, нервная кисть которой пришлась по вкусу парижанам. Конечно, корифеи импрессионизма Манэ, Клод Монэ, Сизелз, Пизарро, питомцы и любимцы Дюран-Рюэля, играли роль первых скрипок в сложном и полнозвучном оркестре, отзвуки которого доносились далеко за пределы Франции.

Поразил меня особый тип, в то время знаменитого парижского торговца картинами (он же написал отличные биографии некоторых художников и издал их письма) — Воллара. Хмурый, до грубости нелюбезный с посетителями его лавки (это была именно лавка, а не магазин и не галерея, как у Дюран-Рюэля) он словно готов был спросить вас, зачем вы пришли его беспокоить. С трубкой во рту, грязно одетый и словно нехотя, стрясая густую пыль с холстов, которые прижатые друг к другу стояли у стен и на полках густыми рядами, как самый обычный товар, он лениво их вынимал, один холст за другим, как будто с этим товаром не стоит возиться и стесняться. Каждый холст стоил тысячи, нередко десятки тысяч.

Сначала я думал, что такое отношение объясняется ясным сознанием, что мы не покупатели, «все равно не купят и не стоит интересоваться столь неинтересными посетителями». Приходилось же слышать в Москве, в Охотном Ряду, как разносчики и лавочники грубо осаживали клиентов из простонародья: «Не рой, все равно не купить». Но я ошибался. Как только мы проявили серьезный интерес к картинам, заранее предупредив, что мы пришли не покупать, а просто очень любим искусство, Воллар просиял, его угрюмое, уродливое, и грубое лицо стало простодушным, почти ласковым, и он с поспешностью и большой любезностью и охотой стал вынимать из склада картины и показал почти все, увлекаясь сам и тем более увлекая нас. Этот грубый человек, на вид почти разбойник, обожал искусство, был тонким, глубоким знатоком его и обладал отменным вкусом. Я, читая вышеупомянутые его издания, еще яснее понял, с кем мы тогда, в этой убогой лавке, имели дело. Он был особенным парижским типом знатока, продавца, собирателя.

Брат С. И. Щукина, Иван Иванович Щукин, истый парижанин, презиравший Россию как «страну отсталую», влюбленный в Париж, «единственный город, где можно жить», был в то время культурным центром высшей русской и французской интеллигенции. У него собирались художники, писатели всех наций, и мы были званы на его воскресные чаи в прелестной обстановке его нарядной квартиры на авеню Ваграм. У него была чудная библиотека и много картин исключительно испанских мастеров, которыми он очень гордился и которые он покупал в любимой им Испании.

Встречал я у него и очень образованного, знаменитого ученого-иезуита, благообразного историка Валишевского, известного собирателя Пушкинского музея Онегина (он был чьим-то незаконным сыном и из-за культа Пушкина присвоил себе эту фамилию) и прославленного в то время испанского художника Зулуага, слава которого впоследствии померкла, но который тогда был очень в моде. Много было интересных встреч у Ивана Ивановича. Он был блестяще образованный, начитанный, приятный саркастический собеседник и своими рассказами о парижской жизни, о художниках он многое дополнял к тому, что мы лишь мельком сами могли воспринять от Парижа в эту поездку.

Он поражал своей нервностью, часто желчностью, причину этого мы узнали, вернувшись в Мюнхен. Наделав большие долги, он был вынужден продать свою любимую коллекцию Гойя и надеялся выручить таким образом крупную сумму. Каков был его ужас, когда картины Гойя, столь нам знакомые, все оказались ловкой подделкой. Несчастный не выдержал этого удара и от разочарования отравился цианистым калием в комнате, где мы провели с этим интереснейшим человеком столько приятных часов.

Париж по случаю выставки был в то время особенно и ослепительно наряден и оживлен. Как видение из другого мира, мимо нас пронеслись нарядные коляски с элегантными дамами и знаменитыми кокотками, похожими на райских птиц, которых прохожие знали по имени. Вспоминается выезд с чудными

лошадьми Отеро и красавицы Льян де Пужи. Изменив свою личину и скрываясь в глубине закрытых автомобилей, теперь они более не украшают своим красочным видением парижских улиц. Скучно стало, серо и уныло без этих пестрых шляп, развевающихся перьев, изумительных по роскоши платьев с модными тогда пелеринами, кружевами и боа и без чудных лошадей, увозивших парижских модниц к вечеру в Булонский лес, когда Елисейские Поля и триумфальная арка золотятся лучами вечернего солнца.

Мы ели свой сыр, обедали с богемой в дешевых кабачках и, видя, что карманы пустеют, забежав напоследок в Сорбонну и Пантеон поглядеть на красивые фрески Пювис де Шаванна, преисполненные впечатлений, сели в III класс и вернулись в наш милый, тихий Мюнхен, показавшийся нам глухой провинцией.

Все виденное в Париже и огромное впечатление, которое на нас произвели импрессионисты и пуэнтиллисты (явившиеся для нас, как я сказал, откровением), весь пленэрристический уклон в живописи, само собой разумеется, не могли не оставить глубокого следа в нашем художественном сознании и не влиять на нашу дальнейшую работу.

Тут Грабарь, в качестве педагога, свихнулся в силу неустойчивости своих художественных возрений, импульсивности и молодости, хотя он был значительно старше нас. Личное его увлечение было одно, но увлечение у педагога не всегда безвредно. Он сам, так сказать, сошел с рельс, по которым раньше катился в сторону Веласкеса, классиков, отчасти Вистлера, и увлек прицепленные к нему вагоны, — Треймана и меня. На Траубенберге, как скульпторе, это, конечно, не могло сказаться.

Он рьяно метнулся в сторону разложения красок и, вопреки своему прежнему непостоянству, проявленному в смысле различных технических опытов, в этом новом увлечении остался верен до самого последнего времени своей живописи, когда мне пришлось видеть его работы. Став чем-то вроде Сиданера, он попутно повел по тому же направлению нас — своих учеников.

Пока производились опыты на натюрмортах (помню, я белые лилии разложил на красивые опаловые тона, что понравилось Грабарю), и работы сводились к лабораторным опытам, — еще было полгоря. Это было вроде упражнения на гаммах музыки. Но когда дело дошло до мелодии — живописи головы и пейзажа — то началось нечто, явно неладное. Импрессионистически подойти к голове, притом не впадая в прямую подражательность либо Ренуару, либо Ван-Гогу и проч., бесконечно сложная задача. При еще несовершенном мастерстве, имея в виду необходимость владеть формой и рисунком, столь сбитых у Ван-Гога, Сезанна, Монэ и др. импрессионистов, — это задача опасная. Это равнялось иной постановке голоса на уроках пения, нередко ведущих к его ломке. Начались мучения, чувствовалась неувязка и неопределенность пути. То же происходило с пейзажем\*.

Была чудная весна, и мы втроем уехали на этюды в прелестную деревушку Дахау.

Трейман и я уселись рядом с Грабарем и начали изучать разложение красочного спектра и вибрирующие тона травы и деревьев, пронизанных солнеч-

\* Я нарочно остановился подробно на этом кризисе, так как он имеет значение не только в смысле автобиографическом. Личный элемент мысли и решения мои, с ним связанные — это одно, и не всякому интересно; но другое, имеющее общий интерес, заключается в том факте, что формирование молодых художников, основанное на необходимости вести их по пути и по правилам строгим и мудрым и в веках установленным, требует, чтобы учитель и ученик поборол все соблазны временных увлечений, как заманчивы они бы ни были. Как показал импрессионизм, он был в долгой летописи искусства эпизодом, увлечением и опытом эфемерным. Оно было индивидуальным опытом, вернее, группы индивидуумов. Навязывать индивидуальный опыт в молодые годы учения — это означает не только вырвать из-под ног твердый фундамент положительных знаний, но потворствовать слишком раннему пробуждению художественного вольнодумства даже не индивидуальности, потворствовать которому, как показали многие опыты в современности, преждевременно, а также и вредно, ибо увлечение чужой индивидуальностью, в данном случае индивидуальным опытом группы людей, забивает индивидуальный талант, подвергая его некоему гипнозу. Импрессионизм загипнотизировал целое поколение.

ными лучами. Работа шла нудно, и сам мотив идиллического пейзажа, музыкальная его ария выпадали из поля зрения, всецело поглощенного проблемой разложения красок. Этот непривычный лабораторный опыт убивал всякое непосредственное вдохновение и эмоцию.

Авторитет Грабаря пал так же внезапно, как и окончательно. Куда он нас вел? Неужели подобной рецептурой можно воспеть окружающую красоту мира? Да, вспоминая Клода Монэ, ставился, с внезапной переоценкой, вопрос, передал ли он красоту готического собора и его величие, сделав из него сгусток разложенных красок?

Любой пейзажист иного толка, пусть и старомодного, увез бы с собой из этого милого Дахау с его улочками, садиками, уютными поэтическими домиками, коровами, курами на фермах, двориками, лесами и полями целую кучу мотивов и пейзажей, а мы корпели над нашими импрессионистическими и дивизионистическими проблемами часами, чтобы набрать какие-то фрагменты красочной мозаики.

Увлечение и следующее за ним разочарование расцениваются объективно тогда, когда отходишь от них в жизнь на известное расстояние и когда они заменяются отстоявшимися убеждениями.

Так или иначе, Париж больно ударил по Мюнхену, где вся живопись после всего нами виденного и пережитого в этом городе подлинной живописи, каким он был и есть, несмотря даже на упадок и вырождение, представляла все же довольно безотрадную картину. Пребывание в нем потеряло для меня смысл, а также утрачивало его преподавание моего учителя, которому все же я весьма многим обязан. Да и в Россию нас, русских людей, Грабаря, Траубенберга и меня сильно потянуло. Париж мы изучили, хотелось видеть, что делается в искусстве там, на родине, как и чем живут. Ни парижанами, ни закоренелыми мюнхенцами нам быть не хотелось. Соскучились мы и по чудесной русской природе. Пора домой, и мы поехали.

*(Продолжение следует)*

Михаил ЗОЛОТОНОСОВ

### ПОСТМОДЕРНИЗМ И ОКРЕСТНОСТИ

Московские впечатления ленинградского критика

1

Странно, несмотря на ощущение близкого конца, литературная жизнь продолжается в Москве (в Ленинграде она уже замерла).

На организованную Литературным институтом им. М. Горького творческую конференцию «Постмодернизм и Мы» (13—15 марта 1991 г.) я поехал с докладом «Логомахия: Тимур Кибиров и современная чучмекская советская поэзия». Доклад был посвящен поэме «Послание Л. С. Рубинштейну», в сентябре 1990 г. целиком опубликованной в «Часе пик». Немалую часть доклада занимал анализ читательских писем (лишенные чувства поэзии и юмора, наши корреспонденты дали богатый материал для анализа).

На конференции были и Кибиров, и Рубинштейн (действительно, «кочумай», как метко охарактеризовал его поэт). Но не по этой причине я не стал читать заготовленный текст. В другом было дело — в з р и т е л ь с к и х впечатлениях первого дня.

Самое первое и самое гнетущее впечатление произвел сам Литинститут, где я оказался впервые: большую заброшенность, бедность, провинциальность, большую «мерзость запустения» и вообразить трудно. А ведь «творческое» учебное заведение! Но принадлежит оно Союзу писателей СССР, «министерству литературы», руководство которого уже давно озабочено одним — заграничными поездками и самосохранением; о литературной смене оно думает, надо полагать, с содроганием и словами Иосифа Бродского: «Что поделать, молодежь не задушишь, не убьешь». Отказ от «дедовщины» в литературе привел их в состояние, близкое к помешательству, а тут еще и освобождение журналов от СП-контроля...

От конференц-зала института до туалета в подвале — три метра по прямой (совсем как в Ибанске, описанном А. Зиновьевым: «Сортир надстроили и одели в сталь и стекло... Рядом с сортиром построили гостиницу...»). Захотели записывать выступления на магнитофон — и минут через пятнадцать какой-то человек вошел (почему-то одетый в пальто и шапку, но никого это не удивило) и втащил в зал допотопное страшилище...

Этому учебному заведению, действительно, идет имя М. Горького — бывшего буревестника и босяка, основоположника соцреализма. Ибо д у х о м б о с я ч е с т в а дышит каждый, кто вступает под эту крышу. Да, семинар по поэзии сейчас ведет «иностранец» Наум Коржавин. Но, кажется, что сами стены сопротивляются этому: в таком здании можно лишь ставить руку будущим мастерам социалистической литературы, воспитывать «инженеров человеческих душ», литературных «омоновцев». Могу представить здесь Юрия Бондарева, чи-

тающего псевдореалистического роман «Искушение», или Сергея Викулова, декламирующего свою последнюю поэму «Посев и жатва». Но не могу представить Георгия Владимова, Наума Коржавина, Андрея Синявского.

А второе впечатление — это выступления первого дня: Геннадия Айги, Всеволода Некрасова, Виктора Ерофеева, Татьяны Щербины...

Г. Айги — знаменитость, трудная судьба (см. «Огонек», 1990, № 12), парижские издания, элитарные стихи («Родник», 1989, № 4; «Дружба народов», 1990, № 8) — и какая-то детская игра с терминами (значение которых давно установилось), будто он, Г. Айги, эти термины прямо в зале придумал и наделил смыслом. Возможно, «у поэтов есть такой обычай» — стремиться все запутать и все открыть заново («актом творения» приравнять себя к Богу, о котором все любят порассуждать), но у меня осталось ощущение какой-то глубокой провинциальности, привычной работы на публику, причем западную, которая в восторге «все проглотит», лишь бы ей дали возможность лицезреть очередную новинку «с Востока».

Сразу вспомнился Э. Лимонов и его рассказ «Красавица, вдохновлявшая поэта»: «Я покориł несколько профессоров русской литературы, и они начали изучать мое творчество. Я выступил со своим номером в Оксфорде! Я шутил, улыбался, напрягал бицепсы..., плел невообразимую чепуху с кафедр университетов, но народ не вслушивался в слова. Слова служили лишь музыкальным фоном спектакля, основное же действие, как в балете, совершалось при помощи тела, физиономических мышц и, разумеется, костюма и аксессуаров».

Бессвязная речь Г. Айги русский язык сделала иностранным.

Вс. Некрасов — еще одна знаменитость советского андеграунда (большую подборку отличных стихов, в 1978—1979 гг. опубликованных в самиздатском журнале «37» тиражом 30 экземпляров, см.: «Вестник новой литературы», 1990, № 2) — начал с объявленных в программе «научкологических заметок», но то уныние, с которым он об этом говорил, выдали, что это лишь разминка. И действительно, вскоре поэт перешел к тому, что его на самом деле волновало; он начал жаловаться на судьбу, на то, что его не печатали и не печатают, обвинять критиков (тут же досталось сидевшему в президиуме ректору института Е. Сидорову). В жанре народной записки Некрасов вслух подсчитывал «упущенные выгоды» — сколько лет его мариновали в «подполье». Из названных причин следовало, что мир теперь должен провалиться, но чтоб ему, Вс. Некрасову, «чай всегда пить».

А из критиков главной мишенью он выбрал Михаила Эпштейна. Ненавистный образ так распалил Вс. Некрасова, что даже помог трансформировать скупую слезу в гнев, и он по-всамделишному осерчал, вдруг вспомнив, что Эпштейн некогда и где-то сравнил его с Акакием Акакиевичем. Правда, в суете и запале Некрасов не обратил внимания на то, что своими жалобами он лишь подтвердил точность сравнения с гоголевским героем...

Вик. Ерофеев — «московский мальчик», «жоржик», книжки которого и статьи идут сейчас на рынке, как горячие пирожки. Взойдя на трибуну, первым делом спросил рассеянно: «Это о постмодернизме?», сразу дав понять аудитории меру своей загруженности подобными выступлениями, которые он обьезжает на трофейном стареньком «Вольво».

Если Вс. Некрасов жаловался на неустроенность, то Вик. Ерофеев, наоборот, демонстрировал жизненный успех, изображая утомленную победами знаменитость. Не случайно его доклад в программе имел бальмонтовско-северянинское название «Постмодернизм и Я» — словно все должно то и дело напоминать о том, что Вик. Ерофеев «делает жизнь» с товарища Лимонова (я сразу вспомнил интервью, которое Э. Лимонов дал Вик. Ерофееву: «Огонек», 1990, № 7).

О масштабах ерофеевских притязаний говорит и его странная, внезапно обнаружившаяся страсть: быть «впереди классиков». Он пишет предисловия и, кажется, ему все равно, к кому, чему и о чем: Розанов, Добычин, Набоков... Так в свое время масса советских изданий была «украшена» столь же небрежно и наспех написанными «вступилками» К. Симонова.

Сходство с Э. Лимоновым особенно усугубилось к концу выступления Вик.



Ерофеева, когда он прочитал некий, якобы «ад хок» написанный пародийный текст, включавший ненормативную лексику. Под аплодисменты «неоклассик» сошел с трибуны.

Т. Щербина... Образцы ее творчества можно увидеть в рижском «Роднике» (1988, № 10), женщину же я пощажу, хотя и отмечу (кратко) манеры опытной эстрадной дивы и ту же «критику» в адрес М. Эпштейна. Да, еще Т. Щербина как бы в шутку пожалела, что за это выступление ей не заплатят.

Кстати, на конференцию Т. Щербина пришла вместе с Андреем Мальгиным, ныне народным депутатом Моссовета и главным редактором журнала «Столица». Но чтобы рассказать об этом «строгом юноше» в добролюбовских очках, не хватит и целой газетной полосы.

Давай, давай! Не хлюпай носом,  
не прибедняйся, ёксель-моксель.  
Без мазы мы под жертвы косим.  
Мы в той же луже, мы промокли.

Мы сами напрудили лужу  
со страха, сдуру и с устатку.  
И в этой жиже, в этой стуже  
мы растворились без остатка.

## 2

Михаил Эпштейн стал антигероем первого дня: едва ли не каждый выступавший выбирался из путаницы мыслей и слов через брань в адрес Эпштейна.

Можно как угодно относиться к тому, что он написал, и к нему самому, но не заметить того, что это групповое нападение едва ли не в точности повторило устроенную в свое время «отцами» травлю, скажем, Солженицына, — это не заметить могли только самовлюбленные глупцы.

Естественно, не те последствия, не тот масштаб, но зато добровольно, без подсказки... Эта атака усилила и без того проглядывавшее сходство конференции с «параллельным» (альтернативным) писательским съездом: другие персонажи, другие символы, а форма та же.

Как точно заметил жестокий А. Зиновьев, «если даже по каким-то причинам аппарат идеологического принуждения перестанет действовать (например, будет физически разрушен), какие-то элементы официального идеологического учения сохраняют свое значение в качестве добровольных элементов той или иной (официальной или неофициальной) идеологии».

Я уже говорил о влиянии «стен» Литинститута, возбуждающего рефлексии сопреалистического поведения. Увы, советский менталитет — вещь нешуточная. И напрасно наш авангард думает, что не имеет к нему отношения: видимо, это просто невозможно. Давит вся обстановка руин социализма: Литинститут, угрюмая и запущенная Москва, два милиционера с дубинками, управляющие очередью в забегаловку «Макдональдс», атмосфера всеобщего убегания...

Говорили (я не видел), очень жалкое впечатление произвел на конференции Андрей Вознесенский: постаревший мальчик пришел к прагматикам-детям, заигрывал с аудиторией, показывал какие-то «шестидесятнические» рисунки, пытался найти общий язык...

Не случайно Э. Лимонов назвал Евтушенко и Вознесенского «вечнозелеными».

Вот потому я и сказал: вряд ли стоило в один зал сажать и поэтов, и критиков. Языки разные, способы мышления разные, манеры поведения разные, разные породы людей сведены воедино, и все это напоминает собрание, где вместе сидят и друг перед другом выступают врачи и больные. Видимо, есть высшая мудрость в том, что автора мы не видим, что есть текст, который не только соединяет, но и разъединяет — во спасение.

Наших авангардистов (как, впрочем, и всех писателей вообще) можно читать, но не надо видеть.

Вот сижу я и жду гонорара,  
жду, что скажут Эпштейн и Мальгин...  
Лира, лира моя, бас-гитара,  
Аполлонишка, сукин ты сын.

Так Тимур Кибиров перевел на современный язык знаменитую пушкинскую «Охранную грамоту»: «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон...»

### 3

В прологе к «Петербургу» Андрей Белый заметил интересную вещь: «Если же Петербург не столица, то — нет Петербурга. Это только кажется, что он существует. Как бы то ни было, Петербург не только нам кажется, но и оказывается — на картах: в виде двух друг в друге сидящих кружков с черной точкой в центре; и из этой вот математической точки, не имеющей измерения, заявляет он энергично о том, что он — есть: оттуда, из этой вот точки, несется потоком рой отпечатанной книги; несется из этой невидимой точки стремительно циркуляр».

Удивительно даже, насколько точно соответствует теперь этому закону Москва. Если она не столица, то — нет Москвы. Если Горбачев не президент, то — нет Горбачева. И то же самое относится к любому из миллиона чиновников, то же самое относится к литературному авангарду, сгустившемуся в зале Литинститута — Ноевом ковчеге посреди потопа. В каждом ощущается какая-то внутренняя пустота, несамостоятельность, неуверенность; в каждом видна усиленная забота о «спасении» — об имидже, признании любой ценой, успехе, возвышении над реальной жизнью: от Вик. Ерофеева — до малоизвестного Славика Курицына, похожего на хунхуза, который для популярности заявил во всех редакциях о своем намерении уехать в Израиль. Не будет внешних знаков их существования — не станет и их, они из этого «сделаны». И они нужны друг другу, им нужна публика в зале, которая признает (или не признает) за ними «гениальность», право на презрение к себе и примат «эстетики» над «мещанством». Им нужна «литературная среда» — без всего этого их просто нет, и потому так неуверен в себе каждый из них, взятый в отдельности, потому за территорией литинститутского забора они уже кончаются, как Снегурочка или Золушка, исчерпавшие лимит своего срока. Бегущие по Страстному бульвару люди — советские, злые, задавленные заботами и нуждой, обрызганные грязью проходящих машин, именуемые в зале конференции «совками», люди, которым имена Вс. Некрасова, Вик. Ерофеева или Т. Щербины не говорят ничего, эти люди лишают их существования.

Авангардисты «относительны», как относителен и весь этот город в целом, нуждающийся во всеобщем признании своей «столичности». «В эпохи, когда все принципы расшатаны, сильно развитая личность находит опору в самой себе». (Г. Померанц. Семеро против течения. «Октябрь», 1991, № 2). Сегодня принципов нет вовсе, но и в себе не найти опору нашим модернистам. На помощь приходит философия жизненного успеха, «американизм» в лимоновской транскрипции, что знаменует собой разрушение традиционной для России культурной ментальности, основанной на противопоставлении «блага» и «правды», истины и благополучия. Это естественно, ведь «родовые» традиции ничего дать не могут, позади десятилетия позора.

**...И каждый студентик  
Литинститута здесь знает — искусство превыше морали.  
На семинаре он так и врзает надменно: «Эстетика  
выше морали бескрылой, мещанской!» И мудрый Ошанин,  
мэтр седовласый, ведущий у них семинары, с улыбкой**

доброю слушает и соглашается: «В общем-то да». В общем-то да... Уж конечно... Но мы с тобой все-таки будем Диккенса вслух перечитывать, и Честертона, и, кстати, «Бледный огонь», и «Пнина», и «Лолиту», Ленуля, и Леву будем читать-декламировать. Бог с ним, с де Садом...

4

А с названием конференции произошло какое-то недоразумение, ибо к собственно постмодернизму можно было отнести лишь очень и очень немногих. Но сработала инерция: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при постмодернизме!»

Точнее было бы назвать собравшихся авангардистами, стараясь не замечать иронии, либо понимать конференцию как парад сил, оставшихся после того, как модернизм кончился; нечто вроде победы Ирака в нынешней войне в зоне Персидского залива...

Не до жиру. Пора наступает.  
Не до литературы, пойми.  
Что-то пропадом все пропадает,  
на глазах осыпается мир.

5

Одно из самых «булгаковских» мест в столице — ресторан Центрального дома литераторов, ЦДЛ. Хотите ощутить типично булгаковскую, типично московскую (со сталинских двадцатых годов не выветрившуюся) смесь таинственности, бесправия, хамства и гротеска, — попытайтесь в ЦДЛ пообедать. И не холодными закусками, наспех, а в «главном» зале, за столом, покрытым когда-то белой скатертью, куда ставят «главную» пищу этого дома, предназначенную для «старших» людей.

Как утверждал автор «Мастера и Маргариты», члены МАССОЛИТа всегда могли получить свои «порционные судачки а натюрель» или «яйца-кокотт с шампиньоновым пюре в чашечках»... Нет, не в том дело, что ни блюд этих, ни даже чашечек давно нет. Вместе с филейчиками из дроздов исчезло и право рядового члена МАССОЛИТа пообедать в ресторане «своего» Центрального дома.

Мое красное удостоверение с орденом Ленина на «крышке» и подписью самого Ю. Верченко внутри крутили и изучали: и директор ЦДЛ Михаил Минаевич, похожий на Виктора Шкловского, каким его любили изображать на карикатурах; и замдиректора ресторана — верткий и наглый молодой еврей в казацких усах с подусниками; и невозмутимая в своем спокойном московском цинизме «Аннушка» (!) — администратор Анна Павловна Соловьева. Все крутили, а пообедать так и не дали. Хотя и еда еще была (только открылись, я с голодухи к самому открытию подошел), и треть столов была свободной даже от многочисленной ЦДЛовской челяди. Но... как и все в Москве, ресторан работает не для «пришлых» людей, а для пользы собственных работников. И потому кормит лишь «своих» и иностранцев.

Я сижу рядом с Анной Павловной, «Аннушкой», пишу жалобу в чудом найденную «жалобную книгу». Пишу и слушаю.

— Анна Павловна, на 19 часов, пожалуйста, два места: я буду с бельгийцем.

— Аня, рыбка есть? Придет делегация.

— Аннушка, — басом гудит какой-то детина, неприлично подлизываясь, — я давал пустую бутылку...

— Все в порядке, — спокойно отвечает Аннушка, не стесняясь моей близостью.

— А можно на вечер столик на пятерых? — развивает успех детина.

— Можно, можно, — устало отвечает Анна Павловна и снисходительно поглядывает на мое перо, разбежавшееся по книге жалоб. Ей ли, хранительнице балыковых полен и снейдерсовских мясных завалов, перед которой лебезит сам крошечный Михаил Минаевич, бояться заезжего писаки-скандалиста!

Я выхожу из ресторана и иду по ЦДЛ. Панихида по какому-то абсолютно неизвестному писателю настраивает на совершенно минорный лад: во всем торжество сиюминутности, надежд на компенсацию *потом* не остается никаких. Права Аннушка, прав детина.

**В ресторанчике, ах, в цэдээлочке  
вот те фирменных блюд прејскурант:  
и котлеточка одноименная,  
за 2-20 с грибочками рулет,  
2-15 корейка отменная,  
тарталеточки с сыром... Поэт!**

6

По ряду обстоятельств я остановился на этот раз не у знакомых или родственников, а в общежитии Литературного института. И не пожалел — несмотря на определенный дискомфорт, — ибо полученные впечатления намного превысили то, что я ожидал узнать.

Грязь, покинутость, всеобщее безразличие, вечером фильмок с элементами «мягкого порно», какой-то кошмарный туалет типа «сортир» с незапирающимися дверцами на кабинках (о, эта советская анальная эротика!), пьяные крики каждую ночь, кто-то всю ночь с пятницы на субботу стучавший и ломившийся в дверь моего 318 номера, лампочка без абажура, простыня с восемью казенными печатями...

Кому-то все это может показаться несущественным, и это не lamentация, дело в другом. Ведь среди тех, кто обучается в Литинституте и живет в общежитии, есть и такие, кому не просто «ставят руку», но кто учится вбирать в себя впечатления от окружающего мира и превращать их в тексты. И вот лежа ночью на продавленном матрасе, разбуженный пьяным гвалтом в коридоре, громко выкрикиваемой «ненормативной лексикой», включенной Кибириным в мою любимую поэму, так вот, лежа ночью и глядя в окно с щелями, не закрытое занавеской, я вдруг четко понял, так сказать, эстетико-бытовые корни той злобности, того шариковского желания разрушения, которые удивили меня не так давно в подборке стихов Михаила Вишнякова «Допивается чаша славянства» («Наш современник», 1990, № 11):

**Впереди с кровавым флагом  
надзиратель из БАМлага  
Лев Аронович Шамир,  
черных бесов командир...**

**Не ликуйте же, недруги-волки!  
Уходя, наша древняя рать  
хлопнет дверью — да так, что осколки  
после нас никому не собрать...**

**В недрах редакций стрекочут машинки,  
патока льется и капает яд.  
Бунт по-московски — взлетают пушинки.  
Бунт по-российски — оглобли взлетят.**

Я тогда же назвал для себя стихи такого «направления», пестуемого в «Нашем современнике», ивангардизмом, а теперь, ночью, в «общаге», под пьяные

крики понял, где и отчего закладывается плебейская ненависть к сытым и богатым, имеющим квартиры и работу. Ненависть, которой надо лишь придать направление (на «Льва Ароновича»), дать огранку и надежду: пиши для нас и получишь желанное.

Я не был удивлен, когда, вернувшись домой, прочитал под стихами: «Вишняков Михаил Евсеевич родился в 1945 году в селе Сухайтуй Читинской области. Учился в ремесленном училище. Работал слесарем, мельником, табунщиком. Окончил Литературный институт, занимался журналистикой, был редактором читинской студии телевидения. Автор нескольких поэтических книг. Член Союза писателей СССР».

Я понял, что «нашсовременниковский» ивангардизм, как на навозной куче, растет из антибыта, зависти, вечного мата, страшного сортира с жижей на полу, умывальной комнаты без зеркала — как в лагере. Из всего этого «уголка ГУЛАГа», затерявшегося в мегаполисе. Как писал Б. Пастернак, «все это были подобыя»: литературное общежитие относится к Москве так же, как Москва и вся страна к остальному миру.

А богоборцы, а богоискатели? Вся эта погань,  
 вся достоевичина родная? Помнишь, зимою в Нарыне  
 в командировке я был. Там в гостинице номер двухместный,  
 без унитаза, без раковины...  
 ...Начал икать он, Ленуля, а после он стал материться.  
 Драться пытался, стаканом бросался в меня и салагой  
 х...вым он обзывал меня зло и чучмеком е...ным.  
 ...Врет Александр Алексаныч, не может быть злоба святою.

7

Роман Григорьевич Виктюк — самый молодой сегодня московский театральный режиссер: спокойный, самоуверенный, снисходительный, с горящими от каких-то внутренних процессов глазами, все время радостный.

«Роман Виктюк — это имя. Это успех, это легенда, это стиль. Имя, в некоторой степени мифологизированное судьбой. Успех — с оттенком скандальности. Легенда в стиле ностальгически-сентиментального блюза, а стиль на грани бесстылья» и т. д. (см.: Казьмина Н. Страсти по Виктюку. «Театр», 1989, № 8, с. 56).

Вообще, феномен моды для Москвы значит гораздо больше, чем, скажем, для Ленинграда. По сравнению с москвичами, мы ленивы и нелюбопытны. А они — в сравнении с нами — куда сильнее подвержены зову «громких» мероприятий. «Нельзя пропустить!».

В Ленинграде, кстати говоря, на подобную конференцию пришли бы докладчики (каждый в день своего выступления) и еще человек 10—15, которые ходят на все мероприятия вообще.

В Москве, к моему удивлению, даже на третий день в зале не просто еще был народ, но его было много, не говоря уже о дне первом, когда люди стояли у стен и чуть ли не сидели на полу.

Такой же ажиотаж сопровождал и появление Романа Виктюка.

Опять же должен сказать, что москвичи гораздо лучше умеют играть в эту игру — создавать и признавать знаменитости. Есть в этом какое-то детское желание чуда, праздника; столичное желание соприсутствия при чем-то великом.

Р. Виктюк пришел с Сергеем Коковкиным, автором пьесы (не помню названия), и двумя актерами: Маргаритой Тереховой и Вячеславом Бутенко. Нам показали нечто вроде репетиции, впрочем, оказалось, что конференц-зал для игры непригоден, ибо очень мала сцена, и актеры на ходу приспособлялись, опуская, как заметил Виктюк, самое интересное.

Содержание пьесы попытался рассказать сам Коковкин. Суть заключалась в том, что перед нами муж-пьяница и его жена, которая родила мертвого ребенка. Ребенок обоим супругам непрерывно «является». Кроме того, Терехова изобра-

жала то жену, то ее мать... Вскоре стало ясно, что «пьеса» устраивает Виктюка именно своим отсутствием, а Коковкин — отсутствием «драматургических» амбиций.

Безусловно, оба актера были первоклассными, а умение Виктюка образно объяснять задачу — неподражаемо. Безусловно, к постмодернизму все показанное не имело отношения (что Виктюк и заявил с очаровательной улыбкой гения), а если с чем-то литературным и ассоциировалось, то с модернизмом, борющимся с «сюжетоложеством». Виктюк целенаправленно добивался от актеров какой-то особенной, «животной» спонтанности и деидеологизированности в движениях и звуках, добивался отказа от «культурности», некой до- или посткультурности, напоминая об опытах Ежи Гротовского, в проекте «Театр начал», где за человеческую подлинность принимали тот инстинкт, который остается, если отодрать все культурно-приобретенное. Виктюку хочется человека раздеть, оголеть до подсознания, обнажить до рефлексов (в этом, по Виктюку, соответствие с реальностью), а если затем и одеть, то уже по-своему, «эстетично», театрально, а то и оставить голым и срамным.

Ночью, слушая пьяный шум в коридоре общежития Литинститута им. М. Горького и вспоминая об интеллигентских забавах, я думал: то, чему Виктюк учил Терехову и Бутенко, иные студенты привозят из своих Сухайтуев и сохраняют потом всю жизнь. На этот «чистый» фон рефлексов и простейших реакций любая идеология (от коммунистической до шовинистической) ложится легко и естественно...

**Прощайте, годы безвременщины,  
Шульженко, Лещенко, Черненко,  
салатик из тресковой печени  
и Летка-енка, Летка-енка...**

**Присядем на дорожку, Зёма,  
И помолчим... Ну все, поднялись.  
Прощай, 101-й наш километр,  
Где пили мы и похмелялись.**

**И мы уходим, мы уходим  
неловко как-то, несуразно,  
скуля и огрызаясь грозно,  
бессмысленно и безобразно...**

к о н е ц

В тексте использованы фрагменты из посланий Т. Кибирова «Ленке», «Сергею Гандлевскому» и поэмы «Литературная секция» (все — «Синтаксис», 1990, № 29).

Автор приносит благодарность администрации Литературного института им. М. Горького за приглашение на конференцию «Постмодернизм и Мы», а также руководству ресторана Центрального Дома литераторов (Москва).

---

---

## Сергей ДОВЛАТОВ

### ЛИТЕРАТУРА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

*...А значит никто никого не обидел, литература продолжается...*

*М. Зоценко*

#### МНОЙ ОВЛАДЕЛО БЕСПОКОЙСТВО

На конференции я оказался случайно. Меня пригласил юморист Эмиль Дрейцер. Показательно, что сам Дрейцер участником конференции не был. То есть имела место неизбежная в русской литературе доля абсурда.

Сначала ехать не хотелось. Я вообще передвигаюсь неохотно. Летаю — тем более... Потом начались загадочные разговоры:

— Ты едешь в Калифорнию? Не едешь? Зря... Ожидается грандиозный скандал. Возможно, будут жертвы...

— Скандал? — говорю.

— Конечно! Янов выступает против Солженицына. Цветков против Максимова. Лимонов против мировой цивилизации...

В общем, закипели страсти. В обычном русском духе. Русский человек обыкновенный гвоздь вколачивает, и то с надрывом...

Кого-то пригласили. Кого-то не пригласили. Кто-то изъявил согласие. Кто-то наотрез отказался. Кто-то сначала безумно хотел, а затем передумал. И наоборот, кто-то сперва решительно отказался, а потом безумно захотел...

Все шло нормально. Поговаривали, что конференция инспирирована Москвой. Или наоборот — Пентагоном. Как водится...

Я решил — поеду. Из чистого снобизма. Посмотреть на живого Лимонова.

#### ЗАГАДОЧНЫЙ ПАССАЖИР, ИЛИ УРОКИ АНГЛИЙСКОГО

В аэропорту имени Кеннеди я заметил Перельмана. Перельман — редактор нашего лучшего журнала «Время и мы».

Перельман — человек загадочный. И журнал у него загадочный. Сами посудите. Проза ужасная. Стихи чудовищные. Литературная критика отсутствует вообще. А журнал все-таки лучший. Загадка...

Я спросил Перельмана:

— Как у вас с языком?

— Неплохо, — отчеканил Перельман и развернул американскую газету.

А я сел читать журнал «Время и мы»...

В Лос-Анджелесе нас подждал молодой человек. Предложил сесть в машину.

Сели, поехали. Сначала ехали молча. Я молчал, потому что не знаю языка. Молчал и завидовал Перельману. А Перельман между тем затеял с юношей интеллектуальную беседу.

Перельман небрежно спрашивал:

— Лос-Анджелес из э биг сити?

— Ес, сэр, — находчиво реагировал молодой человек.

Во дает! — завидовал я Перельману.

Когда молчание становилось неловким, Перельман задавал очередной вопрос:

---

В мае 1981 г. в Лос-Анджелесе проходила международная конференция «Русская литература в эмиграции: Третья волна». Печатается с любезного разрешения М. В. Розановой, главного редактора и издателя журнала «СИНТАКСИС», № 10, 1982.

— Калифорния из э биг стейт?

— Ес, сэр, — не терялся юноша.

Я удивлялся компетентности Перельмана и его безупречному оксфордскому выговору.

Так мы ехали до самого отеля. Юноша затормозил, вылез из машины, распахнул дверцу.

Перед расставанием ему был задан наиболее дискуссионный вопрос:

— Америка из э биг кантри? — просил Перельман.

— Ес, сэр, — ответил юноша.

Затем окинул Перельмана тяжелым взглядом и уехал.

## ДЕЛО СИНЯВСКОГО

Всем участникам конференции раздали симпатичные программки. В них был указан порядок мероприятий, сообщались адреса и телефоны. Все дни я что-то записывал на полях.

И вот теперь перелистываю эти желтоватые странички...



Андрей Синявский меня почти разочаровал. Я приготовился увидеть человека нервного, язвительного, амбициозного. Синявский оказался на удивление добродушным и приветливым. Похожим на деревенского мужичка. Неловким и даже смешным.

На кафедре он заметно преобразуется. Говорит уверенно и спокойно. Видимо, потому, что у него мысли... Ему хорошо...

Говорят, его жена большая стерва.

В Париже рассказывают такой анекдот. Синявская покупает метлу в хозяйственной лавке. Продавец спрашивает:

— Вам завернуть или сразу полетите?..

Кажется, анекдот придумала сама Марья Васильевна. Алешковский клянется, что не он. А больше никому...

Короче, мне она понравилась. Разумеется, у нее есть что-то мужское в

характере. Есть заметная готовность к отпору. Есть саркастическое остроумие.

Без этого в эмиграции не проживешь — загрызут.

Все ждали, что Андрей Донатович будет критиковать Максимова. Ожидания не подтвердились. Доклад Синявского затрагивал лишь принципиальные вопросы.

Хорошо сказал поэт Дмитрий Бобышев:

— Я жил в Ленинграде и печатался на Западе. И меня не трогали. Всем это казалось странным и непонятным. Но я-то знал, в чем дело. Знал, почему меня не трогают. Потому что за меня когда-то отсидели Даниэль и Синявский...

## ДЕЗЕРТИР ЛИМОНОВ

Эдуард Лимонов спокойно заявил, что не хочет быть русским писателем.

Мне кажется, это его личное дело.

Но все почему-то страшно обиделись. Почти каждый из выступавших третиловал Лимонова. Употребляя, например, такие сардонические формулировки:

«...Господин, который не желает быть русским писателем...»

Так, словно Лимонов бросил вызов роду человеческому!



Вспоминается такой исторический случай. Приближался день рождения Сталина. Если не ошибаюсь, семидесятилетний юбилей. Были приглашены наиболее видные советские граждане. Писатели, ученые, артисты. В том числе — и академик Капица.

И вот дерзкий академик Капица сказал одному близкому человеку:

— Я к Сталину не пойду!

Близкий человек оказался подлецом. Дерзость Капицы получила огласку. Возмутительную фразу процитировали Сталину. Все были уверены, что Капица приговорен.

А Сталин подумал, подумал и говорит:

— Да и черт с ним!..

И даже не расстрелял академика Капицу.

Так ведь это Сталин! Может быть, и нам быть чуточку терпимее?

Как будто «русский писатель» — высочайшее моральное достижение. А человек, пренебрегший этим званием, — сатана и монстр.

В СССР около двух тысяч русских писателей. Есть среди них отчаянные проходимцы. Все они между третьей и четвертой рюмкой любят повторять:

— Я — русский писатель!

Грешным делом, и мне случалось выкрикивать нечто подобное. Между тринадцатой и четырнадцатой...

Я, например, хочу быть русским писателем. Я, собственно, только этого и добиваюсь. А Лимонов не хочет. Это, повторяю, его личное дело.

И все-таки Лимонов сказал глупость. Национальность писателя определяет язык. Язык, на котором он пишет. Иначе все страшно запутывается.

Бабель, например, какой писатель? Допустим, еврейский. Поскольку был евреем из Одессы.

Но Вениамин Каверин тоже еврей. Правда, из Харькова. И Даниил Гранин — еврей. И мерзавец Чаковский еврей...

Допустим, в рассказах Бабея фигурируют евреи. Но в рассказах Купера фигурируют индейцы. В рассказах Уэллса — марсиане. В рассказах Сеттона-Томпсона — орлы, лисицы и бараны... Разве Уэллс — марсианский писатель?

Лимонов, конечно, русский писатель. Плохой или хороший — это уже другой вопрос. Хочет или не хочет Лимонов быть русским — малосущественно. И рассердились на Лимонова зря.

Я думаю, это проявление советских инстинктов. Покидаешь Россию — значит, изменник. Не стоит так горячиться...

Лимонов — талантливый человек, современный русский нигилист. Эдичка Лимонова — прямой базаровский отпрыск. Порождение бескрылого, хамского, удушающего материализма.

Нечто подобное было как в России, так и на Западе. Был Арцыбашев. Был Генри Миллер. Был Луи Фердинанд Селин. Кажется, еще жив великий Уильям Берроуз...

Лимонов не превзошел Генри Миллера (А кто превзошел?).

Удивительно, что с особым жаром критиковал Лимонова — Алешковский. Оба изображают жизнь в довольно мрачных тонах. Оба не гнушаются самыми красочными выражениями. Оба — талантливые представители «черного» жанра.

В общем, налицо конфликт ужасного с еще более чудовищным...



Лимонова на конференции ругали все. А между тем роман его читают. Видимо, талант — большое дело. Потому что редко встречается. Моральная устойчивость встречается значительно чаще. Вызывая интерес, главным образом, у родни...

## СТАРИК КОРЖАВИН НАС ЗАМЕТИЛ

До начала конференции меня раз сто предупреждали:

- Главное — не обижайте Коржавина!
- Почему я должен его обижать?! Я люблю стихи Коржавина, ценю его публицистику. Мне импонирует его прямота...
- Коржавин — человек очаровательный. Но он человек резкий. Наверное, Коржавин сам вас обидит.
- Почему же именно меня?
- Потому что Коржавин всех обижает. Вы не исключение.
- Зачем же вы меня предупреждаете? Вы его предупредите...
- Если Коржавин вас обидит, вы не реагируйте. Потому что Коржавин — ранимый.
- Позвольте, но я тоже ранимый! И Лимонов ранимый. И Алешковский. Все писатели ранимые!
- Коржавин — особенно! Так что не реагируйте...

Выступление Коржавина продолжалось шесть минут. В первой же фразе Коржавин обидел трехсот участников заседания. Трехсот американских славистов.

Он сказал:

- Вообще-то я пишу не для славистов. Я пишу для нормальных людей...
- Затем он произнес несколько колкостей в адрес Цветкова, Лимонова и Синявского.

Затем обидел целый город Ленинград, сказав:

- Бобышев — талантливый поэт, хоть и ленинградец...
- Нам\* тоже досталось. Коржавин произнес следующее:
- Была в старину такая газета — «Копейка». Однажды ее редактора Пастухова спросили: «Какого направления придерживается ваша газета?» Пастухов ответил: «Кормимся, батюшка, кормимся...».

Действительно, была такая история. И рассказал ее Коржавин с подвохом. То есть наша газета, обуреваемая корыстью, преследует исключительно материальные цели... Вот что он хотел сказать.

Хорошо, Войнович заступился. Войнович сказал:

- Пусть Нема извинится. Пусть извинится как следует. А то я знаю Нему. Нема извиняется так: «Ты, конечно, извини. Но все же ты — говно!»
- Коржавин минуту безмолствовал. Затем нахмурился и выговорил:
- Пусть Довлатов меня извинит. Хоть он меня и разочаровал.

## В ОКОПАХ «КОНТИНЕНТА», ИЛИ МАЛАЯ ЗЕМЛЯ ВИКТОРА НЕКРАСОВА

Гражданская биография Виктора Некрасова — парадоксальна. Вурдалак Иосиф Сталин наградил его премией. Сумасброд Никита Хрущев выгонял из партии. Заурядный Брежнев выдворил из СССР.

Чем либеральнее вождь, тем Некрасову больше доставалось. Виктор Платонович часто и с юмором об этом рассказывает.

Многие считают Некрасова легкомысленным. В юности он якобы не знал про сталинские лагеря. Не догадывался о судьбе Мандельштама и Цветаевой.

Это, конечно, зря. Тем не менее, вспомните, как обстояли дела с информацией. Да еще в провинциальном Киеве.

\* Газете «Новый Американец», которую редактировал С. Довлатов.

И вообще, не слишком ли мы требовательны? Вот бы часть нашей требовательности применить к себе!

Некрасов воевал. Некрасов писал замечательные книги. В расцвете славы и благополучия — прозрел.

После этого действовал с исключительным мужеством. Всегда поддерживал Солженицына. Помогал огромному количеству людей. И это — будучи классиком советской литературы. Будучи вознесен, обласкан и увенчан...

На конференции он был представлен в двух лицах (Слово «ипостаси» — ненавижу!). Как независимый писатель и как заместитель Максимова.

Литературная судьба Некрасова тоже примечательна. Сначала он писал романы. Хорошие и прогрессивные книги. На уровне Каверина и Тендрякова.

Потом написал знаменитые «легкомысленные» очерки. С этого все и началось.

Мне очень нравится его теперешняя проза. Мне кажется, эти легкомысленные записки более органичны для Некрасова. Неотделимы от его бесконечно привлекательной личности...

В Лос-Анджелесе Некрасов представлял редакцию «Континента». Формально он является заместителем главного редактора.

В действительности же Некрасов — свадебный генерал. Фигура несколько декоративная. Наподобие английской королевы.

Возможно, он и читает рукописи. Рекомендует лучшие в печать. Красиво председательствует на совещаниях. Мирит главного редактора с обиженными писателями (Виктор Платонович так себя и называет «облезлый голубь мира»).

Практическую работу выполняют Горбаневская и Бетаки. Распоряжения отдает Максимов.

А вот отдуваться пришлось Некрасову.

«Континент» — журнал влиятельный и солидный. Более того, самый влиятельный русский журнал. Огромные его заслуги — бесспорны. Претензии к нему — естественны. Предъявлять их можно и нужно. Но — по адресу.

Некрасов приехал, чтобы увидиться с друзьями. Обнять того же Нему Коржавина. Немного выпить с Алешковским. Короче, прибыл с мирными намерениями. К скандалу не готовился.

И тут восстало молодежное крыло — Цветков, Лимонов, Боков.

— Почему «Континент» искажил стихи Цветкова?

— Почему Горбаневская обругала Лимонова?

— Почему Максимов дает интервью в собственном журнале?..

И Некрасов, мне кажется, растерялся. К этому, повторяю, он не был готов...

Я не говорю, что журнал Максимова — вне критики. Что претензии Цветкова, Лимонова, Бокова — несостоятельны. Я сам имею претензии к Максиму. Все правильно... Я только хочу спросить — при чем здесь Некрасов?

Да еще — втроем на одного. Да еще — такие молодые, напористые, бравые ребята!

Если можно так выразиться — это было неспортивно.

Максимов отсутствовал. Человек он сильный, резкий и находчивый. Сиди он за круглым столом, не знаю, чем бы кончилась дискуссия. Как минимум, большим скандалом...



Виктор Некрасов

После этого заседания Некрасов ходил грустный. И мне было чуточку стыдно за всех нас...

## КУМИРЫ НАШЕЙ ЮНОСТИ

После конференции я давал Гладилину интервью для «Либерти». Гладилин спросил:

— Что вас особенно поразило?

Я ответил:

— Встреча с Аксеновым и Гладилиным.

Я не льстил и не притворялся.



Василий Аксенов

Аксенов и Гладилин были кумирами нашей юности. Их герои были нашими сверстниками. Я сам был немного Виктором Подгурским. С тенденцией к звездным маршрутам...

Мы и жить-то старались похожим образом. Ездили в Таллинн, увлекались джазом...

Аксенов и Гладилин были нашими личными писателями. Такое ощущение не повторяется.

Потом были другие кумиры. Синявский... Наконец, Солженицын... Но это уже касалось взрослых людей. Синявский был недостижим. Солженицын — тем более.

Аксенов и Гладилин были нашими писателями. Сейчас они переменялись. Гладилина увлекают сатирические фантазмагии. Аксенов написал выдающийся роман по законам джазовой игры...

Юность неповторима... Я с удовольствием произношу эту банальность.

У теперешней молодежи вроде бы нет кумиров. Даже не знаю, хорошо это или плохо...

Нам было хорошо.

## ТРУСЦОЙ ПРОТИВ ВЕТРА

Александр Янов — давно оппонент Солженицына. Солженицын раза два обронил в адрес Янова что-то пренебрежительное. Янов напечатал в американской прессе десятки критических материалов относительно Солженицына.

Янов производит чрезвычайно благоприятное впечатление. Он — учтив, элегантен, имеет слабость к белым пиджакам. У него детские ресницы и спортивная фигура.

По утрам он бегаёт трусцой. Даже — находясь в командировке. Даже — наутро после банкета в ресторане «Моне»...

Янов прочитал свой доклад. Он проделал это с воодушевлением. В состоянии громадного душевного подъема.

Солженицын отсутствовал.

Мне трудно дать оценку соображениям Янова. Для этого я недостаточно компетентен. Тем более воздержусь от критики идей Солженицына.

Я хотел бы поделиться не мыслями, а ощущениями. Вернее — единственным ощущением.

Реальная дискуссия между Солженицыным и Яновым — невозможна. Поскольку они говорят на разных языках.

Дело не в том, что Солженицын — русский патриот, христианин, консерватор, изгнанник.

И не в том, что Янов — добровольно эмигрировавший еврей, агностик, либерал.

Пропась между ними значительно шире.

Представьте себе такой диалог. Некто утверждает:

— Мне кажется, Чехов выше Довлатова!

А в ответ раздается:

— Неправда. Довлатов значительно выше. Его рост — шесть футов и четыре дюйма...

Оба правы. Хоть и говорят на разных языках...

Ромашка, например, для крестьянина — сорняк, а для влюбленного — талмуд.

Солженицын — гениальный художник, взывающий к человеческому сердцу.

Янов — блестящий ученый, апеллирующий к здравому смыслу...

Попытайтесь вообразить Солженицына, бегущего трусдой. Да еще — после банкета в ресторане «Моне»...

## СВЯЩЕННЫЙ БЕСПОРЯДОК

В ходе конференции определились три дискуссионных поля.

1. «Континент» и другие печатные органы.

2. Бывшие члены Союза писателей и несоюзная молодежь.

3. Новаторы и архаисты.

В каждом отдельном случае царил невероятная путаница.

Комментировать журнальную междоусобицу — бессмысленно. Слава Богу, органов достаточно. Полемистов хватает. Читатели оценят, вникнут, разберутся...

Мотивы второго дискуссионного тура — из области психологии.

Аксенов и Гладилин были знаменитыми советскими писателями. Хорошо зарабатывали. Блистали в лучах народной славы. Приехали на Запад. Тут же сбежались корреспонденты, агенты престижных издательств. Распахнулись двери университетских аудиторий...

А мы? Там изнемогали в безвестности. И тут последний хрен без соли доедаем!

Так где же справедливость?

Справедливость имеется.

Бродский опубликовал в Союзе четыре стихотворения. Высылался как тунец. Бедствовал невообразимо. Лично я раза три покупал ему анальгин...

А здесь? Профессор, гений, баловень фортуны!...

Соколова перевели на шесть языков. Кто его знал в Союзе?

Алешковский разрастается с невероятной быстротой.

Да и Лимонов не последний человек...

С новаторами и архаистами дело еще более запутанное. Казалось бы, если постарше, то архаист. А молодые устремляются в творческий поиск.

Отчасти так и есть. Некрасову за шестьдесят, и работает он по старинке. Бокков модернист, и возраст у него для этого подходящий.

Но спрашивается, как быть с Аксеновым? Дело идет к пятидесяти — модерн крепчает.

Лимонов юн, механика же у него вполне традиционная.

Мне кажется, так и должно быть.

Должна быть в литературе кошмарная, невероятная, фантазмагорическая путаница!

## ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО

Вероятно, я должен закончить примерно так:

— В ходе конференции появилось ощущение литературной среды, чувство

многообразного и противоречивого единства. Реальное представление о своих возможностях...

Так и закончу.

Прощай, Калифорния! Прощай, город ангелов, хотя ангелов я что-то не заметил.

Прощайте, старые друзья и новые знакомые.

Прощай, рыжая девушка, запретившая оглашать свое имя.

Прощай... Я чуть не сказал — прощай, литература!

Литература продолжается. И еще неизвестно, куда она тебя заведет...

*(Рисунки автора)*



*Алла МАРЧЕНКО*

### ЧАРОВЩИНА МИЛОРАДА ПАВИЧА

По всем приметам, вторичным и внешним, «Пейзаж, нарисованный чаем» — типично постмодернистский роман, плод-детище «мозаичной» культуры, которая, открещиваясь от этико-эстетического кодекса культуры «гуманитарной», классической, разрешает брать как свое все, что годится для присвоения без о-своения и даже у-своения. Да и как не брать, если в пределах обожженного христианской цивилизацией мира процесс самостийно-стихийного самообразования культурных ландшафтов окончился, если все *слишком человеческое* описано и воспето, если всюду, куда ни глянь, — табло-таблички: «частная собственность», то бишь теснота и стеснение, если, как формулирует Павич, никто не может шагнуть *как надо* (и как может), «чтобы не наступить кому-нибудь на пятки». Вот и остается: шагать *широко*, перешагивая, и — поверх барьеров?..

Больше того, этико-поэтика постмодернизма предписывает вольным своим охотникам (варварам, гуннам, «намадам») «вольную» же «натаску» — полную свободу в обращении с полукраденым, полунажитым, полунаследным добром: любой целик — целина-нѣпашь, наре-зай клинья, рви в лоскут, дробь вдребезги, а потом-апосля мастери-пробуй, по своему *плану-складу* в узор ладь...

Милорад Павич сладил свой последний, чародейно-витийственный, роман, сыпав дробь жизни в фигуру кроссворда. Форма вроде бы жесткая, грубо геометрическая. Однако и на сербскохорватский, и на русский кроссворд переводится как крестословница, а крест (слово-образ-понятие) в славянской народной этимологии «запирает», спрягает и запрягает, кроме известного, общелитературных, великое множество еретических, неожиданных, затейливо-парадоксальных смысловых оттенков. Скажем, крестец — это и копейка хлеба в снопах, и дикий хмель-вьюнец, а крестить, с одно стороны: перемарывать уже писанное, а с другой: много ездить взад и вперед, по всем направлениям.

По всем направлениям, то взад, то вперед, движется и повествование в «Пейзаже, нарисо-

ванном чаем»: череда горизонталей упрощает запутанный, заплутавший в бездорожье сюжет, наводя в нем доступный житейскому (здоровому) смыслу порядок, тогда как движение по вертикали обслуживает беспорядок. И тот, что ералашничает в душах героев романа, и тот, что крестит, гоняя взад-вперед, их незадачливые, но причудливые судьбы, и тот, что довыстребован сочинителем романа-кроссворда для со-владания со своим же собственным (тайным) уважением к литпорядкам тех, уже баснословных годов, когда всем-всем было известно:

«...Ум человеческий в том и состоит, чтобы знать иерархию ценностей — что делать сначала, а что потом» (Лев Толстой).

И в этом отношении Милорад Павич, как и его герой-полукровка, тоже, отчасти, «гибрид», по-сербскохорватски: крыжанац. Отсюда, видимо, и такая, несколько странная для правоверного постмодерниста сентенция (в связке «ключей» к роману-головоломке этот, по-моему, один из важнейших):

«Некоторые женщины не умеют вести хозяйство, и у них в доме всегда беспорядок. Другие не умеют разобраться в своей душевной жизни, и там царит хаос. Все это надо вовремя упорядочить, иначе потом будет поздно. Ибо на этом «потом» кончается всякое сходство между домом и душой».

Для многих, почти для всех, героев романа, увы, *поздно*; их души уже обречены на вечное бездомье, а значит, на хаос и беспорядок. Дом же без хозяина, даже если лженаследникам и удастся содержать в кажущемся порядке чужое хозяйство, рано или поздно превращается в хранилище мертвенности...

Что до автора, то он, похоже, надеется: возлюбленный им *беспорядок* следует и можно упорядочить.

Упорядочить, но как?

Классическая традиция, как мы знаем, разрешила (для себя) эту дилемму — противоречие «хаоса» и «порядка», в частности, — и посредством строгой упорядоченности романских элементов. Предметы, допустим, первого плана:

лица, характеры, обстоятельства и положения, прорабатывались с большими тщанием, нежели детали второстепенные, обстановочные и фоновые.

В «Пейзаже...» такого порядка нет и в помине. Рецепты старинной кухни, к примеру, которые коллекционирует одна из героинь, описаны подробнее (смачнее), чем ее внутренний мир. То же самое и с И.Б.Тито. Инвентаризация его многочисленных резиденций, то есть то, подсобное, о чем в произведениях гуманитарной эпохи было бы сказано вскользь и мимоходом, не только заслоняет-превосходит величинной-числом-ростом фигуру Диктатора, но и вообще заменяет, отменяет его.

Однако в отличие от серийно-типовых постмодернистских изделий, и скроенных, и сшитых по безупречным стандартным лекалам и безотказной технологии, но без божества и вдохновения, в «Пейзаже...» божество присутствует, хотя и крестится, по сербской пословице, левой рукой. Оттого-то и супротивник его, владелец беспорядка, не столько черт, сколько колдун, оттого-то и автор не столько пророчествует и проповедует, сколько ворожит-чародействует, пользуется попеременно, то «чаробнилом», то «крестилом» (по Далю, вещь-предмет, с помощью которого метят и чертят). Чаробнило-ворожило ведет вертикаль, крестило вычерчивает горизонталь...

При этом первое чует *место* и творит *крёс* (то есть воскресение в мирском смысле), а второе отворяет осрамленное срамом и ломом устье великого, вечного *источника* — заброшенного, но, оказывается, еще живородящего, во всяком случае, в отечестве Павича. Того фольклорного родника, той органической фигуральности соображения и воображения, которая ведет тайной Преподобия Страшного Мира — посредством Слова, способного «проклюнуться из сердца самого себя пенцом».

Фигуральность романа-кроссворда их тех же, органических, начал.

Разумеется, Милорад Павич, интеллектуал и филолог, черпает ковшем не только из этой фольклорной «родницы». Как и всякий не аутсайдер, он собирает и забирает свое всюду, где видит и чует свое. Возьмите хотя бы как бы вклеенный в его «крестословицу» японский мотив — пейзаж, нарисованный чаем. Не славянским, японским именем крестит «от носка и до виска» славянский роман. Что это — нарушение климатического стиля? Сбой вкуса? Или автору очень уж захотелось блеснуть начитанностью и супертехникой? Знай, мол, наших? Не первое, не второе и не третье.

Культура мозаичной, постмодернистской эпохи — культуры активных горизонтальных связей и сцеплений, по-видимости: случайных, однако, отнюдь не бессмысленных, но эта их бессмысленность обнаруживается не сразу, а по парадоксу Пастернака:

**И чем случайней, тем вернее  
Стихи слагаются навзрыд.**

... Любуясь обилием диковинных плодов на выращенном Павичем вьюнце (это, вроде бы,

яблоко-груша, а то вон — на рождественскую цацку смахивает), я, расплетая ветвины, и завидовала, и сокрушалась (каюсь): на наших-то суглинках-супсах столь прихотные «плодины» не произрастают: «дух тяжести» вездесущ и всевластен, что в «другой» прозе, что не в «другой»: везде и всюду — *узрюмство*. Татьяна Толстая в первых своих, лимонадно-маскарадных рассказах попробовала было реабилитировать «дух легкости», да вскорости и огрузла, огрузла и растворилась в общей всем получернухе.

А ведь казалось, вчера еще грезилось, что и появление толстовских «домашних фокусов», и бурный читательский успех их — знак возвращения игры, вымысла, веселости... Что качели, помните ахмадулинский «Мотороллер» и ее формулу динамического, не опасного равновесия, — задвигались...

**Затем твои качели высоки  
и не опасно головокруженье,  
что по другую сторону доски  
я делаю обратное движенье.**

**Так проносься! — покида я стою.  
Так лепечи! — покида я немею.  
Всю легкость поднебесную твою  
я искупаю тяжестью своею.**

Качнулись-накренились качели... Качнулись и осяновались... Движение на липутях и перепутьях — опять одностороннее: в сторону *тяжести*.

Знаю, знаю: читатели и книг, а тем паче журналов устали от беспросветной тяжести, от этого всеобщего скорбного бесчувствия. Оттого-то, признаюсь, мы и решили опубликовать легкоиграющий роман Милорада Павича — дабы посредством «сербского займа» создать иллюзию «обратного движения», хотя бы в пространстве двух журнальных номеров. Но это, разумеется, искусственная композиция, и нашей литературно-культурной реальности она не отражает, отчего, видимо, и там, на Западе, в Европейском доме, несмотря на явный интерес к перестройке и «мистеру Горби», русская текущая литература читательским спросом не пользуется, ибо кажется, цитирую Вас. Аксенова, «трудной, чужой, навязчивой».

Так вот, терзая себя самым новым из навязчивых *русских вопросов* — ну почему мы такие — (а мы *такие*, что даже слаженная Павичем волшеббно-страшная сказка в сравнении с нашим неблагообразием видится слишком уж, до экзотики — пригожей; про страшное ясно, а столь прихотна — отчего?), открыла я недавно переизданный томик Глеба Успенского. Раскрыв, разумеется, на «Письмах из Сербии»...

(Год 1876 Глеб Иванович, с весны по ноябрь, провел в Сербии, стремясь вникнуть в суть движения русских добровольцев, поддерживавших сербов в их борьбе против османского ига.)

Не уверена, что у вас, читатели «Согласия», крамольные сии письма под рукой или на памяти, их автор давно и прочно не в фаворе. Поэтому процитирую одно из последних как можно подробнее:



«Пора было уже и мне собираться домой, а собираясь покинуть чужую сторону... я невольно раздумывал и о родине, и о чужой стороне, и о «старшем брате», и о младшем... Младший брат растет на настоящем солнце, наш — на банном пару, дровяном тепле, на водке, которую пьет «для тепла», словом, разводится искусственно, как искусственно разводятся цыплята, рыба и т.д.; только привозное образование развивает ум, мозг, которые без этого не много бы взяли, взирая лето и зиму на сделанную из слового дерева зелень и мерзлых ворон... Иной раз, раздумавшись об этом предмете, невольно приходишь к мысли, что «весь старший брат» просто выдуман, искусственно разведен для уплаты иностранным банкирам процентов по займам... Конечно, такие мысли нельзя назвать здравыми, но они приходят под впечатлением тех вообще-то довольно жутких условий, в которых живет старший брат и которые представляются здесь, в земле брата младшего, еще более жуткими... Уж одно то, что младший брат может быть ленивым, может не спешить, может думать об удовольствиях жизни, может прихотничать и франтить (полушубок у него расшит цветными узорами) — уж одно это как же похоже на старшего брата, у которого постоянный недостаток, недоимки выше головы, который постоянно виноват, постоянно в работе, постоянно «гонит» куда-то, который не имеет возможности отдыхать или лениться, но, напротив, почти зауряд обязан совершать подвиги, требующие сил и энергии, немислимые для обыкновенного, не искусственно приготовленного человека... Младший брат, сытый и с лендой, не спеша плетется на сытых волах, в свою светлую, полную довольства «кучу»... Старший «гонит» от «кучи», по чужой надобности, гонит не евши, гонит на некормленной лошади, а иногда умеет тысячи верст ехать на одном кнуте... Кто не слышал этого выражения: «Всю дорогу, братец ты мой, на одном кнуте ехал!» Это значит, что для выполнения надлежащим образом упомянутой езды необходима была какая-то сверхъестественная, могущественная сила кнута, так как естественных сил ни в людях, ни

в животных, участвовавших в езде, не хватало; они были ничтожны и только благодаря кнуту вытянулись в струну, напряглись до сверхъестественной силы и вынесли».

(Проведя последнюю неделю мая 1991-го года в Сербии, пересечя ее автобусно с севера до юга, до границы с Македонией, могу сказать: не только в стороне бывшего «старшего брата», но и в стране «брата младшего», за сто с лишним лет, ничего не переменялось. Как и на исходе ига османского, так и в момент крушения ига другого, все так же сыты в Сербии волы и ярко настоящее солнце, по-прежнему, как встарь, — хороша и обильна ухоженная почти вручную земля — ну, прямо как на картинках югославских «примитивистов»...)

К процитированному фрагменту Глеб Иванович для первой же публикации сделал такое примечание:

«Один русский «народный» балет, «Конек-Горбунок», весь построен на необычных свойствах кнута. Здесь волшебная палочка иностранных балетов заменена кнутом, который в течение 5 действий лупит, лупит всех и вся и достигает изумительных результатов».

Примечание к примечаниям вроде бы и не требуется, однако хочу заметить: лишившись такой сверхъестественной силы, как кнут, мы вдруг обнаружили, что наши естественные силы — ничтожны, во всяком случае, куда ничтожнее, чем нужно для «обыкновенной» жизни и «обыкновенной» литературы, той, что хочет и может быть только литературой, а не еще чем-нибудь: философией, социологией, политикой, религией и т.д. и т.п.

Что дальше будет? Поживем увидим, *со временем, как знать*, может, и «волшебные палочки» потребуются, а пока, чего уж, не с руки. А пока, лично я, в порядке аутотренинга — и в бессонницу, и на день грядущий — твержу наизусть:

**Все, что судьба тебе решила дать,  
Нельзя не увеличить, не отнять.  
Заботься не о том, что не имеешь,  
А чтобы с тем, что есть,  
Свободным стать...**

*Анни ШМИДТ*

## ВЕДЬМЫ И ВСЕ ПРОЧИЕ

*Продолжаем публикацию сказочных историй Анни Шмидт (начало в № 6-ом, продолжение и окончание в №№ 8-ом и 9-ом).*

*Для тех, кто не купил шестой выпуск «Согласия», считаем нужным повторить, что мы и впредь, в течении года, будем вести рубрику «ПРОЧИТЕ ДЕТЯМ». Обращаемся также, еще раз, к родителям и педагогам: присылайте в редакцию нашего журнала рисунки детей, мы их используем при оформлении отдельного издания Сказок XX века, и каждый маленький художник получит бесплатно этот большой и красочный сборник.*

*Тем же, кого уже заинтересовали и Ведьмы, и Прочие, и сама Анни Шмидт, сообщаем, что она начала публиковать стихи для детей в начале 50-х, что «Ведьмы» ее любимая книга и что она лауреат множества престижных премий, в том числе и самой главной в МИРЕ ДЕТСКОЙ КНИГИ — Андерсеновской.*

### КРАПИНКА

Жили-были король с королевой, которые ужасно хотели иметь детей. Шли годы, а детей у них все не было и не было, пока однажды королева не сказала:

— Может, мне сходить к колдунье?

— Я бы ни за что не пошел, — ответил король. — От этого всегда одни неприятности.

— Она живет у нас прямо под боком, — задумчиво продолжала королева. — Ты же знаешь, в глубине нашего сада, на самой высокой груше.

— Колдунья живет на груше? — испуганно воскликнул король.

— Не придурайся, — сказала королева, — ты же не видел ничего дурного в том, что она построила там свой домик. На самой толстой ветке. Ну вспомни же... ее зовут Аккеба.

— Ах да, — сказал король. — Она еще носится по воздуху, как ненормальная, на метле. И ты хочешь попросить ее, чтобы..?

Но королева уже не слушала его. Она отправилась напрямиком в сад, встала под самую высокую грушу и крикнула:

— Аккеба!

Из листвы показалась включенная голова старой колдуньи.

— Кто там меня зовет? — раздался хриплый голос.

— Это я, — ответила королева. — Мне бы так хотелось ребеночка!

— Залезай сюда. А то я ничего не слышу! — крикнула колдунья.

И королева полезла на дерево и долезла она почти что до самой верхушки, где среди ветвей прятался домик колдуньи. Там королева повторила свою просьбу.

— Так, так, — пробормотала колдунья. — Ребеночка, говоришь... сейчас посмотрим... Вот! — торжественно сказала она и вручила королеве яйцо. Маленькое яйцо в крапинку.

— Зачем оно мне? — удивилась королева.

— Как зачем? Высиживать конечно! — возмутилась колдунья. — Это яйцо дрозда. Сидеть на нем будешь три недели.

— Но... — сказала королева дрожащим голосом, — а из него не вылупится птичка?

— Совсе нет, — обиделась колдунья. — Из него вылупится принцесса. С ручками, ножками — всем, что положено принцессе!

— А... а где мне это нужно делать? Где мне высидывать яйцо? — спросила королева.

— А хоть на соседнем дереве, — ответила колдунья. — Вон на той старой липе.

— Ой, я хотела бы сначала посоветоваться с мужем, — сказала королева и стала осторожно спускаться с яйцом вниз.

— Только помни, — крикнула ей вслед колдунья, — помни о том, что осенью ты всегда должна держать дочку взаперти! Иначе она улетит с перелетными птицами!

Королева поблагодарила колдунью и пошла назад во дворец.

— Как же мне быть? — спросила она короля. — Что-то мне это не совсем нравится. Представляешь — королева на дереве высидывает яйцо... разве это прилично?

— Совсем неприлично! — сказал король. — Я возражаю.

— Но я все-таки попробую, — вздохнула королева.

— Что ж, раз ты такая упорная, — развел руками король, — то возьми хотя бы три пуховые подушки, чтобы было мягче и теплее сидеть. А я велю построить высокий забор вокруг липы, иначе все королевство сбегится на тебя посмотреть, а это ни к чему.

Так и поступили. Целых три недели королева во всех своих кружевных юбках, обложенная пуховыми подушками, высидывала яйцо на дереве — не особенно удобно, конечно, но слава богу — никто не мог ее увидеть, потому что липа была окружена глухим забором.

Через три недели яйцо треснуло — и правда! — из него появилась не птичка, а девочка. Прелестная маленькая-маленькая девочка с кудряшками, ноготками, носиком — словом, чудесная крошечная принцесса!

— Кто бы мог подумать, — пробормотал король, когда королева пришла с ней во дворец. — Какая необычайно хорошенькая дочка! У нее только три черных крапинки на животике, но это ерунда, ведь они всегда будут закрыты платьем. Ура! Давайте праздновать!

Эх, и праздник закатили во дворце: все флаги вывесили, даже старая колдунья Аккеба спустилась со своей груши взглянуть на принцессу. Она пощекотала девочке шейку и сказала королеве:

— Разве не здорово получилось? Но только будь осторожна осенью! НИКОГДА не выпускай ее на улицу, когда начнут падать листья.

И она улетела в открытое окно со скоростью реактивного истребителя.

Маленькой принцессе дали имя Глориандарина, но все звали ее Крапинкой, так было проще. Она потихонечку росла и совсем не походила на птичку. Она была мила, красива и счастлива, вот только осенью грустила, потому что ее не выпускали на улицу.

— Подожди до первого снега, — говорила королева, — и ты будешь кататься на санках в парке. Еще чуточку терпения... еще чуточку терпения.

Но однажды ветренным осенним днем Крапинка стояла у окна и скучала. Снаружи на газоне танцевали желтые листья. Они медленно опускались на траву, и всякий раз их снова подхватывал сердитый ветер, кружил их в немеслимом вальсе, а потом бросался слудать с деревьев другие коричневые листья.

— Я тоже хочу поиграть с ветром и листьями, — сказала Крапинка и открыла окно. Она выбралась в сад и стала бегать среди деревьев. И именно в этот момент над парком пролетала большая стая черных птиц, стая дроздов, тянувших-ся к югу.

Крапинка раскинула руки — ей так хотелось полететь птицам вслед!

— Возьмите меня с собой! — крикнула она.

В парк выбежала испуганная королева.

— Остановись, Крапинка! — закричала она. — Немедленно домой!

Но Крапинка не слушала ее. Она махала руками, словно крыльями, тянулась на цыпочках вверх, будто вот-вот готова была взлететь. И внезапно королева увидела, что дочь ее покрылась оперением, на лице появился клюв, и вместо рук — два крыла распахнулись навстречу ветру.

— Дитя мое! — зарыдала королева и бросилась к дочери. Но Крапинка уже взмыла ввысь и полетела вслед за стаей. Она больше не была принцессой. Она стала птицей.

Обливаясь слезами, королева вернулась во дворец и поведала мужу, что произошло.

— Быстрее к колдунье! — вскричал король и схватил свою горностаевую шапку.

— Может, ты сходишь один? — спросила королева.

— Да, — ответил король. — Я хочу это сделать сам. Он направился напрямиком в сад к высокой груше и крикнул:

— Аккеба!

Из листвы показалась встрепанная голова колдуньи.

— Кто там? — спросила она.

— Моя дочь улетела! — сообщил король.

— Залезай сюда, я ничего не слышу! — крикнула колдунья.

Пыхтя, король долез до верхней ветки, на которой примостился домик ведьмы.

— Моя дочь улетела, — сказал он.

— Сами виноваты, — ответила колдунья. — Велено же вам было держать ее взаперти.

— Но что же теперь делать? — воскликнул король. — Как вернуть ее назад?

— Придется ждать до весны, — сказала колдунья.

— Слушай ты, — рассердился король, — приказываю тебе немедленно вернуть мою дочь! И если ты этого не сделаешь, я велю отрубить тебе голову!

— Что? — взвизгнула Аккеба. — Ты приказываешь мне? Мне? Древней колдунье Аккебе? Убирайся прочь с моих глаз или я превращу тебя в червя!

— Ты, мерзкая старуха... — начал король, трясаясь от гнева, но замолчал, буд-то споткнулся, услышав тихий и полный угрозы шепот колдунии:

— Я превращу тебя в червя... в червя, который живет в груше... прочь отсюда... иначе я...

Она взглянула на короля злыми красными глазами и плюнула ему в лицо.

Бедный король с испугу почти свалился с дерева и, прихрамывая, заковылял во дворец. Мрачнее тучи явился он к королеве, беспрестанно утиравшей платочком слезы.

— Ну что? — спросила она.

— Придется ждать до весны, — промямлил король.

— Ты наверняка опять все напортил, — сказала королева. — Пойду сама схожу.

Но как только королева приблизилась к груше, Аккеба взмыла на метле в воздух. Со свистом она облетела три раза вокруг парка и сгнула. Только ее и видели.

Никогда еще зима не была такой нестерпимо долгой.

Каждый день король и королева сидели у окна и ждали весну. Наконец, наконец-то пришел март, и с юга потянулись перелетные птицы.

— Нам нужно хорошенько подготовиться к встрече с дочкой, — сказал король. — Всех кошек необходимо прогнать вон из страны, а с дроздами пусть все держатся крайне почтительно. Повелеваю везде разбрасывать корм, охоту на дроздов запрещаю под страхом смертной казни, а всем подданным приказываю при встрече с любым дроздом снимать шляпу и кланяться, ведь этим дроздом может оказаться принцесса.

Никогда еще с дроздами не обходились столь предупредительно, как тогда. А они все летели и летели и совсем перестали бояться людей, огромными стаями распевали по всем садам свои песни, а некоторые до того осмелели, что селились жить на кухнях.

Королева бегала по лесам и паркам, полям и лугам и звала:

— Крапинка!

А у каждого дрозда она спрашивала:

— Ты не моя дочка?

Но дрозды заливались ей в ответ звонкой трелью, и песенка у всех них была одна и та же, и никак, ну никак нельзя было узнать среди них принцессу.

В мае на белом иноходце в королевство пожаловал иностранный принц. Он с удивлением смотрел на несметные тучи дроздов. А когда какой-то человек на улице сорвал с головы шляпу и почтительно раскланялся перед дроздом, принц громко расхохотался.

— Вот это да! — воскликнул он. — Сумасшедший дом, а не государство!

— Видите ли, — вежливо пояснил встречный — это был портной, — каждый дрозд может оказаться нашей принцессой.

И он поведал принцу историю королевской дочери и колдуньи Аккебы.

— Это такая старуха, с красными глазами? — спросил принц.

— Ну да, — ответил портной. — И на голове космы торчат во все стороны.

— И нос крючком? — продолжал расспрашивать принц. — А еще она гоняет на метле? Тогда я ее видел. Она живет недалеко от границы на яблоне. Я сам к ней схожу.

Когда принц пришел к яблоне, старая колдунья Аккеба сидела под деревом в траве и грызла огромное яблоко.

— Нет, груши вкуснее, — сказала она. — А я тебя давно поджидаю, сынок. Ты хочешь знать, как дрозда обратно превратить в принцессу, так ведь?

— Для начала я хотел бы узнать, какого дрозда, — ответил принц. — Их там целый миллион.

— У тебя случайно не найдется жемчужины, — спросила колдунья.

— Случайно найдется, — сказала принц. — У меня их полный мешок.

— Вот тебе сеть. Поймай ею Крапинку.

— Но какого дрозда мне ловить?

— Сам соображай, — сказала колдунья. — Не могу же я все за тебя сделать.

И принц стал соображать. Он пошел и купил у крестьянина мешочек ячменя и отправился на холм, где по вечерам делалось темно от слетавшихся туда дроздов. Там принц высыпал ячмень из мешочка. А чуть подальше рассыпал по земле жемчужины. Затем сел в траву и принялся ждать. К вечеру слетелись все дрозды и тут же кинулись на ячмень. Они хлопали крыльями, толкались и сердито щебетали. Одна лишь птичка не проявила никакого интереса к ячменю, а полетела напрямиком к жемчужинам. Она опустилась рядом с ними и начала в восхищении порхать от одной к другой.

— Вот ты и есть Крапинка, — сказал принц. — Только принцесса может предпочесть жемчуг еде.

И он накинул на дрозда колдунью сеть. И внезапно перед ним появилась очаровательная девушка.

Он посадил ее перед собой на белого коня, и они вместе поехали во дворец, где король с королевой зарыдали от радости и счастья.

— Как тебе удалось ее найти? — спросила королева.

— Это было очень легко сделать, — ответил принц. — Сущие пустяки.

Немедленно отпраздновали свадьбу, и двенадцать дроздов несли шлейф принцессы. Старая колдунья Аккеба вновь поселилась на груше, и до сих пор в этом королевстве иногда перед дроздами снимают шляпу. Если бы ты разочек туда заехал, то увидел бы все собственными глазами и обязательно понял, почему такое случается.

## ВЕЛИКАН И ДРАКОН

— Вот только этого еще и не хватало, — сказал король, когда великан украл его дочь. — Словно все сговорились сегодня. Ну, и где она сейчас? — спросил он придворного, принесшего ужасную новость.

— На горе Борстелберг у моря, — ответил придворный. — Там стоит замок великана. Принцесса сидит в башне, и ее сторожит дракон.

— Какой кошмар! — воскликнул король. — Мало великана, еще и дракон! Бедное дитя! Она была страшно непослушной и дерзкой последнее время, но еще и это! Что же нам делать? Позовите моего врача.

— Ты слышал? — спросил он у врача. — Мою дочь украл великан, и ее сторожит дракон! Скажи, что мне делать?

— Ах, — вздохнул врач, — это выходит за рамки моей компетенции. Я обыкновенный домашний доктор и поэтому...

— Вздор! — воскликнул король. — Ты же помог ей, когда она заболела корью. Вот и теперь придумай что-нибудь!

— В подобных случаях, — сказал врач, — в подобных случаях король всегда обещает вознаграждение принцу, который победит дракона. Это необычайно действенное средство. Тут же понабегит куча принцев, и среди них наверняка окажется тот, который справится с драконом.

— Отлично, так мы и поступим, — воодушевился король. — Принц, который привезет мою дочь домой в целости и сохранности, получит ее в жены.

— И полкоролевства в придачу, — подсказал врач.

— Это мы еще посмотрим, — ответил король. — Не стоит горячиться.

В тот же день был кликнут клич, и уже вечером объявился первый принц.

— Ты не слишком нарядился для такого дела? — спросил король. — Неужто ты будешь убивать дракона в белых перчатках?

— В самый ответственный момент я их снимаю, — зардевшись, пояснил принц. Он так замечательно выглядел в бархатной голубой накидке, белой жилетке, брючках со штрипками, а на голове у него была пена... перма... перманентная завивка.

— Ишь ты, — сказал король, глядя вслед жеманному принцу. — Хоть бы с ним ничего не случилось. Уж больно красив.

Днем позже принц вернулся назад. Он был перепачкан с головы до пят, весь в синяках и шрамах, на нем жалко висели голубые бархатные лохмотья. Великан сдул его с горы Борстелберг, — рассказал принц, и он кубарем летел вниз сквозь колючие кусты.

— Увы, ничего не попишешь, — бодро сказал король. — Следующий кандидат.

Следующий принц был облачен в доспехи. Он выглядел очень внушительно, однако вернулся довольно скоро, и все доспехи его были перекорезены, потому что великан стиснул его в кулаке, а потом швырнул в долину. А в перекорезенных доспехах — посудите сами — не лезть же снова на гору!

— Кто следующий? — возвестил король. — Ба, неужели больше ни одного желающего?

— Ни одного принца, — уточнил врач. — Принцы больше не отваживаются. Но там стоит какой-то бедный юноша, который готов рискнуть. Его зовут Йорис.

— Йорис, говоришь, ну что ж, Йорис — вполне подходящее имя, чтобы идти драться с драконом, — сказал король. — Входи, Йорис. У тебя есть меч?

— Нет, ваше величество, — ответил юноша.

— Может, у тебя есть копье?

— И копья нет, ваше величество.

— Что же тогда у тебя есть?

Йорис вывернул наизнанку карманы и сказал:

— Да вот зеленый мелок. Он у меня случайно завалился. А больше ничего нет.

— Давай я тебе вручу полное боевое снаряжение, — предложил король.

— Да нет, спасибо, — сказал Йорис. — Я пойду просто так. Я не умею обращаться ни с мечом, ни с копьем.

— Ну как знаешь, было бы предложено, — сказал король. — Сам понимаешь, что к чему — не маленький. Впрочем, я тебя не удерживаю. Пока, Йорис.

И пошел юноша один-одинешенек на Борстелберг. Подъем был очень крутой, карабкался приходилось сквозь колючий кустарник, но уже через два часа он, запыхавшись, взобрался на гору и тут же уткнулся в босые ноги великана, половшего свой огород.

— Ага, — обрадовался великан и схватил его двумя пальцами. — Вот и третий пожаловал. Ты тоже хочешь освободить принцессу, букашка несчастная?

— Все нет, — сказал Йорис. — Я заблудился и знать ничего не знаю ни про каких принцесс.

— Ах, не знаешь? — удивился великан, он уселся на пригорок и поставил Йориса себе на колено, по-прежнему крепко сжимая его двумя пальцами. — Вон видишь, она сидит у окошка в той башне? А дракона видишь?

— Вижу, — кивнул Йорис. — Будьте любезны, только не сжимайте меня так сильно. Мне трудно говорить, когда меня так сжимают.

— Ха-ха! — расхохотался великан, но сжимать его стал чуточку слабее. — Что же мне с тобой делать? Я, конечно, могу швырнуть тебя вниз, но от этого никакой радости.

— Совершенно никакой радости, — согласился Йорис.

— Еще я могу потушить тебя с квашеной капустой на ужин, — продолжал размышлять великан. — Ладно, посажу-ка я тебя пока вон в ту старую птичью клетку, потом решим, что с тобой делать.

Он посадил Йориса в клетку и легонько покачал ее туда-сюда. Йорис схватился за прутья, и великан снова захохотал, нет, прямо захохотал от удовольствия.

Йорис засмеялся с ним вместе и сказал:

— Вот это смех — так смех! Теперь-то я вижу, что это пустая болтовня! Опять они небылиц насочиняли.

— Кто? — спросил великан.

— Да люди внизу, — пояснил Йорис. — Они уже давно говорят, что вы больны.

— Я — болен? — возмутился великан. — Сам же видишь, что это вранье! Я здоров, как бык!

— Вижу-вижу, — кивнул Йорис. — Эти болтуны внизу уверяют, что вы весь — с головы до пят — стали зеленого цвета. А вы вроде ничего.

— Зеленого цвета? — изумился великан. — Почему зеленого?

— Да это от пыхательной болезни, — сказал Йорис. — Каждый ребенок знает, что дыхание дракона чрезвычайно опасно для здоровья. Дракон же пыхает серой и еще какой-то гадостью, вот от этого и случается пыхательная болезнь. А от нее — зеленые пятна по всему телу, вот такие дела. Но у вас я что-то пока их не вижу.

И насупив брови, Йорис стал сосредоточенно рассматривать голые колени великана.

Великан последовал за его взглядом и увидел на одной из коленок множество зеленых точек. Он попытался стереть их рукавом, но точки не исчезали. Ведь мелок у Йориса был необычайно хорошего качества, скажу тебе по секрету, и Йорис нарисовал на коленке у великана тьму-тьмущую зеленых точек — да так, что великан ничего не заметил.

— Ч-ч-что это т-т-такое? — заикаясь прошептал великан. — Зеленые пятна? Значит, началось?

— Пока ничего страшного, — успокоил его Йорис, — месяц вы еще всяко протянете. Если бы рядом не было дракона, то вы бы точно прожили не меньше полугода, а так, сами понимаете, бедное животное не виновато, что у него ядовитое дыхание. Вы же не сможете убить своего родного дракона?

— Я — не смогу?! — взревел великан. — Сейчас сам увидишь! Чтобы я загнулся от этой ядовитой ящерицы?

Огромными шагами он помчался в замок, схватил там гигантское копьё и бросился на дракона.

Сидя в своей клетке, Йорис наблюдал за страшным побоищем и думал про себя: вот уж воистину битва великана с драконом!

Дракон пыхал гарью и копотью, из ноздрей у него извергались потоки дыма и огня, срывались язычки красного пламени. Он извивался зеленым чешуйчатым телом, яростно бил мощным хвостом, лязгал страшными драконовыми зубами, а великан бегал вокруг него и пытался поразить копьём.

— Ура! Бей его! Вперед, Голландия! — кричал Йорис в своей клетке. Конеч

но подбадривать великана нужно было какими-нибудь другими словами, но Йорис не мог придумать ничего лучшего.

Великану тем временем удалось, наконец, приблизиться к дракону и всадить ему копьё прямо в сердце — кошмарное зрелище, доложу я вам, тело дракона свилось в большие и маленькие кольца, он испустил последние клубы дыма и затих. Ужасная смерть.

— Ну что? — спросил великан, отдуваясь. — Каково?

— Здорово! — воскликнул Йорис, хлопая в ладоши. — Вы — настоящий герой. И теперь, когда дракон умер, вы запросто проживете еще месяцев шесть. Запросто. Даже, может, все семь.

— Не дольше? — жалобно спросил великан, он уселся на землю, печально опустив голову. — Я хочу прожить еще сто лет.

— Это каждый хочет, — согласился Йорис. — Но пыхательная болезнь смертельна. И никто не может добраться до белой змеиной травки, будь то человек или великан.

— Что-что, белая змеиная травка, что это такое? — заволновался великан.

— Она растет вон там, — сказал Йорис и показал на скалы, отвесно уходящие в море. — Если вы меня отпустите, я помогу вам ее найти.

— Отпустите — держи карман шире! — зарычал в ярости великан. — Я тебя отпущу, ты тут же смоешься, а мне — помирай через семь месяцев! Нет уж, дудки! Я сделаю кое-что получше, я возьму тебя с собой, и ты покажешь мне белую змеиную травку.

Он вынул Йориса из клетки и стал карабкаться на самую высокую из скал.

— Если я свалюсь, ты свалишься со мною вместе, — злобно пообещал он.

— Остановитесь на этом выступе, — скомандовал Йорис, и великан повиновался. — Видите те белые цветочки между двумя камнями? Вот там и травка.

Великан нагнулся, пытаясь дотянуться до травки, но у него ничего не получилось.

— А вы попробуйте другой рукой, — посоветовал Йорис, — в которой вы меня держите. Я и дотянусь до травки.

Великан последовал его совету.

— Отлично! — крикнул Йорис. — Еще чуточку, еще чуть-чуть... Готово!

— Сорвал? — тяжело дыша спросил великан, совершенно свесившись вниз.

— Сорвал! — крикнул Йорис и укусил его за палец.

— Ай! — завопил великан и от неожиданности выпустил Йориса, который мягко приземлился в кустарник, росший прямо под выступом скалы. Великан же потерял равновесие и, подняв тучу брызг, плюхнулся в море.

— Вот так-то, — сказал Йорис, легко взбираясь на гору. Он отделался парочкой синяков и теперь спокойно направился к башне, где томилась принцесса.

— Ты не принц? — разочарованно протянула она. — И даже не рыцарь?

— Будешь еще болтать, — сказал Йорис, — я оставлю тебя здесь, и сиди себе в ожидании принца.

— Ах, нет-нет, — поспешно ответила принцесса. — Пожалуйста, доставь меня домой.

Йорис посадил ее себе на спину и спустился с горы.

— Кого я вижу?! — сияя воскликнул король, когда они вошли во дворец. — Наша дорогая дочь! А теперь ты должна выйти за него замуж, ты это понимаешь?

— Понимаю, — кивнула принцесса. — Я согласна.

Прямо в следующую среду отпраздновали свадьбу и отгрохали такой фейерверк, что о нем до сих пор в тех краях вспоминают.

## ДОБРЕНЬКИЙ РУЛ

— Вот теперь, когда родился наш сыночек, — сказала королева, — мы устроим пышные крестины.



— Конечно, моя дорогая, — кивнул король, — но только с тем условием, что к нам не пожелует твоя тетушка Уна.

— Почему? — удивилась королева. — Тетушка Уна страшно рассердится, если мы не пошлем ей приглашения. Сам посуди, она же колдунья!

— Вот именно это обстоятельство меня и смущает, — вздохнул король. — Ты только подумай: она ведь обязательно подойдет к колыбели нашего сына с каким-нибудь пожеланием. А вдруг она пожелает ему зла!

— Да будет тебе, — сказала королева. — Тетушка Уна нас любит. Она пожелает нашему мальчику только добра.

Крестины праздновались в королевском саду. Во всех фонтанах била розовая вода, а на кустах жасмина было развешано шесть тысяч ярко горевших голубых фонариков. Герцоги и князья с женами толпились вокруг колыбели, и каждый норовил погладить ребенка по головке. Последней на праздник явилась тетушка Уна.

То была мощная женщина, высокая и толстая, одетая во все розовое, с башней рыжих волос на голове. Она заглянула в колыбель и сказала:

— Какой славный малыш! Мне хотелось бы порадовать вас и исполнить какое-нибудь ваше желание. Итак, что бы вы хотели ему пожелать?

В саду наступила мертвая тишина. Гости затаили дыхание и напряженно ждали, что же скажут отец с матерью.

Король почесал в затылке, подумал и произнес:

— Я бы хотел, чтобы принц был очень сильным и очень храбрым. А еще очень богатым, — быстро добавил он.

Королева оглянулась на всех своих именитых гостей и сказала:

— Подожди, тетушка Уна, я не совсем с этим согласна. Мы бы хотели, чтобы у нашего сыночка было доброе сердце. Разве не так, дорогой муж?

— Гм-гм, — пробормотал король. Он тоже оглянулся на гостей — те с воодушевлением кивали — и сказал:

— Да, естественно, конечно, само собой...

— И посему, — воскликнула королева голосом, прерывающимся от волнения, — посему, дорогая тетушка Уна, сделай моего сыночка добрым человеком. Таким добрым, чтобы он больше думал о других, чем о самом себе. Таким благородным, чтобы он печалился, когда печалится кто-то другой, будь то человек или животное!

Шепот восхищения пробежал по собравшимся. Какое чудесное пожелание!

Тетушка Уна сломала веточку жасмина и взмахнула ей над головой маленького принца.

— Ты будешь зваться принц Рул, — сказала она. — И ты вырастешь таким, каким желает видеть тебя твоя матушка — Добреньким Рулом.

Потом тетушка Уна отплясывала с королем польку; из фонтанов теперь лилось шампанское, за исключением двух, из которых лилась кока-кола; праздник удался на славу! Затем гости отправились на экскурсию в носорожий парк, где в вольерах за решетками бегали сотни толстых носорогов. На этом торжество и закончилось.

Очень скоро стало заметно, что пожелание тетушки Уны сбывается. Принц Рул рос необыкновенно послушным и добрым ребенком. Он раздавал все свои игрушки, так что у него никогда не оставалось ни одной. Всякий раз, когда он получал в подарок нового коня-качалку, новые коньки или новую железную дорожку, он говорил, даже не успев с ними поиграть:

— Отдайте это Питу, сыну угольщика.

— Но, мальчик мой, разве ты сам не хочешь поиграть? — спрашивал король.

— Нет, — отвечал принц, — мне ничего не нужно.

— Я нахожу это странным, — сказал как-то король королеве.

— Ах, это же чудесно! — воскликнула она. — Мой лапочка Добренький Рул!

Вот только жаль было, что Рул столько плакал. Иногда он часами просиживал, заливаясь слезами и икая, а когда придворные дамы спрашивали его: «Что случилось, ваша светлость?», он отвечал:

— Я плачу от того, что у жены портного радикулит.

Или:

— Я плачу от того, что на белом свете есть бедные дети, которые никогда не ели крабов.

Или:

— Это ужасно, что люди стареют!

Было решено всех бедных, больных и старых людей держать как можно дальше от принца. Собрали их всех и погнали с глаз долой в самый отдаленный угол королевства, где они отныне и стали жить в страшной тесноте и нищете. Принца, соответственно, их вид перестал расстраивать, и все вздохнули с облегчением. Однако оставалось еще множество поводов поплакать. Принц плакал, потому что у камердинера завелись глисты. А когда пришел доктор, чтобы лечить камердинера, принц опять плакал, потому что жалел бедненьких глистов, которые должны были погибнуть.

В конце концов при дворе строго-настрого запретили жаловаться или иметь грустное выражение лица. Всем было велено быть счастливыми и постоянно приплясывать. Но и тут случались всякие неожиданности. Как-то в одном из коридоров замка Рул повстречал королевского повара.

— Что с тобой? — спросил принц. — У тебя такой грустный вид.

— Со мной все в порядке, — быстро сказал повар и сделал три танцевальных шажка. — Я так счастлив, ха-ха, ха-ха!

— Неправда, — возразил принц. — С тобой не все в порядке. Скажи мне, какая у тебя печаль.

— Ах, — вздохнул повар. — У меня плохое настроение от того, что у меня ужасно некрасивая дочь.

— Некрасивая? Что значит некрасивая? — спросил принц.

— У нее курносый нос, — объяснил повар, — рыжие волосы и вот ТАКИЕ ножищи, — он показал, КАКИЕ огромные. — Она никогда не выйдет замуж, потому что кому захочется иметь такую некрасивую жену. Ее зовут Изебель.

— Немедленно приведи ее сюда, — приказал принц, — я женюсь на ней.

Повар не осмелился противоречить и привел свою дочь. Н-да, с курносым носом, рыжими волосами и здоровенными ножищами она и впрямь не блистала красотой, но принц обвенчался с ней на следующий же день. Для старых короля и королевы это был настоящий удар: они так и не смогли оправиться от потрясения, увяли-зачахли и умерли от горя в один день.

И Добренький Рул стал королем. Теперь он восседал на троне, а рядом с ним — королева Изебель. И сказать по правде: уродина она была, конечно, отменная, но сердце у нее было доброе, для всякого находилось ласковое словечко, а уж дурочкой ее бы никто не назвал, так что очень скоро она заприметила, каким странным королем был ее муженек.

Для начала Рул отправился в карете объезжать свои владения, и когда он вернулся, его горностаевая мантия была насквозь промокшей от слез.

— Что случилось? Почему ты так плачешь? — спросила королева.

— О! — с новой силой зарыдал кроль. — Какая кругом бедность! Я был в самом дальнем уголке нашей страны, где живут одни старые, больные и бедные люди.

— И что же ты для них сделал? — спросила королева.

— Ничего, — ответил король Рул. — Я так сильно плакал, что ничем не мог им помочь.

— От твоих слез им мало проку, — сказала Изебель. — Неужели ты не придумал, как им облегчить жизнь?

— Да нет же, послушай, я сделал кучу всяких полезных дел. На обратном пути я ехал мимо тюрьмы, где взаперти сидели все воры. Бедняги! Я их всех выпустил на волю.

— Что? Значит, теперь воры разбежались по всей стране? — в испуге воскликнула Изебель.

— Конечно, они же такие несчастные, — вздохнул король. — А знаешь, что я еще сделал? Выпустил носорогов. Бедные зверюшки томились за решеткой.

— Носорогов?! Но они же опасны! — вскричала королева. — Что ты за король такой? Тряпка ты, а не король!

Рул печально взглянул на нее и снова вздохнул:

— Вот и недолго мне королем оставаться. Король соседней страны стоит у нас на границе с огромной армией. Он хочет нас покорить.

— И что же ты собираешься делать? — спросила королева Изабель.

— Ничего, — ответил король Рул. — Абсолютно ничего.

В этот момент в тронный зал влетел нервный-пренервный первый министр. Он кричал:

— Беда, беда, ваше величество, ваше положение ужасно! Ваши подданные целыми семьями забираются на деревья, потому что кругом бегают дикие носороги! А воры грабят Главный Банк! Ваш народ несчастен!

— Правда? — спросил король дрожащим голосом, и слезы снова хлынули у него из глаз. И тут королева потеряла всякое терпение. Она схватила серебряный подсвечник и треснула им своего супруга по голове.

— Ну! — грозно сказала она. — Что ты будешь теперь делать?

Рул поднял на нее глаза, полные скорби, и тяжело вздохнул:

— Ничего, моя дорогая.

Не найдя слов от негодования, королева повернулась и пошла прочь из замка — к тетушке Уне, жилище которой находилось на высокой горе. По пути мимо нее то и дело с ревом пронеслись носороги, из леса на дорогу выскакивали воровские шайки, но она была слишком сердита, чтобы чего-нибудь бояться. Запыхавшись, она взобралась на гору — к тетушке Уне, которая при виде ее приветливо улыбнулась.

— А я тебя поджидаю, милое дитя, — сказала тетушка. — Ты наверняка пришла меня о чем-то просить. Очевидно, ты хочешь, чтобы я сделала тебя красивее?

— С этим можно не торопиться, — ответила королева Изабель. — Есть кое-что поважнее. Я бы хотела, чтобы ты сделала моего мужа чуточку хуже.

— Он, похоже, слишком добр? — спросила тетушка Уна.

— Чересчур добр!

— Ступай домой, — велела тетушка Уна. — Твое желание уже исполнилось.

И королева побежала домой так быстро, как только ей позволяли ее большие ноги. И когда она влетела во дворец, то увидела посреди тронного зала своего суженого с огромной палкой в руке. Он ругал на чем свет стоит первого министра.

— Это что за бедлам? — кричал он сердито. — Дикие носороги в городе! Какой-то сброд на всех дорогах! Безобразие! Всех немедленно за решетку! И что я слышу — враг на границе?! Ты что мне тут зубы заговариваешь? Болван!

— О, Рул! — воскликнула королева. — Как ты изменился!

Он обернулся и увидел свою жену.

— Ты!.. — крикнул король, побелев от ярости. — Ты ударила меня подсвечником! Как ты посмела!

Он подскочил к ней и дал ей увесистую затрещину.

Глаза королевы Изабель засияли. Она стала прямо красавицей от счастья.

— Ты ударил меня, — прошептала она в восторге.

— И ты еще у меня схлопочешь! — рявкнул король.

Весь двор сбежался посмотреть на разгневанного короля, и все были на седьмом небе от счастья. И с этого мгновения короля перестали звать Добреньким Рулом. Он стал зваться Справедливый Рул. Доброты в нем еще осталось предостаточно, однако на слезы ему теперь просто не хватало времени. А хуже он стал всего чуть-чуть — ровно настолько, чтобы соображать — что к чему. Стоило один раз пальнуть в воздух из пушки — и враг тут же убрался восвояси. Больных принялись лечить, бедных сделали немножко богаче, вот только старикам вернуть молодость король был не в силах. А может, в этом и не было нужды, поскольку старички премило расположились в парке на лавочках и смотрели на носорогов, мирно пасущихся за решетками в своих вольерах.

— Попросить мне тетушку Уну, чтобы она сделала меня чуточку красивее? — спросила как-то королева.

— Глупости, — сказал король. — Я люблю тебя такой, какая ты есть. Ей-богу, приятно услышать такие слова. Поэтому и жили король с королевой еще долго и счастливо.

## СВЕЖЕМОРОЖЕННЫЕ ДАМЫ

Жил-был один парикмахер, который по понедельникам осматривал местные достопримечательности, потому что у него в этот день не было посетителей. Он успел уже несколько раз посетить музей, сходил на выставку, а больше ничего не мог придумать.

— Куда же мне отправиться сегодня? — спросил он сам себя в очередной понедельник. — А не посетить ли мне городской холодильник, где хранится свежемороженая треска! Конечно, это не настоящая достопримечательность, но все лучше, чем ничего.

Холодильник находился далеко за городом, и парикмахеру пришлось добираться туда на машине.

В первом помещении, куда вошел парикмахер, было весьма прохладно. Двадцать женщин, занимавшихся упаковкой свежемороженой трески, были так поглощены работой, что не обратили на парикмахера ни малейшего внимания.

— Нет, это еще не настоящий холодильник, — подумал парикмахер. — Мне нужно проникнуть вглубь здания. И он на цыпочках последовал за двумя мужчинами, тащившими огромные ящики с рыбой. Мужчины были одеты в длинные пальто на вате, кожаные перчатки и шерстяные шапочки — так требовалось по инструкции, поскольку в самом главном холодильном помещении температура опускалась до сорока градусов ниже нуля.

— И тем не менее я хочу все осмотреть, — сказал парикмахер, стуча зубами от холода. Он поднял воротник своей курточки и пошел из одной холодильной камеры в другую, из одной в другую, вдоль бесконечных полок с рыбой, рыбой, рыбой...

— Какое огромное здание, — подумал вслух парикмахер. — Пожалуй, мне не следует заходить слишком далеко, а то я заблужусь. Куда подевались те грузчики? Эй! — крикнул он. И поскольку ответа не последовало, он крикнул еще раз:

— Эй!..

— Вероятно, мне пора возвращаться, — решил он. — Иначе я замерзну. Этот холод уже невозможно вынести. И он пошел назад. Он брел из одной холодильной камеры в другую, из одной в другую, и кругом была только рыба. Через десять минут он окончательно заблудился, в отчаянии заметался, начал кричать и звать на помощь, но никто, никто его не услышал.

Холод схватил его за нос, через ноздри пробрался в легкие, заткнул уши, словно стеклянной ватой, инеем запорошил глаза, миллионом иголок впился в пальцы рук и ног, каждое движение причиняло парикмахеру мучительную боль. Вскоре он совершенно заоченел и, зарывав, упал на мешок с рыбой. Его слезы тут же превращались в ледяные стекляшки, которые с мелодичным звонком падали на пол и разбивались.

— О, люди, люди! Сейчас я замерзну до смерти, — прошептал парикмахер. — Через пять лет вы найдете мое бездыханное замороженное тело. И тогда скажете: вот лежит парикмахер, который по понедельникам осматривал достопримечательности. К счастью, у меня нет жены, которая станет обо мне печалиться. Одни лишь клиенты, но они найдут себе другого парикмахера. А теперь я засну и больше никогда не проснусь.

Он закрыл глаза и как будто провалился в глубокий колодец. Он падал, и падал, и падал, и ему становилось все теплей и теплей, потому что сон всегда теплый.

А потом он вдруг проснулся и, не решаясь открыть глаз, спросил:

— Где я, на небе или в аду? Я ведь умер, это точно, так почему же у меня такое ощущение, что я еду в машине? Меня покачивает, меня куда-то везут. Мо-

жет, это мои похороны? Тогда почему меня хоронят кое-как, без оркестра, почему мне так жестко лежать?

И он чуточку приоткрыл глаза. Он ехал в санях, в которые были впряжены шесть каких-то зверей. Размером они были с волка, но когда парикмахер хорошенько пригляделся, он увидел, что это были хорьки. Гигантские белые хорьки.

— Ну что, проснулся? — спросил чей-то голос.

Он повернул голову и обнаружил подле себя даму в белом пластиковом одеянии. Она была невероятно худой, глаза ее сияли, и она ласково улыбалась ему своими белыми губами. Она как будто вся состояла из белого цвета, а может просто казалась такой в мертвенном лунном свете.

— Разве не чудо, что я случайно на тебя наткнулась? — воскликнула она. — Как же мы давно не виделись! Неужели ты не узнаешь меня?

Внезапно парикмахер вспомнил детство и удивленно прошептал:

— Вы — тетушка Фригитта!

— Правильно, — кивнула она. — Теперь ты мой гость, и мы едем ко мне домой.

Парикмахер почувствовал себя не совсем в своей тарелке. Он хорошо помнил, как тетушка Фригитта выдрала его за уши, когда он был совсем маленьким, потому что он сделал лужу в саду на ее белые фризии.

— Но тетушка, — сказал он, — я думал, что вы провалились под лед, когда мне было восемь лет.

— Так оно и есть, — согласилась она. — Поэтому я и очутилась здесь. Посмотри, какая красота в нашем свежемороженом селении!

Парикмахер огляделся по сторонам.

— Это не селение, это целый город из кристаллов! — воскликнул он. — Небоскребы из кристаллов!

— Из льда, — уточнила тетушка. — Здесь все из льда и снега. И тем не менее ты не чувствуешь холода, правда?

— В самом деле, — удивился парикмахер. Ощущая приятное тепло во всем теле, он восхищенно разглядывал гладкие, словно отутюженные улицы с высокими домами, сверкавшими, блестящими, мерцавшими в лунном сиянии миллионами бриллиантовых бликов. Движение на улицах было весьма оживленным. По обе стороны в санях скользили дамы, и во все сани были впряжены огромные хорьки.

— В этом городе живут одни лишь дамы? — поинтересовался парикмахер.

— Ах нет, — ответила тетушка и указала на постового.

Парикмахер с трудом сдержался, чтобы не расхохотаться, ибо постовым был самый обыкновенный снеговик с морковкой вместо носа и угольками вместо глаз.

И вот, наконец, они приехали. На ледяную виллу тетушки Фригитты. Ее дом казался сделанным из стекла, но все было из льда, адова должно быть работенка! Полы покрывали мягко поскрипывающие снежные ковры, стены были совсем прозрачными, кое-где расписанными морозными узорами. Повсюду стояли скамьи из снега и столы из льда. И на всех скамьях сидели свежемороженые дамы с белыми волосами, в белых нарядах, и когда парикмахер с тетушкой Фригиттой вошли в дом, все они всплеснули руками и дружно загалдели.

— Это мой племянник, парикмахер, — представила своего гостя тетушка Фригитта. — Он сделает всем нам замечательные прически.

Дамы загалдели еще громче, и звук их голосов напоминал перезвон кубиков льда в бокале с коктейлем. Они обступили парикмахера со всех сторон и разглядывали его, как диковинную птицу. Они щипали его, дергали за волосы, принюхивались, и парикмахер чувствовал себя ужасно неудобно.

— Мальчику нужно сначала перекусить, прежде чем он приступит к работе, — сказала тетушка Фригитта и хлопнула в ладоши.

Тут же вразвалочку приковылял пухлый снеговик — в одной руке он нес поднос со свежемороженой рыбой, в другой — держал хрупкую вазочку с мороженым. Когда парикмахер насытился, его отвели в огромный ледяной салон с ледяными зеркалами и снежными креслами. Одна за другой потянулись свеже-

мороженные дамы, и парикмахер колдовал над их белоснежными волосами. Он причесывал, приглаживал, взбивал, начесывал белые локоны, подкалывал их ледяными шпильками, украшал ледяными цветами. Получалось необыкновенно красиво: на головах у дам вырастали взбитые, белоснежные, все в завитках торты, и дамы были счастливы.

Одна из свежемороженых дам выделялась своей молодостью. Ее звали Сорбет, и была она так красива, что у парикмахера захватило дух, когда он увидел ее отражение в зеркале.

— Расскажи мне про страну, откуда ты пришел, — попросила она.

Парикмахер попытался вспомнить, как выглядит его страна, но к своему удивлению обнаружил, что начисто все забыл.

— Я ничего не помню, — сказал парикмахер. И она ушла, а ее место заняла новая свежемороженая дама.

Парикмахер был доволен. Каждый день он ел свежемороженую рыбу и мороженое, усердно работал и совершенно не вспоминал о своей стране. По вечерам он ходил смотреть на зимние балы на большой ледяной площади. Там, в лунном свете на коньках скользили свежемороженые дамы с необыкновенными прическами. Однажды перед ним остановилась Сорбет и спросила:

— Ты не хочешь со мной потанцевать?

— Я не умею кататься на коньках, — смутился парикмахер.

— Тогда пойдем покатаемся на санях, — предложила Сорбет и повела его к своим саням, запряженным восьмеркой здоровенных хорьков.

Но когда парикмахер хотел залезть в сани, он оступился и неловко задел одного из хорьков. Тот злобно тяпнул его за палец, и на снег упала капелька крови.

И когда парикмахер увидел капельку красной крови, он вдруг снова вспомнил, как выглядит его страна. О да, она была разноцветной, подумал он. Там был красный цвет. Красный цвет крови и красный цвет герани, а также красный свет светофора. Там был зеленый цвет травы и желтый цвет цыплят, и розовый цвет почтовых марок. И по дороге он рассказал Сорбет, как прекрасен был его разноцветный мир.

— Там все разноцветное, — говорил он. — Множество разных красок.

Но Сорбет никак его не понимала. И он никак не мог ей ничего растолковать, но ее глаза сияли, будто она была пленена его рассказом.

— И там еще есть солнце, — сказал парикмахер.

— Что значит солнце?

— Солнце — желтое, горячее и ласковое, — пояснил он. — О, как бы я хотел вернуться назад! Милая Сорбет, укажи мне дорогу отсюда!

— Я могу указать тебе дорогу, — сказала она. — Но при одном условии.

— Каком же?

— Возьми меня с собой, — прошептала она. — Ты мне нравишься.

— Согласен, — кивнул парикмахер. — Теперь ты будешь моей невестой. Отправляемся немедленно.

Они выехали за черту города и оказались на лысом плоскогорье, где не было ничего, кроме лунного света и льда.

— Твоя тетушка Фригитта собиралась навсегда оставить тебя здесь, — сказала Сорбет. — Она хотела превратить тебя в снеговика с угольками вместо глаз.

Впервые парикмахер по-настоящему испугался и произнес дрожащим голосом:

— Давай поедем быстрее.

И сани помчались вперед, петляя меж снежных кочек, перелетая с одной заснеженной льдины на другую.

— Где-то здесь должен быть вход, — остановила сани Сорбет. — Вход в грот. Это конец нашего мира и начало вашего.

— Тише! — вдруг прошептал парикмахер. — Ты слышишь?..

— Племянник! — донесся до них голос тетушки Фригитты. — Племянник! Вернись!

— Быстрее! Быстрее! — воскликнула Сорбет. — Где-то здесь между сугробами должен быть вход!

В отчаянии они заметались из стороны в сторону, руками разгребая снег, отламывая и отбрасывая прочь ледяные наросты.

— Поздно! — крикнула Собрет. — Она уже здесь! Я слышу скрип ее шагов.

— Вот какое-то отверстие! — задыхаясь, еле выговорил ей в ответ парикмахер. И они кинулись в непроглядную тьму открывшегося перед ними грота. За спиной они слышали призывные крики тетушки Фригитты, громкий скрип ее шагов по снегу, но карабкались по уходящему вверх ходу все дальше и дальше, пока вдруг, наконец, не очутились в каком-то темном коридоре.

— Она не погонится за нами? — стуча зубами, спросил парикмахер.

— Нет, — сказала Сорбет. — Она боится вашего мира, она не рискнет пойти нам вслед.

В конце коридора была дверь, открывшаяся на удивление легко.

— Это холодильник, — сказал парикмахер. — Мы находимся в холодильнике, и мне почему-то кажется, что я знаю, как отсюда выбраться. Пойдем.

Он действительно очень быстро нашел выход, и вскоре в глаза им брызнул яркий солнечный свет. О, как же здесь было красиво! Зеленые кроны деревьев, красные пионы, желтые лютики в траве. Красота! Парикмахер рассмеялся от счастья и спросил:

— Ну как тебе это нравится?

— Чудесно, — ответила Собрет. Ей было ужасно жарко, бедняжке. На лбу у нее блстели капельки пота.

— Дома у меня прохладно, — сказала парикмахер. — Смотри-ка, моя машина до сих пор на стоянке. Пойдем, по дороге я смогу тебе все показать.

— Видишь все эти краски? — спросил он, когда они поехали. — Ты только взгляни на эти красные крыши и голубую воду!

Он был так взволнован и с таким оживлением оглядывал окрестности, что совсем не смотрел на нее и не замечал, что она не говорит ни слова.

Наконец он остановился на красный свет и взглянул на свою спутницу.

— Боже, ты таешь! — воскликнул он.

Бедная свежемороженая дама на глазах превращалась в лужицу. Парикмахер схватил носовой платок и стал вытирать капли с ее лица, но воды в его машине все прибывало и прибывало. Он откинул верх своего автомобиля, вокруг них запыла свежий ветер, но ничто, ничто не помогало.

Сзади сердито гудели машины, потому что светофор уже зажег зеленый глаз, но парикмахер так разнервничался, что не мог ехать дальше, он только восклицал в отчаянии:

— Она тает! Она тает!

Из будки высунулся полицейский и спросил строгим голосом:

— Вы почему не едете?

— Моя невеста тает, — сказал парикмахер.

— Ваша невеста, где она? — спросил регулировщик.

— Да вот же, рядом со мной, — ответил тот, но на соседнем сиденье была одна лишь лужица. — Эта лужа и есть моя невеста, — грустно пояснил парикмахер и тронулся с места.

Регулировщик с сочувствием посмотрел ему вслед. Приехав домой, парикмахер взял половую тряпку и вытер сиденье. Слава богу, что это искусственная кожа, — подумал он и сам расстроился от своей бессердечности. «Неужели меня так мало огорчило, что прекрасная Сорбет растаяла?» — спросил он себя.

Он поставил на плиту воду и открыл холодильник, чтобы достать оттуда бутылочку рома. Почему-то бутылки не оказалось на положенном месте, и парикмахер нагнулся, стараясь заглянуть в глубину полки. И тут он почувствовал, как две холодные, словно лед, руки обвили его за шею.

— А вот и я, — прозвучал у его уха ледяной голос тетушки Фригитты. — Теперь-то я тебя не выпущу. Ты вернешься со мной назад.

Парикмахер начал задыхаться. Он хрипел и кашлял, пытаясь вырваться. Наконец он вцепился обеими руками в дверцу холодильника и дернулся с такой силой, что ледяное объятие расжалось, и он грохнулся затылком на кухонный коврик. Почти теряя сознание, он пнул ногой дверцу, и она захлопнулась.

— Фу, еле выдрался! — сказал парикмахер, ему было ужасно жарко. Потом он выпил кофе без всякого рома, а на следующий день поместил в газете объявление: «Продается холодильник. В полной исправности».

И с этого дня в доме парикмахера не было холодильника. И он терпеть не мог все свежемороженное, даже самые вкусные ягоды.

**ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР**  
Вацлав МИХАЛЬСКИЙ

**РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ**  
Михаил БЕЛЕНЬКИЙ  
Светлана БУЧНЕВА  
Алла МАРЧЕНКО  
(заместитель главного редактора)  
Святослав ПЕДЕНКО  
(заместитель главного редактора)

Ф СП-1

Министерство связи СССР  
„Союзпечать“

**АБОНЕМЕНТ** на газету \_\_\_\_\_ журнал \_\_\_\_\_ **70949**  
(индекс издания)

**СОГЛАСИЕ** (название издания) Количество комплектов: \_\_\_\_\_

Год по месяцам:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Куда \_\_\_\_\_  
(почтовый индекс) \_\_\_\_\_ (адрес)

Кому \_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

**ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА**

\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ на газету \_\_\_\_\_ журнал \_\_\_\_\_ **70949**  
(индекс издания)

**СОГЛАСИЕ** (наименование издания)

Стоимость подписки \_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ коп. Количество комплектов: \_\_\_\_\_  
печати \_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ коп.

на 19 \_\_\_\_\_ год по месяцам:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Куда \_\_\_\_\_  
(почтовый индекс) \_\_\_\_\_ (адрес)

Кому \_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)



**ОТКРЫТА ПОДПИСКА  
НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ**

**«СОГЛАСИЕ»**

**НА 1992 ГОД  
НАШ ИНДЕКС — 70949**

**ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:**

**НА 3 МЕСЯЦА - 6 рублей  
НА 6 МЕСЯЦЕВ - 12 рублей  
ГODOВАЯ - 24 рубля**

**ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ  
АБОНЕМЕНТА!**

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой машины.

При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой машины на абонементе проставляется оттиск календарного штампа отделения связи. В этом случае абонемент выдается подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки (переадресовки).

-----

Для оформления подписки на газету или журнал, а также для переадресования издания бланк абонемента с доставочной карточкой заполняется подписчиком чернилами, разборчиво, без сокращений, в соответствии с условиями, изложенными в каталогах Союзпечати.

Заполнение месячных клеток при переадресовании издания, а также клетки «ПВ — МЕСТО» производится работниками предприятий связи и Союзпечати.



Цена 1руб. + 20коп.

## СПАСИБО

*Двадцать копеек благотворительной надбавки к цене нашего журнала превратятся в миллион рублей, необходимых для строительства интерната для одиноких престарелых людей в Талдомском районе, соединяющем Московскую и Тверскую области.*

*Финансирование ведете Вы, уважаемый читатель, и редакционно-издательский комплекс «Милосердие».*

**СОВЕТ  
РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО КОМПЛЕКСА  
«МИЛОСЕРДИЕ»**

**ПАТРИАРХ АЛЕКСИЙ,  
А.М.АДАМОВИЧ, Г.П.АЛФЕРЕНКО,  
В.С.АЛХИМОВ, В.М.БОРИСОВ,  
А.М.БОРЩАГОВСКИЙ, Ф.М.БУРЛАЦКИЙ,  
Ю.М.БУЦКО, Е.М.БЫЧКОВ, Б.Л.ВАСИЛЬЕВ,  
А.Ю.ГЕРМАН, А.А.ГОЛИК, Г.М.ГУСЕВ, А.А.ИЛЬИН,  
А.Г.КОНОВАЛОВ, Л.П.КРАВЧЕНКО, В.Н.КРУПИН,  
А.М. МАРЧЕНКО, Г.И.МАТЕВОСЯН, А.Н.МЕДВЕДЕВ,  
В.В.МЕНЬШИКОВ, В.В.МИХАЛЬСКИЙ, Б.А.МОЖАЕВ,  
С.А.МУБАРЯКОВ, В.Н.МУДРАК, Б.И.ОЛЕЙНИК, С.Ф. ПЕДЕНКО,  
О.М.ПОПЦОВ, Г.В.ПРЯХИН, Ю.М.РОСТ, Ю.С.РЫТХЭУ,  
Ю.Б.СОЛОМОНОВ, В.Т.СПИВАКОВ, Н.К.СТАРШИНОВ,  
Г.Ф.СУХОРУЧЕНКОВА, Н.И.ТРАВКИН, С.Н.ФЕДОРОВ,  
Ю.Д.ЧЕРНИЧЕНКО, Б.А.ЧИЧИБАБИН, С.И.ЧУПРИНИН,  
И.И.ШКЛЯРЕВСКИЙ, С.В.ЯМЩИКОВ**

Подписано к печати 24.07.1991г.  
Формат 70x108 1/16. Гарнитура «Таймс». Печать высокая.  
Физ. печ. л. 14. Тираж 50 000 экз. Заказ № 268. Цена 1 руб. + 20 коп.  
Московская типография №13 ПО «ПЕРИОДИКА»,  
107005, Москва, Денисовский переулок, 30.

**АДРЕС РЕДАКЦИИ:**  
113054, Москва, ул. Бахрушина, 28.  
Телефоны: главный редактор — 235-15-56,  
первый заместитель главного редактора — 235-14-00,  
отделы прозы, поэзии, критики, публицистики — 235-14-10

Оформление М. Б. Патрушевой  
Корректоры Кокорина Е. А., Попова Ю. Е.